4

4

Константин Симонов



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Живые и мертвые

Роман в трех книгах

Книга первая

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
С37

Оформление художника
ВЛ. МЕДВЕДЕВА

С $\frac{70302\text{-}029}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200

Книга первая

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно.

О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пятачке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого «линкольна», ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Гурзуфе.

Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь.

Синцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты.

К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу верст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной. Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.

Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко,

слишком близко к границе, и авиация, самое главное — авиация... Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать...» Он зацепился за эту мысль, ему казалось, что она может успокоить Машу.

Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке: в двенадцать ночи они выедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на чужого.

— Что в порядке?

— Я говорю, что с билетами все в порядке,— повторил Синцов.

— Хорошо,— равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки.

Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Синцову вместе съездить в санаторий. Синцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугало, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже.

Со свойственной ей прямотой она сама вдруг сказала ему об этом.

— А что обо мне думать? — сказал Синцов. — И вообще все будет в порядке.

Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя.

— Брось болтать! — сказала она. — Ну что будет в порядке? Что ты знаешь? — У нее даже губы задрожали от злости. — Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! — повторила она, крепко сжатым кулаком больно ударяя себя по коленке.

Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Синцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически: пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене.

Вокруг говорили только об одном — о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.

Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Синцову:

— Выйдем, погуляем...

Вышли из вагона, и она взяла его под руку.

— Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе: мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии.

— Уже решила?

— Да.

— А если придется перерешить?

Она молча покачала головой.

Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса — как найти Таню и идти или не идти в армию — надо разделить...

— Не буду я их делить! — прервала его Маша.

Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы, в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно (а это, наверное, сделали), то Машина мать вместе с Таней уж конечно постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маше, хотя бы для того, чтобы не разъехаться с ними, самое разумное — ждать их в Москве.

— Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, пока мы едем из Симферополя!

Маша недоверчиво посмотрела на Синцова и опять замолчала до самой Москвы.

Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь.

Из Гродно никто не приезжал. Синцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было.

— Сейчас я поеду на вокзал,— сказал Синцов. — Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся.

Он выпул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны.

— Подожди, сядь на минуту,— остановила она мужа. — Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?

Синцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый: если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию — в чем он сомневается,— неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?

Маша слушала, все больше и больше бледнея.

— А как же ты не понимаешь,— вдруг закричала она,— как же ты не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему ты думаешь только о себе?

— Как «только о себе»? — ошеломленно спросил Синцов.

Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась; а когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает.

— И мне тоже. Обещаешь?

Разозленный ее упрямством, он наконец перестал щадить ее, отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было Гродненское направление и пора, наконец, трезво смотреть на вещи.

— Хорошо,— сказала Маша,— если не посадят, значит, не посадят, но ты постараешься! Я тебе верю. Да?

— Да,— угрюмо согласился он.

И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее.

Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в одиннадцать вечера в Минск,— прямо до Гродно поезда нет,— и комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих.

Маша ничего не ответила.

— Что ты молчишь? — крикнул он в трубку.

— Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет.

— Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан.

— Хорошо, переложу.

— Я сейчас попробую пробиться в политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась, попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай.

— А я не скучаю,— все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку.

Маша перекладывала вещи Синцова и неотступно думала все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Синцову, она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе: дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним там, на войне.

Как выехать? Что сделать для этого? Вдруг в последнюю минуту, уже закрывая чемодан Синцова, она вспомнила, что у нее где-то на клочке бумаги записан служебный телефон одного из товарищей брата, с которым тот вместе служил на Халхин-Голе, полковника Полынина. Этот Полынин, как раз когда они остановились здесь по дороге в Симферополь, вдруг позвонил и сказал, что прилетел из Читы, видел там Павла и обещал ему сделать личный доклад матери.

Маша тогда сказала Полынину, что Татьяна Степановна в Гродно, и записала его служебный телефон, чтобы мать позвонила ему, в Главную авиационную инспекцию, когда вернется. Только вот где он, этот телефон? Она долго лихорадочно искала, наконец нашла и позвонила.

— Полковник Полынин слушает! — сказал сердитый голос.

— Здравствуйте! Я сестра Артемьева. Мне нужно вас увидеть.

Но Полынин даже не понял сразу, кто она и чего от него хочет. Потом наконец понял и после долгой неприветливой паузы сказал, что если ненадолго, то хорошо, пусть через час приедет. Он выйдет к подъезду.

Маша сама не знала толком, чем может помочь ей этот Полынин, но ровно через час была у подъезда большого военного дома. Ей казалось, что она помнит внешность Полынина, но среди сновавших вокруг нее людей его не было видно. Вдруг дверь открылась, и к ней подошел молоденький сержант.

— Вам товарища полковника Полынина? — спросил он у Маши и виновато объяснил, что товарища полковника вызвали в наркомат, он уехал десять минут назад и просил подождать. Лучше всего там, в скверике, за трамвайной линией. Когда полковник прибудет, то за ней придут.

— А когда он приедет? — Маша вспомнила, что Синцов уже скоро должен вернуться домой.

Сержант только пожал плечами.

Маша прождала два часа, и как раз в ту минуту, когда она, решив больше не ждать, перебежала линию, чтобы вскочить в трамвай, из подъехавшей «эмочки» вылез Полынин. Маша узнала его, хотя его красивое лицо сильно переменилось и казалось постаревшим и озабоченным.

Чувствовалось, что он считает каждую секунду.

— Не обижайтесь, постоим, поговорим прямо тут, а то у меня там уже народ собран... Что у вас стряслось?

Маша как могла коротко объяснила, что у нее стряслось и чего хочет. Они стояли рядом, на трамвайной остановке, прохожие толкались, задевали их плечами.

— Что ж,— сказал Полынин, выслушав ее. — Думаю, муж ваш прав: семьи из тех мест по возможности эвакуируют. В том числе и семьи наших авиаторов. Если что-нибудь узнаю через них, позвоню. А ехать туда сейчас вам не ко времени.

— И все-таки очень прошу вас помочь! — упрямо сказала Маша.

Полынин сердито сложил руки на груди.

— Слушайте, чего вы просите, куда вы лезете, извините за выражение! Под Гродно сейчас такая каша, можете вы это понять?

— Нет.

— А не можете, так слушайте тех, кто понимает!

Он спохватился, что, желая отговорить ее от глупостей, бухнул лишнее насчет той каши, которая сейчас под Гродно: ведь у нее там дочь и мать.

— В общем, там положение, конечно, прояснится,— неуклюже поправился он. — И эвакуация семей, конечно, будет налажена. И я вам буду звонить, если узнаю хотя бы малейшее что! Хорошо?

Он очень спешил и был окончательно не в состоянии скрывать это.

...Придя домой и не застав Маши, Синцов не знал, что и думать. Хоть бы оставила записку! Машин голос по телефону показался ему странным, но не могла же она поссориться с ним сегодня, когда он уезжает!

В политуправлении ему не сказали ровно ничего сверх того, что он знал и сам: в районе Гродно бои, а передислоцировалась или нет редакция его армейской газеты, ему сообщат завтра в Минске.

До сих пор и собственная, не выходившая из головы тревога за дочь, и состояние полной потерянности, в котором находилась Маша, заставляли Синцова забывать о себе. Но сейчас он со страхом подумал именно о себе, о том, что это война и что именно он, а не кто-нибудь другой, едет сегодня туда, где могут убить.

Едва он подумал об этом, как раздался прерывистый междугородный звонок. Пробежав через комнату, он рванул с рычага трубку, но звонил не Гродно, а Чита.

— Кто это? Мама? — донесся сквозь многоголосое жужжание неимоверно далекий голос Артемьева.

— Нет, это я, Синцов.

— А я думал, ты уже воюешь.

— Еду сегодня.

— А где твои? Где мать?

Синцов сказал все, как было.

— Да-а, невеселые у вас дела! — еле слышным, охрипшим голосом сказал Артемьев на том конце шеститысячеверстного провода. — По крайней мере, хоть Марусю не пускай туда. И черт меня занес в Забайкалье! Как без рук!

— Разъединяю, разъединяю! Ваше время кончилось! — как дятел, задолбила телефонистка, и в трубке разом оборвалось все: и голоса и жужжание,— осталась одна тишина.

Маша вошла молча, опустив голову. Синцов не стал спрашивать ее, где она была, ждал, что скажет сама, и только поглядел на стенные часы: до ухода из дома оставался всего час.

Она перехватила его взгляд и, почувствовав укоризну, взглянула ему прямо в лицо.

— Не обижайся! Я ходила советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой.

— Ну и что тебе посоветовали?

— Ответили, что пока нельзя.

— Ах, Маша, Маша! — только и сказал ей Синцов.

Она ничего не ответила, стараясь взять себя в руки и унять дрожь в голосе. В конце концов ей это удалось, и в последний час перед разлукой она казалась почти спокойной.

Но на самом вокзале лицо мужа в больничном свете синих маскировочных лампочек показалось ей нездоровым и печальным; она вспомнила слова Полынина: «Под Гродно сейчас такая каша!..» — вздрогнула от этого и порывисто прижалась к шинели Синцова.

— Что ты? Ты плачешь? — спросил Синцов.

Но она не плакала. Просто ей стало не по себе, и она прижалась к мужу так, как прижимаются, когда плачут.

Оттого, что никто еще не свыкся ни с войной, ни с затемнением, на ночном вокзале царили толчея и беспорядок.

Синцов долго не мог ни у кого узнать, когда же пойдет тот поезд, на Минск, с которым ему предстояло отправляться. Сначала ему сказали, что поезд уже ушел, потом — что пойдет только под утро, а сразу же вслед за этим кто-то закричал, что поезд на Минск отправляется через пять минут.

Провожающих почему-то не пускали на перрон, в дверях сразу же образовалась давка, и Маша и Синцов, стиснутые со всех сторон, в суматохе даже не успели напоследок обняться. Прихватив Машу одной рукой — в другой у него был чемодан,— Синцов в последнюю секунду больно прижал ее лицо к пряжкам скрещивавшихся у него на груди ремней и, поспешно оторвавшись от нее, исчез в вокзальных дверях.

Тогда Маша обежала вокзал кругом и вышла к высокой, в два человеческих роста решетке, отделявшей вокзальный двор от перрона. Она уже не надеялась увидеть Синцова, ей хотелось только поглядеть, как будет отходить от платформы его поезд. Она полчаса простояла у решетки, а поезд все еще не трогался. Вдруг она различила в темноте Синцова: он вылез из одного вагона и шел к другому.

— Ваня! — закричала Маша, но он не услышал и не повернулся.

— Ваня! — еще громче крикнула она, схватясь за решетку.

Он услышал, удивленно повернулся, несколько секунд бестолково смотрел в разные стороны и, только когда она крикнула в третий раз, подбежал к решетке.

— Ты не уехал? Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро?

— Не знаю,— сказал он. — Все время говорят, что с минуты на минуту.

Он поставил чемодан, протянул руки, и Маша тоже протянула ему руки через решетку. Он поцеловал их, а потом взял в свои и все время, пока они стояли, так и держал, не выпуская.

Прошло еще полчаса, а поезд все не отходил.

— Может быть, ты все-таки найдешь себе место, положишь вещи, а потом выйдешь? — спохватилась Маша.

— А-а!.. — Синцов небрежно тряхнул головой, по-прежнему не выпуская ее рук. — Сяду на подножку!

Они были заняты надвигавшейся на них разлукой и, не думая об окружающих, пытались смягчить эту разлуку привычными словами того мирного времени, которое уже три дня как перестало существовать.

— Я уверен, что с нашими все в порядке.

— Дай бог!

— Может быть, даже встречусь с ними на какой-нибудь станции: я — туда, а они — сюда!

— Ах, если бы так!..

— Я, как приеду, сразу же напишу тебе.

— Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму — и все.

— Нет, я непременно напишу. Ты жди письма...

— Еще бы!

— Но и ты мне пиши, хорошо?

— Конечно!

Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Синцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ни свиданий...

— Трогаемся! Кто едет, садитесь! — закричал кто-то за спиной Синцова.

Синцов, в последний раз стиснув Машины руки, схватил чемодан, накрутил на кулак ремень полевой сумки и на ходу, потому что поезд уже медленно пополз мимо, вскочил на подножку.

И сразу же вслед за ним на подножку вскочил кто-то еще и еще, и Синцова заслонили от Маши. Ей то казалось издали, что

это он машет ей фуражкой, то казалось, что это чужая рука, а потом ничего уже не стало видно; замелькали другие вагоны, другие люди кричали что-то кому-то, а она стояла одна, прижавшись лицом к решетке, и торопливо застегивала плащ на вдруг озябшей груди.

Поезд, почему-то составленный из одних дачных вагонов, с томительными стоянками шел через Подмосковье и Смоленщину. И в том вагоне, где ехал Синцов, и в других вагонах большую часть пассажиров составляли командиры и политработники Особого Западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков в части. Лишь сейчас, оказавшись все вместе в этих ехавших к Минску дачных вагонах, с удивлением увидели друг друга.

Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все, вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальонами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверно уже дравшихся, частей.

Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Синцов, ни другие отпускники. В вагоне то и дело вспыхивали разговоры об этом, затихали и снова вспыхивали. Ни в чем не повинные люди чувствовали себя виноватыми и нервничали на каждой длинной стоянке.

Расписание отсутствовало, хотя за весь первый день в пути не было ни одной воздушной тревоги. Только ночью, когда поезд стоял в Орше, кругом заревели паровозы и дрогнули стекла: немцы бомбили Оршу-товарную.

Но даже и тут, впервые слыша звуки бомбежки, Синцов еще не понимал, как близко, вплотную подъезжает их дачный поезд к войне. «Ну что ж,— думал он,— в том, что немцы по ночам бомбят идущие к фронту составы, нет ничего удивительного». Вдвоем с капитаном-артиллеристом, сидевшим напротив него и ехавшим в свою часть, на границу, в Домачево, они решили, что немцы, наверное, летают из Варшавы или Кенигсберга. Если б им сказали, что немцы уже вторую ночь летают на Оршу с нашего военного аэродрома в Гродно, из того самого Гродно, куда Синцов ехал в редакцию своей армейской газеты, они просто не поверили бы этому!

Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо худшие вещи. Утром поезд дотащился до Борисова, и комендант станции, кривясь, как от зубной боли, заявил, что эшелон дальше не пой-

дет: путь между Борисовом и Минском разбомблен и перерезан немецкими танками.

В Борисове было пыльно и душно, над городом кружились немецкие самолеты, по дороге шли войска и машины: одни — в одну, другие — в другую сторону; у госпиталя прямо на булыжной мостовой лежали на носилках убитые.

Перед комендатурой стоял старший лейтенант и кричал кому-то оглушительным голосом: «Закопать пушки!» Это был комендант города, и Синцов, не бравший с собой в отпуск оружия, попросил выдать ему наган. Но у коменданта не было нагана: час назад он роздал дотла весь арсенал.

Задержав первый попавшийся грузовик, шофер которого упрямо метался по городу в поисках своего куда-то запропастившегося завскладом, Синцов и капитан-артиллерист поехали искать начальника гарнизона. Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Синцов надеялся узнать, где Политуправление фронта,— если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску. Им сказали, что начальник гарнизона где-то за Борисовом, в военном городке.

На окраине Борисова над их головами, строча из пулеметов, пронесся немецкий истребитель. Их не убило и не ранило, но от борта грузовика полетели щепки. Синцов, опомнившись от страха, бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, с удивлением вытащил вершковую занозу, через гимнастерку воткнувшуюся ему в предплечье.

Потом оказалось, что в трехтонке кончается бензин, и они, прежде чем искать начальника гарнизона, поехали по шоссе в сторону Минска, на нефтебазу.

Там они застали странную картину: лейтенант — начальник нефтебазы — и старшина держали под двумя пистолетами майора в саперной форме. Лейтенант кричал, что он скорее застрелит майора, чем позволит ему подорвать горючее. Немолодой майор, с орденом на груди, держа руки вверх и дрожа от досады, объяснял, что приехал сюда не подрывать нефтебазу, а лишь выяснить возможности ее подрыва. Когда наконец пистолеты были опущены, майор со слезами ярости на глазах стал кричать, что это позор — держать под пистолетом старшего командира. Чем кончилась эта сцена, Синцов так и не узнал. Лейтенант, угрюмо слушавший выговор майора, буркнул, что начальник гарнизона

находится в казармах танкового училища, недалеко отсюда, в лесу, и Синцов поехал туда.

В танковом училище все двери были распахнуты настежь — и хоть шаром покати! Только на плацу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь до дальнейших распоряжений. Но этих распоряжений уже сутки не поступало. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что училище эвакуировано, другие — что оно ушло в бой. Начальник Борисовского гарнизона, по слухам, находился где-то на Минском шоссе, но не по эту сторону Борисова, а по ту.

Синцов и капитан вернулись в Борисов. Комендатура грузилась. Комендант охрипшим голосом прошептал, что есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, отойти за Березину и там, не пуская немцев дальше, защищаться до последней капли крови.

Артиллерийский капитан недоверчиво сказал, что комендант порет какую-то отсебятину. Однако комендатура грузилась, и едва ли это делалось без чьего-то приказа. Они снова выехали на своем грузовике за город. Поднимая тучи пыли, по шоссе шли люди и машины. Но теперь все это двигалось уже не в разные стороны, а в одну — на восток от Борисова.

У въезда на мост в толчее стоял громадного роста человек, без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попробует отступить!

Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних, для того чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку...

Синцов и капитан остановили машину в редком прибрежном лесу. Лес кишел людьми. Синцову сказали, что где-то рядом есть какие-то командиры, которые формируют части. И в самом деле, на опушке леса распоряжалось несколько полковников. На трех грузовиках с откинутыми бортами составляли списки людей, из них формировались роты и под командой тут же, на месте, назначенных командиров отправляли налево и направо вдоль Березины. На других грузовиках лежали груды винтовок, их раздавали всем, кто записывался, но не был вооружен. Синцов тоже записался; ему досталась винтовка с примкнутым штыком и без ремня, ее все время приходилось держать в руке.

Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым,

посмотрел его отпускной билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой: какая, мол, сейчас к черту газета,— но тут же приказал, чтобы Синцов далеко не отходил: для него, как для интеллигентного человека, найдется дело. Полковник именно так странно и выразился — «как для интеллигентного человека». Синцов, потоптавшись, отошел и сел в ста шагах от полковника, возле своей трехтонки. Что означала эта фраза, он узнал лишь на следующий день.

Через час к машине подбежал артиллерийский капитан, выхватил из кабины вещевой мешок и, счастливо крикнув Синцову, что на первый случай получил под команду два орудия, убежал. Синцов его больше никогда не видел.

Лес был по-прежнему набит людьми, и, сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда не рассосутся.

Прошел еще час, и над реденьким сосновым лесом появились первые немецкие истребители. Синцов каждые полчаса бросался на землю, прижимаясь головой к стволу тонкой сосны; высоко в небе колыхалась ее редкая крона. При каждом налете лес начинал стрелять в воздух. Стреляли стоя, с колена, лежа, из винтовок, из пулеметов, из наганов.

А самолеты шли и шли, и все это были немецкие самолеты.

«А где же наши?» — горько спрашивал себя Синцов, так же как это и вслух и молча спрашивали все люди вокруг него.

Уже под вечер над лесом прошла тройка наших истребителей с красными звездами на крыльях. Сотни людей вскочили, закричали, радостно замахали руками. А еще через минуту три «ястребка» вернулись, строча из пулеметов.

Стоявший рядом с Синцовым пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, свалился, убитый наповал. Рядом ранило красноармейца, и он, сидя на земле, все время сгибался и разгибался, держась за живот. Но еще и теперь людям казалось, что это случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз те же самолеты прошли над самыми верхушками деревьев, по ним открыли огонь. Самолеты шли так низко, что один из них удалось сбить из пулемета. Ломаясь о деревья и разваливаясь на куски, он упал всего в ста метрах от Синцова. В обломках кабины застрял труп летчика в немецкой форме. И хотя в первые минуты весь лес торжествовал: «Наконец сбили!» — но потом всех ужаснула мысль, что немцы уже успели где-то захватить наши самолеты.

Наконец наступила долгожданная темнота. Шофер грузовика по-братски поделился с Синцовым сухарями и вытащил из-под сиденья купленную в Борисове бутылку теплого сладкого ситро.

До реки не было и полукилометра, но ни у Синцова, ни у шофера после всего пережитого за день не хватило сил сходить туда. Они выпили ситро, шофер лег в кабине, высунув ноги наружу, и Синцов опустился на землю, приткнул к колесу машины полевую сумку и, положив на нее голову, несмотря на ужас и недоумение, все-таки упрямо подумал: нет, не может быть. То, что он видел здесь, не может происходить всюду!

С этой мыслью он заснул, а проснулся от выстрела над ухом. Какой-то человек, сидя на земле в двух шагах от него, палил в небо из нагана. В лесу рвались бомбы, вдали виднелось зарево; по всему лесу, в темноте, наезжая одна на другую и на деревья, ревели и двигались машины.

Шофер тоже рванулся ехать, но Синцов совершил первый за сутки поступок военного человека — приказал переждать панику. Только через час, когда все стихло — исчезли и машины и люди,— он сел рядом с шофером, и они стали искать дорогу из лесу.

На выезде, у опушки, Синцов заметил темневшую впереди на фоне зарева группу людей и, остановив машину, с винтовкой в руках пошел к ним. Двое военных, стоя на обочине шоссе, разговаривали с задержанным штатским, требуя документы.

— Нету у меня документов! Нету!

— Почему нету? — настаивал один из военных. — Предъяви нам документы!

— Документы вам? — крикнул задрожавшим, злым голосом человек в штатском. — А зачем вам документы? Что я вам, Гитлер? Всё Гитлера ловите! Все равно не поймаете!

Военный, требовавший предъявления документов, взялся за пистолет.

— Ну и стреляй, если совести хватит! — с отчаянным вызовом крикнул штатский.

Едва ли этот человек был диверсантом, скорее всего он был просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до горькой злобы поисками своего призывного пункта. Но того, что он крикнул про Гитлера, нельзя было кричать людям, тоже доведенным до бешенства своими мытарствами...

Но все это Синцов подумал потом, а тогда он ничего не успел подумать: над их головами зажглась ослепительно белая ракета. Синцов упал и, уже лежа, услышал грохот бомбы. Когда он, переждав минуту, поднялся, то увидел в двадцати шагах от себя только три изуродованных тела; словно приказывая ему навсегда запомнить это зрелище, ракета погорела еще несколько секунд и, коротко чиркнув по небу, бесследно упала куда-то.

Вернувшись к машине, Синцов увидел торчавшие из-под нее ноги шофера, залезшего головой под мотор. Они оба снова сели

в кабину и сделали еще несколько километров к востоку, сначала по шоссе, потом по лесной дороге. Остановив двух встретившихся командиров, Синцов узнал, что ночью был приказ отойти из того леса, где они стояли вчера, на семь километров назад, на новый рубеж.

Чтобы шедшая без фар машина не врезалась в деревья, Синцов вылез из кабины и пошел впереди. Если б его спросить, зачем ему нужна эта машина и почему он с ней возится, он бы не ответил ничего вразумительного, просто так уж вышло: потерявший свою часть шофер не хотел отстать от политрука, а не доехавший до своей части Синцов был тоже рад, что с ним благодаря этой машине все время связана хоть одна живая душа.

Только на рассвете, поставив машину в другом лесу, где почти под каждым деревом стояли грузовики, а люди рыли щели и окопы, Синцов наконец добрался до начальства. Было серое, прохладное утро. Перед Синцовым на лесной тропинке стоял сравнительно молодой человек с трехдневной щетиной, в надвинутой на глаза пилотке, в гимнастерке с ромбами на петлицах, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Синцову сказали, что, кажется, это и есть начальник Борисовского гарнизона.

Синцов подошел к нему и, обратясь по всей форме, попросил товарища бригадного комиссара сказать, не может ли он, политрук Синцов, быть использован по своей должности армейского газетчика, а если нет, то какие будут приказания. Бригадный комиссар посмотрел отсутствующими глазами сначала на его документы, потом на него самого и сказал с равнодушной тоской:

— Разве вы не видите, что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь здесь газета?

Он сказал это так, что Синцов почувствовал себя виноватым.

— Вам надо в штаб, а верней — в Политуправление фронта, там вам скажут, куда являться,— помолчав, сказал бригадный комиссар.

— А где штаб и политуправление? — с надеждой спросил Синцов.

Но бригадный комиссар только пожал плечами и заговорил с другими людьми.

Синцов отошел и, не успев подумать, что же делать дальше, наткнулся на знакомого полковника-танкиста.

— Я вас искал! Где вы болтались? — строго прикрикнул полковник. — Вон, видите там? — показал он на группу людей, сидевших на двух сваленных соснах. — Мы временную тройку создали. Вы в газете секретарем были, поможете им протоколы вести!

На сваленных соснах сидели черноволосый военюрист второго ранга, белобрысый политрук с авиационными петлицами, майор войск НКВД с малиновыми петлицами и четверо бывших у них под началом красноармейцев. Все семеро отдыхали; у ног их валялись лопаты, а рядом зияли две наполовину отрытые противовоздушные щели. Синцов представился.

— Блокнот есть? — спросил военюрист.

— Есть.

— Ладно,— сказал военюрист,— сейчас дороем щели, а потом работать начнем.

Щели дорыли через час. Синцов сел на землю и спустил ноги в щель. От усталости и голода его клонило ко сну, и он сам не заметил, как задремал.

Сначала ему приснился сад, по которому шла Маша в военной форме, с петлицами военюриста, потом приснилась квартира на Усачевке; в нее вошел человек с лицом Гитлера и голосом того вчерашнего, убитого бомбой штатского, попросил, нет ли чего поесть. Синцов стал шарить на боку наган, чтобы застрелить его, но нагана на боку не было...

Он проснулся оттого, что кто-то столкнул его в щель и сам упал сверху. Щели были вырыты вовремя: высоко над соснами шли самолеты и сыпали на лес бомбы.

Весь этот день Синцов прожил как в тумане — от усталости, от голода, оттого, что почти не спал третьи сутки. Он то лез в щель, пережидая бомбежку и иногда засыпая при этом, то вылезал и грелся на солнце, свесив ноги в щель и тоже засыпая, то, когда приводили задержанных и военюрист, старший политрук и майор допрашивали их, писал протокол, положив блокнот на колено и с трудом выводя буквы.

— Да вы короче, короче, только главное! — всякий раз говорил военюрист.

А главным было то, что почти все задержанные не были ни диверсантами, ни шпионами, ни дезертирами, они просто шли откуда-то куда-то, искали кого-то или что-то и не находили, потому что все перемешалось и сдвинулось со своих мест. Попадая под обстрелы и бомбежки и наслушавшись страхов о немецких десантах и танках, некоторые из них, боясь плена, закапывали, а иногда и рвали документы.

Допросив, их обычно отпускали, одним сказав, куда примерно надо идти, а другим ничего не сказав, потому что не знали этого сами. Многие из отпущенных не хотели уходить, они боялись, что их где-нибудь снова задержат и заподозрят в дезертирстве.

Двух особенно подозрительных, задержанных в форме, но без всяких документов, так и не добившись от них внушающих

доверия ответов — кто они, куда и откуда идут,— сочли диверсантами и приговорили к расстрелу. Конвоиры, ходившие их расстреливать на опушку, потом рассказывали, что один из них плакал, просил подождать, уверял, что все объяснит, а второй сначала тоже говорил, чтоб подождали, а в последнюю минуту, уже под дулом, прокричал: «Хайль Гитлер!»

Среди задержанных за день оказался сумасшедший, очень высокий молодой красноармеец, с руками и ногами богатыря и с маленькой, детской стриженой головой на длинной детской шее. Не выдержав бомбежки, он вообразил, что попал в плен к переодетым в красноармейскую форму фашистам, и, выбежав на дорогу, размахивая руками, стал кричать проносившимся над головой немецким самолетам:

— Бейте, бейте!

В его обезумевшем мозгу все перевернулось: окружающие казались немцами, а немецкие самолеты — нашими. Его с трудом скрутили.

Он стоял бледный, дрожащий и, попеременно впиваясь глазами то в военюриста, то в Синцова, кричал им:

— Зачем вы переоделись, фашисты? Все равно я вас вижу! Зачем переоделись?!

Все попытки успокоить его и объяснить, что он находится среди своих, ни к чему не привели: чем больше его уговаривали, тем сильнее в его глазах разгорался огонек безумия.

Вдруг, быстро оглянувшись, он вырвался, метнулся в сторону, схватил прислоненную к дереву винтовку Синцова и в три огромных прыжка выскочил на дорогу.

— Бегите! — закричал он тонким, взвизгивающим, сумасшедшим голосом, закричал так, что все кругом услышали этот нечеловеческий вопль. — Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь! — То нагибаясь, то выпрямляясь, он подпрыгивал на дороге, потрясая винтовкой.

Кто-то, увидев этого плясавшего на дороге и панически кричавшего человека, не долго думая, несколько раз подряд выстрелил в него из нагана, но не попал. Потом выстрелил кто-то еще и тоже не попал.

Синцов понял, что сейчас этого человека непременно убьют, не могут не убить, раз он кричит такие страшные, панические слова. Решив спасти его и не думая в эту минуту ни о чем другом, Синцов бросился к красноармейцу. Но тот, заметив подбегавшего Синцова, повернулся, перехватил винтовку и метнулся навстречу. Синцов увидел совсем близко его вылезшие из орбит, ненавидящие, безумные глаза, отпрыгнул в сторону так, что удар штыком пришелся по воздуху, и схватился обеими руками: пра-

вой — за ложе винтовки, а левой — за ствол. Теперь никто не стрелял, боясь попасть в Синцова, а он и сошедший с ума красноармеец несколько секунд яростно выкручивали друг у друга винтовку. В этой борьбе Синцов постепенно перехватил винтовку обеими руками за ложе, а красноармеец теперь держался за ствол. Синцов, собрав все силы, рванул винтовку к себе и не сразу понял, что произошло: отпустив руки, красноармеец взмахнул ими в воздухе, словно хотел схватиться за голову, и, не донеся рук до лица, ничком свалился на дорогу.

И только когда он упал, Синцов понял, что выстрел, который он слышал за секунду до этого, был не чьим-то чужим, а его собственным. Рванув винтовку, он задел спусковой крючок, и теперь у его ног на дороге лежал убитый им человек.

Что именно убитый, а не раненый, он подумал еще раньше, чем, отбросив винтовку, присел на корточки над упавшим. Красноармеец лежал ничком, неловко и жалко вывернув набок стриженую детскую голову. Кровь стекала у него по шее на пыльную землю: пуля попала прямо в горло, в адамово яблоко.

— Чуть панику не устроил, гад! — сказал, останавливаясь над мертвым, рослый капитан с небритой щетиной. В руках у него был наган — это он стрелял первым. — Паникер, гад! — повторял капитан. — Собаке собачья смерть!

Но, хотя он говорил грубо и уверенно, у него у самого были собачьи, виноватые глаза. А грубостью своих слов он, кажется, хотел убедить самого себя и окружающих в том, что был прав, стреляя в этого человека.

Синцов был как потерянный. Первое, что он сделал на войне,— убил своего! Хотел спасти — и убил!.. Что могло быть бессмысленней и страшней этого?!

Он так до конца дня и не узнал толком, что происходило кругом. То говорили, что Минск по-прежнему в наших руках, то, наоборот, что Борисов уже взят немцами; ближе к вечеру стали говорить, что где-то в семи километрах отсюда удалось остановить немецкие танки; впереди и правда, не приближаясь и не удаляясь, слышалась густая артиллерийская стрельба... Все эти обрывочные сведения доходили до Синцова словно в тумане — между бомбежками, тяжелыми мыслями о только что совершенном убийстве и новыми допросами.

Уже на закате к Синцову подошел боец и сказал, что его зовет к себе полковник.

Полковник-танкист, по праву самого энергичного из оказавшихся здесь людей распоряжавшийся всеми другими, стоял на опушке леса, у замаскированной ветками палатки, к которой как раз в эту минуту двое связистов тянули шнур полевого телефона.

Рядом с полковником стоял батальонный комиссар в пограничной форме.

— Вы спрашивали про Политуправление фронта,— без предисловий сказал полковник-танкист остановившемуся перед ним Синцову. — Вот он знает, где Политуправление фронта,— показал он на пограничника. — Где-то под Могилевом, он туда едет, может взять вас с собой.

Пограничник молча кивнул.

— Сейчас, я только вещи возьму! Подождете три минуты?

Пограничник снова кивнул и взглянул на часы.

— Я быстро! — Синцов бегом побежал к грузовику взять лежавший там в кузове чемодан.

Но грузовика на прежнем месте не было. С минуту походив кругом, словно исчезнувший грузовик мог вырасти из-под земли, Синцов вспомнил, что его ждут, и, махнув рукой, побежал обратно.

Пограничник стоял у палатки и нетерпеливо переминался.

— Где же ваши вещи? — спросил он.

— В машине были, куда-то уехала, не знаю... — сказал Синцов. — Поеду так.

Он был рад и тому, что час назад, когда стало вечереть, вынул из машины и накинул на плечи шинель.

— Да,— сказал пограничник и похлопал себя по тощей полевой сумке. — Мои вещи тоже все тут, даже шинели нет, в машине сгорела.

Он мог бы сказать Синцову, что у него пропало все: сгорел дом, где он жил, и погибла семья,— но он сказал только о сгоревшей шинели и добавил:

— Пошли!

Они прошли два километра по лесной дороге, до ее пересечения с Минским шоссе. Синцов все ждал, что они остановятся у одной из спрятанных под деревьями машин и поедут на ней; он пропустил мимо ушей слова батальонного комиссара про сгоревшую в машине шинель. И только когда они вышли на Минское шоссе, по которому от времени до времени проносились грузовики, и пограничник сказал: «Сейчас проголосуем до Орши»,— Синцов понял, что у батальонного комиссара нет никакой машины и они будут добираться на попутной.

— Пройдите двести шагов вперед, а я стану здесь,— сказал пограничник. — Если не задержу я, задерживайте вы.

Синцов, отойдя на двести шагов, хорошо видел, как батальонный комиссар несколько раз пробовал останавливать машины. Поднимал руку и сам Синцов, но машины пролетали мимо. На-

конец он увидел, как пограничник остановил грузовик и, открыв дверцу кабины, стал говорить с сидевшими внутри.

Синцов сорвался с места — бежать к машине. В эту секунду раздался рев пикирующего самолета. Синцов привычно бросился на землю, успев почувствовать душный запах нагретого асфальта. Когда, пролежав несколько секунд, он повернул голову, на дороге не было ни грузовика, ни стоявшего рядом с ним пограничника. Бомба прямым попаданием ударила в машину, на асфальте дымилась воронка, кругом лежали куски изогнутого железа, а по шоссе навстречу Синцову катилось оторванное колесо. Прокатившись еще несколько шагов, словно оно хотело подъехать к самым его ногам, колесо покачнулось и упало, скрежетнув железом по асфальту.

Синцов стоял один на Минском шоссе, мимо него неслись машины, и на душе у него была такая тоска, что только перешедшая все границы усталость помешала ему закричать или разрыдаться.

Пройдя засветло еще несколько километров, Синцов, как и тысячи других людей, проспал ту ночь в придорожной канаве, положив пилотку под голову и закрыв лицо поднятым воротником шинели. Он проспал несколько часов мертвым сном, не слыша ни рева проносившихся по шоссе машин, ни грохота ночной бомбежки, и проснулся оттого, что кто-то, отогнув воротник шинели, трогал рукою его лицо.

— Нет, этот живой,— сказал голос.

Синцов открыл глаза и сел. Перед ним стояли два мальчика лет по шестнадцати, одетые в чистенькие шинельки артиллерийской спецшколы, со скрещенными золотыми пушечками на черных петлицах. Наверное, так же как и Синцов, они давно ничего не ели: у них были похудевшие детские лица и отчаянные глаза. Оба были похожи на галчат, выброшенных из гнезда прямо на дорогу.

— Что вы, ребята? — спросил Синцов, вставая. — Куда идете?

Мальчики ответили, что они ездили в Смоленск, на подготовку к летнему спортивному параду, а сейчас возвращаются к себе в спецшколу, в Борисов.

— А где это? — спросил Синцов. — В самом Борисове?

Они сказали, что нет, еще дальше, шестнадцать километров в сторону Минска.

— По-моему, там сейчас немцы,— сказал Синцов. — Я там вчера был.

Мальчики недоверчиво посмотрели на него, потом один из них отвел глаза. Синцов проследил за его взглядом и увидел

в двухстах метрах, на обочине, несколько неподвижных тел, а посреди дороги воронку, которую как раз сейчас объезжала мчавшаяся на восток машина. Когда он вчера заснул, здесь никто не лежал,— значит, ночью совсем близко упала бомба, кого-то убило, а он даже не проснулся.

— Мы думали, вы тоже убиты,— сказал один из мальчиков. — Куда же нам идти?

— Мы все-таки пойдем к себе в школу,— сказал другой. — Не может быть, чтобы там были немцы.

Синцову так и не удалось переубедить их. Они ему не поверили, но очень обрадовались, когда он, нащупав в кармане шинели банку консервов, которую ему вчера вечером дал военюрист, предложил им поесть перед дорогой. В банке оказались кильки, и они втроем съели эти кильки без хлеба и воды.

Мальчики пошли. Синцов еще долго с тревогой смотрел им вслед.

Потом отряхнул шинель, пилотку и пошел по Минскому шоссе, на восток, к Орше.

Кто только не шел в те дни по этому шоссе, сворачивая в лес, отлеживаясь под бомбежками в придорожных канавах, и снова вставая, и снова меряя его усталыми ногами! Особенно много тянулось еврейских беженцев из Столбцов, Барановичей, Молодечно и других городков и местечек Западной Белоруссии. Сейчас, на восьмой день войны, они были уже за Борисовом, и, значит, тронулись в путь давно, еще в первые сутки... Тысячи людей ехали на невообразимых фурах, дрожках и подводах, ехали старики с пейсами и бородами, в котелках прошлого века, ехали изможденные, рано постаревшие еврейские женщины, ехали дети — на каждой подводе по шесть — восемь — десять маленьких черномазых ребят с быстрыми испуганными глазами. Но еще больше людей шло рядом с подводами.

Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропыленных, с модными, сбившимися набок пыльными прическами. А в руках узлы, узелки, узелочки; пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода.

Все это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплечными мешками,— шли мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтоб их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперед вера и долг; они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют

надеть обмундирование и взять в руки оружие... Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней — трагедия людей, которые умирали под бомбежками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных пунктов.

А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Синцову в тот день врезалась в память одна простая картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку. Она раскинулась на низком холме; темно-зеленые сады были облиты красным светом заката, над крышами изб курились дымки, а по гребню холма, на фоне заката, мальчики гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе. Деревня была маленькая, а кладбище большое — целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и другим — все, вместе взятое, потрясло душу Синцова. Острое и болезненное чувство родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, переворачивало сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда,— и, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права стать чужой.

Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если все так началось, то что же произойдет со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты, на седьмой день войны оказавшиеся между Минском и Борисовом?

Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели ее.

Полтора года назад, когда Синцову вместо демобилизации предложили остаться в кадрах, это не обрадовало его, но он согласился: дивизия, в которую он был призван, стояла на Буге, за Бугом были фашисты, в воздухе пахло войной, и он считал, что коммунисты в таких случаях не отказываются служить в армии.

И вот, когда случилось то, во имя чего он остался служить в армии, когда началась война с фашизмом, он вдруг с самого начала оказался не в своей части, не на своем месте, каким-то перекати-поле, человеком, бессмысленно сующим свои документы, ищущим свою неизвестно где находящуюся редакцию, а теперь в поисках ее даже, как дезертир, бредущий вспять от фронта.

Он и после смерти пограничника все равно твердо решил добираться до Могилева, раз сказано, что там Политуправление фронта. Но если это вранье, он так же твердо решил больше ничего не искать и проситься политруком в первую же стрелковую часть, какую встретит.

С утра он, как и вчера вечером, много раз поднимал руку, но опять ни одна машина так и не остановилась. И он, плюнув и уже не оглядываясь на машины, весь остальной день упрямо шел по шоссе, то отдаваясь своим тяжелым мыслям, то ни о чем не думая, только устало передвигая свинцовые ноги.

Наверное, в конце концов он так и дошел бы пешком до самой Орши, если бы уже вечером возле него не остановился грузовик.

— Куда идете, политрук? — спросил сидевший в кабине полковник.

— В Оршу! — угрюмо сказал Синцов.

— Почему пешком идете?

— Голосовал, да надоело,— все так же угрюмо ответил Синцов. — Не берут, сволочи!

— Да, сволочей хватает,— сказал полковник,— хотя и меньше, чем можно было бы предполагать в такой обстановочке. Дайте-ка ваши документы!

Синцов равнодушно протянул полковнику документы. Полковник быстро взглянул на них и отдал обратно.

— Садитесь в кузов.

Через час бешеной езды они оказались в Орше. Машина у полковника была чужая, взятая под честное слово только до Орши. Он так же, как и Синцов, добирался в Могилев и от Орши рассчитывал доехать до Могилева поездом. Синцов зашел вместе с полковником к коменданту города. Комендатура помещалась в подвале школы. За столами у телефонов сидели обалдевшие от крика майор — комендант города — и еще два майора-железнодорожника.

— Будет ли поезд на Могилев? — спросил полковник.

Комендант, которого он спрашивал, в этот момент, бросив трубку одного телефона, кинулся к другому, но полковник крепкой рукой схватил его за плечо и насильно повернул лицом к себе.

— Отвечайте, я вас спрашиваю: будет ли поезд на Могилев и когда?

— Сейчас, товарищ полковник! — охрипшим голосом сказал майор. — Должен быть... — И кинулся к телефону, по которому его вызывали. Чем дольше он слушал, тем все более ожесточенным делалось его лицо. Наконец он мрачно выругался и швырнул трубку. — Не будет поезда, товарищ полковник! Вот, пожалуйста, извольте радоваться, только что сообщили: разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути разрушены. Не будет никакого поезда на Могилев!

— Ладно, черт с ним,— спокойно сказал полковник Синцову. — Эти все равно сами ничего не знают, все у них только и делает, что летит и рвется, а проехать, наверное, преспокойно можно. Пошли на станцию, там добьемся толку.

Но и на станции толку добиться было не так-то просто: свет не горел, военный комендант и начальник станции говорили таинственным шепотом, что им пока ничего не известно. Наконец полковник поймал какого-то железнодорожника, который тоже шепотом, как о большой тайне, сказал, что на путях за водокачкой формируется товарный состав на Могилев.

— Пошли! — сказал полковник.

Как видно, не только Синцову, но и этому пожилому, опытному, видавшему виды человеку было одиноко и хотелось человеческого сочувствия. Он рассказал Синцову, что прилетел в Москву из Приволжского военного округа, назначен начальником штаба корпуса, проскочил в поисках своего корпуса до Борисова, чуть не попал в плен к немцам, вчера целый день прокомандовал в бою оставшейся без командира ротой, а сегодня узнал, что его корпус вовсе не здесь, а вышел в район Осиповичи — Бобруйск, поэтому он и едет туда через Могилев.

— Конечно, можно было и дальше ротой командовать,— сказал он сердито,— но порядок должен же быть все-таки! Слава богу, восьмой день воюем, пора в чувство приходить! Раз я назначен начальником штаба корпуса, значит, я должен прибыть к месту службы, а не просто с винтовкой в цепи лежать. Один болван, когда я передал команду над ротой лейтенанту, еще позволил себе в трусости меня упрекнуть.

— И что же вы? — спросил Синцов.

— Что я? Съездил ему за этого труса по морде, чтоб впредь умней был, и уехал.

Полковник даже побагровел при этом воспоминании, и его без того насупленное усатое лицо стало совсем свирепым.

Они долго бродили среди путей в поисках состава и, как это почти всегда бывает, когда находится уверенный в своих силах

и знающий, чего он хочет, человек, постепенно обросли еще десятком людей, по разным причинам желавших добраться до Могилева.

Пока они искали состав, немецкие бомбардировщики налетели на станцию. На забитых станционных путях один за другим заревели паровозы.

На Оршанском узле их стояло несколько десятков. Они ревели, вторя друг другу, выпуская тучи белого пара; рев их был испуганный и чудовищно тоскливый. Он был гораздо страшнее, чем грохот бомбежки, к которому Синцов уже привык за эти дни; казалось, паровозы во весь голос жалуются неизвестно кому: небу или людям,— жалуются и просят помочь, а небо все сыплет и сыплет сверху на черную землю бомбы, разрывающиеся среди домов, рельсов и лежащих на путях людей, оглушенных, злых, несчастных, до глубины души обиженных всем происходящим.

После тревоги добрались до водокачки и, не найдя там никакого состава, все присели отдохнуть на кучах ссыпанного у путей шлака. Никому не хотелось говорить, но невозможно было и молчать: слишком много накопилось у каждого на душе.

— Не думали, не гадали,— печально сказал из темноты кто-то, кого Синцов так и не разглядел в лицо этой ночью.

— Если бы не думали, не гадали, еще бы ладно,— после молчания отозвался полковник. — А то ведь и гадали и думали, а на поверку — ералаш!

— Удивительно много беспорядка! — из темноты откликнулся кто-то, тоже невидимый, тонким удивленным тенором. — Просто удивительно.

— А мой саперный батальон в Белостоке стоял! — сказал густой бас. — Куда он теперь отошел...

— Ищи-свищи! — холодно и резко ответил чей-то злой голос.

Несколько минут все молчали.

— Августовскую катастрофу четырнадцатого года в академиях изучали, над Самсоновым смеялись, а сами обо... — грубо срифмовал тот же холодный, желчный голос, который ответил саперу. — В общем, шапками закидаем, на чужой территории, малой кровью... Ура и так далее,— продолжал он.

— На чужой территории еще будем — зарубите это себе на носу, вы, там, в темноте, не вижу, как вас по званию! — сердито отозвался полковник. — Но что верно, то верно: ералаш большой, бо-ольшой... И главное — самим же придется его расхлебывать!

Это вызвало целый хор ответных замечаний. Кто-то заметил, что мы, русские, долго запрягаем, зато потом быстро ездим. Но его слова не встретили сочувствия.

— Не восемьсот двенадцатый, теперь и запрягать надо поворачиваться! А то прозапрягаемся до Смоленска.

Полковник сказал, что эту поговорку немцы выдумали.

Люди спорили друг с другом, но в их голосах одинаково дрожали злость и обида. Они были подавлены не только совершенно очевидным беспорядком, но еще больше тем, что где-то идут бои, дерутся их части, а они до сих пор еще не попали туда и неизвестно, как попадут!

— А меня вчера чуть как диверсанта не расстреляли! — сказал кто-то. — В зубы наган сунули, как лошади. Я Перекоп брал, а они мне, сволочи, мальчишки, в зубы наган суют!

— Эй вы, августовская катастрофа! — словно вдруг что-то вспомнив, позвал полковник человека с не понравившимся ему холодным голосом. — Вы тоже с нами до Могилева? Свою часть ищете?

Но на этот вопрос никто не откликнулся. Тот, кого спрашивали, то ли не хотел отвечать, то ли ушел... Было слышно, как в темноте люди поворачиваются друг к другу.

— Вроде ушел,— наконец раздался густой голос сапера. — Тут, около меня, сидел.

— Конечно, и паникеры попадаются,— после молчания сказал полковник, не то отзываясь на слова сапера, не то отвечая собственным мыслям. — Наган есть кому в зубы сунуть. Только бывает, что не тому суют... Встали! — Он поднялся первым. — Шут их знает, может, у них тут есть еще какая-нибудь водокачка! Пойдем поищем!

Другой водокачки они не нашли, но через час добрались до стрелочника, который, показав на темневшие вдали, стоявшие без паровоза вагоны, уверенно сказал, что их должны прицепить на Могилев.

Устав от бессмысленного блуждания, все пошли к вагонам. Между товарными вагонами на платформах стояли два новеньких штабных автобуса.

— Погрузимся в автобусы,— сказал полковник, первым влезая на платформу и пробуя открыть дверцу автобуса. Она открылась. — Повезут — так поедем, а не повезут — хоть поспим до утра.

Синцов тоже залез в автобус, сел на новенькое клеенчатое сиденье, обшарил его руками, словно начав сомневаться за эти дни, что еще может существовать что-то новенькое и чистенькое, прислонился головой к холодному оконному стеклу и заснул.

Утром спросонок он никак не мог понять, где находится. Он ехал в автобусе; рядом с ним, на других сиденьях, спали незнакомые военные, а за окнами по обеим сторонам летел зеленый,

теплый, солнечный лес. Он подумал, что едет по шоссе, и только потом, вспомнив все пережитое ночью, сообразил, что автобус стоит на платформе, а поезд движется. Стрелочник не обманул: поезд подходил к Могилеву.

Могилевский комендант взял документы Синцова и несколько раз подряд прочитал их воспаленными, красными глазами; должно быть, он так устал, что, читая в первый раз, бессмысленно смотрел на бумагу, второй раз выхватывал из нее только бросившиеся ему в глаза слова и лишь на третий раз начинал понимать все, что написано. Он сказал Синцову, что Политуправление фронта находится в тринадцати километрах от Могилева.

— Через этот мост, что виден там, за окном, и налево по шоссе, на Оршу. Тринадцатый километр, в лесу, там увидите...

Синцову повезло. На мосту ему удалось остановить пикап. С шофером в кабине сидел лейтенант-связист, а кузов пикапа был завален гранатами. Связист довез примостившегося на гранатах Синцова до густого леса, в глубь которого уходило несколько свеженаезженных дорог, и ссадил на опушке.

Синцов углубился в лес. Погода испортилась, шел мелкий дождь. На склонах лесистых холмов, между деревьями, повсюду рыли землянки и щели, кое-где стояли счетверенные зенитные пулеметы. Штаб и Политуправление фронта, кажется, только устраивались здесь. Синцов наткнулся на стоявшего прямо у дороги худощавого дивизионного комиссара в желтом, потемневшем от дождя кожаном пальто, с добрым, красивым лицом и пшеничными усиками. Дивизионный комиссар был похож на Чапаева.

Синцов обратился к нему. Комиссар несколько секунд подержал под дождем отпускной билет Синцова, по которому от упавшей капли поплыл лиловым пятном канцелярский росчерк московской отметки.

— Где сейчас ваша редакция, к сожалению, не знаю,— сказал дивизионный комиссар, складывая билет пополам. — Признаюсь, пока еще не знаю даже, где и политотдел вашей Третьей армии. И вообще... — Кажется, он хотел сказать, что вообще не знает, где вся Третья армия, но не сказал этого, а только невесело улыбнулся. — Придется послужить здесь, у нас...— И он протянул документы Синцова не самому Синцову, а стоявшему рядом толстому, румяному батальонному комиссару со знакомым Синцову лицом. — Возьмите политрука к себе,— сказал он. — Турмачев-то у вас выбыл надолго?

Батальонный комиссар подтвердил, что Турмачев выбыл надолго, и, попросив разрешения быть свободным, увел с собой Синцова.

— Ну вот, будете у нас,— через полчаса говорил он Синцову, сидя рядом с ним в спрятанной под елками «эмке».

На полу «эмки» стоял термос, из которого они оба по очереди пили чай, а на коленях у батальонного комиссара лежала газета с горкой ванильных сухарей.

— Еще жена в Москве упаковала,— говорил батальонный комиссар. — Сердился на нее: «Что ты меня снаряжаешь? Я же на армейском довольствии!» — а теперь рад...

Сухари были московские, батальонный комиссар — редактор фронтовой газеты — тоже был московский. В прошлом году Синцов приезжал в Москву на краткосрочные газетные курсы, и батальонный комиссар читал там лекции по отделу партийной жизни. Это был первый хоть немножко знакомый Синцову человек, которого он встретил за последние пять суток; а главное, наконец не надо больше бродить, совать свои документы, выслушивать ответы «не знаю», «неизвестно». Он наконец прибыл в часть, мог не искать ничего другого, оставаться здесь, получать приказания, делать то, для чего ехал на войну.

От всех этих разом нахлынувших чувств Синцов глубоко вздохнул.

— Что это вы?

— Устал скитаться.

— Вообще тяжело,— сказал батальонный комиссар. — Турмачева вчера диверсанты ранили. Вы его не знали?

— Не знал.

— Он когда-то в вашем «Боевом знамени» служил. Ехал ночью на редакционной полуторке сюда, в политуправление, кто-то остановил с фонарем, стали проверять документы, он достал документы, а его из нагана в бок! И скрылись. Кто? Что? Почему? Газету сегодня выпустили,— внешне перескакивая с одного на другое, а в сущности продолжая говорить о том, как тяжело, сказал батальонный комиссар,— а куда везти, неизвестно! Полевая почта еще не работает, где какие части стоят, пока не знаем. Сегодня с утра рассадил всех работников по машинам и разослал по разным дорогам, чтобы в каждую часть, какую найдут, давали пачку газет. Очень тяжело,— заключил он и приказал, чтобы Синцов ехал в Могилев, шел в типографию и помогал выпустить номер. — Там сейчас всего три человека: секретарь, машинистка и выпускающий.

— А материал есть? — спросил Синцов.

— Делайте из того, что есть. Я потом приеду. Какой же материал? — пожал плечами батальонный. — Может быть, привезут к вечеру. Газеты раздадут, а материал привезут. А у вас есть какой-нибудь материал? — поднял он глаза на Синцова.

Но Синцов только молча посмотрел на него. «Какой у меня может быть материал! — думал он. — Да, у меня есть материал, да, я видел за эти дни столько, сколько не видал за всю жизнь, но разве можно напечатать все это рядом с той только что записанной по радио сводкой, которую редактор держит на коленях вместе с сухарями?! В сводке написано о больших приграничных сражениях, а я еще три дня назад не мог попасть из Борисова в Минск. Чему же верить: этой сводке или тому, что я видел своими глазами? Или, может быть, правда и то и другое, может быть, там впереди, у границы, на самом деле идут тяжелые, но успешные оборонительные бои, а я просто оказался в полосе немецкого прорыва, обалдел от страха и не могу представить себе того, что происходит в других местах?»

Но если даже правдой было и то и другое, это не меняло дела в газете. На ее страницах принятая по радио сводка претендовала быть единственной правдой! Это было так. И иначе и не могло быть.

— Нет у меня никакого материала,— после долгого молчания сказал Синцов, глядя в глаза редактору, и они оба поняли друг друга.

Синцов возвращался в Могилев уже в темноте на той же самой редакционной полуторке, на которой в предыдущую ночь ранили неизвестного ему Турмачева. Шофер был тот же самый. По дороге он все время говорил о вчерашнем происшествии, и Синцов, когда их задерживали на контрольно-пропускных пунктах, каждый раз, протягивая левой рукой документы, в правой сжимал наган, который заботливый редактор добыл ему в политуправлении.

За ночь в старой могилевской типографии с грехом пополам сверстали и выпустили очередной номер фронтовой газеты. Половину ее заняли две последние сводки Информбюро, напечатанные крупным шрифтом, чтобы занять побольше места. Остальной материал к середине ночи кое-как собрался от развозивших вчерашний номер корреспондентов. Все это были короткие заметки о разных случаях героизма, взятых из рассказов людей, или неделю отступавших с боями, или только что прорвавшихся из немецкого окружения. Сначала под пером корреспондентов, а потом под красным карандашом Синцова, приводившего заметки в соответствие со сводками, из них постепенно исчезало все, что могло дать представление о том, в каких местах сейчас шли бои. В соседстве со сводками, говорившими о продолжавшихся приграничных сражениях, эти заметки приобретали, пожалуй, даже успокоительный характер. Люди дрались, проявляли мужество, убивали фашистов. Где? Об этом говорили сводки.

Даже из самых скупых рассказов вернувшихся за ночь в редакцию корреспондентов Синцов уже знал: то, что он видел на Минском шоссе, происходило не только там. Немцы прорвались во многих местах. Обстановка, во всяком случае на Западном фронте, была тяжелой, неясной, и не фронтовой газете было раскрывать ее! Это он понимал и действовал своим красным карандашом без колебаний. Не понимал он другого: как все это могло произойти? Не понимал и мучился вопросом: неужели, несмотря ни на что, мы не переломим положения в ближайшие же дни? Все, что видели его глаза, казалось, говорило: нет, не переломим! Но душа его не могла смириться с этим, она верила в другое! И хотя он вправе был верить своим глазам, вера его души была сильней всех очевидностей. Он не пережил бы тех дней без этой веры, с которой незаметно для себя, как и миллионы других военных и невоенных людей, втянулся в четырехлетнюю войну.

Уже под утро, перед тем как пускать номер в машину, Синцов еще раз тупо вычитал все — строчку за строчкой — и только после этого, подстелив шинель, лег спать на прохладном каменном полу типографии. Старенькие печатные машины натужно гудели, пол чуть-чуть содрогался под головой.

Засыпая, Синцов подумал о дочери и с бессильной яростью представил себе, что теперь, когда он попал в другую газету и на другой участок фронта, что-нибудь узнать о ней будет и вовсе не в его силах. Во всяком случае, до тех пор, пока все не переменится самым крутым образом...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утром четыре редакционные полуторки выехали из ворот типографии. В каждой сидели по два корреспондента и лежало по десять пачек газет из только что отпечатанного тиража. Способ распространения оставался вчерашний: везти газеты по разным дорогам, раздавать всем, кто встретится, и попутно собирать материал для следующего номера.

Синцов, проспавший на полу типографии всего три часа, да и то в два приема, потому что его разбудил приехавший под утро редактор, поднялся совсем одурелый, ополоснул под краном лицо, затянул ремень, вышел во двор, сел в кабину грузовика и окончательно проснулся только у выезда на Бобруйское шоссе. В небе ревели самолеты, сзади, над Могилевом, шел воздушный бой: немецкие бомбардировщики пикировали на мост через Днепр, а прикрывавшие их истребители — семь или

восемь — высоко в небе дрались с тройкой поднявшихся с могилевского аэродрома наших курносых «ястребков».

Синцов слышал, что в Испании и Монголии эти «ястребки» расправлялись с немецкими, итальянскими и японскими истребителями. И здесь сначала загорелся и упал один «мессершмитт». Но потом, кувыркаясь, стали падать сразу два наших истребителя. В воздухе остался один, последний.

Синцов остановил машину, вылез, еще с минуту следил за тем, как наш истребитель кружился между немецкими. Потом они все вместе исчезли за облаками, а бомбардировщики продолжали с ревом пикировать на мост, в который они, кажется, никак не могли попасть.

— Ну как, поехали? — спросил Синцов своего спутника, сидевшего в кузове на пачках газет, младшего политрука с девичьей фамилией Люсин.

Этот Люсин был высокий, ловкий, румяный красавец со светлым чубом, выбивавшимся из-под новенькой щегольской фуражки. В хорошо пригнанном обмундировании, затянутый в новенькие ремни, с новеньким, привычно висевшим у него на плече карабином, он выглядел самым военным из всех военных людей, которых встречал за последние дни Синцов, и Синцов был рад, что ему повезло со спутником.

— Как прикажете, товарищ политрук! — отозвался Люсин, приподнимаясь и прикладывая пальцы к фуражке.

Синцов еще ночью, когда они вместе выпускали газету, обратил внимание на редкое в среде военных газетчиков старание Люсина держаться подчеркнуто по-строевому.

— Только я, пожалуй, тоже в кузов сяду,— сказал Синцов.

Но Люсин вежливо запротестовал:

— Я бы не посоветовал, товарищ политрук! Старшему по команде положено в кабине ехать, а то неудобно даже. Машину задержать могут... — И он снова приложил пальцы к фуражке.

Синцов сел в кабину, и машина тронулась. И полуторка и шофер были все те же, с которыми он возвращался вчера в Могилев из штаба фронта. Он, собственно, и в кузов-то хотел пересесть, боясь, как бы шофер снова не стал развлекать его разговорами про диверсантов. Но шофер сидел за рулем насупясь и не говорил ни слова. То ли он не выспался, то ли ему не нравилась эта поездка в сторону Бобруйска.

Синцов, наоборот, был в приподнятом настроении. Редактор ночью рассказал, что наши части за Березиной, на подступах к Бобруйску, вчера потрепали немцев, и Синцов надеялся побывать там сегодня.

Его, как и многих других не трусливых от природы людей, встретивших и перестрадавших первые дни войны в сумятице и панике прифронтовых дорог, с особенной силой тянуло теперь вперед, туда, где дрались.

Правда, редактор не мог толком объяснить ни какие именно части потрепали немцев, ни где точно это было, но Синцов по неопытности и не особенно тревожился этим. Он взял с собой карту, по которой редактор неопределенно поводил пальцем вокруг Бобруйска, и сейчас ехал, рассматривая ее и прикидывая, сколько времени им ехать вот так, по тридцать километров в час. Выходило — примерно часа три.

Сначала сразу за Могилевом пошли поля с перелесками. Сплошная зелень была во многих местах перерезана то широкими, то узкими рыжими отвалами земли: по обеим сторонам шоссе рыли противотанковые рвы и окопы. Почти все работавшие были в гражданском платье. Только иногда среди рубах и платков мелькали гимнастерки распоряжавшихся работами саперов.

Потом машина въехала в густой лес. И сразу кругом стало безлюдно и тихо. Полуторка шла и шла по лесу, а навстречу не попадалось никого: ни людей, ни машин. Сначала это не особенно тревожило Синцова, но потом начало казаться ему странным. Под Могилевом был штаб фронта, за Бобруйском шли бои с немцами, и он считал, что между этими двумя пунктами должны стоять штабы и войска, а значит, должно происходить и движение машин.

Но вот они проехали уже полдороги, потом еще десять километров и еще десять, а шоссе по-прежнему было пустынно. Наконец грузовик Синцова чуть не столкнулся на перекрестке с «эмочкой», выезжавшей с лесной дороги. Синцов открыл кабину и помахал рукой. «Эмочка» остановилась. В ней оказался пехотный капитан, он назвался адъютантом командира стрелкового корпуса. Синцов решил поехать вместе с ним и раздать газету в частях корпуса — пока что все пачки лежали нетронутыми в грузовике. Но адъютант поспешно ответил, что он был в отлучке, а корпус тем временем куда-то переместился. Он сам теперь ищет свой корпус, так что ехать вместе с ним бессмысленно, пусть лучше ему дадут несколько пачек газет в «эмку», — когда он найдет корпус, он их сам раздаст. Люсин достал из кузова две пачки, капитан бросил их на заднее сиденье, и «эмка», газанув, скрылась за деревьями, а полуторка поехала дальше к Бобруйску.

Над дорогой несколько раз прошли «мессершмитты». Лес подступал вплотную к шоссе, и они выносились из-за верхушек

деревьев так мгновенно, что Синцов только раз успел выскочить из машины. Но немцы не обстреливали полуторку,— наверно, у них были дела поважнее.

До Березины, судя по карте, оставалось всего десять километров. Раз бои идут на той стороне, за Бобруйском, значит, по эту сторону реки должны стоять хоть какие-нибудь тылы или вторые эшелоны. Синцов, поворачивая голову то вправо, то влево, напряженно всматривался в гущу леса.

Непонятная пустынность шоссе все больше действовала ему на нервы.

Вдруг шофер резко затормозил.

На пересечении с узкой, далеко к горизонту уходившей просекой на обочине шоссе стоял красноармеец без винтовки, с двумя гранатами у пояса.

Синцов спросил у него, откуда он и нет ли поблизости кого-нибудь из командиров.

Красноармеец сказал, что он прибыл с лейтенантом в составе команды из двадцати человек еще вчера на грузовике из Могилева и поставлен здесь на пост — задерживать идущих с запада одиночек и направлять их налево по просеке, к лесничеству, где лейтенант формирует часть.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что он стоит здесь со вчерашнего вечера, что винтовки им выдали в Могилеве через одного: «На первый, второй рассчитайсь!»; что сначала они стояли вдвоем, но под утро его напарник исчез; что за это время он направил в лесничество человек шестьдесят одиночек, но о нем самом, наверно, забыли: никто не сменял его, и он ничего не ел со вчерашнего дня.

Синцов отдал ему половину набитых в полевую сумку сухарей и приказал шоферу ехать дальше.

Еще через километр машину остановили двое выскочивших из лесу милиционеров в серых прорезиненных плащах.

— Товарищ командир,— сказал один из них,— какие будут приказания?

— Какие приказания? — удивленно переспросил Синцов. — У вас есть свое начальство!

— Нет у нас своего начальства,— сказал милиционер. — Послали позавчера сюда, в лес, парашютистов ловить, если сбросятся, а какие же теперь парашютисты, когда немцы уже через Березину переправились!

— Кто это вам сказал?

— Люди сказали. Да вон уже и артиллерия... Не слышите разве?

— Не может быть! — сказал Синцов, хотя, когда он прислушался, ему самому показалось, что впереди слышен гул артиллерии. — Вранье! — успокаивая сам себя, отрезал он тоном, в котором было больше упрямства, чем уверенности.

— Товарищ начальник, — сказал милиционер, лицо у него было бледное и полное решимости, — вы, наверное, в свою часть едете, возьмите с собой, зачислите бойцами! Что ж нам, тут дожидаться, когда фашист на сук вздернет! Или форму снимать?

Синцов сказал, что он действительно ищет какую-нибудь часть и если милиционеры хотят ехать с ним, пусть садятся в кузов.

— А куда вы едете? — спросил милиционер.

— Туда. — Синцов неопределенно показал рукой вперед. Теперь он и сам уже не знал, куда и до каких пор поедет.

Говоривший с Синцовым милиционер поставил ногу на колесо. Второй дернул его сзади за плащ и стал что-то шептать ему, — очевидно, он не хотел ехать в сторону Бобруйска.

— А, иди ты!.. — огрызнулся первый милиционер, брезгливо рванулся и, толкнув товарища сапогом в грудь, перемахнул через борт машины.

Машина тронулась. Второй милиционер растерянно стоял, пока мимо него проезжал кузов машины, потом отчаянно махнул рукой, побежал за машиной, схватился за борт и уже на ходу перевалился через него всем телом. Оставаться одному было еще страшней, чем ехать вперед.

Над лесом с медленным густым гулом проплыли шесть громадных ночных четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. Казалось, они не летели, а ползли по небу. Рядом с ними не было видно ни одного нашего истребителя. Синцов с тревогой подумал о только что шнырявших над дорогой «мессершмиттах», и ему стало не по себе. Но бомбардировщики спокойно скрылись из виду, и через несколько минут впереди послышались разрывы тяжелых бомб.

Судя по промелькнувшему дорожному указателю, до Березины оставалось всего четыре километра. Теперь Синцов был убежден, что вот-вот они встретят наши части, не могло же в конце концов никого не оказаться на этом берегу Березины.

Вдруг из лесу выскочили несколько человек и стали отчаянно махать руками. Шофер вопросительно посмотрел на Синцова, но Синцов ничего не сказал, и машина продолжала двигаться. Люди, выскочившие на дорогу, что-то кричали вслед, рупором прикладывая руки.

— Остановитесь! — сказал Синцов шоферу.

К машине подбежал запыхавшийся сержант-сапер и спросил у Синцова, куда идет машина.

— В Бобруйск.

Сержант вытер струившийся по лицу пот и, судорожно глотая слюну, так, что у него перекатывалось адамово яблоко, ответил, что немцы уже переправились на этот берег Березины.

— Какие немцы?

— Танки...

— Где?

— Да метров семьсот отсюда. Только сейчас у нас с ними бой был! — показал сержант рукой вперед. — Мы двигались командой по маршруту к полосе минирования, а они из танка огонь открыли, одним снарядом десять человек убили. Вот нас всего... — он растерянно посмотрел на стоявших рядом красноармейцев,— всего семь осталось... Хоть бы взрывчатка или гранаты с собою были, а то что из нее танку сделаешь?! — Сержант в сердцах стукнул о землю прикладом винтовки.

Синцов все еще колебался, не веря, что немцы в самом деле так близко, но мотор грузовика заглох — и сразу стала отчетливо слышна сильная пулеметная стрельба слева от дороги, совсем рядом, несомненно уже на этой стороне Березины.

— Товарищ политрук! — Люсин впервые за всю поездку подал голос из кузова. — Разрешите обратиться? Может, повернем до выяснения?

На его обычно румяном, а сейчас бледном лице был написан страх, который, однако, не помешал ему обратиться к Синцову по всей форме.

— Повернули,— сказал Синцов, в свою очередь бледнея.

До сих пор ему не приходило в голову, что еще полкилометра, километр — и они заедут в плен к немцам! Шофер с грохотом выжал сцепление, развернул машину, и перед Синцовым мелькнули растерянные лица оставленных им на дороге бойцов.

— Стой! — устыдясь собственной слабости, заорал он и сжал плечо шофера с такой силой, что тот охнул от боли. — Лезьте в кузов! — высовываясь из кабины, крикнул Синцов красноармейцам. — Поедете со мной.

Несмотря на полтора года службы в военной газете, он, в сущности, впервые в жизни приказывал сейчас другим по праву человека, у которого оказалось больше, чем у них, кубиков на петлицах. Красноармейцы один за другим попрыгали в кузов, последний замешкался. Товарищи стали подтягивать его вверх на руках, и Синцов только теперь увидел, что тот ранен: одна нога обута в сапог, а другая, разутая, вся в крови.

Синцов выскочил из кабины и приказал посадить раненого на свое место. Почувствовав, что его приказаний слушаются, он продолжал приказывать, и его слушались снова. Красноармейца пересадили в кабину, а Синцов перелез в кузов. Шофер, подгоняемый все отчетливей слышной пулеметной стрельбой, погнал машину назад, к Могилеву.

— Самолеты! — испуганно крикнул один из красноармейцев.

— Наши,— сказал другой.

Синцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли обратно три ТБ-3. Наверно, бомбежка, которую слышал Синцов, была результатом их работы. Теперь они благополучно возвращались, медленно набирая потолок, но острое предчувствие несчастья, которое охватило Синцова, когда самолеты шли в ту сторону, не покидало его и теперь.

И в самом деле, откуда-то сверху, из-за редких облаков, выпрыгнул маленький, быстрый, как оса, «мессершмитт» и с пугающей скоростью стал догонять бомбардировщики.

Все ехавшие в полуторке, молча вцепившись в борта, забыв о себе и собственном, только что владевшем ими страхе, забыв обо всем на свете, с ужасным ожиданием смотрели в небо. «Мессершмитт» вкось прошел под хвост заднего, отставшего от двух других бомбардировщика, и бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли спичку к лежавшей в печке бумаге. Он продолжал еще идти, снижаясь и все сильнее дымя, потом повис на месте и, прочертив воздух черной полосой дыма, упал на лес.

«Мессершмитт» тонкой стальной полоской сверкнул на солнце, ушел вверх, развернулся и, визжа, зашел в хвост следующего бомбардировщика. Послышалась короткая трескотня пулеметов. «Мессершмитт» снова взмыл, а второй бомбардировщик полминуты тянул над лесом, все сильнее кренясь на одно крыло, и, перевернувшись, тяжело рухнул на лес вслед за первым.

«Мессершмитт» с визгом описал петлю и по косой линии, сверху вниз, понесся к хвосту третьего, последнего, ушедшего вперед бомбардировщика. И снова повторилось то же самое. Еле слышный издали треск пулеметов, тонкий визг выходящего из пике «мессершмитта», молчаливо стелющаяся над лесом длинная черная полоса и далекий грохот взрыва.

— Еще идут! — в ужасе крикнул сержант, прежде чем все опомнились от только увиденного.

Он стоял в кузове и странно размахивал руками, словно хотел остановить и спасти от беды показавшуюся сзади над лесом вторую тройку шедших с бомбежки машин.

Потрясенный Синцов смотрел вверх, вцепившись обеими руками в портупею; милиционер сидел рядом с ним, молитвенно

сложив руки: он умолял летчиков заметить, поскорее заметить эту вьющуюся в небе страшную стальную осу!

Все, кто ехал в грузовике, молили их об этом, но летчики или ничего не замечали, или видели, но ничего не могли сделать. «Мессершмитт» свечой ушел в облака и исчез. У Синцова мелькнула надежда, что у немца больше нет патронов.

— Смотри, второй! — сказал милиционер. — Смотри, второй!

И Синцов увидел, как уже не один, а два «мессершмитта» вынырнули из облаков и вместе, почти рядом, с невероятной скоростью догнав три тихоходные машины, прошли мимо заднего бомбардировщика. Он задымил, а они, весело взмыв кверху, словно радуясь встрече друг с другом, разминулись в воздухе, поменялись местами и еще раз прошли над бомбардировщиком, сухо треща пулеметами. Он вспыхнул весь сразу и стал падать, разваливаясь на куски еще в воздухе.

А истребители пошли за другими. Две тяжелые машины, стремясь набрать высоту, все еще упрямо тянули и тянули над лесом, удаляясь от гнавшегося вслед за ними по дороге грузовика с людьми, молчаливо сгрудившимися в едином порыве горя.

Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах, на что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно — что враг вдруг зарвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы.

«Почему не выбрасываются на парашютах? — думал Синцов. — А может, у них там вообще нет парашютов?»

Стук пулеметов на этот раз послышался раньше, чем «мессершмитты» подошли к бомбардировщику: он пробовал отстреливаться. И вдруг почти вплотную пронесшийся рядом с ним «мессершмитт», так и не выходя из пике, исчез за стеною леса. Все произошло так мгновенно, что люди на грузовике даже не сразу поняли, что немец сбит; потом поняли, закричали от радости и сразу оборвали крик: второй «мессершмитт» еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. На этот раз, словно отвечая на мысли Синцова, из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков, один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты.

Потерявший своего напарника немец, мстительно потрескивая из пулеметов, стал описывать круги над парашютистами. Он расстреливал висевших над лесом летчиков — с грузовика были слышны его короткие очереди. Немец экономил патроны, а парашютисты спускались над лесом так медленно, что если б все ехавшие в грузовике были в состоянии сейчас посмотреть друг

на друга, они бы заметили, как их руки делают одинаковое движение: вниз, вниз, к земле!

«Мессершмитт», круживший над парашютистами, проводил их до самого леса, низко прошел над деревьями, словно высматривая что-то еще на земле, и исчез.

Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин; не было ни машин, ни людей, сидевших в них, ни трескотни пулеметов, ни «мессершмиттов»,— не было ничего, было только совершенно пустое небо и несколько черных столбов дыма, начинавших расползаться над лесом.

Синцов стоял в кузове несшегося по шоссе грузовика и плакал от ярости. Он плакал, слизывая языком стекавшие на губы соленые слезы и не замечая, что все остальные плачут вместе с ним.

— Стой, стой! — первым опомнился он и забарабанил кулаком по крыше кабины.

— Что? — высунулся шофер.

— Надо искать! — сказал Синцов. — Надо искать,— может, они все-таки живы, эти, на парашютах...

— Если искать, то еще немножко проехать надо, товарищ начальник, их дальше отнесло,— сказал милиционер; лицо его вспухло от слез, как у ребенка.

Они проехали еще километр, остановились и слезли с машины. Все помнили о переправившихся через Березину немцах и в то же время забыли о них. Когда Синцов приказал разделиться и идти искать летчиков по обе стороны дороги, никто не стал спорить.

Синцов, двое милиционеров и сержант долго ходили по лесу, справа от дороги, кричали, звали, но так никого и не обнаружили — ни парашютов, ни летчиков. А между тем летчики упали где-то здесь, в этом лесу, и их надо было непременно найти, потому что иначе их найдут немцы! Только после часа упорных и безуспешных поисков Синцов наконец вышел обратно на дорогу.

Люсин и все остальные уже стояли у машины. Лицо у Люсина было расцарапано, гимнастерка разорвана, а карманы ее так туго набиты, что на одном даже оторвалась пуговица. В руке он держал пистолет.

— Убили, товарищ политрук, обоих до смерти,— горестно сказал Люсин и потер рукой расцарапанное лицо.

— Что с вами?

— На сосну лазил. Зацепился один, бедный, за самую верхушку, так и висел вверх ногами, мертвый, еще в воздухе его убили.

— А второй?

— И второй.

— Издевается фашист над людьми! — с ненавистью сказал один из красноармейцев.

— Документы забрал. — Люсин дотронулся до кармана с оторванной пуговицей. — Передать вам?

— Оставьте у себя.

— Тогда пистолет возьмите. — Люсин протянул Синцову маленький браунинг.

Синцов посмотрел на браунинг и сунул его в карман.

— А вы не нашли, товарищ политрук? — спросил Люсин.

— Нет.

— А мне сдается, тех, что по правую руку спустились, их еще дальше отнесло,— сказал Люсин. — Надо подъехать еще метро́в четыреста, слезть и цепью прочесать лес.

Но прочесывать лес не пришлось. Когда машина прошла еще четыреста метров и остановилась, навстречу ей из лесу, сгибаясь под тяжестью ноши, вышел коренастый летчик в гимнастерке и надвинутом на самые глаза летном шлеме. Он тащил на себе второго летчика, в комбинезоне; руки раненого обнимали шею товарища, а ноги волочились по земле.

— Примите,— коротко сказал летчик.

Люсин и подскочившие красноармейцы приняли с его плеч раненого и положили на траву у дороги. У него были прострелены обе ноги, он лежал на траве, тяжело дыша, то открывая, то снова зажмуривая глаза. Пока расторопный Люсин, разрезав перочинным ножом сапоги и комбинезон, перевязывал раненого индивидуальным пакетом, коренастый летчик, сняв шлем, вытирал пот, градом катившийся по лицу, и поводил занемевшими от ноши плечами.

— Видели? — угрюмо спросил он наконец, вытерев пот, снова надев шлем и так глубоко надвинув его, словно и сам не хотел ни на кого смотреть и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его глаза.

— Прямо над нами... — сказал Синцов.

— Видели, как сталинских соколов, как слепых котят... — начал летчик. Голос его горько дрогнул, но он пересилил себя и, ничего не добавив, еще глубже надвинул шлем.

Синцов молчал. Он не знал, что ответить.

— Одним словом, переправу разбомбили, мост вместе с танками под воду пустили, задание выполнили,— сказал летчик. — Хоть бы один истребитель на всех дали в прикрытие!

— Ваших двух товарищей нашли, но они мертвые,— сказал Синцов.

— Мы тоже уже не живые,— сказал летчик. — Документы и оружие с них взяли? — добавил он совсем другим тоном, тоном человека, решившего взять себя в руки и умевшего это делать.

— Взяли,— сказал Синцов.

— Лучший штурман полка по слепым и ночным полетам,— сказал летчик, повернувшись к раненому, которого перевязывал Люсин. — Мой штурман! Лучший экипаж в полку был, отдали на съедение ни за грош! — опять срываясь в рыдание, крикнул он и, так же мгновенно, как и в первый раз, взяв себя в руки, деловито спросил: — Поехали?

Раненого штурмана положили в кузов, к задней стенке кабины, чтобы меньше трясло, и подложили ему под ноги кипы газет. Летчик сел рядом со своим штурманом, в головах. Потом сели все остальные. Машина тронулась и почти сразу же круто затормозила.

Это был тот перекресток, где Синцов недавно делился сухарями с часовым. Красноармеец по-прежнему стоял здесь. Увидев возвращавшуюся машину, он выскочил на середину дороги, размахивая гранатой так, словно собирался бросить ее под грузовик.

— Товарищ политрук,— спросил он Синцова голосом, от которого у того похолодело внутри,— товарищ политрук, что же это? Вторые сутки не сменяют... Неужели не будет другого приказа, товарищ политрук?

И Синцов понял, если твердо ответить ему, что другого приказа не будет, что его придут и сменят, он останется и будет стоять. Но кто поручится, что его действительно придут и сменят.

— Я снимаю вас с поста,— сказал Синцов, пытаясь вспомнить, как назло, выскочившую из головы формулу, при помощи которой старший начальник может снять с поста часового. — Я снимаю вас с поста, потом доложите! — повторил он, не вспомнив ничего другого и боясь, что из-за неточно отданного приказа красноармеец не послушается его, останется на посту и погибнет. — Садитесь, поедете со мной!

Красноармеец облегченно вздохнул, прицепил гранату к поясу и полез в кузов машины.

Едва машина тронулась снова, как в небе показались шедшие к Бобруйску еще три ТБ-3. На этот раз их сопровождал наш истребитель. Он высоко взмывал в небо и снова проносился над ними, соразмеряя с их медленным движением свою двойную скорость.

— Хоть эту тройку сопровождают,— сказал Синцову летчик со сбитого бомбардировщика; в его голосе было отрешенное от собственной беды чувство облегчения.

Но не успел Синцов ответить, как из облаков вынырнули два «мессершмитта». Они понеслись к бомбардировщикам, наш истребитель развернулся им навстречу, на встречных курсах свечкой пошел вверх, перевернулся через крыло и, пронесшись мимо одного из «мессершмиттов», зажег его.

— Горит, горит! — закричал летчик. — Смотрите, горит!

Мстительная радость овладела людьми, сидевшими в машине. Даже шофер, оставив на баранке одну руку, высунулся всем телом из кабины. «Мессершмитт» падал, из него вывалился немец, высоко в небе раскрыв купол парашюта.

— Сейчас и второго собьет,— крикнул летчик,— вот увидишь! — Сам не замечая этого, он все время тряс Синцова за руку.

«Ястребок» круто набирал высоту, но второй немец вдруг почему-то оказался уже над ним; снова раздался стук пулеметов, «мессершмитт» вынесся вверх, а наш истребитель, дымя, пошел вниз. От него оторвался черный комочек и с почти неуловимой для глаз быстротой стал падать все ниже и ниже, и лишь над самыми верхушками сосен, когда, казалось, уже все пропало, наконец раскрылся парашют. «Мессершмитт» сделал в небе широкий спокойный разворот и пошел к Бобруйску вслед за бомбардировщиками.

Летчик вскочил на ноги в кузове, он ругался страшными словами и махал руками, слезы текли по его лицу. Синцов видел все это уже пять раз и сейчас отвернулся, чтобы больше не видеть. Он только слышал, как снова издали донесся стук пулеметов, как летчик, скрипнув зубами, в отчаянии сказал «готов» и, закрыв руками лицо, бросился на доски кузова.

Синцов приказал остановить машину. Немецкий парашют еще болтался высоко над головами, наш летчик уже опустился, и на глаз казалось — недалеко, километра за два в сторону Бобруйска.

— Пойдите в лес, поймайте этого фашиста! — сказал Синцов Люсину. — Возьмите с собой бойцов.

— Живым взять? — деловито спросил Люсин.

— Как выйдет.

Синцову было все равно, живым или неживым возьмут немца, хотелось только одного — чтобы, когда сюда придут другие фашисты, он не встретился с ними!

Обоих раненых — штурмана и сидевшего в кабине красноармейца — выгрузили из машины и положили под деревом: охранять их оставили того бойца с гранатами, которого Синцов снял с поста. «Что бы ни случилось, он не бросит раненых»,— подумал Синцов.

Люсин, сержант и остальные красноармейцы пошли в лес ловить немца, а Синцов, взяв с собой летчика и двух милиционеров, погнал машину назад.

Они снова ехали к Бобруйску, напряженно глядя по сторонам, надеясь заметить парашют прямо с машины; им казалось, что он опустился совсем рядом с дорогой.

В это время летчик, которого они искали, действительно лежал в ста шагах от дороги, на маленькой лесной полянке. Не желая, чтобы немцы расстреляли его в воздухе, он хладнокровно затянул прыжок, но не рассчитал до конца и выдернул кольцо парашюта на секунду позднее, чем следовало. Парашют раскрылся почти у самой земли, и летчик сломал обе ноги и ударился о пень позвоночником. Теперь он лежал возле этого пня, зная, что все кончено: тело ниже пояса было чужое, парализованное, он не мог даже ползти по земле. Он лежал на боку и, харкая кровью, смотрел в небо. Сбивший его «мессершмитт» погнался за беззащитными теперь бомбардировщиками; в небе уже был виден один дымный хвост.

На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. За свою недолгую жизнь он не раз бестрепетно думал о том, что когда-нибудь его могут сбить или сжечь точно так же, как он сам много раз сбивал и сжигал других. Однако, несмотря на его вызывавшее зависть товарищей природное бесстрашие, сейчас ему было страшно до отчаяния.

Он полетел сопровождать бомбардировщики, но на его глазах загорелся один из них, а два других ушли к горизонту, и он уже ничем не мог им помочь. Он считал, что лежит на территории, занятой немцами, и со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног, он, человек, о котором, начиная с тридцать седьмого года, с Испании, десятки раз писали газеты! До сих пор он гордился, а порой и тщеславился этим. Но сейчас был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый «фоккер» над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева. Он со злобой и отчаянием думал о том, что, даже если у него достанет сил порвать документы, все равно немцы узнают его и будут расписывать, как они задешево сбили его, Козырева, одного из первых советских асов.

Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя из полковников прямо в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа.

Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов.

Полумертвый, изломанный, лежа на земле, не в силах двинуться с места, он сейчас впервые за последние, кружившие ему голову годы чувствовал весь трагизм происшедшего с ним и всю меру своей невольной вины человека, бегом, без оглядки взлетевшего на верхушку длинной лестницы военной службы. Он вспоминал о том, с какой беспечностью относился к тому, что вот-вот начнется война, и как плохо командовал, когда она началась. Он вспоминал свои аэродромы, где половина самолетов оказалась не в боевой готовности, свои сожженные на земле машины, своих летчиков, отчаянно взлетавших под бомбами и гибнувших, не успев набрать высоту. Он вспоминал свои собственные противоречивые приказания, которые он, подавленный и оглушенный, отдавал в первые дни, мечась на истребителе, каждый час рискуя жизнью и все-таки почти ничего не успевая спасти.

Он вспомнил сегодняшнюю предсмертную радиограмму с одного из этих пошедших бомбить переправу и сожженных ТБ-3, которых нельзя, преступно было посылать днем без прикрытия истребителей и которые все же сами вызвались и полетели, потому что разбомбить переправу требовалось во что бы то ни стало, а истребителей для прикрытия уже не было.

Когда на могилевском аэродроме, где он сел, сбив по дороге встретившийся ему в воздухе «мессершмитт», он услышал в радионаушниках хорошо знакомый голос майора Ищенко, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили. Возвращаемся. Четверых сожгли, сейчас будут жечь меня. Гибнем за родину. Прощайте! Передайте благодарность Козыреву за хорошее прикрытие!» — он схватился руками за голову и целую минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут ли еще на бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с переправочными средствами; ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух.

Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда, вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые и невредимые, это была одна из немногих минут счастья за все последние дни. А еще через минуту он уже вел бой с «мессершмиттами», и этот бой кончился тем, что его все-таки сбили.

С первого же дня войны, когда почти все недавно полученные округом новые истребители, МИГи, были сожжены на аэродромах, он пересел на старый И-16, доказывая личным примером, что и на этих машинах можно драться с «мессершмиттами». Драться было можно, но трудно,— не хватало скорости.

Он знал, что не сдастся в плен, и колебался только, когда застрелиться — попробовать сначала убить кого-нибудь из немцев, если они близко подойдут, или застрелиться заранее, чтобы не впасть в забытье и не оказаться в плену, не успев покончить с собой.

В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он никогда не узнает, как все будет дальше. Да, война застала врасплох; да, не успели перевооружиться; да, и он, и многие другие сначала плохо командовали, растерялись. Но страшной мысли, что немцы и дальше будут бить нас так, как в первые дни, противилось все его солдатское существо, его вера в свою армию, в своих товарищей, наконец, в самого себя, все-таки прибавившего сегодня еще двух фашистов к двадцати девяти, сбитым в Испании и Монголии. Если б его не сбили сегодня, он бы им еще показал! И им еще покажут! Эта страстная вера жила в его разбитом теле, а рядом с ней неотвязной тенью стояла черная мысль: «А я уже никогда этого не увижу».

Жена его, которая, как это свойственно мелким душам, преувеличивала свое место в его жизни, никогда бы не поверила, что он в свой смертный час не думал о ней. Но это было так, и не потому, что он не любил,— он продолжал любить ее,— а просто потому, что он думал совсем о другом. И это было такое великое несчастье, рядом с которым просто не умещалось маленькое и нестрашное в эту минуту горе — никогда не увидеть больше прекрасного лживого лица.

Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так, но он вспоминал перед смертью только войну! Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть, и так, но он перед смертью думал только об одном — о войне. И когда он вдруг, в полузабытьи, услышал голоса и залитыми кровью глазами увидел приближавшиеся к нему три фигуры, он и тут не вспомнил ни о чем другом, кроме войны, и не подумал ничего другого, кроме того, что к нему подходят фаши-

сты и он должен сначала стрелять, а потом застрелиться. Пистолет лежал на траве у него под рукой, он нащупал четырьмя пальцами его шершавую рукоятку, а пятым — спусковой крючок. С трудом оторвав руку от земли, он, раз за разом нажимая на спуск, стал стрелять в расплывавшиеся в кровавом тумане серые фигуры. Сосчитав пять выстрелов и боясь обсчитаться, он дотянул руку с пистолетом до лица и выстрелил себе в ухо.

Два милиционера и Синцов остановились над телом застрелившегося летчика. Перед ними лежал окровавленный человек в летном шлеме и с генеральскими звездами на голубых петлицах гимнастерки.

Все произошло так мгновенно, что они не успели прийти в себя. Они вышли из густого кустарника на полянку, увидели лежавшего в траве летчика, крикнули, побежали, а он раз за разом стал стрелять в них, не обращая внимания на их крики: «Свои!» Потом, когда они почти добежали до него, он сунул руку к виску, дернулся и затих.

Старший из милиционеров, опустившись на колени и расстегнув карман гимнастерки, испуганно вытаскивал документы погибшего, а потрясенный Синцов молча стоял над ним, держась рукой за простреленный бок, стоял, еще не чувствуя боли, а лишь немоту и кровь, проступившую через гимнастерку. Три дня назад он застрелил человека, которого хотел спасти, а сейчас другой человек, которого он тоже хотел спасти, чуть не убил его самого, а потом застрелился и теперь лежит у его ног, как тот сошедший с ума красноармеец на дороге.

Может быть, летчик принял их за немцев из-за серых прорезиненных милицейских плащей? Но неужели он не слышал, как они кричали: «Свои, свои!»?

Продолжая одной рукой держаться за мокрый от крови бок, Синцов опустился на колени и взял у милиционера все, что тот вынул из нагрудного кармана мертвого. Сверху лежала фотография красивой женщины с круглым лицом и большегубым, припухлым, улыбающимся ртом. Синцов твердо знал, что где-то видел эту женщину, но не мог вспомнить ни когда это было, ни где. Под фотографией лежали документы: партийный билет, орденская книжка и удостоверение личности на имя генерал-лейтенанта Козырева.

«Козырев, Козырев...» — все еще не сопоставляя до конца одно с другим, повторял Синцов и вдруг вспомнил все сразу: не только хорошо знакомое со школьных лет лицо этой женщины — лицо Нади, или, как они звали ее в школе, Надьки Караваевой, но и это изуродованное пулей, знакомое по газетам лицо.

Синцов все еще стоял на коленях над телом Козырева, когда появились прибежавшие сюда на выстрелы летчик с бомбардировщика и шофер. Летчик сразу узнал Козырева. Он сел на траву рядом с Синцовым, молча посмотрел и так же молча отдал документы и, больше удивляясь, чем сокрушаясь, сказал всего одну фразу:

— Да, такие дела... — Потом посмотрел на Синцова, который все еще стоял на коленях, прижимая руку к намокшей гимнастерке. — Что с тобой?

— Стрелял... Наверное, думал, что мы немцы,— кивнул на мертвого Синцов.

— Снимай гимнастерку, перевяжу,— сказал летчик.

Но Синцов, выйдя из оцепенения и вспомнив о немцах, сказал, что перевязаться можно потом, в машине, а сейчас надо отнести к ней тело генерала. Оба милиционера, неловко подсовывая руки, приподняли тело Козырева за плечи, летчик и шофер взяли его за ноги, под коленями, а Синцов шел сзади, спотыкаясь, по-прежнему прижимая рану рукой и чувствуя все усиливающуюся боль.

— Надо тебя перевязать,— повторил летчик, когда положили тело Козырева в кузов грузовика и машина тронулась.

Он торопливо, на ходу грузовика, стянул с себя гимнастерку, потом нательную рубашку и, взявшись за подол ее короткими крепкими пальцами, не обращая внимания на возражения Синцова, быстро разорвал ее на несколько полос.

— Сквозная, заживет,— сказал летчик понимающим тоном, задрав на Синцове гимнастерку и обвязывая его лоскутами своей рубашки. — Доедешь, не помрешь. Давай обратно гимнастерку спусти.

Он обдернул на Синцове гимнастерку и туго подпоясал ниже раны. Синцов охнул.

— Черт его знает, как он тебя... — извиняющимся тоном сказал летчик, взглянув на Синцова, на мертвого Козырева и опять на Синцова.

Через несколько минут они доехали до того места, где оставили раненых.

Штурман был в забытьи, раненный в ногу красноармеец лежал на спине и тяжело и часто дышал. Красноармеец с гранатами сидел возле них.

— А где остальные? — спросил у него Синцов.

— Побежали туда,— красноармеец показал в сторону Могилева. — Ветер туда далеко парашют понес. Наверное, поймали. Выстрелы были, я слышал.

Погрузив обоих раненых и красноармейца, поехали дальше.

Летчик настоял, чтобы Синцов сам сел теперь в кабину.

— На тебе лица нет, не будь... — заботливо выматерился он, и Синцов послушался.

Сзади от времени до времени бухала артиллерия, и иногда с порывами ветра доносилась пулеметная стрельба. Проехав два километра, остановились: Люсина и красноармейцев по-прежнему не было видно.

Синцов, с трудом подавив в себе желание проехать еще хоть немножко дальше, снова прислушался к доносившейся сзади стрельбе и сказал, что придется подождать здесь, пока товарищи, ловившие немца, не выйдут из леса.

Сзади по-прежнему слышалась стрельба. Синцов чувствовал на себе вопросительные взгляды, но, решив прождать пятнадцать минут, сидел и ждал.

— Покричите еще раз,— сказал он, когда минутная стрелка подошла к назначенной черте.

Старший из милиционеров уже в который раз рупором приложил руки ко рту и гулко окликнул лес, но лес по-прежнему молчал.

— Проедем еще дальше,— сказал Синцов.

Но дальше им пришлось проехать совсем мало: через полкилометра их остановил вышедший на дорогу лейтенант в танкистской форме. У него было злое лицо и немецкий автомат на груди. За его спиной из придорожной канавы поднялись еще двое танкистов с винтовками наизготовку.

— Стой! Кто такие? — Лейтенант рывком открыл дверь кабины.

Синцов ответил, что он из редакции фронтовой газеты, а сейчас ищет своих людей, которые пошли ловить немецкого летчика.

— А что это за ваши люди, сколько их?

Синцов сказал, что их семеро: младший политрук, сержант и пять бойцов. Почему-то, еще сам не зная почему, он начинал чувствовать себя виноватым.

— Вот-вот, мы их задержали, а они на вас и ссылаются, как вы им дезертировать помогали! — ядовито усмехнулся лейтенант. — А ну, давайте машину с дороги, и к нашему капитану — там разберемся, кто наши, кто ваши и кто вы сами!

Эти слова разозлили Синцова, но все нараставшее чувство своей неосознанной вины удержало его от вспышки. Вместо него взорвался перегнувшийся из кузова летчик.

— Эй, ты,— заорал он на лейтенанта,— поди сюда! Тебе майор говорит! Поди сюда, сунь нос!

Лейтенант смолчал, зло поигрывая желваками, подошел к

борту машины и заглянул внутрь. То, что он увидел там, если не переубедило, то смягчило его.

— Проезжайте сто метров, там съезд в лес будет, свернете! — хмуро, как бы подчеркивая, что ему не в чем извиняться, сказал он Синцову. — Я все равно имею приказ никого не пропускать...

— Портнягин! — окликнул он одного из своих танкистов. — На крыло, проводи до капитана! Стой! — снова задержал он уже тронувшийся грузовик. — Бойцы, из кузова на землю! Здесь останетесь!

Оба милиционера и красноармеец с гранатами выпрыгнули из кузова. Тон приказания не располагал к проволочкам.

— Давай! — махнул лейтенант не столько Синцову, сколько своему стоявшему на подножке танкисту.

Когда грузовик, с треском надламывая своей тяжестью наваленные в кювет ветки, съехал в лес, Синцов увидел две 37-миллиметровые пушки, спрятанные в кустах и повернутые стволами к шоссе. Возле пушек друг против друга, раскинув ноги, сидели два бойца, рядом с ними лежали горка гранат и моток телефонного провода; они связывали гранаты.

Петляя между деревьями, грузовик выехал на маленькую полянку, полную людей. Здесь стояла полуторка, в кузове которой лежали ящики патронов и гора винтовок, рядом с нею стоял закиданный еловыми лапами связной броневичок.

Старшина-танкист, отрывисто подавая команды, строил, вздваивал, поворачивал «кру-гом!» сорок красноармейцев с винтовками. Мелькнули знакомые лица бойцов, ехавших с Синцовым в машине.

У броневичка, облокотившись на ящик полевого телефона, сидел на земле капитан-танкист в шлеме и повторял в трубку:

— Слушаю. Слушаю. Слушаю...

Рядом с ним сидел еще один танкист, тоже в шлеме, а сзади них, переминаясь с ноги на ногу, стоял Люсин.

— Когда же, спрашивается, они связь дотянут? — кладя трубку и вставая, спросил капитан.

Он прекрасно видел и подъехавшую машину, и уже успевших вылезти из нее Синцова и летчика, но задал свой вопрос так, словно никого не видел, и только после этого вцепился глазами во вновь прибывших.

— Я помощник по тылу командира Семнадцатой танковой бригады, а вы кто? — сбив все в одну фразу, отрывисто спросил он.

Хотя он отрекомендовался помощником по тылу, вид у него был совсем не тыловой. Надетый на рослое тело грязный, порванный комбинезон был прожжен на боку, кисть левой руки до

пальцев замотана бинтом с запекшейся кровью, на груди висел такой же немецкий автомат, как у лейтенанта, а лицо было давно не бритое, черное от усталости, с грозно горевшими глазами.

— Я... — первым начал летчик, но вид его слишком ясно говорил, кто он.

— С вами ясно, товарищ майор,— жестом прервал его капитан. — Со сбитого бомбардировщика?

Летчик угрюмо кивнул.

— А вот вы предъявите документы! — Капитан сделал шаг к Синцову.

— Я же вам говорил,— подал голос стоявший сзади капитана Люсин.

— А вы молчите! — не поворачиваясь к нему, через плечо отрезал капитан. — С вас свой спрос! Предъявите документы! — еще грубее повторил он Синцову.

— А вы сначала сами предъявите мне документы! — вспылив от явного недружелюбия капитана, крикнул Синцов.

— Я в расположении своей части предъявлять документы никому не обязан,— в противоположность Синцову неожиданно тихо сказал капитан.

Синцов вытащил свое удостоверение личности и отпускной билет, только сейчас вспомнив, что не успел получить новых документов в редакции. Почувствовав неуверенность, он стал объяснять, как это вышло, но от этого его неуверенность только усилилась.

— Малопонятные документы,— возвращая их Синцову, хмыкнул капитан. — Но, положим, все так, как вы говорите. А зачем вы людей с переднего края в тыл за собой тащите, кто вам на это права дал?

Еще с той минуты, как нечто подобное сказал ему лейтенант на шоссе, Синцов жаждал поскорей объяснить, что это недоразумение. Он стал рассказывать, как к машине выскочили бойцы, как он их взял с собой, чтобы спасти, как потом взял еще одного красноармейца.

Но, к его удивлению, оказалось, что капитан вовсе не считает все происшедшее недоразумением. Наоборот, он именно это и имеет в виду:

— У страха глаза велики! Одним снарядом с танка сразу десять человек свалить, да еще в лесу?.. Враки! Попадали со страха, а старший по команде, вместо того чтобы собрать людей, половину бросил, а сам дал стрекача по шоссе. А вы уши развесили! Так сколько хочешь можно в тыл увезти: одни напугались, другие свою часть в тылу ищут... Надо свои части впереди искать, там, где противник! — Капитан выругался и, облегчив душу, уже

спокойнее сказал, махнув рукой на старшину, занимавшегося с бойцами: — Вон там их в чувство приводят! Приведем — и в бой поведем! А в Могилев каждого паникера возить — в тылу их и без того хватает! Нам люди тут нужны, мне командир бригады приказал к вечеру сколотить триста человек пополнения из тех, кто по лесам шляется, и я их сколочу, будьте покойны! И вашего младшего политрука возьму, и вас,— неожиданно с вызовом добавил капитан.

— Он в бок ранен,— угрюмо, как все, что он говорил, кивнув на Синцова, сказал летчик. — Ему в госпиталь надо ехать.

— Ранен? — переспросил капитан, и в глазах его было недоверчивое желание заставить раздеться и показать рану.

«Не верит»,— подумал Синцов, и душа его похолодела от обиды.

Но капитан теперь уже и сам увидел темное пятно на гимнастерке Синцова.

— Доложите своему политруку,— повернулся он к Люсину,— почему вы отказываетесь остаться и идти в бой. Или вы тоже ранены, но от меня скрывали?

— Я не ранен! — неожиданно визгливо выкрикнул Люсин, и его красивое лицо оскалилось. — И я ни от чего не отказываюсь. Я на все готов! Но у меня есть задание редактора поехать и вернуться, и я без приказания своего старшего по команде не могу своевольничать!

— Ну, как вы ему прикажете? — спросил капитан Синцова. — Положение у нас тяжелое, вот у меня на всю группу даже ни одного политработника нет. Вчера сами из окружения вышли, а сегодня уже пхнули чужую дыру затыкать. Пока я тут людей собираю, там, на Березине, бригада последние головы кладет!

— Да, конечно, оставайтесь, товарищ Люсин, раз хотите,— простодушно сказал Синцов. — Я бы тоже... — Он поднял глаза на Люсина и, только встретившись с ним глазами, понял, что тот вовсе не хотел оставаться и ждал от него совсем других слов.

— Ну, теперь всё,— сказал капитан и строго, в упор повернулся к Люсину: — Идите к старшине, принимайте вместе с ним команду над группой.

— Только вы доложите редактору про это самоуправство и что вы тоже... — крикнул Люсин в лицо Синцову, но не успел закончить фразу, потому что капитан с силой повернул его своей перевязанной рукой и подтолкнул вперед.

— Доложит, не беспокойся! Иди выполняй приказание. Ты теперь у нас в бригаде. А не будешь подчиняться — жизни лишу.

Люсин пошел, горбя плечи, за одну минуту перестав быть стройным и молодцеватым военным, которым он казался до этого,

а Синцов, почувствовав непреодолимую слабость, опустился на землю.

Капитан удивленно посмотрел на Синцова, потом, вспомнив, что политрук ранен, хотел что-то сказать, но телефон издал слабый писк, и он схватился за трубку.

— Слушаю, товарищ подполковник! Одну группу отправил по старому маршруту. Вторую сформировал. Куда? Сейчас отмечу. — Он вытащил из-за пазухи комбинезона сложенную вчетверо карту и, поискав глазами какой-то пункт, сделал резкую отметку ногтем. — Так точно, стоят в засаде. — Синцов понял, что он говорит о пушках у шоссе. — И гранаты на случай связали. Не пустим!

Капитан замолчал и целую минуту слушал что-то со счастливым выражением лица.

— Ясно, товарищ подполковник,— сказал он наконец. — Вполне ясно. А у нас как раз тут... — Он хотел что-то рассказать, но, очевидно, на другом конце провода его оборвали. — Есть закончить разговоры! — сказал он смущенно. — У меня тоже всё.

Он положил трубку на ящик, встал и поглядел в лицо летчику с таким выражением, словно в его силах было сказать что-то радостное этому человеку, у которого только что сгорела машина и на глазах погибли товарищи. И это так и было, он и сказал то единственное, что еще могло сейчас порадовать летчика:

— Подполковник говорит, что вряд ли сегодня можно ожидать прорыва по шоссе. Немцы только небольшую часть танков переправили. Остальных вы за Березиной остановили. Мост в прах разбит, следов не видно.

— Мост в прах, и нас в прах — гордиться нечем! — отрезал летчик, но по его лицу было видно, что он все-таки гордится этим мостом.

— А как вы горели! Мы кулаки зубами рвали! — сказал капитан. Ему хотелось утешить летчика. — Немец тут упал, хотел его живым взять, да где там, разве можно на это людей уговорить после всего, что видели!

— А где он? — с трудом поднимаясь, спросил Синцов.

— Здесь, за елками лежит, да лучше на него не смотреть,— махнул рукой капитан. — Как под танком побывал... — И, посмотрев на бледного от потери крови Синцова, добавил: — Поезжайте, раз вы ранены, я не держу.

— У нас там еще двое раненых в кузове лежат,— словно все еще оправдываясь, сказал Синцов. — И убитый. — Он хотел сказать, что убитый — генерал, но не сказал: к чему? — Пошли,— обратился он к летчику.

— Я, пожалуй, здесь останусь,— сказал тот неторопливо и решительно: он думал об этом все время, пока шел разговор, наконец решил и уже не собирался передумывать. — Винтовку дашь? — спросил он капитана.

— Не дам,— мотнул головой капитан. — Не дам, дорогой сокол! Ну куда ты мне и что это даст? Иди туда,— он ткнул забинтованной пятерней в небо. — От самого Слуцка пятимся, каждый день мучаемся, что вы мало летаете. Иди летай, ради бога,— все, что от тебя требуется! Остальное сами сделаем!

Синцов остановился у машины, ожидая, чем все это кончится.

Но слова капитана мало тронули летчика. Будь у него надежда получить взамен сбитой новую машину, он бы и сам не остался здесь, но этой надежды у него не было, и он решил драться на земле.

— Не даст винтовки — сам достану,— сказал он Синцову, и Синцов понял, что тут нашла коса на камень. — Поезжай, только штурмана в госпиталь доставь по-хорошему.

Танкист промолчал. Когда Синцов сел в кабину, они продолжали молча стоять рядом, танкист и летчик: один — большой, высокий, другой — маленький, коренастый, оба упрямые, злые, раздосадованные неудачами и готовые снова драться.

— А как ваша фамилия, товарищ капитан? — уже из кабины спросил Синцов, впервые за все время вспомнив о газете.

— Фамилия? Жаловаться, что ли, на меня хочешь? Зря! На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Запиши. Или так запомнишь?

Когда машина выезжала из лесу на шоссе, Синцов еще раз увидел снятого им с поста красноармейца; он сидел рядом с двумя другими бойцами и занимался тем же, чем и они: связывал гранаты телефонным проводом по три и по четыре вместе.

До Могилева ехали больше двух часов. Сначала сзади слышалась артиллерийская канонада, потом стало тихо. Не доезжая десятка километров до города, Синцов увидел пушки на конной тяге, разъезжавшиеся на позиции — влево и вправо от дороги, и двигавшуюся по шоссе колонну пехоты. Он ехал как в тумане; ему казалось, что он хочет спать, а на самом деле он время от времени терял сознание и снова приходил в себя.

Над окраиной Могилева высоко в небе барражировали два истребителя. Судя по тому, что зенитки молчали, истребители были наши. Вглядевшись, Синцов узнал МИГи: он видел эти новые машины еще весной в Гродно. Про них говорили, что они намного превосходят по скорости «мессершмитты».

«Нет, все еще не так плохо»,— сквозь усталость и боль подумал Синцов, сам не вполне отдавая себе отчет в том, что уве-

ренность эта у него не столько от вида войск, занимавших позиции перед Могилевом, или зрелища барражирующих над городом МИГов, сколько от воспоминания о задержавших его машину танкистах, о лейтенанте, похожем на своего капитана, и о капитане, наверное похожем на своего подполковника.

Когда полуторка остановилась у госпиталя, Синцов в последний раз собрался с силами: держась за борт, он дождался, пока из кузова вынесли бесчувственного штурмана, стонавшего сквозь сжатые зубы красноармейца и мертвого генерала. Потом он приказал шоферу ехать в редакцию и доложить, что он остался в госпитале.

Шофер закрыл задний борт. Синцов, взглянув на залитые кровью пачки газет, вспомнил, что они так почти ничего и не раздали, и остался один на булыжной мостовой.

В приемный покой он вошел еще сам. Вынул из кармана и положил на стол документы генерала, потом полез за своим удостоверением, достал его, протянул сестре и, дожидаясь, когда она его возьмет, странно повернулся боком и, потеряв сознание, упал на пол.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через две недели после ранения, когда Синцов уже по два раза на дню гулял в госпитальном саду, пришло приказание эвакуировать госпиталь в Дорогобуж. Среди раненых сразу же распространился слух, что немцы переправились через Днепр у Шклова и обходят Могилев с севера.

Ранение, как выразился врач, оперировавший Синцова, было «удачным»: пуля скользнула по ребрам.

Синцов, чувствуя себя почти поправившимся, пошел к замполиту госпиталя просить о выписке. Перспектива эвакуации пугала его. Он не хотел потом еще раз искать свою редакцию.

— Сдается мне, что они уже уехали,— усомнился замполит.

Но Синцов твердо сказал, что этого не может быть. Если б уехали, они забрали бы его с собой, так обещал ему редактор.

По горло занятый эвакуацией раненых, замполит не стал настаивать: в конце концов раз хочет выписываться — пусть выписывается!

К полудню, получив документы и обмундирование, Синцов вышел из ворот госпиталя.

В Могилеве было пустовато и тревожно: на улицах появились баррикады, в заложенных мешками угловых окнах домов стояли пулеметы.

У здания могилевской типографии, где Синцов рассчитывал застать редакцию, стоял не расположенный к разговорам часовой. И двери и железные ворота во двор были наглухо заперты. Изнутри не доносилось не только шума машин, но вообще ни одного звука; все как вымерло.

Через час могилевский военный комендант, тот же самый майор, у которого Синцов был две недели назад, только еще больше обалдевший от бессонницы, подтвердил, что редакция фронтовой газеты уехала два дня назад. «Даже известить не могли», — подумал расстроенный Синцов.

— А куда уехали?

Комендант пожал плечами и сказал, что маршрута ему не докладывали. Штаб фронта переместился в район Смоленска, вслед за ним уехала и редакция.

— Зря раньше времени выписались. Эвакуировались бы с госпиталем в Дорогобуж, а оттуда нормальным порядком искали бы то, что вам надо.

Несладкое предчувствие новых скитаний охватило Синцова.

— Слушайте, а какие вообще части стоят в районе Могилева?

— А зачем вам?

Синцов ответил, что хочет попасть в штаб ближайшей дивизии, побыть в ней и собрать материал для газеты, чтоб потом добираться до редакции, по крайней мере, не с пустыми руками.

Комендант нехотя развернул карту и показал небольшой лесочек на той стороне Днепра, километрах в шести от могилевского моста. Здесь, по его словам, стоял штаб 176-й дивизии.

Уже перейдя мост через Днепр и сделав три километра по шоссе Могилев — Орша, Синцов услышал позади, за Днепром, артиллерийскую стрельбу. Он несколько минут постоял на шоссе, прислушиваясь к тревожным гулам артиллерии, и снова зашагал, продолжая думать все о том же самом, о чем начал думать, выйдя из могилевской комендатуры: что же дальше?

Был штаб фронта под Минском, потом под Могилевом, теперь переехал под Смоленск — это, значит, еще на сто пятьдесят километров ближе к Москве...

Как ни заставляй себя думать об этом спокойно, сама география бьет молотком по голове.

Две недели госпиталя многому научили Синцова. Какие только слухи не бросали его за эти дни из горячего в холодное и обратно! Если верить одному только плохому, давно можно было бы спятить с ума. А если собирать в памяти только хорошее, в конце концов пришлось бы ущипнуть себя за руку: да полно, почему же тогда я в госпитале, почему в Могилеве, почему все так, а не иначе?

Сначала Синцову казалось, что правда о войне где-то посередине. Но потом он понял, что и это не правда. И хорошее и плохое рассказывали разные люди. Но они заслуживали или не заслуживали доверия не по тому, *о чем* они рассказывали, а по тому, *как* рассказывали.

Все, кто был в госпитале, так или иначе прикоснулись к войне, иначе они бы не попали сюда. Но среди них было много людей, которые знали пока только одно — что немец несет смерть, но не знали второго — что немец сам смертен.

И наибольшего доверия среди всех остальных заслуживали те люди, которые знали и то и другое, которые убедились на собственном опыте, что немец тоже смертен. Что бы они ни рассказывали — хорошее или дурное, за их словами всегда стояло это чувство,— это и была правда о войне.

Капитан-танкист, от которого Синцов получил урок в лесу под Бобруйском, был именно из таких людей.

Дело было не в храбрости одного или трусости другого. Просто капитан в тот день глядел на войну другими глазами, чем Синцов. Капитан твердо знал, что немцы смертны и, когда их убивают, они останавливаются. Думая так, он подчинял этому все свои действия, и, конечно, правда была на его стороне. Синцов хотел увезти от опасности бросившихся к нему за спасением людей. Капитан хотел спасти дело, бросив этих людей в бой.

И, конечно, немцы не прорвались тогда к Могилеву именно потому, что и остатки бригады, в которой служил капитан, и все, кто с оружием в руках сбился в тот день вокруг бригады, знали, а кто не знал, узнали в бою, что немцы смертны. Убивая немцев и умирая сами, они выиграли сутки: к вечеру за их спиной развернулась свежая стрелковая дивизия.

Об этом рассказал Синцову редактор, приехавший на второй день навестить его.

Редактор, узнавший о поездке к Бобруйску из уст шофера, хвалил Синцова, тревожился за Люсина и ругал танкиста за самоуправство. У него даже проступили свекольные жилки на дрыгавших от гнева добрых, толстых щеках.

Синцов не разделял чувств редактора. Он знал, что сделал в тот день много глупого, хорошо еще, что его поступки не были продиктованы трусостью. Вдобавок, как всякий, кто лежит в госпитале, часто думая о своем ранении, он не мог отмахнуться от горькой мысли, что летчик мог бы не застрелиться, если б не эти проклятые серые милицейские плащи, похожие на немецкую форму. Он не подумал об этом тогда, а на войне надо думать. И, очевидно, все время.

Не мог он разделить гневных чувств редактора и в истории с Люсиным. Младший политрук Люсин поехал развозить газету, а попал в бой. Ну и что ж, этого могло и не быть, но вышло так. Синцова тревожило только воспоминание о вдруг оскалившемся лице Люсина. Люсин не хотел оставаться, а танкист сказал: «Не подчинишься — жизни лишу!» Чем все это кончилось?

Он попробовал высказать свои мысли редактору, но в ответ услышал:

— Что ж, прикажете мне всех вас в части раздать? Сегодня Люсина, завтра вас, послезавтра еще кого-нибудь?

Последнее было в общем верно, а в частности, когда Синцов вспоминал тот лес, ту минуту и того капитана, казалось, наоборот, совсем неверным.

Он и редактор проговорили целый час, но, кажется, так и не поняли друг друга.

А еще через несколько часов произошло событие, надолго вытеснившее все другие мысли и чувства.

Синцов услышал по радио речь Сталина.

Громкоговоритель висел в коридоре, рядом со столиком дежурной сестры. Его пустили на всю громкость, а в палатах настежь открыли двери.

Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцентом. Один раз, посредине речи, было слышно, как он, звякнув стаканом, пьет воду. Голос у Сталина был низкий, негромкий и мог показаться совершенно спокойным, если б не тяжелое усталое дыхание и не эта вода, которую он стал пить во время речи.

Но, хотя он волновался, интонации его речи оставались размеренными, глуховатый голос звучал без понижений, повышений и восклицательных знаков. И в несоответствии этого ровного голоса трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удивляла: от Сталина и ждали ее.

Его любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любуясь и побаиваясь; иногда не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас необходимей всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны.

Сталин не называл положение трагическим: само это слово было трудно представить себе в его устах,— но то, о чем он говорил,— ополчение, оккупированные территории, партизанская война,— означало конец иллюзий. Мы отступили почти повсюду, и отступили далеко. Правда была горькой, но она была наконец сказана, и с ней прочней стоялось на земле.

А в том, что Сталин говорил о неудачном начале этой громадной и страшной войны, не особенно меняя привычный лек-

сикон,— как об очень больших трудностях, которые надо как можно скорее преодолеть,— в этом тоже чувствовалась не слабость, а сила.

Так, по крайней мере, думал Синцов, лежа ночью на койке и под стоны умиравшего соседа снова и снова вспоминая во всех подробностях речь Сталина и пронзившее душу обращение: «Друзья мои!», которое потом целый день повторял весь госпиталь.

Обычно такие вопросы задают себе в юности, но Синцов впервые задал его себе в тридцать лет, в эту ночь на госпитальной койке: «Как, отдал бы я свою жизнь за Сталина, если б мне вот просто так пришли и сказали: умри, чтобы он жил? Да, отдал бы, и сегодня проще, чем когда-нибудь!»

«Друзья мои...» — повторяя слова Сталина, прошептал Синцов и вдруг понял, что ему уже давно не хватало во всем том большом и даже громадном, что на его памяти делал Сталин, вот этих сказанных только сегодня слов: «Братья и сестры! Друзья мои!», а верней — чувства, стоявшего за этими словами.

Неужели же только такая трагедия, как война, могла вызвать к жизни эти слова и это чувство?

Обидная и горькая мысль! Синцов сразу же испуганно отмахнулся от нее, как от мелкой и недостойной, хотя она не была ни той, ни другой. Она просто была непривычной.

Главным же, что осталось на душе после речи Сталина, было напряженное ожидание перемен к лучшему. И это ожидание как будто начало оправдываться даже скорей, чем думалось,— в первую же неделю.

В сводках каждый день стали повторяться все одни и те же направления, на которых шли ожесточенные бои. Это вызывало повышенное доверие потому, что среди других направлений фигурировало Бобруйское. А на нем немцы действительно уже несколько дней топтались на месте: госпиталь имел об этом сведения из первых рук.

Но потом в госпитальном воздухе потянуло тревогой. Сначала прошел слух, что немцы, не пробившись к Могилеву, повернули от Бобруйска на Рогачев и Жлобин и взяли их. Затем к Синцову вдруг заехал на минуту редактор, спросил о здоровье, сказал, что если редакция будет переезжать, то его возьмут с собой, и уехал с поспешностью человека, не желающего отвечать на вопросы. Наконец в день получения приказа об эвакуации госпиталь заговорил о том, что немцы перешли Днепр у Шклова.

Сейчас Синцов шагал по обочине шоссе, шедшего вдоль Днепра, на север, к этому самому Шклову, и думал о правдивости утренних слухов.

Если они, к несчастью, правдивы, то становился понятным отъезд редакции из оставшегося за Днепром Могилева. Непонятным было другое: неужели у них при этом не нашлось десяти лишних минут, чтобы сдержать слово и забрать его, Синцова, из госпиталя?

Могилев и сейчас, через два дня после отъезда редакции, не производил впечатления города, который собираются сдавать. Почему же такая спешка? Обида только укрепляла Синцова в решении не возвращаться в редакцию без хорошего, боевого материала.

Слабость после ранения уже давала себя знать, а на седьмом километре, там, где, по словам коменданта, должен был стоять штаб дивизии, в лесу виднелись только следы машин, ямы в глинистой земле и ветки наспех разбросанной маскировки. Если тут и стоял штаб, то, судя по этим вялым веткам, он уехал, по крайней мере, сутки назад. Мимо вернувшегося на шоссе Синцова проскочили три грузовика с прицепленными к ним противотанковыми пушками, потом колонна с боеприпасами и еще один грузовик с пушкой. Синцов нерешительно поднял руку, но ни одна машина не остановилась.

Потом мимо пронеслась «эмочка». Синцов уже подумал, что и она не остановится, но она проехала сто метров и стала. Синцов, тяжело дыша, подбежал к ней.

— Что вам, товарищ политрук? — спросил его сидевший рядом с шофером маленький плотный батальонный комиссар, краснолицый, седобровый, в толстых двойных очках.

Синцов объяснил, что ищет штаб 176-й дивизии. Батальонный комиссар, прежде чем ответить, с малообнадеживающим видом попросил предъявить документы.

«Не возьмет»,— подумал Синцов. Но лицо батальонного комиссара, прочитавшего госпитальную справку, смягчилось.

— В Сто семьдесят шестой я тоже должен быть,— сказал он, возвращая справку,— но завтра, а сейчас еду в Триста первую. Могу подвезти туда.

Синцова это устраивало. Он поблагодарил и влез в машину. Они проехали молча с километр, потом батальонный комиссар остановил машину и пересел на заднее сиденье.

— Так веселей будет,— объяснил он, когда они снова поехали. — А то разговаривать — все время головой вертеть, а не разговаривать я не умею,— мягко улыбнулся он и протянул Синцову руку. — Шмаков.

Шмаков и в самом деле оказался разговорчивым человеком. Задавая свои быстрые вопросы, он забавно, по-птичьи, клал свою белую голову на левое плечо и через очки с внимательным добро-

желательством посматривал на Синцова, как бы приговаривая: «Ну-ка, ну-ка, что вы мне такого интересного скажете?» А когда говорил сам, все время снимал очки, протирал их, прежде чем надеть, внимательно смотрел на свет, найдя пылинку, снова протирал и снова смотрел на свет; глаза его без толстых очков были совсем больные, красные, с припухшими веками.

Синцов отвечал на вопросы неохотно, не вдаваясь в особые подробности: что на войне с шестого дня, что был в разных местах, а ранен под Бобруйском при случайных обстоятельствах. Кажется, Шмаков быстро понял, что у его собеседника смутно на душе, он перестал расспрашивать Синцова и заговорил о себе: что призван в армию всего неделю, приехал на фронт вчера как лектор ПУРККА и это его первая поездка в части.

— И какие же вы лекции будете читать здесь, на фронте? — спросил Синцов, подумав про себя, что лично ему уже поздно слушать теперь лекции.

— Вообще-то я по специальности экономист. — Шмаков не заметил или не пожелал заметить иронии, прозвучавшей в вопросе Синцова. — А темы разные: «Война и международная обстановка», «Военно-экономический потенциал Германии» — ну, и, конечно, более общие темы.

— А военное образование у вас есть? — спросил Синцов.

— Как вам ответить? — Шмаков снова протер очки и внимательно посмотрел их на свет, словно заглядывая куда-то далеко, в прошлое. — Как многие коммунисты моего возраста, был когда-то, в гражданскую войну, политработником. А впрочем, строго говоря, это скорей опыт, чем образование.

«Да, опыт,— горько подумал Синцов. — Что-то пока не видно, чтобы нам помогал этот опыт. Немцы не белые, а Гитлер не Деникин...» И с яростью вспомнил прочитанный два года назад роман о будущей войне, в котором от первого же удара наших самолетов сразу разлеталась в пух и прах вся фашистская Германия. Этого бы автора две недели назад на Бобруйское шоссе!

Все эти мысли разом пронеслись у него в голове, но он ничего не сказал вслух, а только вздохнул.

— Тяжело вам пришлось? — услышав этот вздох, чутко спросил Шмаков.

— Мне-то что! — искренне ответил Синцов. — А вообще до того иногда тяжело... — И, почувствовав доверие к сидевшему рядом с ним маленькому седому человеку, горестно махнул рукой.

— Ничего,— сказал Шмаков и даже чуть притронулся к рукаву Синцова, словно успокаивая его. — Понемногу сдерживаем, потом остановим, создадим перелом; бывало и хуже: Юденич под

Петроградом, Деникин Орел взял, на Москву шел... Ничего, в конце концов переломили.

— У Деникина авиации и танков не было,— вырвалось у Синцова.

— Верно, или, точней, почти верно,— согласился Шмаков, снова не заметив или сделав вид, что не замечает его настроения,— но и у нас многого не было из того, что есть сейчас: пятилеток не было, четырех миллионов коммунистов не было...

«Чего он меня агитирует?» — подумал Синцов с раздражением. Его душа искала успокоения, но противилась соблазну слишком легко принимать на веру то, что могло ее успокоить.

— Конечно,— помолчав, сказал Шмаков,— мы перед войной и хвастались, и кое-что преувеличивали, в том числе свою готовность к войне,— это теперь совершенно ясно. Но это не значит, что мы должны броситься в другую крайность и под влиянием первых неудач преуменьшать свои потенциальные силы. Они у нас громадны и до конца не учтены даже нами, а уж тем более немцами. Я говорю об этом вполне уверенно, потому что знаю вопрос.

— Да что же преуменьшать? — сказал Синцов. — Разве кому-нибудь из нас охота преуменьшать? Просто навидался всякого, и петь «Все хорошо, прекрасная маркиза...» что-то неохота.

— Да, песня, прямо скажем, не большевистская,— рассмеялся Шмаков,— а мы большевики, пора с ней кончать.

— Вы давно из Москвы? — подумав о Маше, спросил Синцов.

— Три дня.

— Бомбили?

— Нет.

— Правда?

— Я вообще имею привычку говорить только правду,— ответил Шмаков неуловимо изменившимся голосом и посмотрел сквозь очки прямо в глаза Синцову.

— А почему не бомбят, как по-вашему?

— Потому что на все сил не хватает. Бросили всю авиацию на фронт, а на Москву летать — не хватает.

— Так уж и не хватает?

— Не хватает. И вообще не надо представлять себе, что у немцев неисчерпаемые силы: некоторые из нас уже кинулись в эту крайность — и зря! От нее недалеко до паники, а для паники у нас нет причин, да и не в нашем она характере, хотя в семье не без урода,— заключил Шмаков все с той же твердой нотой в своем мягком голосе.

И, хотя все сказанное сейчас Шмаковым очень походило на косвенный выговор, Синцов с благодарностью посмотрел на него.

В словах Шмакова чувствовалась убежденность, далекая от незнания истинного положения вещей.

— Значит, спокойно в Москве? — спросил он вслух.

— Как сказать! — Шмаков пожал плечами. — Навоз, конечно, всплывает. А в целом,— подумав, подытожил он,— нормально. — И, словно еще раз прикидывая, совершенно ли честно ответил, опять задумался и повторил: — Да, нормально!

Едва он сказал эти слова, как навстречу их машине с бешеной скоростью промчалось несколько грузовиков. В последнем, до пояса высунувшись из кабины, ехал всклокоченный человек без фуражки и оглушительно кричал:

— Там танки, танки!

Шофер, не останавливая машины, вопросительно повернулся к Шмакову; лицо у него было испуганное.

— Поехали,— спокойно сказал Шмаков,— нам еще километр до штаба дивизии. Паника какая-то, не может быть...

Синцов промолчал. Нежелание показать себя осторожней этого человека пересилило здравый смысл.

— Не может быть,— через полкилометра повторил Шмаков. — Мне сказали, что наши войска держат оборону по всему Днепру, откуда же на этой стороне могут быть немецкие танки?

Синцов снова промолчал. «Откуда могут быть? — подумал он. — А черт их знает, откуда они могут быть!»

— Вот где-то здесь, направо, должен быть поворот к штабу дивизии,— сказал Шмаков, близоруко приближая к самым глазам планшет с засунутой под целлулоид картой. У него была непоколебимая уверенность впервые ехавшего на фронт человека, что все находится именно там, где это отмечено на карте. — Сейчас остановимся, посмотрим, наверно, есть какой-нибудь указатель.

Но не успел он приказать шоферу остановиться, как тот затормозил сам. Вдалеке, прямо на дороге, один за другим начали рваться снаряды. Дорога, которая до этого была почти пуста, оказалась сразу загроможденной машинами: одни неслись навстречу, другие, подошедшие сзади, поспешно разворачивались. Шофер «эмки», не ожидая приказаний, тоже стал разворачивать машину и вдруг при новом грохоте снаряда ринулся из машины в кювет.

Синцов распахнул уже дверцу, чтоб выскочить и вернуть шофера, но Шмаков вышел из положения проще.

— Сидите,— спокойно удержал он Синцова за плечо и сам, быстро пересев за руль, развернул «эмку» и поставил ее на обочину. Он сделал это как раз вовремя: еще несколько секунд — и их бы смяли несшиеся без оглядки грузовики.

— А теперь вылезем. — Шмаков подошел к кювету и окликнул лежавшего там шофера по фамилии: — Товарищ Солодилов!

Шофер поднялся, испуганно моргая.

— Идите садитесь за руль,— приказал Шмаков.

Шофер понуро вернулся в машину, а Шмаков, не садясь, как-то странно затоптался возле нее на месте, поглядывая вперед, туда, где продолжали рваться снаряды.

Синцов испытал знакомое чувство неприкаянности.

— Слушайте, товарищ батальонный комиссар,— сказал он, преодолевая нежелание первым заговорить о том, что нужно ехать обратно,— давайте вернемся километра на два — на три. Я видел: там по обочинам стоят противотанковые орудия. Найдем кого-нибудь из командиров и узнаем, можно ли проехать в Триста первую.

Говоря так, он боялся, что Шмаков, показавшийся ему при внешней мягкости упрямым человеком, не согласится и они поедут вперед, в неизвестность. Но Шмаков, выслушав его и посмотрев на стоявший впереди над дорогою дым, сел в машину.

— Понимаете, даже нагана нет, не удосужились выдать,— сказал он, словно оправдываясь в том, что согласился поехать назад.

«Как же, очень помог бы тебе твой наган!» — подумал Синцов, забыв о том, как сам нервничал в первый день без оружия.

— Значит, командиров бросили, а сами сбежали,— сказал Шмаков, облокачиваясь о спинку переднего сиденья и сбоку заглядывая в лицо шоферу.

— Что же, судите, раз виноват,— глухо ответил тот, не поворачиваясь.

— Что ж вас судить, просто стыдно — и все. Вы комсомолец?

— Комсомолец,— так же глухо сказал шофер.

— Тем более стыдно,— сказал Шмаков. — У меня сын комсомолец, я бы от стыда сгорел, если б узнал, что он поступил так, как вы.

— А где он, ваш сын? — тихо спросил шофер, и Синцов понял, что все предыдущие слова Шмакова будут для шофера пустым звуком, если Шмакову придется ответить, что сын его где-то в тылу.

— Мой сын был летчиком, бортстрелком. Он убит неделю назад. А что?

— Ничего,— совсем тихо сказал шофер.

— Стоп! — воскликнул Синцов, следивший за дорогой.

Они остановились у поставленного в кювете противотанкового орудия, которое издали казалось выползшим из леса на шоссе островком кустарника. Рядом с орудием сидел полковник без фуражки, с коротко остриженной седой головой и пил чай из термоса.

— Продерните машину на двести метров дальше,— вместо приветствия сказал он, когда Шмаков и Синцов вылезли из машины,— а потом будем разговаривать!

Шмаков приказал шоферу проехать вперед и, кивнув на север, сказал полковнику, что там, километрах в четырех, немцы обстреливают шоссе.

— Очень может быть,— сказал полковник, вставая и завинчивая термос.

Выслушав этот спокойный и, как показалось Синцову, насмешливый ответ, Шмаков спросил, не знает ли товарищ полковник, где находится штаб хоть какой-нибудь дивизии.

— Штаб хоть какой-нибудь дивизии? — все так же насмешливо переспросил полковник. Он надел фуражку и, застегнув на термосе брезентовый чехол, повесил его через плечо. — Если хоть какой-нибудь, так поедемте в нашу.

— А какая ваша? — спросил Шмаков.

— А вы кто будете?

Шмаков предъявил удостоверение. Полковник мельком заглянул в него и сказал, что он начальник артиллерии 176-й дивизии, проверял здесь противотанковую оборону и едет обратно в штаб.

— А как проехать в Триста первую? — сейчас же спросил Шмаков.

Полковник пожал плечами и сказал, что штаб 301-й был километрах в восьми к северу, но раз дорогу обстреливают немцы, то до выяснения обстановки туда, пожалуй, нет смысла ехать. И в этом «пожалуй» опять проскользнула спокойная насмешка.

— А мне говорили, что штаб Триста первой ближе, в четырех километрах отсюда,— сказал дотошный Шмаков.

Полковник снова пожал плечами.

— Когда говорили и где говорили?

— В политотделе армии, вчера.

— Поменьше верьте тому, что вам говорили вчера, товарищ батальонный комиссар, не то без учета фактора времени проведете остаток дней в плену. А с белой головой, как у меня и у вас, попасть в плен уж вовсе глупо. Вы тоже лектор? — полуобернулся полковник к Синцову.

— Нет, я из фронтовой газеты.

— А... — без всякого выражения сказал полковник и зашагал к машине длинными, журавлиными ногами в хромовых сапогах со шпорами.

Синцов, Шмаков и сопровождавший полковника капитан — командир дивизиона,— еле поспевая, пошли за ним.

— Скажите коноводу,— садясь на переднее сиденье машины, обратился полковник к капитану,— чтобы привел мою лошадь к штабу.

— Как у вас положение в дивизии? — спросил Шмаков, когда они поехали.

— Положение? — Полковник повернулся и насмешливо приподнял брови. — Положение в целом положено знать только господу богу и командиру дивизии, а я со своей артиллерийской колокольни сужу так: раз пушки есть и снаряды вчера наконец получили, значит, будем драться. Вчера при попытке переправиться перебили роту немцев и потопили шесть понтонов, но это еще не бой.

— Я, когда вышел из Могилева,— сказал Синцов,— слышал за южной окраиной артиллерийский бой.

— Что ж,— сказал полковник. — Значит, Серпилин уже дерется. Вчера с наблюдательного пункта было замечено сосредоточение танков. Но точно не могу сказать, я с утра здесь. А вообще скоро все вступим в бой, деваться некуда.

Синцову нравилось насмешливое профессиональное спокойствие этого человека, который, до вчерашнего дня не получая снарядов, наверное, волновался, а сейчас перестал и говорил о предстоящих боях, словно хозяин стоя перед накрытым столом, на котором все готово.

Штаб дивизии оказался не там, где его показывал по карте могилевский комендант, а в редком сосновом лесу, на километр ближе. Посередине леса, под большой сосной, за раскладным столиком, на раскладном стуле сидел грузный, обливавшийся потом от жары полковник в расстегнутой на волосатой груди гимнастерке с двумя орденами. Это и был командир дивизии.

Узнав, что Синцов из фронтовой газеты, полковник почему-то тяжело вздохнул и сказал, что корреспонденты не по его части, пусть Синцов дожидается здесь замполита или едет в политотдел.

— А я тут ни при чем, я уже ученый! — сердито крикнул полковник. — Да, да, ученый! — И на его толстом лице появилось такое свирепое выражение, словно Синцов в чем-то виноват перед ним.

Синцов отошел и посмотрел на часы. Был седьмой час, и он решил дождаться замполита.

— Я еду в политотдел,— сказал, подойдя к нему, Шмаков. — Как вы?

— Подожду здесь. — Синцов пожал руку Шмакову в полной уверенности, что уже никогда больше не увидит этого человека.

— Может быть, закусить хотите? — сказал, проходя мимо Синцова, седой полковник-артиллерист, с которым они ехали в машине. — За лесом моя батарея, артиллеристы вас накормят, скажите, что я приказал.

— Спасибо. — Синцов хлопнул рукой по сумке. — У меня тут все есть.

Действительно, у него в сумке лежали выданная в госпитале банка мясных консервов и краюха хлеба.

— Что, к нашему обратились, а он послал вас куда подальше? — Полковник, насмешливо подняв брови, кивнул в сторону шумевшего за своим раскладным столиком командира дивизии.

— Вроде того.

— Не обижайтесь, надо войти в положение человека. К нам на финской один корреспондент приехал и что-то сказал ему поперек, а он у нас на расправу скор — дал с ходу десять суток ареста. А тот потом, на беду, писателем оказался, да еще известным. Он это нашему объяснял, когда тот его под арест сажал, но наш не внял, он у нас изящной литературы не читает. Советую замполита дождаться. И еще дал бы вам совет...

Но какой совет собирался дать насмешливый начальник артиллерии, Синцов так и не узнал: в лесу разорвался сначала один тяжелый снаряд, потом целая серия, и все — Синцов, и начальник артиллерии, и командир дивизии — полезли в вырытые между сосен желтые песчаные щели. Немцы били не по штабу, а по той самой поставленной за лесом батарее, куда полковник приглашал Синцова перекусить,— это выяснилось из диалога между залезшим в одну щель с Синцовым насмешливым артиллеристом и толстым командиром дивизии, сидевшим в другой щели, метрах в двадцати от них.

— Нашли где батарею поставить! — кричал командир дивизии, высовываясь из своей щели после разрыва.

— Разрешите доложить! — тоже высовываясь из щели и прикладывая руку к козырьку, кричал ему в ответ начальник артиллерии. — Я вам уже докладывал, когда вы сюда КП перенесли!..

Разрывался новый снаряд, и оба полковника ныряли в щели.

— Нечего было мне докладывать! — снова высовываясь из щели, багровея, кричал командир дивизии. — Надо было без докладов переместить, раз я КП перенес...

— Разрешите доложить,— снова прикладывая руку к козырьку, кричал начальник артиллерии,— что я вам докладывал и вы сами приказали не перемещать, потому что...

Новый свист снаряда, новый разрыв, оба снова ныряли в щели и выскакивали из них.

— Я вас не спрашиваю, как и почему,— кричал командир дивизии,— а приказываю вам!..

В очередной раз нырнув в щель рядом с полковником-артиллеристом, Синцов улыбнулся, несмотря на серьезность положения. Артиллерист заметил его улыбку и по-мальчишески подмигнул.

Налет кончился так же внезапно, как и начался. На весь лес оказалось лишь несколько легкораненых.

— Приказываю немедленно переместить батарею! — кричал командир дивизии, с трудом вылезая из щели и отряхивая от песка толстые колени.

— Есть переместить батарею!

Но командир дивизии уже не смотрел на артиллериста, а кричал кому-то еще, чтоб подали машину, он поедет к Серпилину!

— Серпилин, Серпилин! — орал он через минуту в телефон. — Я Зайчиков!.. Как ты там, Серпилин? Сейчас я к тебе еду, давай не теряйся! — Кажется, ему докладывали по телефону что-то хорошее. — Лупи их, Серпилин, в бога мать, как мы с тобой белых лупили!.. Сейчас еду к тебе! — весело, на весь лес орал полковник.

Едва уехал командир дивизии, как началась стрельба из малокалиберных пушек и пришло телефонное донесение, что немецкие танки вышли на шоссе в трех километрах от штаба.

Полковник-артиллерист сел на полуторку и уехал на шоссе, к своим пушкам. Синцов кинулся было к нему, но в последнюю секунду дрогнул и остался. И, хотя сделал перед самим собой вид, что хотел поехать и не успел, в глубине души знал, что струсил. Через минуту, взяв себя в руки, он уже действительно решился ехать, но теперь было не с кем. Он подошел поближе к столику, за которым сидел оперативный дежурный, и прислонился к толстой сосне.

Сообщения по телефону были все тревожнее: танки в двух километрах, в полутора, в километре...

Оперативный дежурный и еще какой-то майор распорядились разобрать гранаты и приготвить бутылки с бензином.

Бутылки с бензином приготовили, но выяснилось, что почти ни у кого нет спичек. Несколько минут, забыв о танках, все искали по карманам коробки и делили спички.

С шоссе донесся гул моторов, потом шквальная артиллерийская стрельба, и вдруг все смолкло.

Оперативный дежурный вытер пот со лба, положил на столик громко стукнувшую в тишине трубку и сказал, что все в порядке: прорвавшиеся танки уничтожены артиллерией.

А еще через пять минут в лес, петляя между деревьями, въехал пикап, и из кабины выскочил человек, которого Синцов меньше всего ожидал тут встретить. Это был его однокашник еще по КИЖу, известный московский фоторепортер Мишка Вайнштейн, теперь одетый в военную форму, а в остальном совершенно такой же, как до войны,— толстый, веселый, шумный, с двумя «лейками» на груди.

— Здорово, Мишка! — обрадовался Синцов, тряся обеими руками тяжелую, как гиря, руку своего старого приятеля, которого ни раньше, ни теперь иначе, как Мишкой, никто и не называл.

— Здорово, здорово! — ухмыляясь, отвечал Мишка и вытирал свободной рукой пот, лившийся с его круглого, как сковородка, лица. — Когда ты сюда подскочил?

«Подскочил» было его любимое словцо.

— А ты-то откуда подскочил? — глядя на Мишкину физиономию и тоже невольно смеясь, спросил Синцов.

— Еду, понимаешь, по шоссе, увидел, как по немецким танкам бьют, подскочил и снял. Три танка разделали, как бог черепаху, только далеко друг от друга стоят. Ну ничего, если один к другому подклеить, а природу вырезать, панорама будет — во! — и Мишка показал большой палец.

— А сюда чего приехал?

— А мне сказали, что тут штаб дивизии. Решил заехать, спросить, куда еще можно подскочить.

— За Днепром, под Могилевом, сейчас донесли, уже двадцать танков подбито,— сказал оперативный дежурный.

— Вот это будет панорама! Сядем на пикап, подскочим? — повернулся Мишка к Синцову.

— Ну что ж...

— Без провожатого КП Серпилина не найдете,— снова вмешался в разговор оперативный дежурный.

— Я все найду,— сказал Мишка. — Только уже темновато для съемки. — Он поглядел в начинавшее сереть небо, недовольно покрутил носом и, окончательно поняв, что природы не переспоришь, сразу успокоился и отпустил свой пикап заправляться. — Слушай,— он сел на землю рядом с Синцовым,— у тебя подхарчиться нечем? С утра не ел, честное пионерское!

Синцов молча расстегнул полевую сумку и вытащил хлеб и консервы. Он знал, что, пока Мишка голоден, его бесполезно расспрашивать.

Мишка вытащил нож, одним округлым движением вырезал крышку банки и стал жадно жевать консервы, подцепляя их ножом и заедая здоровенными кусками хлеба. Только уничтожив три четверти банки, он с набитым ртом повернулся к Синцову:

— А ты-то ел?

— Нет.

— На. — Мишка с сожалением подвинул ему банку и остатки хлеба. — Вот всегда я так, забываю товарищей, просто неудобно.

Синцов взял из рук Мишки нож, остатки консервов и улыбнулся.

— Ну, как там Москва? — спросил он, когда Мишка прожевал тот последний кусок мяса, который он все-таки не удержался и подцепил ножом, уже передавая банку Синцову.

— Скажешь, вру, но Москвы я не видел. Два раза подскакивал с фронта на несколько часов: сдать фото — и обратно. Да, знаешь,— вдруг весело вспомнил он,— Ковригина из «Звезды» под Минском убило. Хороший был парень, жалко!

Ковригина ему было действительно жалко, но он был очень рад, что снял сегодня танки, и говорил обо всем в одинаково радостном тоне. В этом же тоне он стал рассказывать и о своих поездках на фронт.

Перебив его, Синцов спросил, как он после всех поездок смотрит на общее положение.

Но Мишка никак не смотрел на общее положение: что фашисты нам, как он выразился, крепко прикладывают — это он видел своими глазами, а что мы все равно побьем их, нисколько не сомневался.

Говорить на серьезные темы ему не хотелось, и он откровенно обрадовался, увидев свой вернувшийся с заправки пикап.

— Харчи достал? — спросил он шофера.

Шофер вытащил из пикапа буханку хлеба. Мишка отломил половину и снова стал есть. А Синцов пошел представляться вернувшемуся с передовой заместителю командира дивизии.

Замполит был плотный, длинноносый украинец с большими вислыми усами, делавшими его больше похожим на командира, чем на политработника. Он хмуро, но терпеливо выслушал Синцова и сказал, что не знает, где на сегодняшний день Политуправление фронта: фронт переместился, но штаб армии стоит под Чаусами, и там Синцову, наверно, скажут, где Политуправление фронта.

Синцов объяснил ему, что, прежде чем ехать в армию, хочет завтра вдвоем с фотокорреспондентом побывать за Днепром, в том полку, где сегодня подбили много немецких танков.

Замполит отнесся к этому предложению все с тем же хмурым терпением и сказал, что он сам оттуда, но ехать туда лучше с ночи: днем можно и не проехать. А если ехать ночью, то надо взять на машину провожатого.

— Ничего, мы уже старые фронтовики, сами доедем, товарищ полковой комиссар,— дожевывая хлеб, развязно сказал Мишка и вразвалочку подошел к замполиту.

— Старые вы или молодые — не знаю, а без провожатого не поедете! — отрезал тот. — Сейчас мой инструктор политотдела поест и поедет с вами. Будете только фотографировать или писать?

— И то и другое,— сказал Мишка.

— Будете писать,— обращаясь к Синцову и игнорируя Мишку, все тем же хмурым тоном сказал замполит,— дислокацию частей не раскрывайте. И так немцы слишком много знают, как в воду смотрят, мать их!.. — неожиданно выругался он; хотя он вернулся из полка после удачного боя, но, очевидно, его угнетало что-то такое, о чем он не говорил.

— Товарищ полковой комиссар, командир партизанского отряда приехал,— подойдя к замполиту, доложил молодой политрук.

— Хорошо. А вы сейчас поешьте и поедете обратно к Серпилину вот с ними, на их машине,— замполит кивнул на Синцова и Мишку, повернулся к слезшему с лошади белокурому красивому парню в кожаной куртке, с маузером и гранатами у пояса, и пошел вместе с ним в глубь леса.

Через час пикап, тихонько постукивая досками, миновал днепровский мост и въехал в Могилев. Напротив госпиталя, где еще утром лежал Синцов, у тротуара стояли грузовики, и к ним длинной вереницей, тихо, друг за другом, плыли на руках носилки с тяжелоранеными. На следующем перекрестке, накрывшись плащ-палатками, дремали у зениток орудийные расчеты.

Все в городе делалось как-то особенно тихо: тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу; во всем чувствовался обрадовавший Синцова порядок. Пока они ехали через мост и по городу, их задержали один за другим три ночных патруля.

Наконец, уже на самой окраине Могилева, политрук остановил машину у одноэтажного домика.

— Сейчас я справлюсь, не переехал ли Серпилин,— сказал политрук, предъявил документы часовому и скрылся в воротах дома.

За плотно занавешенными окнами слышались голоса. Через минуту политрук вышел обратно.

— Здесь оперативная группа дивизии, и командир дивизии сейчас здесь,— тихо сказал он Синцову, и тот вспомнил грузного полковника, кричавшего по телефону: «Я еду, еду к тебе, Серпилин!»

— А где Серпилин? — спросил Синцов, который так часто слышал сегодня от разных людей эту фамилию, что казалось, он уже почти знаком с этим человеком.

— На прежнем месте,— сказал политрук.

Они миновали последние дома окраины, свернули па мощеную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо.

— Порядок! — сказал Мишка.

— Где войска, там и порядок,— отозвался политрук.

Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, а второй, с винтовкой наперевес,— сзади. Синцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщения, долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и наконец уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел с очень высоким человеком, таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху.

— Кто вы такие? — спросил он.

Мишка бойко ответил, что они корреспонденты.

— Какие корреспонденты? — удивился высокий. — Какие корреспонденты могут быть здесь в двенадцать ночи? Кто ездит ко мне в двенадцать ночи?

При словах «ко мне» Синцов понял, что это и есть Серпилин.

— Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим ваши личности! Кто вас сюда прислал?

Синцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии.

— А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра,— упрямо повторил разговаривавший с ними человек,— а утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположение моего полка неизвестных мне людей.

Не ожидавший такого оборота и оробевший сначала, политрук наконец подал голос:

— Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете...

— Да, вас я знаю,— сказал комбриг.— Только потому и не положу всех до утра на землю! Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты,— совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он,— знаете, какое сложилось положение, поневоле приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: «Диверсанты, диверсанты!» А я не желаю, чтоб в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь.

Синцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руки и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего три часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил тридцать девять немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высоким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Синцов по голосу никак не дал бы этому высокому человеку больше тридцати лет. Синцов слушал и недоумевал: почему этот человек с молодым голосом находится в давно отмененном старом звании комбрига и почему, находясь в этом звании, командует всего-навсего полком?

— Твердят: «Танки, танки»,— говорил Серпилин,— а мы их били и будем бить! А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите, у меня в полку двадцать километров одних окопов и ходов сообщения нарыто. Точно, без вранья! Завтра будете свидетелями: если они повторят, и мы повторим! Вот один стоит, пожалуйста! — И он показал на видневшийся невдалеке черный бугор.— Сто метров до моего командного пункта не дошел, и ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать, уши не прижимает.

Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Синцову и Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение десяти дней по шоссе, которое оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения.

— Много паникеров среди этих окруженцев! — небрежно сказал Мишка.

И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытавшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига.

— Да, паникеров немало,— согласился он. — А что вы хотите от людей? Им и в бою страшно бывает, а без боя — вдвое! С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге — а на него танк! Бросился на другую — а на него другой! Лег на землю — а по нему с неба! Вот вам и паникеры! Но на это надо трезво смотреть: девять из десяти не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок, поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся, радости от такого мало, только смотришь и думаешь: хоть бы уж они все поскорей через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут, они еще воевать будут, но наше-то положение трудное! Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение,— наконец заключил Серпилин. — Сегодняшний бой — доказательство этому. Доволен им, не могу скрыть! С утра волновался, как невеста на выданье: двадцать лет не воевал, первый бой не шутка! — а сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив! — с каким-то даже вызовом повторил он. — Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас?

— При нас.

— Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайте внимания: просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. — Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу.

— У этого не подхарчишься,— полуосуждающе, полуодобрительно сказал Мишка, когда они с Синцовым завернулись в шинели и легли на траву.

Синцов долго молча смотрел в затянутое тучами небо, на котором не осталось ни одной звезды. Он заснул и, как ему показалось, уже через несколько минут услышал ожесточенную пулеметную трескотню. Сквозь дремоту он слышал, как она то утихала, то усиливалась, то слышалась там, где началась, то совсем в другом месте.

— Слушай, Мишка,— проснувшись от ощущения, что стрельба окружает их со всех сторон, толкнул Синцов в бок храпевшего Мишку.

— Ну? — сонно ответил тот.

— Слушай, странно, стрельба началась впереди, у ног, а теперь уже где-то сзади, у головы...

— А ты перевернись,— сквозь сон сострил Мишка и снова захрапел.

Когда Синцов проснулся, небо над головой было синее-синее, сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут то зажмуривая, то открывая глаза, Синцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал «лейку».

— Какой день, ты только посмотри! — радостно сказал Синцов.

Из землянки, низко пригнувшись в двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Синцов. Серпилину было на вид лет пятьдесят, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые, седоватые пряди зачесанных на косой пробор волос только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и два ряда стальных зубов во рту.

— Как отдохнули? — приглаживая и без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки.

— Спасибо, хорошо,— ответил Синцов.

— Хотелось бы танки поскорее снять,— нетерпеливо сказал Мишка. — В редакции танки нужны, как хлеб!

— Сейчас освободится командир батальона капитан Плотников, пойдете с ним в его батальон: он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть? А то потом буду занят службой.

— Скажите, товарищ комбриг,— бойко спросил Мишка,— почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?

— А зачем он нам, этот мост? — спросил Серпилин тоном, который Синцов запомнил на всю жизнь.

— Как зачем? — пожал плечами Мишка. — А если туда обратно придется? — и он показал пальцем в сторону Днепра.

— Не придется,— сказал Серпилин. — Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают: роют, роют, а потом... — Он махнул рукой. — А мы вот нарыли и не оставим. И до других нам дела нет!

Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи; фраза была неправильной, он и сам так не думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Синцов, ни Мишка, он знал, что слева и справа от Могилева немцы уже форсировали Днепр и если в ближайшие

часы не придет приказ отступить, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он десять дней и десять ночей укреплялся не за страх, а за совесть, его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь, он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же, тогда и будет выиграна война.

— Как вы думаете, товарищ комбриг,— спросил Синцов,— что будет сегодня: бой или тишина? — Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе.

— Боюсь, что тишина,— подумав, ответил Серпилин,— боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабей. Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев, они неплохие тактики,— добавил он с каким-то непонятным для Синцова вызовом и усмехнулся жестко и напряженно чему-то, о чем вспомнил, но не сказал. — Опять вы небриты, капитан Плотников,— заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку.

У капитана были утомленные, красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат.

— Извините, товарищ комбриг. Десять суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окопы поправлял.

— Все знаю,— сказал Серпилин,— и при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать как лучшего комбата, а вы небриты. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять, и вечером доставьте их обратно. — Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку.

Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово:

— Пошли!

Он двинулся первым, Синцов и Мишка за ним следом.

У комбата действительно был такой вид, словно он десять суток не вылезал из окопов: фуражка измята, должно быть, он спал в ней, сапоги не чищены, на брюках и гимнастерке остались следы кое-как оттертой глины.

Слова Серпилина, что его полк хорошо закрепился, не были преувеличением. По дороге в батальон повсюду виднелись окопы полного профиля, и их соединяло столько ходов сообщения — основных и запасных, что, наверно, даже сильным артиллерийским огнем было бы трудно нарушить в полку управление. Для

командных пунктов были вырыты блиндажи с перекрытиями в несколько накатов, пулеметы стояли на круглых земляных столах.

— Прямо как японцы закопались, — одобрительно сказал Мишка.

— Что? — повернувшись, переспросил Плотников.

— Как японцы на Халхин-Голе,— сказал Мишка,— пока каждого не выковырнешь, ни хрена не возьмешь!

— А вы были на Халхин-Голе? — без всякого интереса спросил Плотников.

— Был.

— А мы вчера первый день воевали,— сказал Плотников и пошел дальше.

Передний край батальона огибал молодую дубовую рощицу; дальше расстилалось ржаное поле, а за ним начинался густой сосновый лес — там сидели немцы. Из леса выбегала железная дорога, и почти рядом с ней — шоссе. И дорога и шоссе перерезали позиции батальона и уходили в тыл полка. Впереди окопов, на ржаном поле, виднелись окопчики боевого охранения, к ним тянулись ходы сообщения. За окопчиками, во ржи, стояли подбитые во вчерашнем бою немецкие танки.

— А еще, еще где танки? — жадно спрашивал Мишка у Плотникова. — Мне говорили, что тут у вас четырнадцать танков подбито. Девять я вижу, а где еще пять?

— Еще пять тоже за боевым охранением, но в лощинке, их отсюда не видно.

— Ладно, я к тем подскочу,— сказал Мишка,— а сейчас давайте к этим пойдем, которые во ржи.

— А вы отсюда их не можете снять? — спросил Плотников.

— А чего? Сейчас же затишье.

— Затишье? — с сомнением переспросил Плотников и подозвал командира роты, лейтенанта, белобрысого парнишку лет двадцати. — Сходите, Хорышев, с ними,— Плотников кивнул на Мишку,— они танки хотят снять. Возьмите из боевого охранения человек пять, пусть проползут к танкам, заглянут на всякий случай, а потом их проводите.

Он говорил все это лениво и устало. Ему хотелось поскорей сплавить этого шумного корреспондента и хоть немножко поспать.

— А вы у меня, что ли, побудете? — обратился он к Синцову.

— Нет, я тоже пойду. — Синцов хотел пощупать своими руками разбитые немецкие танки.

— Ладно, как хотите,— так же лениво согласился Плотников. — А я тут останусь, посплю.— К тому, что о нем могут подумать, он относился с двойным равнодушием очень храброго и очень усталого человека.

Танки стояли дальше, чем это казалось. До них пришлось долго ползти. Но немецких автоматчиков во ржи не было, не стреляли они и из лесу.

Сначала Мишка снимал танки лежа и сидя на корточках, потом, обнаглев, вылез во весь рост. Он хотел снять все девять. Но все девять никак не попадали в объектив: семь попадало, а два стояли слишком далеко. На лице Мишки было написано несбыточное, но страстное желание как-нибудь подтащить два танка к остальным.

Пока Мишка снимал, Синцов бродил вокруг танков. Неподвижно и мертво стоявшие во ржи, они не казались такими большими и страшными, как о них думалось раньше. Они были грязные, с низкими круглыми башнями, похожими на крышки от гигантских фляг. Около танков лежало несколько убитых немцев. От трупов тянуло дурнотным запахом.

Закончив свою работу, Мишка взял провожатого и пошел в соседнюю роту снимать остальные танки, а Синцов с лейтенантом Хорышевым вернулись на наблюдательный пункт роты. Маленький блиндаж был подрыт под насыпь железной дороги, невдалеке от путевой будки.

— Давай посидим у будки,— на «ты» обратился к Синцову Хорышев,— у меня там немножко харчей есть и вода. Там старик обходчик до сих пор живет.

— Почему?

— А кто его знает, живет, не боится! Мои бойцы для него потрудились, щель вырыли, а в будку, как нарочно, ни одного снаряда за весь бой не попало.

Когда они подошли к будке, старик обходчик сидел на насыпи, около щели, и, закатав до колен штаны, грел на солнце худые, со вздувшимися венами, старческие ноги. Рядом с ним стояли сапоги и сушились на солнце портянки. Старик сидел зажмурясь и тихонько пошевеливал пальцами босых ног. Поверх черной сатиновой косоворотки на нем был немецкий темно-зеленый мундир.

— Вчера подарили ему мундир с немецкого лейтенанта,— улыбнулся Хорышев, садясь рядом со стариком на насыпь,— а он его сразу и надел, только погоны спорол.

Услышав слова Хорышева, старик полуобернулся, сонно приоткрыл один глаз и, потрогав пальцами рукав мундира, сказал одобрительно:

— Сукно ничего, хорошее.

— А не жарко?

— Пар костей не ломит.

— Почему вы в Могилев не ушли? — спросил Синцов.

— А чего я там не видел? — лениво ответил старик. — Вы же говорите, что не уйдете отселева? — обратился он к Хорышеву.

— Не уйдем.

— Ну, и я с вами пересижу, я при службе.

— Мы отца подкармливаем,— сказал Хорышев.

— Тоже не последнее дело,— снова лениво приоткрыв один глаз, отозвался старик. — Ребята добрые, только положил вчера вас немец много... страсть!

— Большие потери вчера были? — спросил Синцов.

Хорышев, щурясь от солнца, надвинул на глаза пилотку и сказал, что потери в роте чувствительные: всего убитых и раненых до тридцати человек.

— Давайте мы тоже сапоги снимем,— сказал он. — Все ходишь, ходишь, ноги горят.

Он стащил сапоги, положил на шпалы портянки и так же, как старик, с наслаждением стал шевелить занемевшими пальцами.

— Брезентовые сапоги, с училища, а других нет. Ребята мне с немца, с офицера, сапоги сняли — не подошли, в подъеме жмут, а голенище жесткое. Они его чем-то прокладывают, наверно.

— Как в царское время,— отозвался обходчик. — Обыкновенные офицерские сапоги с проклейкою.

Синцов тоже разулся. Хорышев сходил босиком в будку обходчика и вернулся, неся котелок воды, хлеб и три тараньки.

— На рельс не наступай, горячий! — сказал старик и скосил глаза на тараньку .— Обопьешься!

Однако, когда Хорышев вместо ответа протянул ему одну из таранек, старик, не споря, взял ее и стал чистить.

Пока они все трое ели, сидя рядом, Синцов изредка поглядывал на Хорышева. Ему было странно, что этот совсем молодой, бойкий, хозяйственный парнишка только вчера впервые дрался с немцами, а сейчас уже говорит об этом как о чем-то привычном, чего он не боится и в будущем.

Они посидели еще полчаса, потом к ним подошли трое разведчиков; каждый вел по два немецких велосипеда. Эти велосипеды еще рано утром бросила на шоссе выскочившая из леса немецкая разведка. Разведку обстреляли, двух немцев убили, а остальные убежали в лес. Хорышев приказал забрать велосипеды, а разведчики привели их.

— Три в роте оставьте, а три в батальон отдайте,— распорядился Хорышев.

Один из разведчиков поморщился.

— Сказал: отдайте — отдайте,— повторил Хорышев,— а то Плотников все шесть заберет!

Разведчики ушли, а над ржаным полем закружил «мессершмитт», то взмывая в небо, то пикируя вокруг одного и того же места.

— Вашего обстреливает,— равнодушно сказал Хорышев.— Там как раз танки стоят.

«Мессершмитт» покружился над полем и улетел. Синцов забеспокоился, но толстая Мишкина фигура уже появилась на горизонте. Он подошел, плюхнулся на насыпь, увидел в руках у Синцова недоеденную тараньку, сказал: «Дай-ка» — и жадно впился в нее зубами. Хорышев сходил в будку и принес еще несколько таранек.

— Это тебя обстреляли? — спросил Синцов.

— Меня,— рассмеялся Мишка. — Я сразу на пузо — и под танк! А он, как комар, зудит кругом, а сделать ничего не может.

— Все снял? — спросил Синцов.

— Все. Можем идти.

Мишка доел тараньку Синцова, потом так же быстро съел еще две и выпил котелок воды. Синцов обулся, простился с обходчиком, и они втроем — он, Мишка и Хорышев — пошли обратно в батальон к Плотникову.

Плотников сидел в землянке у телефона и однообразно отвечал:

— Есть, мне понятно... Есть, мне понятно. Будет сделано. — Положив трубку, он поднялся из-за стола.

— Как, поспали немножко? — спросил Синцов.

— Поспал. Да за все сразу разве выспишься?

— Я вас сейчас сниму,— сказал Мишка.

Они вышли на воздух, и Мишка окинул Плотникова критическим взглядом: его небритое лицо, мятую фуражку, несвежее обмундирование, съехавший на живот немецкий парабеллум.

— Не годится,— вздохнул Мишка.

Он любил парадные снимки, Плотников плохо подходил для этого.

— Ремень застегните потуже,— стал распоряжаться Мишка. — И почему без портупеи? Портупея у вас есть?

— Есть, в землянке.

— Возьмите портупею, чтобы по форме было.

Плотников нехотя вернулся в землянку, принес портупею, перекинул ее через плечо и прицепил к поясу.

— Крючок застегните на вороте! — неумолимо потребовал Мишка.

Плотников поискал крючок и с досадой сказал:

— Отлетел!

Мишка вздохнул.

— А каска у вас есть?

— Каски нет.

— Как же так нет?

— Хорышев, скажите, чтобы мне кто-нибудь из бойцов свою каску дал,— сказал Плотников. Он томился и не скрывал этого. Хорышев принес каску, Плотников снял фуражку и надел вместо нее каску.

— Автомат у вас есть?

— Автомат есть. Хорышев, возьмите в землянке мой автомат.

Хорышев принес автомат. Плотников надел его на шею, Мишка поправил автомат, в последний раз прицелился и снял Плотникова, которому на редкость не шли и каска, и автомат, и вообще все перемены, произведенные в его внешности по настоянию Мишки.

Потом Мишка в два счета снял Хорышева, который, не ожидая приглашения, сам быстро перенял у капитана автомат и каску, надел их и, весь напрягшись, не моргая, вытянулся перед аппаратом.

— Я вам сейчас сержанта пришлю, он вас проводит до полка,— сказал Плотников. — Комбриг звонил, приказал за ночь под немецкими танками щели вырыть и засаду посадить. Пойду выполнять: дело к вечеру. — Он устало повел плечами, повернулся спиной и пошел.

— Ну как, покормил вас Плотников или не догадался? — спросил Серпилин, когда Синцов и Мишка снова очутились перед ним.

— В общих чертах покормили... — неопределенно начал Мишка, но Серпилин счел его ответ исчерпывающим и, не дав ничего добавить, спросил:

— Значит, дело сделано, можете ехать?

— Да. Надо завтра поспеть в Москву, сдать материал в номер, но хотелось бы еще снять вас самого.

— А что меня снимать? Поезжайте, время дорого.

Что-то в его тоне обратило на себя внимание Синцова. Кажется, Серпилин хотел, чтобы они поскорей убрались отсюда. Весь день доносившаяся с севера и с юга канонада сейчас, к вечеру, ушла вглубь, на восток, за их спины.

— А все же разрешите вас снять, товарищ комбриг,— настаивал Мишка.

— Тогда уж втроем, с замполитом и начальником штаба. Чтоб осталась память о полковых товарищах,— сказал Серпилин. — Вы фотографии-то сделаете?

— Сделаю,— соврал никогда не делавший фотографий Мишка. — Сделаю и сюда пришлю.

— Сюда не надо,— сказал Серпилин, и в голосе его снова прозвучала нотка, уже привлекшая внимание Синцова. — Женам пошлите, мы адреса дадим.

Он подозвал ординарца и сказал, чтобы тот позвал замполита и начальника штаба.

— А где у вас жены? — спросил Мишка.

— У них — в Рязани, а у меня — в Москве. Блокнот при вас?

Мишка вынул из планшета засаленный блокнот, Серпилин перелистал его и крупным, твердым почерком написал на свободной странице: «Валентина Егоровна Серпилина, Пироговская, 16, квартира 4».

Пироговская... Это было совсем рядом с тесной артемьевской квартиркой на Усачевке, из которой Маша провожала Синцова в Гродно.

«Гродно, Гродно...» — подумал он, в сотый раз за эти дни снова бессмысленно задавая себе все тот же вопрос: «Что с дочерью?»

Через минуту подошли замполит и начальник штаба полка.

— Вот, предлагают сняться,— кивнул Серпилин в сторону Мишки,— с обещанием доставить фотографии женам.

И Синцов в третий раз почувствовал в его тоне что-то невысказанное, какую-то печальную и торжественную решимость.

Серпилин встал посредине, замполит — слева от него, начальник штаба, красивый молодой брюнет с печальными черными глазами,— справа.

— И ты стань рядом,— обратился к Синцову Мишка,— только не впритирку, я тебя потом отрежу и отдельно для жены напечатаю. — Ему не хотелось перезаряжать аппарат, а пленка была на исходе.

Синцов встал. Мишка щелкнул и, достав блокнот, собрался записать остальные адреса, но Синцов, которому хотелось, чтобы фотографии действительно были доставлены женам этих людей, посоветовал, чтобы они все трое написали по короткой записке домой: товарищ Вайнштейн перешлет записки заодно с фотографиями.

Синцов надеялся, что при всей своей нелюбви к печатанию фотографий Мишка не похерит посланные с фронта записки.

— Ну, что там записки! — Серпилин хотел отказаться, но увидел печальные молодые глаза своего начальника штаба и согласился: — Хорошо, напишем. Не задержим, вам ехать надо.

— Вот вредный! — сказал Мишка, когда все ушли писать

письма. — Ехать надо, ехать надо! Так и не покормит ужином. Я сам знаю, что мне ехать надо, но уж как-нибудь урвал бы часок на ужин! Так нет — гонит, сквалыга.

— Эх, ничего ты не понимаешь! — Синцов вдруг с полной ясностью представил себе, что значат эти фотографии и эти письма. И внезапное, но твердое решение — итог всего пережитого им за последние три недели — родилось у него в душе.

— Подожди меня здесь, я сейчас вернусь,— сказал он и открыл дверь в землянку Серпилина. — Можно войти, товарищ комбриг?

— Войдите.

Серпилин сидел за столом и размашисто писал на листке, вырванном из полевой книжки.

— Что такое? — оторвавшись, спросил он и показал на табуретку у стола. — Садитесь.

Синцов сел. Должно быть, в выражении лица его было что-то особенное, обратившее на себя внимание Серпилина.

— Что с вами случилось?

— Я не поеду с моим товарищем. Я, с вашего разрешения, пока останусь у вас в полку.

— Пока что? — быстро спросил Серпилин.

— Мне не хотелось бы уезжать из вашего полка,— не ответив на вопрос Серпилина, повторил Синцов.

— Почему?

— Мне кажется, что вы не думаете отступать. Хочу остаться у вас. — И Синцов посмотрел Серпилину прямо в глаза.

— Отступать мы правда не думаем,— сказал Серпилин. — Но на нас свет клином не сошелся, повидали, как у нас, поезжайте посмотрите, как у других; корреспондентов мало, частей много. Поезжайте, поезжайте,— заключил он плохо дававшимся ему неестественно бодрым тоном. — Не разрешаю остаться, нечего вам тут делать. — И он снова принялся за письмо.

— Товарищ комбриг,— сказал Синцов голосом, заставившим Серпилина взглянуть ему прямо в глаза,— мне надоело бегать, как зайцу, и не знать, о чем писать. Уже четвертая неделя войны, а я ничего не написал. Не знаю, наверное, мне как-то особенно не везло, но вот я сегодня в первый раз приехал в полк, где действительно подбили тридцать девять немецких танков, и я наконец увидел их своими глазами. Если у вас завтра начнется бой, я тоже увижу его своими глазами и напишу о нем. Я работник фронтовой газеты, у вас здесь фронт. Где же мне быть, если не у вас?

— Вот что, товарищ... забыл, вы вчера называли свою фамилию...

— Синцов.
— Вот что, товарищ Синцов. — Лицо Серпилина было серьезно. — Ваше желание быть в бою мне понятно, но бывает положение, когда в части должны остаться лишь те, кому положено по штату, а никому другому драться и умирать в ее составе нет нужды. Если бы у нас впереди были просто бои, я бы вас оставил, но нам, очевидно, предстоят не просто бои, а бои в окружении. Утром я предполагал это, сейчас уверен. Вы слышали артиллерию?
— Слышал.
— Вы ее плохо слушали. Сейчас немцы с двух сторон от нас, уже далеко за Днепром. У вас могут быть сложности по дороге, даже если вы уедете тотчас же. Идите, дайте мне дописать письмо, времени мало и у меня и у вас.
— Товарищ комбриг! — сказал Синцов. — Товарищ комбриг! — упрямо повторил он уже громче, чтобы привлечь внимание Серпилина, снова взявшегося за карандаш.
— Ну? — Серпилин недовольно оторвался от письма.
— Я коммунист, политрук по званию, и я прошу вас оставить меня здесь. Что будет с вами, то будет и со мной. Будем живы — напишу все, как было, а обузой вам я не стану; надо будет — умру не хуже других.
— Смотри, товарищ Синцов, не пожалей потом! — смерив его долгим взглядом, вдруг на «ты» сказал Серпилин.
— Я не пожалею,— сказал Синцов, убежденный в эту минуту, что он действительно ни о чем не пожалеет, и понимая, что вопрос решен и говорить больше не о чем.
— Скажи своему товарищу, что через минуту допишу, пусть собирается,— уже вдогонку ему сказал Серпилин.
— А нас тут пока харчами на дорогу подзаправили,— весело говорил Мишка, хлопая по своей с трудом застегнутой полевой сумке. — Комбриг нам не сказал, а сам распорядился.
— Я не поеду с тобой. Останусь на несколько дней тут. — Синцову не хотелось вдаваться в подробности.
— Что значит останешься? До каких пор? Что у тебя, мало материала?
— Мало.
— Мало — в другой раз поедешь, наберешь больше, а пока и это хлеб!
— Нет, Миша, я останусь,— упрямо повторил Синцов.
— Слушай, это свинство! — багровея и начиная сердиться, крикнул Мишка. — Ты же знаешь, что я не могу остаться с тобой, в редакцию снимки за меня никто не доставит!
— Правильно, вот и поезжай.

— Но тогда выйдет, что я бросаю тебя тут одного!

— Брось дурака валять! Поезжай — и все!

— Ладно,— сказал Мишка, которому пришла в голову идея, разом выводившая его из неприятного положения. — Я подскочу в Москву, сдам снимки — и обратно к тебе, сюда. Самое большое — через три дня! Но только — никуда! Жди здесь, на месте! Слово?

— Слово! — сказал Синцов, отвечая на горячее Мишкино рукопожатие.

От пришедшей ему в голову спасительной идеи Мишка сразу повеселел.

— Слушай,— вдруг вспомнил он,— давай напиши мне сейчас хоть сто строк. Чтоб была текстовка, как подбили эти танки. Отвечаю, что пойдет вместе с моей панорамой. В «Известиях» напечатаешься, чем тебе плохо?

Синцов с тревогой вспомнил о словах Серпилина, что время дорого, и заколебался: задерживать ли Мишку?

В эту минуту Серпилин вышел из землянки с незапечатанным конвертом в руках.

— Вот,— сказал он Мишке,— написал, потом вложите фотографию и запечатаете. Собрались, едете?

— Сейчас, он мне только,— кивнул Мишка на Синцова,— текстовочку напишет — и поеду.

Синцов попросил разрешения у Серпилина зайти в землянку, написать там при свече несколько строк.

— Заходи,— сказал Серпилин,— я все равно ухожу. А остальные вам письма отдали?

— Отдали.

— Добрый путь. — Серпилин пожал руку Мишке и ушел, не попрощавшись с Синцовым, как уже со своим человеком.

Синцов и Мишка, которому было скучно ждать одному, вместе зашли в землянку. Синцов сел писать, а Мишка расстегнул сумку и, выпув оттуда кусок сухой колбасы, сосредоточенно задвигал челюстями.

Синцов писал быстро и даже с ожесточением от необходимости торопиться. Писал о подбитых немецких танках, о лежащих во ржи мертвых немцах, о Серпилине, Плотникове и Хорышеве и еще и еще раз о самом главном — о том, что, оказывается, можно жечь немецкие танки и не отступать перед ними, когда они идут на тебя.

Он торопливо писал, а в голове его проносились последствия принятого им решения. Ему казалось, что если б он не принял этого решения раньше и не сказал о нем Серпилину, то сейчас бы струсил и уехал. Он со стыдом думал о своей слабости, не по-

нимая, что разные характеры бывают сильны по-разному и иногда их сила состоит в том, чтобы, страшась последствий собственного решения, все-таки не переменить его.

Он написал всю заметку за двадцать пять минут, по часам, и здесь же, подряд, на последнем листке, приписал несколько строк Маше.

— Возьми,— сказал он, вчетверо складывая листки. — Когда перепечатают на машинке, черновик отдай жене. Может, она еще в Москве, вот ее телефон. Я уже писал ей два раза из госпиталя, но на тебя больше надежд, чем на почту.

— Еще бы! — Мишка вздохнул, засунул недоеденную колбасу в полевую сумку и взял синцовские листки.

Они вместе вышли из землянки. Мишка не любил долго раздумывать ни над своими, ни над чужими решениями; и все-таки в его нечутком, но добром сердце шевельнулась в эту минуту не до конца ясная для него самого тревога. Ему не нравилось, что он уезжает, а Синцов остается, не нравилось, очень не нравилось!

— Будь здоров,— он пожал руку Синцову,— будь здоров. Я подскочу к тебе. Слово! — И его квадратный силуэт слился с темнотой.

Присев на край окопа и глядя в звездное небо, Синцов думал о том, что завтра к вечеру Мишка на своем пикапчике домчится до Москвы, будет сам проявлять и печатать снимки и, еще мокрые, потащит их на стол к редактору. И лишь потом — Синцов знал это — Мишка позвонит Маше. Будет ночь, Маша, если она в Москве, поднимет трубку, и Мишка скажет ей, что всего сутки назад видел ее мужа, живого и здорового.

А он в это время, через сутки... Он не знал, что с ним будет через сутки, и не хотел сейчас думать об этом. Он знал одно: сегодняшняя тишина не бесконечна, она кончится ночью или утром, и тогда начнется бой. А что будет с ним в этом бою, он не знал, так же как этого не знали и все другие люди, составлявшие полк Серпилина и сидевшие здесь, рядом, в окопах, и дальше — за километр и за два — в землянках и ходах сообщения, и еще дальше, в тех щелях, которые уже, наверное, вырыл трудолюбивый Плотников на ржаном поле, под немецкими танками.

Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и в свою очередь думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки.

Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа.

А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла. Эта очередь в нескольких местах пробьет его большое, сильное тело, и он, собрав последние силы, заползет в кустарник у дороги и, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков, с усталым Плотниковым, которого он заставил надеть каску и автомат, с браво выпятившимся Хорышевым, с Серпилиным, Синцовым и грустным начальником штаба. А потом, повинуясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди посылали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыплют землю рядом с истекающим кровью, умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, переворачиваясь на лету, понесутся по пыльному шоссе под колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Федор Федорович Серпилин, в полку у которого остался Синцов, был человек с одной из тех биографий, что ломаются, но не гнутся. В его послужном списке было отмечено много перемен, но, в сущности, он всю жизнь занимался одним делом — как умел, по-солдатски, служил революции. Служил в германскую войну, служил в гражданскую, служил, командуя полками и дивизиями, служил, учась и читая лекции в академиях, служил, даже когда судьба не по доброй воле забросила его на Колыму.

Он происходил из семьи сельского фельдшера, отец его был русским, а мать — касимовской татаркой, сбежавшей из дома и крестившейся, чтобы выйти замуж за его отца. Отец Серпилина и сейчас еще служил фельдшером в Туме, на узкоколейке, пересекающей глухие мещерские леса. Там Серпилин провел свое детство и оттуда, повторяя путь отца, восемнадцатилетним парнем уехал учиться в фельдшерскую школу в Рязань. В фельдшерской школе он попал в революционный кружок, оказался на примете у полиции и, наверное, кончил бы ссылкой, если бы не забрившая ему лоб первая мировая война.

Зимой семнадцатого года фельдшер Серпилин участвовал в первых братаниях, а осенью, как выборный командир батальона, дрался с немцами, наступавшими на красный Питер. Когда организовалась Красная Армия, он так и остался на пришед-

шихся ему по праву строевых должностях и закончил гражданскую войну, командуя полком на Перекопе.

Знавшие начало его биографии сослуживцы подшучивали, за глаза называя его фельдшером. Это было так давно, что пора бы запамятовать, но он и сам при случае шутя ссылался на свою былую профессию. Сколько помнил себя Серпилин, после гражданской войны он почти всегда учился: пройдя курсы переподготовки, опять командовал полком, потом готовился в академию, кончал ее, потом, переучиваясь на танкиста, служил в первых механизированных частях и, снова вернувшись в пехоту и два года прокомандовав дивизией, получил кафедру тактики в той самой Академии Фрунзе, которую пять лет назад кончил сам. Но и здесь он продолжал учиться, все свободное время зубря немецкий — язык наиболее вероятного противника.

Когда его в тридцать седьмом году вдруг арестовали, то, как ни странно, поставили ему в вину даже этот немецкий язык и подлинники немецких уставов, отобранные на квартире при обыске.

Непосредственным поводом для ареста послужили содержавшиеся в его лекциях и бывшие тогда не в моде предупреждения о сильных сторонах тактических взглядов возрожденного Гитлером вермахта.

Именно об этом он подумал вчера, с горечью отдав должное тактике немцев и жестко усмехнувшись своим, непонятным Синцову, воспоминаниям.

После ошеломившего его ареста сверх первоначального, глупейшего обвинения в пропаганде превосходства фашистской армии ему предъявили уже вообще черт знает что! Его показания дважды лично запрашивал сам Ежов, и целых полгода три сменявших друг друга следователя тщетно дожидались, чтоб он подписал то, чего не было.

В конце концов ему дали, в сущности без суда, десять лет. А еще через полгода, уже в заключении, он без долгих слов в кровь избил одного из своих бывших сослуживцев по гражданской войне, троцкиста, по ошибке избравшего его своим поверенным и поделившегося с ним мыслями о том, что партия переродилась, а революция погибла.

Время заключения в сознании Серпилина было прежде всего бездарно потерянным временем. Вспоминая теперь, на войне, эти пропащие четыре года, он скрипел от досады зубами. Но за все эти четыре года он ни разу не обвинил Советскую власть в том, что с ним было сделано: он считал это чудовищным недоразумением, ошибкой, глупостью. А коммунизм был и оставался для него святым и незапятнанным делом.

Когда его выпустили, так же неожиданно, как посадили, он вышел постаревшим и физически измотанным, но душа его не была изборождена морщинами старости и неверия.

Он вернулся в Москву в первый день войны и хотел только одного — поскорей оказаться на фронте.

Его старые товарищи, сделавшие все, что было в их силах, для его освобождения, помогли ему и тут: он ушел на фронт, не дожидаясь ни переаттестации, ни даже восстановления в партии,— подал документы в парткомиссию и уехал принимать полк. Он был готов пойти хоть на взвод, только бы без проволочек вернуться к своему делу, вновь ставшему из военной службы войной. Он хотел скорей доказать, на что он способен. Доказать не ради одного себя: ему уже вернули оружие и звание, его обещали восстановить в партии и отправили на войну с фашистами,— чего он мог желать еще? Но он хотел доказать своим примером, что и со многими другими, еще оставшимися там, откуда он вернулся, совершена такая же нелепость, как с ним. Именно нелепость.

Это чувство росло в нем с каждым днем, проведенным на фронте. Немцы были сильны — об этом не могло быть двух мнений. Война была серьезной и после первых неудач оборачивалась еще круче.

Спрашивается, кому же перед этой войной понадобилось лишить армию таких людей, как он, Серпилин? Конечно, на них свет клином не сошелся. Армия выиграет войну и без них. Но почему без них? Какой в этом смысл?

Об этом он думал сегодня, перед рассветом, лежа на охапке сена, принесенного ординарцем. Первый удачный бой наполнил его верою, нет, не в то, что его полк совершит чудеса, хотя хотелось верить и в это, а в то, что вообще дело обстоит не так худо, как показалось сначала.

Конечно же, армия сражалась лучше и наносила немцам потерь больше, чем это можно представить себе, видя только бредущих через свои позиции окруженцев. Наверное, в сотнях мест она дралась так же, как здесь в первом бою дрался его полк, и если немцы при этом все-таки шли вперед, окружали и теснили нас, то это, конечно, давалось им не просто и стоило не дешево. Громадность театра, ввод в бой наших резервов и усиление нашей техники, которая, черт возьми, должна же появиться на фронте в нормальных количествах,— все это в конце концов на каком-то рубеже остановит немцев. Вопрос только, где будет этот рубеж.

Вчерашнее затишье не радовало Серпилина. Он понимал, что немцы оставили его в покое не потому, что потеряли надежду

смять его полк, а потому, что они, к сожалению, умело маневрировали своими силами. Результаты этого маневра уже начали сказываться. Они прорвали фронт и слева и справа от Могилева. Это было ясно по звукам удалявшегося к востоку боя. Только глухой мог не понять этого. А он со своим полком сидел здесь сложа руки и ждал, когда очередь дойдет до него.

Последний приказ, пришедший в дивизию перед тем, как прервалась связь с армией, был: прочно удерживать позиции. Что ж, для людей, готовых дорого продать свою жизнь и знающих, как это сделать, это был неплохой приказ, в особенности если за ним не последует приказа отступить, когда отступать будет уже поздно. Но, спрашивается, что же произошло в соседних дивизиях и до каких пор будут продолжаться бесконечные прорывы и окружения, от рассказов о которых уши болят?!

Думая о предстоящем, Серпилин больше всего боялся получить запоздалый приказ на отход. Впрочем, если с утра начнется бой, тут уж от немцев и захочешь, а не оторвешься. А бой будет. Дивизия прикрывала Могилев, сюда сходились дороги, здесь был мост через Днепр — все, вместе взятое, было таким узелком, который не оставляют у себя в тылу, не попытавшись развязать его.

«Черт его сюда принес, наверное, сложит теперь здесь голову! — с симпатией подумал Серпилин о спавшем рядом с ним на траве Синцове. — Молодой еще, как мой начальник штаба. Тоже, наверное, молодая жена...» И Серпилин перенесся мыслями к собственной жене, жившей в Москве, в старой академической казенной квартире. Когда его арестовали, ей все-таки оставили там одну комнату: кого-то зазрила совесть. «Ах, старая, старая! — с нежностью подумал Серпилин. — Совсем седая стала. Измотала себя на письма, на передачи, на хождения по сослуживцам и начальникам, а ведь какая красивая была когда-то, и сколько горячих и глупых голов в разных гарнизонах удивлялось, зачем вышла замуж за своего долговязого урода и почему не изменяет ему».

С запада гулко и отчетливо грохнуло: немцы положили сразу несколько снарядов.

«По Плотникову,— отметил про себя Серпилин и спокойно подумал: — Вот и начали».

Синцов вскочил и спросонок стал шарить вокруг себя, ища пилотку.

— Значит, остался? — неторопливо стряхивая с себя стебли сена, сказал ему Серпилин. — Теперь уж жалей не жалей...

Синцов промолчал.

— Ну что ж, пойдем со мной в батальоны. Хотел бой видеть, сейчас увидишь.

Бой, возобновившийся на фронте серпилинского полка, продолжался трое суток, почти не затихая.

К середине первого дня немцам почти нигде не удалось продвинуться, несмотря на сильный артиллерийский огонь, который они вели, не жалея снарядов, и несколько танковых атак с десантами на броне. Перед фронтом полка прибавилось еще два десятка сожженных и подбитых танков и бронетранспортеров. На ржаном поле осталось, как все говорили, пятьсот и, как донес в дивизию не любивший преувеличений Серпилин, триста немецких трупов. В полку людские потери были еще больше — и от огня артиллерии и танков, и от огня немецких автоматчиков, положивших без остатка побежавшую из окопов роту. В половине рот были убиты командиры или политруки, погиб так и не успевший выспаться Плотников, на наблюдательном пункте прямым попаданием мины был в клочья разорван замполит полка.

Во второй половине дня к Серпилину, к последнему из трех своих командиров полка, добрался командир дивизии полковник Зайчиков. С утра он был за Днепром и, поняв, что остается в окружении, повернул полк, находившийся там во втором эшелоне, фронтом к востоку и тылом к реке. Потом, переправясь через Днепр, полдня просидел в полку, прикрывавшем окраину Могилева: там ожесточенно работала немецкая артиллерия, но атаки были слабее, чем против Серпилина. Должно быть, немцы хотели, не ввязываясь в бой на улицах города, сначала уничтожить Серпилина и в обход Могилева выйти к днепровскому мосту. Так, по крайней мере, сказал Серпилину командир дивизии. Он пришел к нему на командный пункт, обливаясь потом от жары и засунутой под гимнастерку рукой прижимая больное сердце. После тяжелого дня, проведенного на позициях, оно давало себя знать. Грузный, с отеками под глазами, командир дивизии стоял рядом с Серпилиным в окопе, жадно глотал воздух и все никак не мог наглотаться.

— Глущенко-то у нас убили,— горестно сказал командир дивизии о своем замполите. — Глупо убили, случайным снарядом у моста!

— А кого умно убивают? — отозвался Серпилин. — Я вам докладывал: у меня тоже замполита убили, тоже сирота.

— Знаю,— сказал комдив,— и вот замену тебе привел.

Он повернулся в сторону пришедшего вместе с ним маленького, краснолицего, седобрового батальонного комиссара в толстых очках с двойными стеклами, которого Серпилин никогда до этого не видел в дивизии.

— Лектор из самого ПУРККА,— все еще продолжая задыхаться, отрывисто сказал комдив. — Лекции к нам приехал читать, а у нас, видишь, какие тут лекции...

— Шмаков,— прикладывая руку к козырьку, сказал батальонный комиссар.

— Желание пойти к тебе в полк высказал сам товарищ Шмаков. Обстановка ему ясна. Приказом по дивизии отдано,— сказал комдив,— так что поздравляю с комиссаром полка.

Серпилин вопросительно взглянул на Зайчикова.

— Вот именно! С комиссаром полка,— повторил тот. — Последнее, что Глущенко, покойник, получил из политотдела армии, когда связь прервалась,— есть указ о восстановлении института военных комиссаров. Хотел с этим сам в полки поехать, но не успел, бедный...

— Да,— помолчав, сказал Серпилин,— опять как на гражданской — ты да комиссар. Вся серьезность нашего положения подчеркнута...

— Для вашего сведения, товарищ командир полка,— сказал Шмаков,— в свое время, по мобилизации на Деникина, был около года комиссаром Сорок второй стрелковой дивизии. Но, правда, после гражданской тут же отозвали на политработу, и снова хожу в форме только неделю.

— Он тоже еще месяца нет, как надел военную форму,— кивнул Зайчиков на Серпилина. — Тоже когда-то дивизией командовал, а я у него после академии стажировался, так что вы оба попались тут друг другу большие начальники,— пошутил он, но шутка не получилась: убитый Глущенко никак не выходил у него из головы.

— Много ли у тебя людей под начальством осталось, а, начальник? — превозмогая себя, все-таки попробовал пошутить комдив.

Серпилин доложил о потерях.

— У всех большие потери,— сказал Зайчиков. — Большие потери! — повторил он и снова подумал о Глущенко.

Короткая передышка кончилась, и немцы снова пошли в атаку раньше, чем Серпилин успел толком поговорить со Шмаковым. Как только началась атака, новый комиссар взял провожатого и пошел в батальоны знакомиться.

— Начинай с левофлангового, с третьего,— посоветовал Серпилин. — Тут поближе. — А про себя добавил: «И потише».

Что комиссар сразу не стал околачиваться на КП, пришлось по душе Серпилину, и тем более захотелось поберечь его в меру возможности.

Пока продолжалась эта шестая за день атака, Зайчиков оставался в полку, все время находясь рядом с Серпилиным. Его присутствие в полку не стесняло Серпилина, тем более что комдив за все время отдал лишь два-три приказания, и притом таких, которые в следующую минуту собирался отдать сам Серпилин. Это говорило о том, что они одними глазами видят происходящее на поле боя.

В свою очередь, командир дивизии, которого две недели назад, когда Серпилин принимал полк, совсем не обрадовало прибытие к нему в подчинение человека старше его по званию, сейчас, в бою, забыл и думать об этом. Хотя он стажировался у Серпилина много лет назад и они, в сущности, не так уж хорошо знали друг друга, но в сложившейся тяжелой обстановке довоенное знакомство было важно для обоих и вызывало на взаимную откровенность.

Как только шестая атака была отбита с большей легкостью, чем предыдущие,— немцы, кажется, начали выдыхаться,— комдив заторопился в соседний полк.

— За тебя, Федор Федорович, я не волнуюсь,— прощаясь, с глазу на глаз сказал он Серпилину.— Я, конечно, рад, что тебе у меня полк дали, хотя, по совести, нам бы с тобой соседними дивизиями командовать, по крайней мере, за фланги были бы взаимно спокойны, а то воюем, а флангов нет! Еще вчера утром хоть с левым соседом соприкасался, а сейчас — ищи-свищи!

— Ничего,— сказал Серпилин,— все, что наше,— с нами, покомандуем тем, что бог дал. Живы будем — до генералов дослужимся, а полковниками и комбригами помрем — какие есть, такими и зароют.

— Фашистов бы побольше в землю закопать,— сказал комдив,— а самим можно и без святого причастия. Что-то ихняя авиация сегодня не летает,— прощаясь с Серпилиным, поглядев на небо, добавил он.

Сказал и накликал беду: не прошло и получаса, как немцы нанесли тяжелый бомбовый удар по стыку Серпилина с соседним полком. Сорок бомбардировщиков, пикируя один за другим, словно ножом прорезали целую полосу к реке. Сплошная пелена дыма закрыла северную часть горизонта.

А когда бомбежка кончилась и прошел еще час, комдива принесли на носилках, обессиленного, тяжело раненного осколком бомбы в живот, и хирург, прибежавший в медпункт, вместе с хирургической сестрой долго возился над ним, под глухие стоны вынимая осколок. Командир дивизии сразу после ранения категорически приказал нести себя не на медпункт, а сюда, на КП, к Серпилину.

Врач, чертыхаясь в душе, вынужден был подчиниться. Он был молод и робел, потому что полковника Зайчикова в дивизии боялись как огня, и это чувство не проходило у врача даже сейчас, когда грозный Зайчиков лежал перед ним неподвижный и беспомощный.

После того как немецкие бомбардировщики на стыке двух полков перепахали все пространство до самого Днепра, в еще не развеявшемся дыму бомбежки по тому же месту ударили немецкие танки. Прорвавшись к мосту через Днепр, они успели захватить его невзорванным. Вместе с танками, на броне, прорвались автоматчики. Их было не много, всего рота, но бомбежка и танковая атака были такими неожиданными, а гремевший в темноте огонь автоматов казался таким сплошным, что ни Серпилин, ни командир отрезанного от него полка в первый час катастрофы не решились ударить по еще тонкой пока цепочке прорвавшихся к Днепру немцев.

Вечером не рискнули: сказалось и отсутствие опыта, и преувеличенное представление о численности врага,— а утром было уже поздно.

Когда Зайчикова принесли на командный пункт полка, Серпилина там не было. Разминувшись с раненым комдивом, он пошел в свой пострадавший правофланговый батальон распорядиться приготовлениями к утреннему бою.

Комдив приказал принести себя прямо на командный пункт, к Серпилину, потому что рана показалась ему смертельной и он хотел успеть возложить командование дивизией на Серпилина. Когда врач, чистя рану, собрался дать наркоз, он воспротивился, боясь хоть на минуту потерять сознание; ему казалось, что он так и умрет, не успев передать дивизию Серпилину...

Что командир дивизии тяжело ранен, Серпилин узнал еще в батальоне. Отдав самые необходимые распоряжения, он поспешил на медпункт полка, рассчитывая застать командира дивизии там. Но на медпункте не было ни командира дивизии, ни хирурга, вызванного на командный пункт.

— Товарищ комбриг,— стоя у входа в землянку в надетом поверх гимнастерки окровавленном халате, шепотом говорил врач,— я не виноват, я хотел, как положено, обработать рану в наилучших условиях, но командир дивизии приказал...

— Эх вы, приказали вам! — сердито махнул рукой Серпилин.— Бывают моменты, когда не мы врачам, а врачи нам приказывают. Жив будет?

— Все, что можно было сделать, сделано, но ранение тяжелое, а условия для оказания помощи...

— Ахать поздно! Что-нибудь еще можете сделать?

— Пока больше ничего не могу.

— Тогда идите, у вас там, на медпункте, раненые в очереди на земле валяются,— сказал Серпилин и вошел в землянку.

Зайчиков лежал на койке с широко открытыми глазами и подергивал губами, силясь не стонать.

Серпилин пододвинул под себя табуретку и больно уперся острыми коленями в край койки.

— Отвоевался, Федор Федорович,— сказал комдив, и из глаза его выкатилась и поползла по щеке слеза. Он вытер слезу и снова положил руку вдоль тела на простыню. — Накрой меня шинелью, знобит.

Серпилин снял с гвоздя свою шинель и накрыл ею комдива поверх простыни.

— Что там немцы? — спросил комдив.

Скрывать истину от раненого было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать. Раненый Зайчиков все еще оставался командиром дивизии. Серпилин доложил, что немцы отрезали его от соседнего полка, вышли к Днепру и, по всей вероятности, захватили мост. Комдив несколько минут лежал молча, переживая это известие и собираясь с мыслями. С мыслями собраться было трудно, они расползались в разные стороны: если немцы взяли мост, значит, они одним ударом отрезали друг от друга все три полка. Он подумал о полковнике Юшкевиче, своем начальнике штаба, который теперь остался за старшего на том берегу Днепра.

— Все сразу в клочья,— вслух сказал он.

Юшкевич был, по его мнению, хороший начальник штаба, но доля ему сейчас досталась самая незавидная. После потери моста он оказывался между двух огней, пришитый к узкой полоске берега, с немцами за спиной. Если догадается сегодня же ночью попробовать прорваться на восток, может, что-нибудь и вытащит, а не догадается — пропал!

Майор Лошкарев, командир отрезанного теперь полка, стоявшего на окраинах Могилева, был храбр до отчаянности, но еще зелен. Что он не струсит, Зайчиков был уверен, но трудно было сказать, как Лошкарев справится с полком, действуя на свой страх и риск. Зайчиков даже пожалел, что его ранило здесь, у Серпилина, а не там, у Лошкарева: там он был бы нужней, даже такой, как сейчас, лежачий.

Потом он с жалостью к самому себе подумал о своей ране и о своей семье — жене и дочерях. Все девочки и девочки, жена даже последний раз плакала, что не мальчик.

«Трудно, когда пять дочерей»,— вспомнил он о своей семье так, словно его самого уже не было в живых.

— Слушай, Серпилин,— он наконец собрался с мыслями,— готовься принять дивизию. Пиши приказ.

— Будет надо — буду готов, а с приказом подожди! При живом командире дивизию не принимают. Перележишь, отойдешь, ты мужик вон какой здоровый. — И Серпилин осторожно дотронулся рукой до его плеча.

Зайчиков скосил на него глаза, промолчал. Да и что было говорить? На месте Серпилина он ответил бы то же самое.

— А все-таки ты приготовься,— помолчав, сказал он и закрыл глаза.

То, что он сейчас был у Серпилина, а не на медпункте, утешало его: там бы он уже чувствовал себя только раненым среди других раненых, а здесь он все еще командир дивизии. Он пролежал несколько минут с закрытыми глазами, а когда открыл их, то увидел стоявшего за спиною Серпилина давешнего, подходившего к нему в лесу долговязого политрука из газеты. Политрук был в грязной, вываленной в земле гимнастерке и с немецким автоматом.

Синцов почти весь день провел рядом с Серпилиным, сначала в одном батальоне, потом в другом; на его глазах танки ворвались в расположение батальона Плотникова; один танк въехал на железнодорожную насыпь, своротил будку путевого обходчика и долго бил из пушки, стоя в пятидесяти метрах от Синцова; снаряды свистели прямо над головой. Потом Плотников вышел из окопа и кинул под танк связку гранат. Танк загорелся, а Плотникова в следующую секунду убило пулеметной очередью с другого танка.

Потом Синцов увидел, как побежала одна из рот. Немецкие автоматчики стали косить ее, а Серпилин, командуя оказавшимися рядом бойцами, отбил атаку автоматчиков огнем и гранатами; при этом он сам то и дело прицеливался и стрелял из винтовки.

Недалеко от Синцова стрелял из винтовки по немцам старик обходчик; а потом, когда Синцов еще раз оглянулся, старик уже лежал на дне окопа мертвый, в немецком мундире, распахнутом на седой окровавленной груди.

Синцов тоже стрелял из винтовки и застрелил — он это видел — немца, выскочившего словно из-под земли в десяти шагах от него.

— Вот и ты своего немца застрелил,— когда была отбита атака, сказал Синцову Серпилин, который, казалось, все замечал вокруг себя. Потом он распорядился отдать Синцову снятый с убитого немца автомат и две длинные запасные обоймы к нему в холщовом мешке. — Бери, твой, законный!

Все это было давно, днем, а вечером, уже в темноте, Синцов пошел с Серпилиным туда, где после бомбежки прорвались немцы. Там он потерял Серпилина из виду, долго искал, боясь, что его убили, и обрадовался, когда, вернувшись на командный пункт, узнал, что Серпилин жив и здоров.

Синцов так с улыбкой и вошел в землянку и вдруг увидел все сразу: худую, согнутую спину сидевшего на табуретке Серпилина и лежавшего на серпилинской койке с закрытыми глазами полковника, командира дивизии. Полковник был так бледен, что показался Синцову мертвым. Потом он открыл глаза и долго молча смотрел на Синцова.

Синцов тоже стоял молча, не зная, что ему теперь делать и говорить. Серпилин почувствовал чье-то присутствие за спиной и повернулся.

— Ну как, политрук, навоевался? Теперь не будешь жаловаться, что нечего писать?

Синцов вспомнил о своем лежащем в полевой сумке блокноте, к которому он так и не притронулся ни разу за день. Он был голоден, но спать ему хотелось еще больше, чем есть.

— Разрешите идти, товарищ комбриг,— сказал он вместо ответа, чувствуя не в руках и не в ногах, а где-то глубоко внутри себя тупую усталость от всех, вместе взятых, одна за другой пережитых за день опасностей.

— Спать хочешь? — смерил его понимающим взглядом Серпилин. — Иди, ты человек вольный.

— Я тут же, рядом, лягу, около землянки,— сказал Синцов, стыдясь, что ему хочется спать, когда, наверно, гораздо более усталый, чем он, Серпилин сидит здесь и бодрствует.

Серпилин, не оборачиваясь, кивнул.

— Чего он у тебя здесь? — тихо спросил Зайчиков, но Серпилин только пожал плечами, затрудняясь ответить.

Едва Синцов вышел, как в землянку зашел Шмаков; он был тоже с немецким автоматом. Войдя, он снял автомат, поставил его в угол и, устало вертя шеей, подошел к койке. Ему уже сказали, что Зайчиков ранен и лежит здесь; спрашивать было незачем и нечего. Он стоял и молчал.

— Много автоматов взяли? — посмотрев на него, спросил Зайчиков.

— Двадцать.

— Густой у них автоматный огонь,— сказал Зайчиков. — Еще с финской стало ясно, что надо автоматы в массовом масштабе брать на вооружение, а все чесались. Так и прочесались до самой войны. У нас хорошо, если десять автоматов на полк, а у них сотни! — В его ослабевшем, хриплом голосе слышалось раздражение.

Шмаков стал рассказывать, что происходило в левофланговом батальоне. Серпилин и комдив слушали его: Серпилин — внимательно, Зайчиков — с пятого на десятое, каждые полминуты жмуря глаза от болей в животе.

— Прямо рожать собрался,— сказал он наконец, через силу улыбнувшись.

— Я к тебе в землянку перейду, товарищ Шмаков,— сказал Серпилин,— а здесь у комдива медицинский пост поставим.

Вначале Серпилин хотел настоять, чтобы комдива перенесли на медпункт, но потом раздумал. В конце концов теперь, в окружении, неизвестно, где в полку тыл, а где передовая. Пусть лежит здесь, все равно не уговоришь, а затевать споры, зная, что они ничем не кончатся, Серпилин не любил.

— Не надо мне никакого поста,— сказал Зайчиков. — Выходит, я тебя из землянки выжил!

— Надо! — решительно сказал Серпилин. — В этом со мной не спорь, я же в прошлом как-никак фельдшер, опыт имею.

Зайчиков невольно улыбнулся. Он вспомнил прозвище Серпилина «фельдшер» и свою стажировку у него в дивизии в далеком тридцать третьем году.

— Если сумеешь, постарайся задремли, Николай Петрович. — Серпилин встал. — Пойдем с комиссаром подобьем итоги дня, а потом вернемся к тебе за приказаниями.

«Как же, нужны тебе сейчас мои приказания! — беззлобно и честно подумал Зайчиков, проводив взглядом Серпилина. — Ты не Лошкарев. Повернись у тебя иначе, ты бы сейчас дивизией, а то, глядишь, и корпусом командовал и сам бы мне приказания отдавал... Если бы только у нас с тобой связь была»,— вспомнил он о прерванной связи с армией и горько усмехнулся.

В землянке у Шмакова, в которую тот сам зашел сейчас впервые, сидя друг против друга на койках — Шмаков на койке убитого утром комиссара, а Серпилин на койке убитого вечером начальника штаба,— они подвели итоги дня и, как тришкин кафтан латая сегодняшние потери в полку, обсудили, кого и куда переместить, чтобы заткнуть все дыры. Нужно было к ночи назначить одного командира батальона, двух командиров рот и трех политруков вместо выбывших за день из строя. Шмаков пока познакомился с людьми только в одном батальоне, да и то наспех; почти все кандидатуры называл Серпилин. Когда дошло до политрука, Серпилин вспомнил Синцова.

— А что ему,— сказал он, когда Шмаков пожал плечами,— за мной хвостом ходить, пока не убьют? Раз по званию политрук, пусть идет политруком роты. Будет не хуже других, а будет хуже — все равно другого нет.

Через пять минут разбуженный Синцов, протирая сонные глаза, стоял перед Серпилиным и Шмаковым, которого вовсе не ожидал здесь встретить, и выслушивал их краткое напутствие. Его отправляли теперь же, пока темно, в роту, к тому самому Хорышеву, с которым они вчера сидели разутые на железнодорожной насыпи и, греясь на солнышке, грызли тарань.

— Я только не командовал никогда,— неуверенно ответил Синцов, когда Серпилин задал ему хотя и положенный, но в этих обстоятельствах, пожалуй, бессмысленный вопрос: «Как, справишься?»

— А ты покомандуй,— наставительно сказал Серпилин. — Звезду на рукаве и три кубаря на петлицах носишь, значит, имею право с тебя требовать в соответствии со званием. — Он проговорил все это довольно сердито, не потому, что на самом деле сердился на Синцова, а потому, что хотел подчеркнуть перемену в его положении. — Провожатых теперь тебе не положено, а не доберешься — дезертир! — И Серпилин улыбнулся, давая понять, что последние слова — шутка.

Синцов, все еще не до конца придя в себя, пожал протянутые ему на прощание руки Серпилина и Шмакова. Оба они были для него отныне совсем другими, чем раньше. Еще вчера он был гостем в полку у этого долговязого комбрига с добрым лошадиным лицом, еще недавно он был случайным фронтовым попутчиком этого маленького седого батальонного комиссара, а теперь они были его командир и его комиссар, а он был политрук роты, находившейся под их командой; и от него уже не ждали, что он опишет, как другие воюют, а ждали, чтобы он сам воевал, как другие. Еще никогда в жизни с ним не случалось превращения более мгновенного и более трудного.

Когда Синцов вышел, Серпилин и Шмаков переглянулись.

— Я из медиков сразу в командиры батальона шагнул,— сказал Серпилин,— и ничего, справился. Так чего ж мне в нем сомневаться? — кивнул он на дверь. — Что ж, они за двадцать три года Советской власти хуже нас стали? Или мы с ними умели только разговоры разговаривать, а людей из них сделать не сделали? Не верю! И, несмотря на все наши нынешние черные беды, все равно не верю! Может, и не всегда как надо воспитывали, а все же ничего, крепко, думаю, покрепче, чем фашисты своих! Воспитали людей неплохо, даже в тюрьме, бывало, лишний раз в этом убеждался. Про тюрьму не удивляешься?

— Не удивляюсь. Зайчиков рассказал мне вашу историю,— ответил Шмаков, постеснявшийся сразу перейти на «ты».

Но Серпилин понял это обращение на «вы» по-своему.

— Вот как вам не повезло, к кому вас судьба комиссаром забросила, товарищ Шмаков: ответственность в квадрате, можно даже считать — в кубе,— сказал он, сам переходя на «вы» и не скрывая горькой иронии.

Шмаков мог бы ответить на это многое. Он мог бы ответить, что судьба вообще не забрасывала его в армию, а он пошел в нее сам. Он мог бы ответить, что попросил Зайчикова использовать его на любой должности не до, а после того, как ему стало ясно положение дивизии. Он мог бы, наконец, сказать, что никак не меньше Серпилина верит в Советскую власть и в ее способность воспитывать преданных ей до последнего вздоха людей и именно поэтому верит в него, Серпилина, как в самого себя.

Но разговорчивый в обычное время профессор, а ныне батальонный комиссар Шмаков теперь не мог объясняться, когда его к этому вынуждали. Поэтому, не ответив ничего из того, что он мог бы ответить Серпилину, Шмаков помолчал, посмотрел на него через свои толстые очки и сказал всего одну фразу:

— Товарищ Серпилин, я не умею быстро переходить на «ты». Прошу вас не придавать этому ровно никакого значения.

И, только чуть-чуть подчеркнув слова «ровно никакого», дал почувствовать Серпилину, что понял и отвергает его упрек.

— Если я вас верно понял, вам нет дела до моего прошлого,— сказал любивший идти напрямую Серпилин.

— Вы верно меня поняли.

— Но я-то его пока еще не забыл, нет-нет и вспомню. Это вы понимаете?

— Понимаю.

— Как вас зовут?

— Сергей Николаевич.

— Меня — Федор Федорович.

— Ну вот и окончательно познакомились! — рассмеялся Шмаков, радуясь концу напряженного разговора. — А то вдруг кому-нибудь из нас помирать, и вышло бы даже неудобно: не знали бы, какие инициалы в похоронной писать.

— Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке! — покачал головою Серпилин. — Уметь помирать — это еще не все военное дело, а самое большее—полдела. Чтоб немцы помирали, вот что от нас требуется. — Он встал и, потянувшись всем своим длинным телом, сказал, что пора идти докладывать комдиву.

— А может, его не трогать, ему ведь плохо,— возразил Шмаков.

— Доложим — станет лучше. Рана у него слишком тяжелая, чтобы просто так лежать и смерти ждать. Пока будет приказывать — будет жить!

— Едва ли врачи согласятся с вашей точкой зрения,— тоже встал Шмаков.

— А я их согласия не спрашиваю, я сам фельдшер.

Шмаков невольно улыбнулся. Серпилин тоже улыбнулся собственной шутке, но вдруг стал снова серьезен.

— Вот вы тут о смерти заговорили, и я вам тоже скажу, чтоб не возвращаться, чтоб вы меня до самых потрохов поняли. Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права! Поняли?

Следующий день, снова с утра до вечера, весь прошел в бою. Постепенно большая часть полевых и противотанковых орудий была выведена из строя, и немецкие танки, то и дело прорываясь в глубину позиций, подолгу ползали между окопами, разворачивали гусеницами землянки, били из пушек, зайдя сбоку, во всю длину поливали из пулеметов окопы и ходы сообщения. Иногда могло показаться, что позиции полка уже захвачены, но немецкой пехоте весь день никак не удавалось прорваться вслед за танками, а без нее танки ничего не могли доделать до конца: одни, израсходовав боезапас, выходили из боя, другие загорались в глубине позиций, забросанные связками гранат и бутылками с бензином.

Из-за недостатка артиллерии и снарядов танков сожгли меньше, чем в прошлые дни, но все-таки девять штук их сгорело в разных местах. Один даже взгромоздился на блиндаж Серпилина, где теперь лежал Зайчиков; там, на блиндаже, его и сожгли, и он стоял над ним, как памятник, завалившись задом в окоп и задрав к небу орудие.

Всего за день отбили восемь сменявших друг друга немецких атак.

Синцов, придя еще с вечера в роту к Хорышеву, за целые сутки только два раза взглянул на часы. Ему было недосуг думать о том, хорошим или плохим политруком роты он оказался; он просто был весь день в окопах с бойцами и старался как мог толковей приказывать тем немногим людям, которые были поблизости от него, то, что считал необходимым в ту или другую минуту. Он приказал не стрелять, когда почувствовал, что нужно подпустить атакующих немцев поближе, и приказал стрелять, когда понял, что пора стрелять, и стрелял сам, и, наверное, убивал немцев.

Когда кончилась последняя, восьмая по счету, немецкая атака, начало темнеть и Хорышев с забинтованной под пилоткою головой подошел к нему и громко, как глухому, крикнул в ухо: «Хорошо действовал, политрук!» — Синцов лишь пожал плечами. Он сам не знал, хорошо он действовал или плохо, он знал одно:

они остались в тех же окопах, где были с утра, и, наверное, это было хорошо.

Подумав так, он вдруг удивился, что остался жив: слишком много людей было за день убито и ранено вокруг него. Когда их убивало и ранило каждого в отдельности, он не думал о себе, но сейчас, когда после боя вспомнил всех их, раненых и убитых, вместе, ему показалось странным, что всех их убило и ранило, а его за весь день даже не поцарапало.

— Как думаешь, завтра опять пойдут? — спросил он Хорышева.

Тот не расслышал и переспросил. Синцов устало повторил свой вопрос, и Хорышев ответил так же устало:

— Конечно, пойдут, что же им больше делать!

Уже совсем стемнело, когда Серпилин пришел в землянку к комдиву. Верхний накат в землянке покосился, а одно бревно вылезло и углом свисло вниз. Пол возле койки, на которой лежал Зайчиков, был завален грудами осыпавшейся из-под накатов земли.

— Чуть не задавил меня танк,— усмехнулся Зайчиков. — Уже считал, что немцы пришли, приладился стреляться. — Он дотронулся до выглядывавшего из-под подушки пистолета. — Что у Лошкарева слышно?

— Последние часы ничего не слышно,— сказал Серпилин,— тихо!

— Вот и я все прислушивался — со второй половины дня стало стихать. Боюсь я за Лошкарева,— тревожно сказал Зайчиков.

Серпилин промолчал. Он уже не боялся за Лошкарева: там стало так тихо, что бояться было поздно.

— Сейчас вернется комиссар, спросим,— сказал он. — Там с элеватора кое-что просматривается, он мне сказал, что хочет залезть посмотреть.

Прошло полчаса, а Шмакова все еще не было. Наконец он вернулся в черной от пота гимнастерке. Прежде чем говорить, он выпил подряд две кружки воды из стоявшего в углу землянки ведра; вода была мутная, с желтым осадком — в нее нападала глина с потолка. Налив третью кружку, он снял фуражку, снял очки и вылил воду на крепкую, красную, с седой щетиной шею.

— Перегрелись за день? — полусерьезно, полушутя спросил Серпилин.

— Да, духота, годы дают себя знать,— сказал Шмаков виноватым тоном и, сев на табуретку, стал рассказывать, что немцы так ни разу и не выстрелили по элеватору за все время, пока он

там был. — Вся башня в пробоинах, как сито,— объяснил он. — Наверное, думают, что мы уже сняли с нее наблюдательный пункт. Известия невеселые: направо от нас все тихо, ни выстрела, и час назад, правда, не ручаюсь за свои наблюдения, уже темнело, но бойцы подтверждают — у них глаза получше, чем у меня,— он снял, протер очки пальцами и надел их,— немцы провели из Могилева по шоссе на запад колонну пленных.

— Много ли? — спросил Зайчиков.

— Бойцы говорят, человек триста.

— Да, кончился полк Лошкарева,— сказал Зайчиков и, помолчав, повторил еще раз: — Кончился полк Лошкарева.

В землянке наступило молчание. Все трое молчали, и все трое думали об одном и том же: завтра или послезавтра должна наступить их очередь. Снаряды кончались, гранаты еще были, но им когда-нибудь придет конец, бутылок с бензином уже не было. Завтра немцы начнут новые атаки, допустим, можно продержаться еще день, а что дальше? Можно, конечно, попытаться ночью уйти, прорваться на восток, за Днепр. Но как это удастся, и удастся ли, и сколько при этом потеряют — все это наводило на тяжелые мысли. Было жаль, до слез жаль оставлять эти позиции, на которых они уже несколько дней так успешно отбивались и уничтожили почти семьдесят немецких танков. Если вылезешь из окопов, много танков не пожжешь...

У всех троих были почти одни и те же мысли, но никто не хотел заговорить первым. Серпилин ждал, что скажет командир дивизии, Зайчиков ждал, что скажет Серпилин, а Шмаков, вертя круглой седой головой, поглядывал на них обоих, считая, что ему, новому в полку человеку, о таких вещах, наверное, следует говорить в последнюю очередь. Так никто и не заговорил; все молча отложили решение вопроса до завтрашнего дня.

Среди ночи доносились звуки сильного боя за Днепром, к утру бой затих и там. Едва ли это была ночная атака немцев. Серпилин успел заметить, что они, как правило, не любят воевать по ночам. «Достаточно успевают и за день»,—горько усмехнулся он своим мыслям. Скорее всего, это Юшкевич пробивался на восток с оставшимися на левом берегу частями дивизии.

Трудно было сказать, удалось ли ему это. Так или иначе, левый берег затих, все кончилось, к утру пятого дня боев полк Серпилина остался в полном одиночестве. Серпилин ждал с рассвета новых немецких атак, нисколько не сомневаясь, что они с минуты на минуту начнутся. Но прошел час и два, а немцы все не начинали. Наоборот, наблюдатели доносили, что немецкое боевое охранение за ночь исчезло, отошло в лес. Это было загадочно, но прошел еще час, и загадка объяснилась. В воздухе по-

явилась немецкая авиация, которая за четыре предыдущих дня нанесла всего один удар, когда танки отрезали полк Серпилина от полка Лошкарева. Наверное, она была занята на других, более важных направлениях, а теперь Серпилину и его полку предстояло испытать на себе всю силу ее ударов.

Подарив полку три первых утренних часа тишины, немцы весь день вознаграждали себя за это. Ровно двенадцать часов — с девяти утра до девяти вечера — на позиции полка пикировали немецкие бомбардировщики, сменяя друг друга и ни разу больше чем на полчаса не прерывая своей смертельной молотьбы. Тяжелые полутонные и четвертьтонные бомбы, бомбы весом в сто, пятьдесят и двадцать пять килограммов, кассеты с мелкими, сыпавшимися, как горох, трех- и двухкилограммовыми бомбами — все это с утра до вечера валилось с неба на позиции серпилинского полка. Может быть, немцы бросили и не так уж много самолетов — два или три десятка,— но они летали с какого-то совсем близкого аэродрома и работали беспрерывно. Едва уходила одна девятка, как на смену ей появлялась другая и снова сыпала и сыпала свои бомбы.

Теперь было понятно, почему немцы оттянули боевое охранение; они не хотели больше тратить на полк Серпилина танки и пехоту. У них освободилась авиация, и они отвели ей роль безнаказанного убийцы, решив без потерь для себя смешать с землей полк Серпилина, а потом взять голыми руками то, что останется. Наверное, они и завтра еще не пойдут в атаку, а будут продолжать бомбить и бомбить — эта мысль страшила Серпилина. Нет ничего трудней, чем гибнуть, не платя смертью за смерть. А именно этим и пахло.

Когда кончился последний налет и немцы полетели к себе ужинать и спать, позиции полка были так перепаханы падавшим с воздуха железом, что на них нельзя было найти ни одного целого куска телефонного провода длиной в пять — десять метров. За все время удалось сбить только один «юнкерс», а потери в полку были почти такие же, как в самый кровавый из всех дней — вчерашний. К началу боев полк насчитывал две тысячи сто человек. Сейчас, по грубым подсчетам, не осталось и шестисот.

С этим неутешительным докладом Серпилин пошел в землянку к Зайчикову. Несколько раз за день он уже не рассчитывал увидеть в живых комдива: по крайней мере, десять бомб всех калибров в разное время разорвалось вокруг землянки, каким-то чудом вписав ее невредимой в этот круг смерти.

— Товарищ комдив, мое мнение — сегодня ночью пробовать прорываться,— сказал Серпилин сразу, как только вошел. Сегодня он убедился, что другого выхода нет, а будучи убежден,

спешил высказаться без оглядки. — Если не прорвемся, завтра будут продолжать уничтожать нас с воздуха.

Бледный Зайчиков, у которого начала гноиться рана, сказал заметно ослабевшим со вчерашнего дня голосом, что он согласен, и они втроем с подошедшим Шмаковым стали обсуждать выбор направления для прорыва, с выходом к Днепру.

Через полчаса все было решено; владевший немецким языком Шмаков пошел к себе в землянку допросить сбросившегося с «юнкерса» бортстрелка, а Серпилин отправился по окопам. Для удобства управления людьми в ночном бою он решил свести все, что осталось в живых, в один батальон и, не теряя времени, занялся этим, тут же, в окопах, делая назначения и указывая пункты сосредоточения перед прорывом. Откладывать еще на сутки было нельзя, а ночь не растянешь — она июльская, короткая. Сведя в роту батальон Плотникова и назначив при этом Хорышева командиром взвода, Серпилин мельком взглянул на освободившегося от своей должности Синцова и приказал ему идти за собой.

Они вернулись на КП, и Серпилин, миновав землянку Зайчикова, заглянул к Шмакову.

Взъерошенный и злой, Шмаков сидел за столом, а напротив него стоял навытяжку высокий молодой немец в форме летчика; он нервно подергивал лицом, словно сгоняя мух. Одна щека у него была бледная, а другая в багровых пятнах.

— Не закончили? — с порога спросил Серпилин.

— Вот пришлось влепить оплеуху и поставить стоять,— по лицу Шмакова было видно, что он недоволен собой,— а то расселся нога на ногу и стал гарантировать мне сохранение жизни у них в плену, если я лично проведу его через наши позиции! Так сказать, услуга за услугу! Решил завербовать меня, нахал!

— А что дал допрос практически?

— Мало. Здешнего положения почти не знает: их только утром перебросили из Бреста. Утверждает, что всего два дня назад бомбил Брест-Литовскую цитадель.

Шмаков сделал паузу, и они взволнованно переглянулись с Серпилиным, еще раз почувствовав, что хорошо понимают друг друга.

— Обстановки не знает: карты не имел,— говорит, что бортстрелку не положена. — Шмаков вспомнил собственного сына и добавил: — Кажется, так оно и есть. В общем, практически для нас пустое место. Зато психологически...

— А психологически — нам сейчас недосуг, Сергей Николаевич,— нетерпеливо сказал Серпилин. — Раз все ясно — время дорого. Я пошел. Буду ждать у Зайчикова.

От землянки Шмакова до землянки Зайчикова не было и ста шагов.

— Товарищ комбриг,— торопливо, боясь не успеть, спросил Синцов,— вы думаете, это правда — про Брест?

Серпилин очень спешил, но вопрос Синцова рассердил его и заставил остановиться.

— Я-то думаю, что это сто раз правда! — резко сказал он. — А вот почему ты в этом сомневаешься? Если воображаешь, что одни мы здесь такие — руки поднимать не любим,— глупо думаешь!

После этой отповеди они оба шагов сорок прошли молча.

— Вы человек грамотный,— нарушив тягостное для Синцова молчание, сказал наконец Серпилин. — Хотя, как вижу, не до конца. Когда начнем выходить из окружения, придется вести ежедневный строгий счет людям, и убывающим и прибывающим,— в общем, будете при мне.

«Вот как, значит, будем выходить!» — подумал Синцов и пожалел, что Серпилин забрал его к себе. За два дня он уже свыкся с мыслью, что будет до конца воевать вместе с Хорышевым и людьми из их роты.

— Через час двинемся,— входя вместе с Синцовым в землянку, сказал Серпилин.

— Ты-то двинешься,— сказал Зайчиков,— да я-то не больно транспортабельный. Буду вам обузой, силы брать... — Он слабо сжал лежавший на шинели кулак.

— Ничего, живы будем — вынесем... Вы один, а нас шестьсот.

— Все-таки подтвердилось, что шестьсот?

— Даже несколько человек сверх этого,— сказал Серпилин.— Если удачно воткнемся, то пройдем, кулак есть,— добавил он.

— Вот что,— сказал Зайчиков,— откладывать больше нельзя. Садись, Серпилин, и пиши приказ о твоем назначении командиром дивизии. Вынесете или не вынесете, а командовать — я уже не командир.

Серпилин пожал плечами.

— Как прикажете.

Он не хотел возражать, считая, что Зайчиков прав, это пора было сделать.

— Тем более,— сказал Зайчиков,— что, когда прорвемся, можем встретить людей из других частей дивизии, а в окружении нужна рука. Как нигде!

Серпилин молча кивнул. По его мнению, и это было верно.

— Садись, пиши приказ,— снова на «ты», словно ставя этим крест на недавнем разговоре, сказал Синцову Серпилин. Он не желал писать приказ о своем назначении собственной рукой.

— Как его писать? — пристроившись к столу, спросил Синцов.

— Черным по белому,— скрипнув зубами от приступа боли, сказал Зайчиков.

— Я спрашиваю потому, что у меня только карандаш,— сказал Синцов, вынимая из кармана гимнастерки карандаш и с сомнением глядя на него — карандаш был обломан.

Серпилин протянул ему перочинный нож.

Пока Синцов чинил карандаш, Зайчиков лежал и молча смотрел в потолок. Как только Синцов очинил карандаш, Зайчиков сразу же стал диктовать:

— «Приказ номер... — Морща лоб, он с минуту вспоминал, за каким номером шел последний приказ по дивизии, и, вспомнив, сказал: — ...номер одиннадцатый. В связи со своим выходом из строя по ранению,— диктовал он,— приказываю принять командование всеми частями вверенной мне дивизии командиру Пятьсот двадцать шестого стрелкового полка комбригу Серпилину». Поставьте инициалы! — Синцов ожидал дальнейшей диктовки, но Зайчиков сказал: — Все,— и, вытерев рукой мокрый от слабости лоб, откинулся на подушку. — Дайте подписать, или нет, подождите, у меня в планшетке красный карандаш есть, достаньте!

Синцов снял со стены землянки висевший там на гвозде планшет Зайчикова, достал из него красный, остро очиненный карандаш и, положив приказ на планшет, подошел к Зайчикову.

Зайчиков чуть-чуть приподнялся на одном локте и, зажав карандаш в ослабевших пальцах, стал подписываться. На второй букве фамилии карандаш задрожал и сломался, оставив на бумаге непрошеную красную загогулину.

— А, черт! — выругался Зайчиков. — Очините карандаш!

Синцов снова взял нож у Серпилина, очинил карандаш, и Зайчиков, с заметным усилием держа его в руке, аккуратно дописал до конца свою фамилию и поставил под ней число.

— Возьми, Серпилин.

Серпилин прочел приказ, сложил его вчетверо и спрятал в карман гимнастерки.

Уходя на фронт командовать полком, он верил, что придет время, когда в его жизни все окончательно станет на свое место и ему еще прикажут сдать полк и принять дивизию. Но кто мог

предвидеть, что ему придется принимать именно эту дивизию и при таких обстоятельствах!

— Разрешите идти готовиться к выступлению? — прикладывая руку к козырьку, сказал он Зайчикову, не по привычке, а потому, что именно так и хотел сказать сейчас в последний раз.

И Зайчиков хорошо понял его и вместо ответа благодарно протянул свою потную, слабую руку. Серпилин крепко пожал ее и вышел из землянки.

— Командиры рот собраны? Все ко мне! — раздался уже оттуда, снаружи, его повелительный фальцет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Было солнечное утро. Полтораста человек, оставшихся от серпилинского полка, шли густыми лесами днепровского левобережья, спеша поскорей удалиться от места переправы. Среди этих ста пятидесяти человек каждый третий был легко ранен. Пятерых тяжелораненых, которых чудом удалось перетащить на левый берег, меняясь, несли на носилках двадцать самых здоровых бойцов, выделенных для этого Серпилиным.

Несли и умирающего Зайчикова. Он то терял сознание, то, очнувшись, смотрел на синее небо, на качавшиеся над головой верхушки сосен и берез. Мысли путались, и ему казалось, что все качается: спины несущих его бойцов, деревья, небо. Он с усилием прислушивался к тишине; ему то чудились в ней звуки боя, то вдруг, придя в себя, он ничего не слышал, и тогда ему казалось, что он оглох, — на самом же деле это просто была настоящая тишина.

В лесу было тихо, только поскрипывали от ветра деревья, да слышались шаги усталых людей, да иногда позвякивали котелки. Тишина казалась странной не только умирающему Зайчикову, но и всем остальным. Они так отвыкли от нее, что она казалась им опасной. Напоминая о кромешном аде переправы, над колонной еще курился парок от обсыхавшего на ходу обмундирования.

Выслав вперед и по сторонам дозоры и оставив Шмакова двигаться с тыловым охранением, Серпилин сам шел в голове колонны. Он с трудом передвигал ноги, но шедшим вслед за ним казалось, что он шагает легко и быстро, уверенной походкой человека, знающего, куда он идет, и готового идти вот так много дней подряд. Эта походка нелегко давалась Серпилину: он был немолод, потрепан жизнью и сильно утомлен последними днями боев, но он знал, что отныне, в окружении, нет ничего неважного

и незаметного. Важно и заметно все, важна и заметна и эта походка, которой он идет в голове колонны.

Удивляясь тому, как легко и быстро идет комбриг, Синцов шел следом за ним, перевешивая автомат с левого плеча на правое и обратно: у него болели от усталости спина, шея, плечи, болело все, что могло болеть.

Солнечный июльский лес был чудо как хорош! В нем пахло смолой и нагретым мхом. Солнце, пробиваясь через покачивающиеся ветки деревьев, шевелилось на земле теплыми желтыми пятнами. Среди прошлогодней хвои зеленели кустики земляники с веселыми красными капельками ягод. Бойцы то и дело на ходу нагибались за ними. При всей своей усталости Синцов шел и не уставал замечать красоту леса.

«Живы,— думал он,— все-таки живы!» Серпилин три часа назад приказал ему составить поименный список всех, кто переправился. Он составил список и знал, что в живых осталось сто сорок восемь человек. Из каждых четырех, пошедших ночью на прорыв, трое погибли в бою или утонули, а остался в живых только один — четвертый, и сам он тоже был таким — четвертым.

Идти и идти бы так вот этим лесом и к вечеру, уже не встречаясь с немцами, выйти прямо к своим — вот было бы счастье! А почему бы и не так? Не всюду же немцы, в конце концов, да и наши, возможно, отступили не так уж далеко!

— Товарищ комбриг, как вы думаете, может быть, дойдем сегодня до наших?

— Когда дойдем, не знаю,— полуобернулся на ходу Серпилин,— знаю, что когда-нибудь дойдем. Пока спасибо и на этом!

Он начал серьезно, а кончил с угрюмой иронией. Мысли его были прямо противоположны мыслям Синцова. Судя по карте, сплошным лесом, минуя дороги, можно было идти самое большее еще двадцать километров, и он рассчитывал пройти их до вечера. Двигаясь дальше на восток, нужно было не там, так тут пересечь шоссе, а значит, встретиться с немцами. Опять углубиться без встречи с ними в зеленевшие на карте по ту сторону шоссе лесные массивы было бы слишком удивительной удачей. Серпилин не верил в нее, а это значило, что ночью при выходе на шоссе придется снова вести бой. И он шел и думал об этом будущем бое среди тишины и зелени леса, приведших Синцова в такое блаженное и доверчивое состояние.

— Где комбриг? Товарищ комбриг! — увидев Серпилина, весело прокричал подбежавший к нему красноармеец из головного дозора. — Меня лейтенант Хорышев прислал! Наших встретили, из Пятьсот двадцать седьмого!

— Смотри-ка! — радостно отозвался Серпилин. — Где же они?

— А вон, вон! — красноармеец ткнул пальцем вперед, туда, где в зарослях показались фигуры шедших навстречу военных.

Забыв об усталости, Серпилин прибавил шагу.

Люди из 527-го полка шли во главе с двумя командирами — капитаном и младшим лейтенантом. Все они были в обмундировании и с оружием. Двое несли даже ручные пулеметы.

— Здравствуйте, товарищ комбриг! — останавливаясь, молодцевато сказал курчавый капитан в сдвинутой набок пилотке.

Серпилин вспомнил, что видел его как-то в штабе дивизии,— если не изменяла память, это был уполномоченный Особого отдела.

— Здравствуй, дорогой! — сказал Серпилин. — С прибытием в дивизию, тебя за всех! — И он, обняв, крепко поцеловал его.

— Вот явились, товарищ комбриг,— сказал капитан, растроганный этой не положенной по уставу лаской. — Говорят, командир дивизии с вами здесь.

— Здесь,— сказал Серпилин,— вынесли командира дивизии, только... — Он, не договорив, перебил себя: — Сейчас пойдем к нему.

Колонна остановилась, все радостно смотрели на вновь прибывших. Их было не много, но всем казалось, что это лишь начало.

— Продолжайте движение,— сказал Серпилин Синцову. — До положенного привала,— он посмотрел на свои большие ручные часы,— еще двадцать минут.

Колонна нехотя двинулась дальше, а Серпилин, жестом пригласив идти за собой не только капитана и младшего лейтенанта, но и всех бывших с ними красноармейцев, медленно зашагал навстречу колонне,— раненых несли в середине ее.

— Опустите,— тихо сказал Серпилин бойцам, несшим Зайчикова.

Бойцы опустили носилки на землю. Зайчиков лежал неподвижно, закрыв глаза. Радостное выражение исчезло с лица капитана. Хорышев сразу при встрече сказал ему, что командир дивизии ранен, но вид Зайчикова поразил его. Лицо командира дивизии, которое он помнил толстым и загорелым, сейчас было худым и мертвенно-бледным. Нос заострился, как у покойника, а на бескровной нижней губе виднелись черные отпечатки зубов. Поверх шинели лежала белая, слабая, неживая рука. Комдив умирал, и капитан понял это сразу, как только его увидел.

— Николай Петрович, а Николай Петрович,— с трудом согнув ноющие от усталости ноги и став на одно колено рядом с носилками, тихо позвал Серпилин.

Зайчиков сначала пошарил по шинели рукой, потом закусил губу и только после этого открыл глаза.

— Наших встретили, из Пятьсот двадцать седьмого!

— Товарищ командир дивизии, уполномоченный Особого отдела Сытин явился в ваше распоряжение! Привел с собою подразделение в составе девятнадцати человек.

Зайчиков молча посмотрел снизу вверх и сделал короткое, слабое движение лежавшими на шинели белыми пальцами.

— Опуститесь пониже,— сказал Серпилин капитану.— Зовет.

Тогда уполномоченный, так же как и Серпилин, встал на одно колено, и Зайчиков, опустив прикушенную губу, шепотом сказал ему что-то, что тот не сразу расслышал. Поняв по его глазам, что он не расслышал, Зайчиков с усилием еще раз повторил сказанное.

— Комбриг Серпилин принял дивизию,— прошептал он,— рапортуйте ему.

— Разрешите доложить,— так и не вставая с колена, но обращаясь теперь уже одновременно и к Зайчикову и к Серпилину, сказал уполномоченный,— вынесли с собой знамя дивизии.

Одна щека Зайчикова слабо дрогнула. Он хотел улыбнуться, но ему не удалось.

— Где оно? — шевельнул он губами. Шепота не было слышно, но глаза попросили: «Покажите!» — и все это поняли.

— Старшина Ковальчук вынес на себе,— сказал уполномоченный. — Ковальчук, достаньте знамя.

Но Ковальчук уже и без того, не дожидаясь, расстегнул ремень и, уронив его на землю и задрав гимнастерку, разматывал обмотанное вокруг тела полотнище знамени. Размотав, он прихватил его за края и растянул так, чтобы командир дивизии видел все знамя — измятое, пропитанное солдатским потом, но спасенное, с хорошо знакомыми, вышитыми золотом по красному шелку словами: «176-я Краснознаменная Стрелковая дивизия Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Глядя на знамя, Зайчиков заплакал. Он плакал так, как может плакать обессиленный и умирающий человек,— тихо, не двигая ни одним мускулом лица; слеза за слезой медленно катилась из обоих его глаз, а рослый Ковальчук, державший знамя в громадных, крепких руках и глядевший поверх этого знамени в лицо лежавшему на земле и плакавшему командиру дивизии, тоже заплакал, как может плакать здоровый, могучий, потрясенный случившимся мужчина,— горло его судорожно сжималось от подступавших слез, а плечи и большие руки, державшие знамя,

ходуном ходили от рыданий. Зайчиков закрыл глаза, тело его дрогнуло, и Серпилин испуганно схватил его за руку.

Нет, он не умер, в запястье продолжал биться слабый пульс,— он просто уже в который раз за утро потерял сознание.

— Поднимите носилки и идите,— тихо сказал Серпилин бойцам, которые, повернувшись к Зайчикову, молча смотрели на него.

Бойцы взялись за ручки носилок и, плавно подняв их, понесли.

— Знамя возьмите обратно на себя,— обратился Серпилин к Ковальчуку, продолжавшему стоять со знаменем в руках,— раз вынесли, несите и дальше.

Ковальчук бережно сложил знамя, обмотал вокруг тела, опустил гимнастерку, поднял с земли ремень и перепоясался.

— Товарищ младший лейтенант, пристраивайтесь с бойцами в хвост колонны,— сказал Серпилин лейтенанту, который тоже за минуту до этого плакал, а сейчас смущенно стоял рядом.

Когда хвост колонны прошел мимо, Серпилин придержал уполномоченного за руку и, оставив между собой и последними шедшими в колонне бойцами интервал в десять шагов, пошел рядом с уполномоченным.

— Теперь докладывайте, что знаете и что видели.

Уполномоченный стал рассказывать о последнем ночном бое. Когда начальник штаба дивизии Юшкевич и командир 527-го полка Ершов решили ночью прорываться на восток, бой был тяжелым; прорывались двумя группами с намерением потом соединиться, но не соединились. Юшкевич погиб на глазах уполномоченного, напоровшись на немецких автоматчиков, а жив ли Ершов, командовавший другой группой, и куда он вышел, если жив, уполномоченный не знал. К утру он сам пробился и вышел в лес с двенадцатью человеками, потом встретил еще шестерых во главе с младшим лейтенантом. Это было все, что он знал.

— Молодец, уполномоченный,— сказал Серпилин. — Знамя дивизии вынесли. Кто позаботился, ты?

— Я.

— Молодец,— повторил Серпилин. — Командира дивизии перед смертью порадовал!

— Умрет? — спросил уполномоченный.

— А ты разве не видишь? — спросил, в свою очередь, Серпилин. — Потому и принял от него команду. Прибавь шагу, пойдем догоним голову колонны. Можешь шагу прибавить или силенок нет?

— Могу,— улыбнулся уполномоченный. — Я молодой.

— Какого года?

— С шестнадцатого.

— Двадцать пять лет,— присвистнул Серпилин.— Быстро вашему брату звания отваливают!

В полдень, едва колонна успела расположиться на первый большой привал, произошла еще одна обрадовавшая Серпилина встреча. Все тот же шедший в головном дозоре глазастый Хорышев заметил расположившуюся в густом кустарнике группу людей. Шестеро спали вповалку, а двое — боец с немецким автоматом и женщина-военврач, сидевшая в кустах с наганом на коленях,— сторожили спящих, но сторожили плохо. Хорышев созорничал — вылез из кустов прямо перед ними, крикнул: «Руки вверх!» — и чуть не получил за это очередь из автомата. Оказалось, что эти люди тоже из их дивизии, из тыловых частей. Один из спавших был техник-интендант, начальник продсклада, он вывел всю группу, состоявшую из него, шести кладовщиков и ездовых и женщины-врача, случайно заночевавшей в соседней избе.

Когда их всех привели к Серпилину, техник-интендант, немолодой, лысый, уже в дни войны мобилизованный человек, рассказал, как еще три ночи назад в деревню, где они стояли, ворвались немецкие танки с десантом на броне. Он со своими людьми выбрался задами на огороды; винтовки были не у всех, но сдаваться немцам не хотелось. Он, сам сибиряк, в прошлом красный партизан, взялся вывести людей лесами к своим.

— Вот и вывел,— сказал он,— правда, не всех — одиннадцать человек потерял: на немецкий дозор нарвались. Однако четырех немцев убили и оружие взяли. Она одного немца из нагана стрельнула,— кивнул техник-интендант на врачиху.

Врачиха была молоденькая и такая крохотная, что казалась совсем девочкой. Серпилин и стоявший рядом с ним Синцов, да и все, кто был кругом, смотрели на нее с удивлением и нежностью. Их удивление и нежность еще усилились, когда она, жуя горбушку хлеба, стала в ответ на расспросы рассказывать о себе.

Обо всем происшедшем с ней она говорила как о цепи вещей, каждую из которых ей было совершенно необходимо сделать. Она рассказала, как окончила зубоврачебный институт, а потом стали брать комсомолок в армию, и она, конечно, пошла; а потом выяснилось, что во время войны никто не лечит у нее зубы, и тогда она из зубного врача стала медсестрою, потому что нельзя же было ничего не делать! Когда при бомбежке убило врача, она стала врачом, потому что надо было его заменить; и сама поехала в тыл за медикаментами, потому что необходимо было их достать для полка. Когда же в деревню, где она заночевала, ворвались немцы, она, конечно, ушла оттуда вместе со всеми, потому что не оставаться же ей с немцами. А потом, когда они встретились

с немецким дозором и началась перестрелка, впереди ранило одного бойца, он сильно стонал, и она поползла перевязать его, и вдруг прямо перед ней выскочил большой немец, и она вытащила наган и убила его. Наган был такой тяжелый, что ей пришлось стрелять, держа его двумя руками.

Она рассказала все это быстро, детской скороговоркой, потом, доев горбушку, села на пенек и начала рыться в санитарной сумке. Сначала она вытащила оттуда несколько индивидуальных пакетов, а потом маленькую черную лакированную дамскую сумочку. Синцов с высоты своего роста увидел, что у нее в этой сумочке лежали пудреница и черная от пыли помада. Запихнув поглубже пудреницу и помаду, чтобы их никто не увидел, она вытащила зеркальце и, сняв пилотку, стала расчесывать свои детские, мягкие, как пух, волосы.

— Вот это женщина! — сказал Серпилин, когда маленькая врачиха, расчесав волосы и поглядев на окружавших ее мужчин, как-то незаметно отошла и исчезла в лесу. — Вот это женщина! — повторил он, хлопнув по плечу догнавшего колонну и подсевшего к нему на привале Шмакова. — Это я понимаю! При такой и трусить-то совестно! — Он широко улыбнулся, блеснув своими стальными зубами, откинулся на спину, закрыл глаза и в ту же секунду уснул.

Синцов, проехав спиной по стволу сосны, опустился на корточки, поглядел на Серпилина и сладко зевнул.

— А вы женаты? — спросил у него Шмаков.

Синцов кивнул и, отгоняя от себя сон, попробовал представить, как бы все вышло, если б Маша тогда, в Москве, настояла на своем желании ехать вместе с ним на войну и это удалось бы им... Вот они вылезли бы вместе с ней из поезда в Борисове... И что дальше? Да, это трудно было себе представить... И все-таки в глубине души он знал, что в тот горький день их прощания была права она, а не он.

Сила злобы, которую он после всего пережитого испытывал к немцам, стерла многие границы, раньше существовавшие в его сознании; для него уже не существовало мыслей о будущем без мысли о том, что фашисты должны быть уничтожены. И почему же, собственно, Маша не могла чувствовать то же, что он? Почему он хотел отнять у нее то право, которое никому не даст отнять у себя, то право, которое попробуй отними у этой вот маленькой докторши!

— А дети есть или нет? — прервал его мысли Шмаков.

Синцов, все время, весь этот месяц, при каждом воспоминании упорно убеждавший себя, что все в порядке, что дочь уже давно в Москве, коротко объяснил, что произошло с его семьей.

На самом деле чем настойчивей убеждал он себя, что все хорошо, тем слабее верил в это.

Шмаков посмотрел на его лицо и понял, что лучше было не задавать этого вопроса.

— Ладно, спите,— привал короткий, и первого сна доглядеть не успеете!

«Какой уж теперь сон!» — сердито подумал Синцов, но, с минуту посидев с открытыми глазами, клюнул носом в колени, вздрогнул, снова открыл глаза, хотел что-то сказать Шмакову и вместо этого, уронив голову на грудь, заснул мертвым сном.

Шмаков с завистью посмотрел на него и, сняв очки, стал тереть глаза большим и указательным пальцами: глаза болели от бессонницы, казалось, дневной свет колет их даже через зажмуренные веки, а сон не шел и не шел.

За последние трое суток Шмаков увидел столько мертвых ровесников своего убитого сына, что отцовская скорбь, силою воли загнанная в самые недра души, вышла из этих недр наружу и разрослась в чувство, которое относилось уже не только к сыну, а и к тем другим, погибшим на его глазах, и даже к тем, чьей гибели он не видел, а только знал о ней. Это чувство все росло и росло и наконец стало таким большим, что из скорби превратилось в гнев. И этот гнев душил сейчас Шмакова. Он сидел и думал о фашистах, которые повсюду, на всех дорогах войны, насмерть вытаптывали сейчас тысячи и тысячи таких же ровесников Октября, как его сын,— одного за другим, жизнь за жизнью. Сейчас он ненавидел этих немцев так, как когда-то ненавидел белых. Большей меры ненависти он не знал, и, наверное, ее и не было в природе.

Еще вчера ему нужно было усилие над собой, чтобы отдать приказ расстрелять немецкого летчика. Но сегодня, после душераздирающих сцен переправы, когда фашисты, как мясники, рубили из автоматов воду вокруг голов тонущих, израненных, но все еще не добитых людей, в его душе перевернулось что-то, до этой последней минуты все еще не желавшее окончательно переворачиваться, и он дал себе необдуманную клятву впредь не щадить этих убийц нигде, ни при каких обстоятельствах, ни на войне, ни после войны — никогда!

Должно быть, сейчас, когда он думал об этом, на его обычно спокойном лице доброго от природы, немолодого интеллигентного человека появилось выражение настолько необычное, что он вдруг услышал голос Серпилина:

— Сергей Николаевич! Что с тобой? Случилось что?

Серпилин лежал на траве и, широко открыв глаза, смотрел на него.

— Ровно ничего. — Шмаков надел очки, и лицо его приняло обычное выражение.

— А если ничего, тогда скажи, который час: не пора ли? А то лень зря конечностями шевелить,— усмехнулся Серпилин.

Шмаков посмотрел на часы и сказал, что до конца привала осталось семь минут.

— Тогда еще сплю. — Серпилин закрыл глаза.

После часового отдыха, который Серпилин, несмотря на усталость людей, не позволил затянуть ни на минуту, двинулись дальше, постепенно сворачивая на юго-восток.

До вечернего привала к отряду присоединилось еще три десятка бродивших по лесу людей. Из их дивизии больше никого не попалось. Все тридцать человек, встреченные после первого привала, были из соседней дивизии, стоявшей южней по левому берегу Днепра. Все это были люди из разных полков, батальонов и тыловых частей, и хотя среди них оказались три лейтенанта и один старший политрук, никто не имел представления ни где штаб дивизии, ни даже в каком направлении он отходил. Однако по отрывочным и часто противоречивым рассказам все-таки можно было представить общую картину катастрофы.

Судя по названию мест, из которых шли окруженцы, к моменту немецкого прорыва дивизия была растянута в цепочку почти на тридцать километров по фронту. Вдобавок она не успела или не сумела как следует укрепиться. Немцы бомбили ее двадцать часов подряд, а потом, выбросив в тылы дивизии несколько десантов и нарушив управление и связь, одновременно под прикрытием авиации сразу в трех местах начали переправу через Днепр. Части дивизии были смяты, местами побежали, местами ожесточенно дрались, но это уже не могло изменить общего хода дела.

Люди из этой дивизии шли небольшими группами, по двое и по трое. Одни были с оружием, другие без оружия. Серпилин, поговорив с ними, всех поставил в строй, перемешав с собственными бойцами. Невооруженных он поставил в строй без оружия, сказав, что придется самим добыть его в бою, оно для них не запасено.

Серпилин разговаривал с людьми круто, но не обидно. Только старшему политруку, оправдывавшемуся тем, что он шел хотя и без оружия, но в полном обмундировании и с партбилетом в кармане, Серпилин желчно возразил, что коммунисту на фронте надо хранить оружие наравне с партбилетом.

— Мы не на Голгофу идем, товарищ дорогой,— сказал Серпилин,— а воюем. Если вам легче, чтобы фашисты вас к стенке поставили, чем своей рукой комиссарские звезды срывать,— это

значит, что у вас совесть есть. Но нам одного этого мало. Мы не встать к стенке хотим, а фашистов к стенке поставить. А без оружия этого не совершишь. Так-то вот! Идите в строй, и ожидаю, что вы будете первым, кто приобретет себе оружие в бою.

Когда смущенный старший политрук отошел на несколько шагов, Серпилин окликнул его и, отцепив одну из двух висевших у пояса гранат-лимонок, протянул на ладони.

— Для начала возьмите!

Синцов, в качестве адъютанта записывавший в блокнот фамилии, звания и номера частей, молча радовался тому запасу терпения и спокойствия, с которым Серпилин говорил с людьми.

Нельзя проникнуть в душу человека, но Синцову за эти дни не раз казалось, что сам Серпилин не испытывает страха смерти. Наверное, это было не так, но выглядело так.

В то же время Серпилин не делал виду, что не понимает, как это люди боятся, как это они могли побежать, растеряться, бросить оружие. Наоборот, он давал почувствовать им, что понимает это, но в то же время настойчиво вселял в них мысль, что испытанный ими страх и пережитое поражение — все это в прошлом. Что так было, но так больше не будет, что они потеряли оружие, но могут приобрести его вновь. Наверное, поэтому люди не отходили от Серпилина подавленными, даже когда он говорил с ними круто. Он справедливо не снимал с них вины, но и не перекладывал всю вину только на их плечи. Люди чувствовали это и хотели доказать, что он прав.

Перед вечерним привалом произошла еще одна встреча, непохожая на все другие. Из двигавшегося по самой чащобе леса бокового дозора пришел сержант, приведя с собой двух вооруженных людей. Один из них был низкорослый красноармеец, в потертой кожаной куртке поверх гимнастерки и с винтовкой на плече. Другой — высокий, красивый человек лет сорока, с орлиным носом и видневшейся из-под пилотки благородной сединой, придававшей значительность его моложавому, чистому, без морщин лицу; на нем были хорошие галифе и хромовые сапоги, на плече висел новенький ППШ, с круглым диском, но пилотка на голове была грязная, засаленная, и такой же грязной и засаленной была нескладно сидевшая на нем красноармейская гимнастерка, не сходившаяся на шее и короткая в рукавах.

— Товарищ комбриг,— подходя к Серпилину вместе с этими двумя людьми, косясь на них и держа наготове винтовку, сказал сержант, — разрешите доложить? Привел задержанных. Задержал и привел под конвоем, потому что не объясняют себя, а также по их виду. Разоружать не стали, потому что отказались, а мы не хотели без необходимости открывать в лесу огонь.

— Заместитель начальника оперативного отдела штаба армии полковник Баранов,— отрывисто, бросив руку к пилотке и вытянувшись перед Серпилиным и стоявшим рядом с ним Шмаковым, сердито, с ноткой обиды сказал человек с автоматом.

— Извиняемся,— услышав это и, в свою очередь, прикладывая руку к пилотке, сказал приведший задержанных сержант.

— А чего вы извиняетесь? — повернулся к нему Серпилин.— Правильно сделали, что задержали, и правильно, что привели ко мне. Так действуйте и в дальнейшем. Можете идти. Попрошу ваши документы,— отпустив сержанта, повернулся он к задержанному, не называя его по званию.

Губы у того дрогнули, и он растерянно улыбнулся. Синцову показалось, что этот человек, наверное, был знаком с Серпилиным, но только сейчас узнал его и поражен встречей.

Так оно и было. Человек, назвавший себя полковником Барановым и действительно носивший эту фамилию и звание и состоявший в той должности, которую он назвал, когда его подвели к Серпилину, был так далек от мысли, что перед ним здесь, в лесу, в военной форме, окруженный другими командирами, может оказаться именно Серпилин, что в первую минуту лишь отметил про себя, что высокий комбриг с немецким автоматом на плече очень напоминает ему кого-то.

— Серпилин! — воскликнул он, разведя руками, и трудно было понять, то ли это жест крайнего изумления, то ли он хочет обнять Серпилина.

— Да, я комбриг Серпилин,— неожиданно сухим, жестяным голосом сказал Серпилин,— командир вверенной мне дивизии, а вот кто вы, пока не вижу. Ваши документы!

— Серпилин, я Баранов, ты что, с ума сошел?

— В третий раз прошу вас предъявить документы,— сказал Серпилин все тем же жестяным голосом.

— У меня нет документов,— после долгой паузы сказал Баранов.

— Как так нет документов?

— Так вышло, я случайно потерял... Оставил в той гимнастерке, когда менял вот на эту... красноармейскую. — Баранов задвигал пальцами по своей засаленной, не по росту, тесной гимнастерке.

— Оставили документы в той гимнастерке? А полковничьи знаки различия у вас тоже на той гимнастерке?

— Да,— вздохнул Баранов.

— А почему же я должен вам верить, что вы заместитель начальника оперативного отдела армии полковник Баранов?

— Но ты же меня знаешь, мы же с тобой вместе в академии служили! — уже совсем потерянно пробормотал Баранов.

— Предположим, что так,— нисколько не смягчаясь, все с той же непривычной для Синцова жестяной жесткостью сказал Серпилин,— но если бы вы встретили не меня, кто бы мог подтвердить вашу личность, звание и должность?

— Вот он,— показал Баранов на стоявшего рядом с ним красноармейца в кожаной куртке. — Это мой водитель.

— А у вас есть документы, товарищ боец? — не глядя на Баранова, повернулся Серпилин к красноармейцу.

— Есть... — красноармеец на секунду запнулся, не сразу решив, как обратиться к Серпилину,— есть, товарищ генерал! — Он распахнул кожанку, вынул из кармана гимнастерки обернутую в тряпицу красноармейскую книжку и протянул ее.

— Так,— вслух прочел Серпилин. — «Красноармеец Золотарев Петр Ильич, воинская часть 2214». Ясно. — И он отдал красноармейцу книжку. — Скажите, товарищ Золотарев, вы можете подтвердить личность, звание и должность этого человека, вместе с которым вас задержали? — И он, по-прежнему не поворачиваясь к Баранову, показал на него пальцем.

— Так точно, товарищ генерал, это действительно полковник Баранов, я его водитель.

— Значит, вы удостоверяете, что это ваш командир?

— Так точно, товарищ генерал.

— Брось издеваться, Серпилин! — нервно крикнул Баранов.

Но Серпилин даже и глазом не повел в его сторону.

— Хорошо, что хоть вы можете удостоверить личность вашего командира, а то, не ровен час, могли бы и расстрелять его. Документов нет, знаков различия нет, гимнастерка с чужого плеча, сапоги и бриджи комсоставские... — Голос Серпилина с каждой фразой становился все жестче и жестче. — При каких обстоятельствах оказались здесь? — спросил он после паузы.

— Сейчас я тебе все расскажу... — начал было Баранов.

Но Серпилин, на этот раз полуобернувшись, прервал его:

— Пока я не вас спрашиваю. Говорите... — снова повернулся он к красноармейцу.

Красноармеец, сначала запинаясь, а потом все увереннней, стремясь ничего не забыть, начал рассказывать, как они три дня назад, приехав из армии, заночевали в штабе дивизии, как утром полковник ушел в штаб, а кругом сразу началась бомбежка, как вскоре один приехавший из тыла шофер сказал, что там высадился немецкий десант, и он, услышав это, на всякий случай вывел машину. А еще через час прибежал полковник, похвалил его, что машина стоит уже наготове, вскочил в нее и при-

казал скорей гнать назад, в Чаусы. Когда они выехали на шоссе, впереди была уже сильная стрельба и дым, они свернули на проселок, поехали по нему, но опять услышали стрельбу и увидели на перекрестке немецкие танки. Тогда они свернули на глухую лесную дорогу, с нее съехали прямо в лес, и полковник приказал остановить машину.

Рассказывая все это, красноармеец иногда искоса взглядывал на своего полковника, как бы ища у того подтверждения, а тот стоял молча, низко опустив голову. Для него начиналось самое тяжкое, и он понимал это.

— Приказал остановить машину,— повторил последние слова красноармейца Серпилин,— и что дальше?

— Потом товарищ полковник приказал мне вынуть из-под сиденья мою старую гимнастерку и пилотку, я как раз недавно получил новое обмундирование, а старую гимнастерку и пилотку при себе оставил — на всякий случай, если под машиной лежать. Товарищ полковник снял свою гимнастерку и фуражку и надел мою пилотку и гимнастерку, сказал, что придется теперь пешком выходить из окружения, и велел мне облить машину бензином и поджечь. Но только я,— шофер запнулся,— но только я, товарищ генерал, не знал, что товарищ полковник забыл там документы, в своей гимнастерке, я бы, конечно, напомнил, если б знал, а то так все вместе с машиной и зажег.

Он чувствовал себя виноватым.

— Вы слышите? — Серпилин повернулся к Баранову. — Ваш боец сожалеет, что не напомнил вам о ваших документах.— В голосе его прозвучала насмешка. — Интересно, что произошло бы, если б он вам о них напомнил? — Он снова повернулся к шоферу: — Что было дальше?

— Дальше шли два дня, прячась. Пока вас не встретили...

— Благодарю вас, товарищ Золотарев,— сказал Серпилин. — Занеси его в списки, Синцов. Догоняйте колонну и становитесь в строй. Довольствие получите на привале.

Шофер было двинулся, потом остановился и вопросительно посмотрел на своего полковника, но тот по-прежнему стоял, опустив глаза в землю.

— Идите! — повелительно сказал Серпилин. — Вы свободны.

Шофер ушел. Наступила тяжелая тишина.

— Зачем вам понадобилось при мне спрашивать его? Могли бы спросить меня, не компрометируя перед красноармейцем.

— А я спросил его потому, что больше доверяю рассказу бойца с красноармейской книжкой, чем рассказу переодетого полковника без знаков различия и документов,— сказал Серпилин. — Теперь мне, по крайней мере, ясна картина. Приехали в диви-

зию проследить за выполнением приказов командующего армией. Так или не так?

— Так,— упрямо глядя в землю, сказал Баранов.

— А вместо этого удрали при первой опасности! Все бросили и удрали. Так или не так?

— Не совсем.

— Не совсем? А как?

Но Баранов молчал. Как ни сильно чувствовал он себя оскорбленным, возражать было нечего.

— Скомпрометировал я его перед красноармейцем! Ты слышишь, Шмаков? — повернулся Серпилин к Шмакову. — Смеху подобно! Он струсил, снял с себя при красноармейце командирскую гимнастерку, бросил документы, а я его, оказывается, скомпрометировал. Не я вас скомпрометировал перед красноармейцем, а вы своим позорным поведением скомпрометировали перед красноармейцем командный состав армии. Если мне не изменяет память, вы были членом партии. Что, партийный билет тоже сожгли?

— Все сгорело,— развел руками Баранов.

— Вы говорите, что случайно забыли в гимнастерке все документы? — тихо спросил впервые вступивший в этот разговор Шмаков.

— Случайно.

— А по-моему, вы лжете. По-моему, если бы ваш водитель напомнил вам о них, вы бы все равно избавились от них при первом удобном случае.

— Для чего? — спросил Баранов.

— Это уж вам виднее.

— Но я же с оружием шел.

— Если вы документы сожгли, когда настоящей опасности и близко не было, то оружие бросили бы перед первым немцем.

— Он оружие себе оставил потому, что в лесу волков боялся,— сказал Серпилин.

— Я против немцев оставил оружие, против немцев! — нервно выкрикнул Баранов.

— Не верю,— сказал Серпилин. — У вас, у штабного командира, целая дивизия под руками была, так вы из нее удрали! Как же вам одному с немцами воевать?

— Федор Федорович, о чем долго говорить? Я не мальчик, все понимаю,— вдруг тихо сказал Баранов.

Но именно это внезапное смирение, словно человек, только что считавший нужным оправдываться изо всех сил, вдруг решил, что ему полезней заговорить по-другому, вызвало у Серпилина острый прилив недоверия.

— Что вы понимаете?

— Свою вину. Я смою ее кровью. Дайте мне роту, наконец, взвод, я же все-таки не к немцам шел, а к своим, в это можете поверить?

— Не знаю,— сказал Серпилин. — По-моему, ни к кому вы не шли. Просто шли в зависимости от обстоятельств, как обернется...

— Я проклинаю тот час, когда сжег документы... — снова начал Баранов, но Серпилин перебил его:

— Что сейчас жалеете — верю. Жалеете, что поторопились, потому что к своим попали, а если бы вышло иначе — не знаю, жалели бы. Как, комиссар,— обратился он к Шмакову,— дадим этому бывшему полковнику под команду роту?

— Нет,— сказал Шмаков.

— Взвод?

— Нет.

— По-моему, тоже. После всего, что вышло, я скорей доверю вашему водителю командовать вами, чем вам им! — сказал Серпилин и впервые на полтона мягче всего сказанного до этого обратился к Баранову: — Пойдите и станьте в строй с этим вашим новеньким автоматом и попробуйте, как вы говорите, смыть свою вину кровью... немцев,— после паузы добавил он. — А понадобится — и своей. Данной нам здесь с комиссаром властью вы разжалованы в рядовые до тех пор, пока не выйдем к своим. А там вы объясните свои поступки, а мы — свое самоуправство.

— Всё? Больше вам нечего мне сказать? — подняв на Серпилина злые глаза, спросил Баранов.

Что-то дрогнуло в лице Серпилина при этих словах; он даже на секунду закрыл глаза, чтобы спрятать их выражение.

— Скажите спасибо, что за трусость не расстреляли,— вместо Серпилина отрезал Шмаков.

— Синцов,— сказал Серпилин, открывая глаза,— занесите в списки части бойца Баранова. Пойдите с ним,— он кивнул в сторону Баранова,— к лейтенанту Хорышеву и скажите ему, что боец Баранов поступает в его распоряжение.

— Твоя власть, Федор Федорович, все выполню, но не жди, что я тебе это забуду.

Серпилин заложил за спину руки, хрустнул ими в запястьях и промолчал.

— Пойдемте со мной,— сказал Баранову Синцов, и они стали догонять ушедшую вперед колонну.

Шмаков пристально посмотрел на Серпилина. Сам взволнованный происшедшим, он чувствовал, что Серпилин потрясен еще больше. Видимо, комбриг тяжело переживал позорное поведение

старого сослуживца, о котором, наверно, раньше был совсем другого, высокого мнения.

— Федор Федорович!

— Что? — словно спросонок, даже вздрогнув, отозвался Серпилин: он погрузился в свои мысли и забыл, что Шмаков идет рядом с ним, плечо в плечо.

— Чего расстроился? Долго вместе служили? Хорошо его знали?

Серпилин посмотрел на Шмакова рассеянным взглядом и ответил с непохожей на себя, удивившей комиссара уклончивостью:

— А мало ли кто кого знал! Давайте лучше до привала шагу прибавим!

Шмаков, не любивший навязываться, замолчал, и они оба, прибавив шагу, до самого привала шли рядом, не говоря ни слова, каждый занятый своими мыслями.

Шмаков не угадал. Хотя Баранов действительно служил с Серпилиным в академии, Серпилин не только был о нем не высокого мнения, а, наоборот, был самого дурного. Он считал Баранова не лишенным способностей карьеристом, интересовавшимся не пользой армии, а лишь собственным продвижением по службе. Преподавая в академии, Баранов готов был сегодня поддерживать одну доктрину, а завтра другую, называть белое черным и черное белым. Ловко применяясь к тому, что, как ему казалось, могло понравиться «наверху», он не брезговал поддерживать даже прямые заблуждения, основанные на незнании фактов, которые сам он прекрасно знал.

Его коньком были доклады и сообщения об армиях предполагаемых противников; выискивая действительные и мнимые слабости, он угодливо замалчивал все сильные и опасные стороны будущего врага. Серпилин, несмотря на всю тогдашнюю сложность разговоров на такие темы, дважды обругал за это Баранова с глазу на глаз, а в третий раз публично.

Ему потом пришлось вспомнить об этом при совершенно неожиданных обстоятельствах; и один бог знает, какого труда стоило ему сейчас, во время разговора с Барановым, не выразить всего того, что вдруг всколыхнулось в его душе.

Он не знал, прав он или не прав, думая о Баранове то, что он о нем думал, но зато он твердо знал, что сейчас не время и не место для воспоминаний, хороших или плохих — безразлично!

Самым трудным в их разговоре было мгновение, когда Баранов вдруг вопросительно и зло глянул ему прямо в глаза. Но, кажется, он выдержал и этот взгляд, и Баранов ушел успокоенный, по крайней мере судя по его прощальной наглой фразе.

Что ж, пусть так! Он, Серпилин, не желает и не может иметь никаких личных счетов с находящимся у него в подчинении бойцом Барановым. Если тот будет храбро драться, Серпилин поблагодарит его перед строем; если тот честно сложит голову, Серпилин доложит об этом; если тот струсит и побежит, Серпилин прикажет расстрелять его, так же как приказал бы расстрелять всякого другого. Все правильно. Но как тяжело на душе!

Привал сделали около людского жилья, впервые за день попавшегося в лесу. На краю распаханной под огород пустоши стояла старая изба лесника. Тут же, неподалеку, был и колодец, обрадовавший истомленных жарой людей.

Синцов, отведя Баранова к Хорышеву, зашел в избу. Она состояла из двух комнат; дверь во вторую была закрыта; оттуда слышался протяжный, ноющий женский плач. Первая комната была оклеена по бревнам старыми газетами. В правом углу висела божница с бедными, без риз, иконами. На широкой лавке рядом с двумя командирами, зашедшими в избу раньше Синцова, неподвижно и безмолвно сидел строгий восьмидесятилетний старик, одетый во все чистое — белую рубаху и белые порты. Все лицо его было изрезано морщинами, глубокими, как трещины, а на худой шее на истертой медной цепочке висел нательный крест.

Маленькая юркая бабка, наверное, ровесница старика по годам, но казавшаяся гораздо моложе его из-за своих быстрых движений, встретила Синцова поклоном, сняла с завешенной рушником стенной полки еще один граненый стакан и поставила его перед Синцовым на стол, где уже стояли два стакана и бадейка. До прихода Синцова бабка угощала молоком зашедших в избу командиров.

Синцов спросил у нее, нельзя ли чего-нибудь собрать покушать для командира и комиссара дивизии, добавив, что хлеб у них есть свой.

— Чем же угостить теперь, молочком только. — Бабка сокрушенно развела руками. — Разве что печь разжечь, картошки сварить, коли время есть.

Синцов не знал, хватит ли времени, но сварить картошки на всякий случай попросил.

— Старая картошка осталась еще, прошлогодняя... — сказала бабка и стала хлопотать у печки.

Синцов выпил стакан молока; ему хотелось выпить еще, но, заглянув в бадейку, в которой осталось меньше половины, он постеснялся. Оба командира, которым тоже, наверное, хотелось выпить еще по стакану, простились и вышли. Синцов остался с бабкой и стариком. Посуетившись у печки и подложив под дрова

лучину, бабка пошла в соседнюю комнату и через минуту вернулась со спичками. Оба раза, когда она открывала и закрывала дверь, громкий ноющий плач всплесками вырывался оттуда.

— Что это у вас, кто плачет? — спросил Синцов.

— Дунька голосит, внучка моя. У ней парня убило. Он сухорукой, его на войну не взяли. Погнали из Нелидова колхозное стадо, он со стадом пошел, и, как шоссе переходили, по ним бомбы сбросили и убили. Второй день воет,— вздохнула бабка.

Она разожгла лучину, поставила на огонь чугунок с уже заранее, наверное для себя, помытой картошкой, потом села рядом со своим стариком на лавке и, облокотясь на стол, пригорюнилась.

— Все у нас на войне. Сыны на войне, внуки на войне. А скоро ли немец сюда придет, а?

— Не знаю.

— А то приходили из Нелидова, говорили, что немец уже в Чаусах был.

— Не знаю. — Синцов и в самом деле не знал, что ответить.

— Должно, скоро,— сказала бабка. — Стада уже пять дён, как гонют, зря бы не стали. И мы вот,— показала она сухонькой рукой на бадейку,— последнее молочко пьем. Тоже корову отдали. Пусть гонют, даст бог, когда и обратно пригонют. Соседка говорила, в Нелидове народу мало осталось, все уходют...

Она говорила все это, а старик сидел и молчал; за все время, что Синцов был в избе, он так и не сказал ни одного слова. Он был очень стар и, казалось, хотел умереть теперь же, не дожидаясь, когда вслед за этими людьми в красноармейской форме в его избу зайдут немцы. И такая грусть охватывала при взгляде на него, такая тоска слышалась в ноющем женском рыдании за стеной, что Синцов не выдержал и вышел, сказав, что сейчас вернется.

Едва спустившись с крыльца, он увидел подходившего к избе Серпилина.

— Товарищ комбриг... — начал он.

Но, опередив его, к Серпилину подбежала давешняя маленькая врачиха и, волнуясь, сказала, что полковник Зайчиков просил сейчас же подойти к нему.

— Потом зайду, если успею,— махнул рукой Серпилин в ответ на просьбу Синцова зайти отдохнуть в избе и свинцовыми шагами пошел за маленькой врачихой.

Зайчиков лежал на носилках в тени, под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой; наверное, он глотал

ее с трудом: воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые.

— Я здесь, Николай Петрович. — Серпилин сел на землю рядом с Зайчиковым.

Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия.

— Слушай, Федя,— шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину,— застрели меня. Нет сил мучиться, окажи услугу.

— Не могу,— дрогнувшим голосом сказал Серпилин.

— Если бы я только сам мучился, а то всех обременяю. — Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово.

— Не могу,— повторил Серпилин.

— Дай пистолет, сам застрелюсь.

Серпилин молчал.

— Ответственности боишься?

— Нельзя тебе стреляться,— собрался наконец с духом Серпилин,— не имеешь права. На людей подействует. Если б мы с тобой вдвоем шли...

Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что, будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться.

— Ах, как я мучаюсь,— он закрыл глаза,— как мучаюсь, Серпилин, если бы ты знал, сил моих нет! Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпила, я ее просил — не дает, говорит, нету. Ты проверь, может, врет?

Теперь он снова лежал неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху.

— Безнадежно? — спросил он тихо.

Она только всплеснула своими маленькими ручками.

— Что вы спрашиваете? Я уже три раза думала, что совсем умирает. Несколько часов осталось жить, самое долгое.

— Есть у вас что-нибудь усыпить его? — тихо, но решительно спросил Серпилин.

Врачиха испуганно посмотрела на него большими детскими глазами.

— Это нельзя!

— Я знаю, что нельзя, ответственность моя. Есть или нет?

— Нет,— сказала врачиха, и ему показалось, что она не солгала.

— Нет сил смотреть, как человек мучается.

— А у меня, думаете, есть силы? — ответила она и, неожиданно для Серпилина, заплакала, размазывая слезы по лицу.

Серпилин отвернулся от нее, подошел к Зайчикову и сел рядом, вглядываясь в его лицо.

Лицо это перед смертью осунулось и от худобы помолодело. Серпилин вдруг вспомнил, что Зайчиков на целых шесть лет моложе его и к концу гражданской был еще молодым комвзвода, когда он, Серпилин, уже командовал полком. И от этого далекого воспоминания горечь старшего, у которого умирает на руках младший, охватила душу одного, уже немолодого, человека над телом другого.

«Ах, Зайчиков, Зайчиков,— подумал Серпилин,— не хватал звезд с неба, когда был у меня на стажировке, служил по-разному — и лучше и хуже других, потом воевал на финской, наверное храбро: два ордена даром не дадут, да и под Могилевом не струсил, не растерялся, командовал, пока стоял на ногах, а теперь вот лежишь и умираешь здесь, в лесу, и не знаешь и никогда не узнаешь, когда и где кончится эта война... на которой ты с самого начала хлебнул такого горя...»

— Хоть бы номер дивизии сохранить,— открыв глаза и заметив сидящего рядом Серпилина, шепотом сказал Зайчиков.

Нет, он не был в забытьи, он лежал и думал почти о том же, о чем думал Серпилин.

— А почему бы его не сохранить? — уверенно сказал Серпилин. — Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем, даю тебе коммунистическое слово...

— Все б ничего,— закрыл глаза Зайчиков,— только больно очень. Иди, у тебя дела! — совсем уже тихо, через силу, проговорил он и снова закусил от боли губу...

В восемь часов вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной части леса. Дальше, судя по карте, шло еще два километра мелколесья, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. За дорогой была деревня, полоса пахотных земель, и лишь потом вновь начинались леса. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых, в предвидении боя и ночного перехода сразу вслед за боем. Людям надо было подкрепиться и поспать. Многие уже давно еле волочили ноги, но шли из последних сил, зная, что если они до вечера не выйдут к шоссе и ночью не пересекут его, то все их прежние усилия бессмысленны — им придется ждать следующей ночи.

Обойдя расположение отряда, проверив дозоры и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. Но это не сразу удалось ему. Едва он облюбовал себе

место на травке под тенистым деревом, как Шмаков подсел к нему и, вытащив из кармана галифе, сунул ему в руку пожухлую, наверное уже несколько дней провалявшуюся в лесу, немецкую листовку.

— На, полюбопытствуй. Бойцы нашли, принесли. Должно быть, с самолетов сбрасывают.

Серпилин протер слипавшиеся от бессонницы глаза и добросовестно прочел листовку, всю, от начала до конца. В ней сообщалось, что сталинские армии разгромлены, что в плен взято шесть миллионов человек, что германские войска взяли Смоленск и подходят к Москве. За этим следовал вывод: дальнейшее сопротивление бесполезно, а за выводом два обещания: «сохранить жизнь для каждого, кто добровольно сдастся в плен, в том числе для командного и политического состава» и «кормить пленных три раза в день и содержать их в условиях, общепринятых в цивилизованном мире». На обратной стороне листовки была оттиснута размашистая схема; из названий городов на ней были только Минск, Смоленск и Москва, но по общим масштабам северная стрела наступавших германских армий заезжала далеко за Вологду, а южная попадала концом куда-то между Пензой и Тамбовом. Средняя стрела, впрочем, чуть-чуть не доставала до Москвы — занять Москву составители листовки все же пока не решились.

— Да-а,— насмешливо протянул Серпилин и, согнув листовку пополам, вернул Шмакову. — Даже тебе, комиссар, оказывается, жизнь обещают. Как, может, сдадимся, а?

— Деникинцы и те поумней такие бумажонки стряпали. — Шмаков повернулся к Синцову и спросил, остались ли у него спички.

Синцов вытащил из кармана спички и хотел сжечь протянутую Шмаковым листовку не читая, но Шмаков остановил его:

— А ты прочти, она не заразная!

Синцов прочел листовку с каким-то даже самого его удивившим бесчувствием. Он, Синцов, позавчера и вчера сначала из винтовки, а потом из немецкого автомата своими руками убил двух фашистов, может быть, и больше, но двух убил — это точно; он хотел и дальше убивать их, и эта листовка не относилась к нему...

«Сохранить жизнь для каждого... Для каждого! Так по-русски не пишут»,— подумал он и, почиркав спичкой по непросохшему коробку, поджег закрутившийся спиралью угол листовки.

Тем временем Серпилин по-солдатски, не тратя лишнего времени, устраивался отдохнуть под облюбованным им деревом. К удивлению Синцова, среди немногих самых необходимых вещей

в полевой сумке Серпилина оказалась вчетверо сложенная резиновая подушечка. Смешно пузыря худые щеки, Серпилин надул ее и с наслаждением подложил под голову.

— Всюду вожу с собой, подарок жены! — улыбнулся он смотревшему на эти приготовления Синцову, не добавив, что подушечка была для него особо памятной: присланная несколько лет назад женою из дома, она пропутешествовала с ним на Колыму и обратно.

Шмаков не хотел ложиться, пока будет спать Серпилин, но тот уговорил его.

— Все равно у нас с тобой сегодня по очереди не выйдет. Ночью надо не спать,— чего доброго, воевать придется. А воевать без сна никто не может, даже комиссары! Хоть на час, а, будь добр, закрой глаза, как кура на насесте.

Приказав разбудить себя, как только вернется разведка, Серпилин блаженно вытянулся на траве. Немножко поворочавшись с боку на бок, заснул и Шмаков. Синцов, которому Серпилин не отдал никаких приказаний, с трудом преодолел соблазн тоже лечь и заснуть. Если бы Серпилин прямо сказал ему, что можно спать, он не выдержал бы и лег, но Серпилин ничего не сказал, и Синцов, борясь со сном, стал мерять шагами взад и вперед маленькую полянку, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. Раньше он только слышал, что люди засыпают на ходу, сейчас он испытал это на себе, иногда вдруг останавливаясь и теряя равновесие.

— Товарищ политрук,— услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорышева.

— Что случилось? — спросил Синцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта.

— Ничего. Орудие в лесу обнаружили. Хочу комбригу доложить.

Хорышев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Синцова, он прошел несколько шагов в глубь леса. И только тут наконец дал Хорышеву возможность доложить.

— Что за орудие? Немецкое?

— Наше. И при нем пять бойцов.

— А снаряды?

— Один снаряд остался.

— Небогато. А далеко отсюда?

— Шагов пятьсот.

Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорышев проводил его к орудию.

Синцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо, но Серпилин шел всю дорогу молча, и Синцову было неудобно нарушать это молчание.

Через пятьсот шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемежку бойцы Хорышева и те пятеро артиллеристов, о которых он доложил Серпилину.

При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорышев успел подать команду.

— Здравствуйте, товарищи артиллеристы! — сказал Серпилин. — Кто у вас за старшего?

Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза подрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями; и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине; и голосом, густым и сильным, доложил, что он, старшина девятого отдельного противотанкового дивизиона Шестаков, является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста.

— Откуда, откуда? — переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался.

— Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами,— не сказал, а отрубил старшина.

Наступило молчание.

Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда, а то, что пишут немцы в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего.

Пять почерневших, тронутых голодом лиц, пять пар усталых, натруженных рук, пять измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка, последняя пушка дивизиона, не по небу, а по земле, не чудом, а солдатскими руками перетащенная сюда с границы, за

четыреста с лишним верст... Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему!

— На себе, что ли? — спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку.

Старшина ответил, а остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному: шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках...

— А как через водные преграды, здесь, через Днепр, как? — снова спросил Серпилин.

— Плотом, позапрошлой ночью...

— А мы вот ни одного не переправили,— вдруг сказал Серпилин, но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что он упрекает сейчас только одного человека — самого себя.

Потом он снова посмотрел на артиллеристов:

— Говорят, и снаряды у вас есть?

— Один, последний,— виновато, словно он недоглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина.

— А где предпоследний истратили?

— Тут, километров за десять. — Старшина ткнул рукою назад, туда, где за лесом проходило шоссе. — Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты, на прямую наводку, и по автоколонне, в головную машину, прямо в фары дали!

— А что лес прочешут, не побоялись?

— Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся!

— Так и не прочесывали?

— Нет. Только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили.

— А где он? — быстро спросил Серпилин и, не успев договорить, уже сам понял, где...

В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной, старой, до самой верхушки голой сосной желтела только что засыпанная могила; даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынутый, торчал из земли, как непрошеный крест.

На сосне еще сочилась смолой грубая, крест-накрест зарубка. И еще две такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться.

Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, чего уже никому и никогда не дано было увидеть,— лицо человека, который с боями довел от Бреста до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона: пять бойцов и пушку с последним снарядом.

Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду, такой, чье мертвое тело, жертвуя жизнью, выносят из боя, такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними...

Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил:

— Как фамилия?

— Капитан Гусев.

— Не записывай. — Серпилин увидел, что Синцов взялся за планшет. — И так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны, запиши! И артиллеристов внеси в строевой список! Спасибо за службу, товарищи! А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью, в бою.

Среди стоявших вместе с артиллеристами бойцов Хорышева Серпилин давно уже заметил седую голову Баранова, но только сейчас встретился с ним взглядом — глаза в глаза и прочел в этих не успевших спрятаться от него глазах страх перед мыслью о будущем бое.

— Товарищ комбриг,— из-за спин бойцов появилась маленькая фигурка докторши,— вас полковник зовет!

— Полковник? — переспросил Серпилин. Он сейчас думал о Баранове и не сразу сообразил, какой полковник его зовет. — Да, идем, идем,— сказал он, поняв, что докторша говорит о Зайчикове.

— Что случилось? Что ж меня не позвали? — огорченно сжав перед собой ладони, воскликнула докторша, заметив людей, столпившихся над свежей могилой.

— Ничего, пойдемте, поздно вас звать было! — Серпилин с грубоватой лаской положил ей на плечо свою большую руку, почти насильно повернул ее и, все еще держа руку на ее плече, пошел вместе с нею.

«Без веры, без чести, без совести,— продолжал он думать о Баранове, шагая рядом с докторшей. — Пока война казалась далекой, кричал, что шапками закидаем, а пришла — и первым побежал. Раз он испугался, раз ему страшно, значит, уже все проиграно, уже мы не победим! Как бы не так! Кроме тебя, еще капитан Гусев есть, и его артиллеристы, и мы, грешные, живые и мертвые, и вот эта докторша маленькая, что наган двумя руками держит...»

Серпилин вдруг почувствовал, что его тяжелая рука все еще лежит на худеньком плече докторши, и не только лежит, но

даже опирается на это плечо. А она идет себе и как будто не замечает, даже, кажется, нарочно приподняла плечо. Идет и не подозревает, наверное, что бывают на свете такие люди, как Баранов.

— Вот видите, руку у вас на плече забыл,— глуховатым ласковым голосом сказал он докторше и снял руку.

— А вы ничего, вы обопритесь, если устали. Я знаете какая сильная.

«Да, ты сильная,— подумал про себя Серпилин,— с такими, как ты, не пропадем, это верно». Ему хотелось сказать этой маленькой женщине что-то ласковое и уверенное, что было бы ответом на его собственные мысли о Баранове, но что именно сказать ей, он так и не нашел, и они молча дошагали до того места, где лежал Зайчиков.

— Товарищ полковник, я привела,— тихо сказала докторша, первой становясь на колени у носилок с Зайчиковым.

Серпилин тоже стал на колени рядом с ней, и она отодвинулась в сторону, чтобы не мешать ему наклониться поближе к лицу Зайчикова.

— Это ты, Серпилин? — невнятным шепотом спросил Зайчиков.

— Я.

— Слушай, что я тебе скажу,— еще тише сказал Зайчиков и замолчал.

Серпилин ждал минуту, две, три, но ему так и не суждено было узнать, что именно хотел сказать новому командиру дивизии ее бывший командир.

— Умер,— чуть слышно сказала докторша.

Серпилин медленно снял фуражку, с минуту постоял на коленях с непокрытой головой, с усилием разогнув колени, встал на ноги и, не сказав ни слова, пошел обратно.

Вернувшиеся разведчики доложили, что на шоссе немецкие патрули и движение машин в сторону Чаус.

— Ну что ж, как видно, придется воевать,— сказал Серпилин. — Поднимите и постройте людей!

Сейчас, узнав, что его предположения подтвердились и шоссе едва ли удастся пересечь без боя, он окончательно стряхнул угнетавшее его с утра чувство физической усталости. Он был полон решимости довести всех этих поднимавшихся от сна с оружием в руках людей туда, куда он должен был их довести,— до своих! Ни о чем другом он не думал и не желал думать, ибо ничто другое его не устраивало.

Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его под-

чиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей, в тысячах других мест сражавшихся насмерть с не запланированным немцами упорством.

Они не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой.

Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось.

Серпилин стоял, прислушиваясь к долетавшим до него негромким командам. Колонна нестройно шевелилась в опустившейся на лес темноте. Над его зубчатыми верхушками поднималась плоская багровая луна. Кончались первые сутки выхода из окружения...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После августовских и сентябрьских, удачных для нас, наступательных боев под Ельней на Западном фронте установилось относительное затишье. Танковая бригада подполковника Климовича стояла в лесах южней Ельни; ее разведывательный батальон на правах пехоты занимал на переднем крае четырехкилометровый оборонительный участок.

Перед началом войны Климович командовал танковой бригадой, стоявшей под Слонимом. Из людей, с которыми он начал войну, в строю осталось всего семьдесят. Одни погибли, пока бригада пробивалась из окружения лесами на Слуцк и Бобруйск, другие полегли, прикрывая Могилев, третьи вышли из строя уже здесь — под Ельней.

Перед ельнинскими боями бригаду укомплектовали наполовину старыми танками — БТ-7, а наполовину новыми — Т-34, или, как их все сразу стали называть, «тридцатьчетверками». «Тридцатьчетверки» показали себя первоклассными машинами, но именно поэтому на них выпала под Ельней главная тяжесть боев. В каждом батальоне был большой некомплект, но бригаду не отводили в тыл, обещая на днях снова пополнить, прямо на позициях, людьми и танками, на этот раз одними «тридцатьчетверками». Влюбившись во время ельнинских боев в эти машины, Климович ждал их прихода с нетерпением, которое может понять только танкист, уже два раза за эту войну чудом выскакивавший из пылавших, как спичечные коробки, БТ-7. Что у этих легких танков при хорошей скорости слабая броня и вооружение, стало ясно еще к концу халхин-голских событий. И все-таки, не

дождавшись обещанной замены их «тридцатьчетверками», Климович встретил на западной границе войну именно с этими устаревшими танками.

На пятый день войны он едва не расстрелял перед строем своего командира роты, который в приступе бессильной ярости стал кричать в присутствии бойцов, что с этими спичечными коробками нельзя воевать, а через час пошел в бой, подбил немецкий танк и сам сгорел на глазах у Климовича.

Под Ельней Климович испытал двоякое чувство: гордости за своих танкистов, которые на новых машинах, как орехи, кололи немецкие танки, и горечи оттого, что у него в начале войны не было ни одной такой машины и ему приходилось отдавать по два и по три танка за один там, где он мог бы отдать один за два.

Сейчас, во время затишья, он отремонтировал все оставшиеся в бригаде БТ-7 и упорно вдалбливал в сознание подчиненных, что можно воевать и на этих машинах, но в душе ждал новых танков с такой страстью, с какой не ждал еще ничего на свете.

Он думал о своей бригаде и ни о чем другом, потому что ничего другого у него не было.

До войны у него было четыре человека, вместе с которыми он жил; троих он любил, о четвертом считал себя обязанным заботиться: это были его дочь, его сын, его жена и мать его жены. На третий день войны всех четверых убило бомбой в машине, на шоссе, когда он уже считал их спасенными. Когда ему сказали об этом, шел бой, и он даже не смог поехать и посмотреть, как будут хоронить то, что от них осталось. Ему было всего тридцать лет, и если бы кому-нибудь пришло в голову спросить его: «Да, с тобой стряслось такое, страшней чего не бывает, но у тебя впереди жизнь, неужели в ней уже ничего не будет взамен утраченного?» — наверное, несмотря на всю силу своего горя он честно ответил бы: «Нет, будет». Но за все эти месяцы никому из тех, кто слышал его твердый голос и видел выражение его запертого на замок лица, не приходило в голову спросить его, как он, оставшись один, думает жить после войны. А сам он тоже не думал о том, как будет жить после войны. Он сам был — война, и, пока продолжалась война, кроме войны и ее прямых интересов и потребностей, теперь, после гибели семьи, в душе его не оставалось ничего и никого.

Вечером первого октября Климович сидел у себя в штабе бригады, в избе, снаружи покосившейся и грязной, а внутри дочиста выскобленной — он был педант и любил чистоту,— и читал написанные фронтовым сатириком «Новые похождения бравого солдата Швейка». Большинство фронтовиков читали эти рассказы с удовольствием, но Климовичу они не нравились. Пока что немцы

били нас чаще, чем мы их, и, значит, смеяться над ними, по его мнению, было еще рано. Однако он все-таки читал эти рассказы, потому что имел привычку подряд прочитывать всю фронтовую газету, ища, нет ли в ней чего-либо практически полезного для службы.

На столе затрещал телефон. Сложив газету так, чтоб место, до которого он дочитал, оказалось на сгибе и не надо было потом искать его, Климович взял трубку. Звонил командир разведбата и докладывал о чрезвычайном обстоятельстве: перед фронтом батальона, в тылу у немцев, возник частый пулеметный, автоматный и винтовочный огонь, слышны разрывы гранат. Климович, отняв трубку от уха, толкнул створки окна и прислушался. Привычное ухо уловило еле слышные отголоски далекого боя.

— Выезжаю к вам. Ожидайте,— сказал Климович.

На переднем крае в лесу было темно и сыро, только что прошел короткий дождь. Высланный навстречу командиру бригады лейтенант шел впереди Климовича; локти его положенных на автомат рук оттопыривались под намокшей плащ-палаткой. Проходя мимо замаскированного в глубоком окопе танка БТ-7, Климович снова подумал о том же, о чем неотрывно думал всегда: «Поскорей бы получить «тридцатьчетверки»!»

Наблюдательный пункт помещался на самой опушке леса. Днем отсюда был хорошо виден полого спускавшийся к ручью некошеный луг и такой же луг, так же полого поднимавшийся к лесу, уже на той, немецкой стороне. На нем рядом стояли два горелых танка — наш БТ-7 и немецкий Т-4. Они стояли так почти месяц, неразлучные, как близнецы.

Впереди над немецким лесом в разных местах взлетали белые и красные сигнальные ракеты и высверкивали вспышки взрывов. Пулеметная и винтовочная стрельба теперь была уже не в полутора километрах за передним краем немцев, как доносил командир разведбата полчаса назад, а совсем близко. Отсюда до немецкой передовой было четыреста метров, а стрельба шла примерно в пятистах метрах позади нее, там, где, по данным разведки, проходила вторая линия немецких окопов.

Климовичу передалось волнение, которое было у всех собравшихся на наблюдательном пункте,— все они думали об одном и том же, сами боясь поверить своей догадке.

— Иванов, экипажи к танкам! — приказал Климович командиру разведбата, выслушав доклад о сделанных за последние полчаса наблюдениях.

— Есть экипажи к танкам! — сказал Иванов и не удержался от вопроса: — Ударим навстречу, товарищ подполковник?

— Решим по обстановке, делайте!

Климович спустился в блиндаж и приказал телефонисту связаться со штабом армии.

Он первый раз позвонил в армию еще перед выездом сюда, но сейчас пришло время звонить снова. Телефонист еще не успел покрутить ручку, как раздался встречный звонок: штаб армии сам вызывал командира бригады.

— Что вы там видите? Докладывайте! — приказал командующий.

Климович доложил, что видит ракеты и вспышки разрывов, что в тылу у немцев идет бой и что от наблюдательного пункта до места боя восемьсот — девятьсот метров.

— Ваш сосед слева доносит то же самое. Но бой идет справа от него, все происходит прямо перед вами, на узком фронте. Как оцениваете обстановку и думаете поступать?

Климович ответил то, что думал он сам и что думали все люди в разведбате: что на их участке через немецкую передовую с боем прорывается выходящая из окружения часть. Он просил разрешения, подтянув танки, произвести разведку боем левей и правей участка, на котором в тылу у немцев слышен бой.

Трубка несколько секунд молчала, потом командующий сказал, что, по его сведениям, в ближайшем тылу у немцев уже давно нет никаких окруженных частей и что, возможно, это неглупая провокация, цель которой сначала заставить нас ринуться навстречу, затем опрокинуть нас и на наших же плечах ворваться в наше расположение.

— Считаюсь с такой возможностью, товарищ командующий. Принимаю меры предосторожности, оставляю в засаде «тридцатьчетверки».

— Сколько их у тебя сейчас в строю, одиннадцать? — прервал Климовича командующий.

Каждая «тридцатьчетверка» была в те дни драгоценностью в масштабе всей армии, и командующий помнил их по счету.

— Одиннадцать,— подтвердил Климович. — Но все-таки, если это наши пробиваются, как же не помочь им, товарищ командующий?

В трубке снова наступило молчание. Климович слышал голоса, но не разбирал слов; наверное, командующий тут же, у трубки, говорил с членом Военного совета или начальником штаба.

— Действуй,— через минуту сказал он. — Доноси каждые полчаса.

Климович положил трубку и, не теряя времени, стал готовиться к атаке; снова брал трубку, говорил с командирами батальонов, отдавал приказания,— а бой впереди все гремел и гре-

мел, передвигаясь то влево, то вправо, то подаваясь вперед, то тревожно отдаляясь. Нет, это не могло быть провокацией: там, в восьмистах метрах отсюда, между первой и второй линиями немецких позиций, двигались, умирали, прорывались и откатывались назад люди, со всех сторон сжатые тоже двигавшимся и с каждой минутой все уплотнявшимся кольцом немецкого огня. Казалось, там, между немецкими позициями, металось живое, кровоточащее сердце, которое со всех сторон кололи вспышками выстрелов, протыкали автоматными очередями, рвали минометными залпами...

Если бы командующий запретил Климовичу выступить на помощь этим окруженцам, наверное прошедшим сотни километров, а сейчас умиравшим в двух шагах от своих, это был бы самый черный день в военной жизни Климовича, и если б ему заранее предсказали, что, подав им помощь, он сам непременно погибнет, он все равно бы пошел в этот бой, не колеблясь.

И когда это израненное, изуродованное сердце там, посреди немецких позиций, последним отчаянным кровавым толчком толкнулось вперед еще на двести метров, к первой линии окопов, а восемь танков БТ-7 и полтораста бойцов разведбата рванулись ему навстречу, это была не просто смелая ночная атака, а согласное и непреклонное душевное движение всех людей, составлявших поредевший в долгих боях разведывательный батальон.

Замысел Климовича — ударить левей и правей того участка, где прорывались из немецкого тыла наши,— оказался верным и сразу принес плоды.

Немцы стянулись по окопам и ходам сообщения к предполагаемому месту прорыва, чтобы живой пробкой заткнуть его узкое горло. Услышав с двух сторон рев танковых моторов и крики «ура!», они стали вновь поспешно перемещаться по окопам вправо и влево. Такое двукратное передвижение в ночное время не может обойтись без сумятицы; эта сумятица возникла с тем большей силой, что и прорыв из тыла, и атака с фронта были для немцев двойной неожиданностью.

Бой прекратился через час. Он иногда еще вспыхивал то здесь, то там, потом совсем затихал, и снова где-то в темноте, как в пустое ведро, стучали запоздалые автоматные очереди. Климович потерял два танка, взорвавшихся на немецких минах, и пятнадцать человек, полегших под огнем на обоих берегах ручья. Зато, даже по грубому ночному подсчету, целый батальон — больше трехсот человек — в сумятице боя прорвался через позиции немцев, и сейчас все эти обалдевшие от счастья люди, оборванные и голодные, здоровые и раненые, все еще не выпу-

ская оружия из рук, растекались по окопам и землянкам танкистов.

Радиостанции всего мира следили за тем, как ледоколы и самолеты шести стран спасали со льдин двенадцать человек экспедиции Нобиле, газеты всего мира писали о том, как летчики вывозили из ледяного плена людей с «Челюскина»; десятки миллионов людей затаив дыхание ждали известий, когда сразу три экспедиции шли к льдине «Северный полюс», чтобы снять с нее четырех человек.

То, что произошло в ту ночь на участке разведбата 17-й танковой бригады, заняло всего полстраницы во фронтовой оперсводке и даже не попало в сводку Информбюро, но самая высшая из всех доступных человеку радостей — радость людей, которые спасли других людей, была от этого ничуть не меньше. В каждой землянке танковой бригады Климовича спасенные и спасители сидели рядом, обнимались, перебивая друг друга и бессвязно рассказывая, как все произошло, досыта ели хлеб, кашу, мясные консервы и беспробудно засыпали на койках и нарах, на земляном полу, на колючих лапах хвои.

Командир пробивавшейся группы комбриг Серпилин в последнем бою был ранен в обе ноги. Адъютант и два автоматчика втащили его на шинели в избу Климовича и положили на застланную стеганым голубым одеялом деревенскую кровать. Серпилин лежал, привалясь к высоким белым подушкам, длинный, грязный, небритый, со свалявшимися на лысеющей голове седыми волосами, но одет он был по всей форме, при ордене Красного Знамени на гимнастерке и с ромбами на грязных петлицах: на одной — настоящим, с облупившейся эмалью, на другой — шерстяным, вырезанным из околыша фуражки.

Ноги Серпилина в разрезанных выше колен галифе лежали на голубом одеяле и кровоточили через измазанные грязью бинты. Автоматчики, положив его на кровать, вышли из избы вместе с ординарцем Климовича, который спешил скорее увести их и накормить, а адъютант Серпилина — высокий изможденный политрук — стоял, как ангел-хранитель, над изголовьем своего командира и, облокотясь на спинку кровати, сверху вниз неотрывно смотрел ему в лицо.

Климович присел на табуретку рядом с кроватью.

— Товарищ комбриг, я вызвал врача, с минуты на минуту прибудет. Разрешите, прежде чем говорить, сделать вам перевязку.

— Отставить врача, подполковник, — с трудом двигая губами, сказал Серпилин. — Отправишь прямо в медсанбат: здесь все

равно операции не сделают. Но сначала свяжи меня с командующим армией. У тебя есть связь?

— Есть.

— Кто у вас командующий?

Климович назвал фамилию командующего.

— Сергей Филиппович? — спросил Серпилин, и на его измученном лице мелькнула тень улыбки.

— Да.

— Мой однокашник по академии,— сказал Серпилин. — Соединяй!

Климович без возражений стал звонить командующему. Ему все равно надо было докладывать, он и так в горячке просрочил десять минут.

— Докладывает подполковник Климович,— сказал он, когда командующий подошел к телефону. — В результате боя в мое расположение с оружием в руках вышла группа до трехсот человек. Командир группы хочет взять трубку.

— Дай,— сказал в телефон командующий.

Обходя стол и вытаскивая шнур из-под его ножек, Климович стал переносить телефон к изголовью. Комбриг закинул голову, увидел над собой лицо адъютанта и сделал глазами движение, которое тот сразу понял,— подоткнул подушки и помог комбригу приподняться.

— Товарищ командующий,— сказал раненый в телефонную трубку уже не тихо, как он говорил с Климовичем, а громко, всем голосом,— докладывает комбриг Серпилин! Вывел в ваше расположение вверенную мне Сто семьдесят шестую стрелковую дивизию... Здравствуй, Сергей Филиппович, Серпилин говорит...

И только тут, при этих последних словах, голос его сдал, спазм рыдания перехватил ему горло, и он отвалился на бок вместе с подушками, которые от неожиданности не успел удержать адъютант. Трубка упала на пол. Поднимая ее, Климович услышал слова, которые говорил командующий, думая, что его слушает Серпилин.

— Серпилин, какой Серпилин?.. Это ты, Федор Федорович? — говорил командующий в трубку, которую сейчас прижимал к своему уху Климович, потому что Серпилин лежал без сознания.

Вбежавший военврач нагнулся над раненым, а сестра торопливо раскладывала на табуретке коробки со шприцами и ампулами.

— Что ты молчишь, Серпилин? Это ты или нет? Какой Серпилин? Что ты молчишь? — кричал в трубку командующий.

Климович смотрел на потерявшего сознание Серпилина, он забыл, что уже давно пора сказать командующему — его слушает не Серпилин, а он, Климович.

— Товарищ командующий,— наконец сказал он, отрывая глаза от Серпилина, которому сестра перед уколом протирала руку ватой с эфиром,— это подполковник Климович, я взял трубку, комбриг ранен, он потерял сознание.

— Какой он из себя? — допытывался командующий. — Высокий, худой, лысоватый?..

— Так точно,— ответил Климович, не глядя в эту минуту на Серпилина.

Он уже и без того запомнил на всю жизнь, что Серпилин высокий, худой и лысоватый, и что у него один ромб с обломанной эмалью, а другой вырезан из околыша фуражки, и что на груди у него орден Красного Знамени, и что он такой человек, с которым армия всегда будет армией, даже если она отступала от границы до Ельни,— такой человек, на которого не надо смотреть два раза, чтобы понять и запомнить, какой это человек.

— Он, Серпилин! — обрадованно крикнул в телефон командующий. — Откуда взялся? Он же... — Командующий с маху чуть не сказал того, что Климовичу вовсе не обязательно было знать, и добавил, что сейчас сам приедет в бригаду. — Врач есть у тебя там? Что он говорит?

— Есть, товарищ командующий, сейчас спрошу. — Климович повернулся к врачу: — Командующий сейчас приедет сюда, спрашивает вас, как состояние комбрига.

Военврач стоял над Серпилиным, держа руку на его пульсе.

— Нельзя сюда приезжать,— сказал врач, даже не повернув головы. — Сейчас наложим еще жгут, и надо везти в медсанбат, прямо на стол. Каждая минута дорога, доложите командующему.

— Товарищ командующий,— Климович снова взял трубку,— врач докладывает, что комбрига надо сейчас же прямо на стол в медсанбат.

Командующий вздохнул в трубку и тихо и горько выругался.

— Тогда скажи врачу, пусть везет. Передай, что сам приеду в медсанбат,— может, поспею еще до операции... Или нет, не говори: еще, чего доброго, будут первничать, зарежут. Скажи, приеду в медсанбат сразу после операции. Об остальном, когда отправишь, позвонишь начальнику штаба. У меня все.

Через десять минут внесли носилки и уложили на них Серпилина. Климович вышел к санитарной машине проводить. Вслед за ним вышел адъютант Серпилина. Он хотел влезть в машину

вслед за врачом и сестрой, но врач сказал, что нет места, да и нет необходимости.

— Как хотите, товарищ военврач, а я поеду. — Адъютант взялся рукой за борт «санитарки».

— Товарищ подполковник! — обратился военврач за поддержкой.

Но Климович неожиданно для врача поддержал не его, а адъютанта. Он считал в порядке вещей, что тот хочет ехать в медсанбат вместе со своим комбригом.

— Ничего, политрук, лезьте! Место найдется. А потом вернетесь той же «санитаркой».

— Это как комбриг прикажет,— отозвался политрук.

— Понятно. Но, если вернетесь, приходите прямо ко мне.

— Товарищ подполковник, скажите нашему комиссару Шмакову, что я повез комбрига! — уже на ходу из машины крикнул политрук.

«Санитарка» ушла.

Мельком подумав, что он, кажется, где-то раньше видел этого длинного политрука, Климович вернулся в избу, перенес на прежнее место телефон и позвонил помощнику по тылу, чтобы на радостях не перекармливали истощенных людей и не поили их водкой.

— Танкистское гостеприимство в рамки не введешь! — попробовал тот отшутиться по телефону.

— А вы введите,— отрезал Климович. — И за ночь помойте их всех, вот это будет гостеприимство.

После этого он позвонил комиссару бригады и спросил, не у него ли сейчас комиссар вырвавшейся из окружения группы Шмаков.

— Здесь. Его малость оглушило. Рядом мина рванула. Но уже отлежался, в порядке, сейчас ужинать сядем.

— Ладно, приступайте, сейчас я тоже к тебе приду,— сказал Климович и, отдав распоряжения своему ординарцу на тот случай, если политрук вернется ночевать, вышел из избы.

По небу, гонимые ветром, бежали низкие, серые, рваные облака; сквозь них помаргивали бледные осенние звезды. Над фронтом стояла такая мертвая тишина, словно не было и в помине никакого боя.

...А Синцов в это время трясся в машине по ухабистой лесной дороге, сидя на корточках у изголовья Серпилина.

На полпути Серпилин пришел в сознание, но продолжал молчать, только иногда сквозь сжатые губы покряхивая на ухабах.

Потом наконец спросил:

— Куда едем? В медсанбат?

И, узнав голос Синцова, сказал ему, чтобы он, доехав до места, возвращался в дивизию. Так он упрямо два с лишним месяца называл выходивших с ним из окружения людей, так продолжал называть их и теперь.

— Не хотел бы оставлять вас. — Синцов думал о медсанбате и предстоящей операции.

Но Серпилин понял его по-другому:

— Э-э, брат, так ты со мной до Урала доедешь. Мало ли где меня теперь лечить будут! А когда же воевать? Сейчас только самая война и пойдет!

— Я только хотел дождаться, пока операция...

— Ну, ну, дождись! — теперь поняв его, сказал Серпилин. — По моему фельдшерскому разумению, раны не тяжелые, только хреново, что крови много ушло.

Он вздохнул и вдруг спросил:

— Помнишь, как наша докторша плакала, что раненым в окружении кровь нельзя было перелить? И кровь бы люди дали, и руки у нее золотые, а перелить нет возможности! Ни инструмента, ни лаборатории... Да, брат, плохо безоружным быть, хуже нет на свете! Ты, кстати, о ней там не забудь, позаботься!.. И Шмакову скажи, и сам... — Серпилин при этих словах коснулся руки Синцова своей ледяной от потери крови рукой.

— Товарищ комбриг... — ощутив это прикосновение, дрогнувшим голосом сказал Синцов и не знал, что добавить.

Он еще никого на этой войне не боялся так потерять, как Серпилина, но не будешь же вслух просить его: «Товарищ комбриг, не умирайте!»

Весь медсанбат был на ногах. Туда еще до Серпилина привезли много тяжелораненых.

В приемно-сортировочном отделении и в предоперационной некуда было ступить.

Носилки с Серпилиным торопливо вытащили из «санитарки» и, отогнув брезент, внесли в палатку приемного покоя.

Синцов протиснулся за носилками и при слабом желтом свете ламп в последний раз на полминуты увидел иссиня-белое, бескровное лицо Серпилина.

— Не бойся, не помру, не для того шел, — словно отвечая на молчаливую просьбу Синцова, обещал Серпилин.

Усталые санитары держали носилки на связанных из обмоток заплечных лямках, их плечи подрагивали, и вместе с ними подрагивало лицо Серпилина.

Навстречу несли кого-то накрытого простыней,— кажется, мертвого. Санитары посторонились на проходе, тряхнув носилки, перехватили руки и унесли Серпилина в операционную.

Синцов почти два часа тревожно толокся вокруг операционной; наконец военврач, привезший Серпилина из танковой бригады, вышел и сказал, что комбригу сделали переливание крови и вынули две пули, сердце выдержало и теперь прямой угрозы, можно считать, нет.

— На данный момент,— педантично добавил военврач, но этого Синцов уже недослышал.

Он понял одно: выжил!

И, как камнем придавленная до этого тревогой за Серпилина, радость возвращения к своим заполнила всю его душу без остатка.

Он уговорил военврача задержаться на десять минут и пошел к командиру медсанбата, чтобы позвонить Шмакову.

Командир медсанбата хотел отговорить его: командир танковой бригады подполковник Климович уже дозвонился сюда, и ему все сказано, и в армию тоже все доложено! Но Синцов, как глухой, стоял на своем, и ему в конце концов все-таки разыскали Шмакова, кружным путем связавшись с танкистами через штаб той стрелковой дивизии, в состав которой входил медсанбат.

Он доложил по телефону Шмакову, который уже один раз слышал все это от Климовича, как прошла операция и в каком состоянии сейчас Серпилин. Потом, не успокоившись на этом, добавил, что приедет и сможет еще раз рассказать все лично.

— Хорошо, но давайте отложим до утра,— пресек его порыв Шмаков.— Я уже, грешным делом, сапоги снял, хочу лечь, да и вам на сегодня пора бы угомониться.

Но Синцов уже не мог угомониться.

Наскоро похлебав горячего чаю с галетами, он вскочил на ноги, сказав, что спешит. Но, прощаясь, вдруг взял командира медсанбата за рукав и еще целых пять минут счастливо объяснял ему, что за человек Серпилин и как это хорошо, что он остался жив.

Потом, все в том же приподнятом состоянии, он, словно его прорвало, всю обратную дорогу рассказывал клевавшему носом военврачу, как они выходили из окружения.

Даже когда он добрался до избы Климовича, то и там его не сразу потянуло лечь на приготовленную для него койку.

Самого Климовича не было. Сонный ординарец недовольно сказал, что подполковник поехал на передний край — лично проверить, как затемно вытащат подорвавшиеся на минах танки.

Синцов в своем все не проходившем радостном возбуждении спачала почему-то решил дожидаться возвращения подполковника, потом, заходив по избе, стал расспрашивать ординарца, пришлось ли их танковой бригаде тоже выходить из окружения и откуда. И, наконец, попросил его узнать, топится ли еще баня и нельзя ли успеть в ней помыться прямо сейчас, не откладывая до утра.

«Какая тебе сейчас, черту тощему, баня? Ложился бы скорей, пока с катушек не свалился!» — подумал ординарец, но вслух ничего не сказал, а только повернулся спиной, крякнув, снял с гвоздя пилотку и пошел узнавать.

Когда он вернулся, Синцов спал мертвым сном, сидя на койке и свесив голову на плечо.

Покачав головой, ординарец стащил с политрука мокрые, прохудившиеся сапоги, размотал черные, как сажа, портянки и, взяв за плечи, повалил головой на подушку.

Когда Синцов открыл глаза, в избе было светло. Климович в сапогах, галифе и нательной рубашке, с заткнутым за ворот вафельным полотенцем добривал голову, сидя на табуретке перед висевшим на стене зеркальцем.

— Наконец-то проснулись,— сказал он, полуоборачиваясь с бритвой в руках. Голова его была наполовину выбрита, а наполовину покрыта мыльной пеной.

— Товарищ подполковник,— спуская ноги с койки и внимательно глядя на своего хозяина, сказал Синцов. — Я вчера не ослышался: ваша фамилия Климович?

— Да, а что?

— А я Синцов. Не узнаёте?

Климович молча положил бритву на подоконник, и, словно в последний раз проверяя, может ли это быть, смерил взглядом поднимавшегося с койки, заросшего бородой, худого, широкоплечего человека и быстро пошел ему навстречу. Они обнялись, а у Синцова даже навернулась слеза — результат усталости и возбуждения.

— То-то я подумал вчера, что где-то видел этого политрука! — поспешил усмехнуться Климович.

— А я, если б не фамилия, с этой бритой головой тебя вообще не узнал бы!

— Бритой, да не добритой! — спохватился Климович и пошел обратно к зеркалу — добриваться.

Быть может, при других обстоятельствах они и больше обрадовались бы друг другу, но вчерашняя встреча в бою уже сама по себе была пределом радости, которую способны испытывать люди.

По-настоящему счастливы они оба были вчера, а сейчас им было просто приятно, что они встретились и, не видавшись со школьных лет, все-таки узнали друг друга, отчего разговор их сам собой перешел на короткую ногу.

— Комбриг твой в порядке,— говорил Климович, заново мыля перед бритьем голову. — Уже забрали из медсанбата, а там, говорят, на самолет — и в Москву! Уже и штаб фронта о нем запрашивал, и чуть ли не Ставка! Командующий сам у него с утра был. Он почему комбриг? Аттестовать не успели?

— Не успели,— не вдаваясь в подробности, ответил Синцов. Он слышал о прошлом Серпилина, но сейчас, после двух месяцев боев, ему не приходило в голову говорить об этом. — Да, значит, осталась пока что наша дивизия без командира...

— Была бы дивизия, а командира найдут! — отозвался Климович. — Ты что, в ней с самого начала?

Синцов в двух словах, так коротко, что даже сам удивился, рассказал свою историю до прихода к Серпилину.

— Значит, приблудился и солдатом стал,— с одобрительным смешком сказал Климович. — Я тоже нахватал таких приблудных, пока из окружения шел, и есть настолько боевые, что уже не представляю, как без них жил!

На душе у Синцова потеплело от этой косвенной похвалы, и он сказал то, о чем много раз думал, пока шли из окружения,— что проситься обратно в газету не будет, останется в дивизии.

— Если только сохранят ее, а не рассуют вас всех. Тут уже и из армии и из фронта приехали разбираться с вами, не знаю, какое там у них настроение...

— А что с нами разбираться? Мы же вышли как воинская часть: в форме, с оружием, со знаменем.

— А кабы не так, с вами вообще другой разговор был бы. Отправили бы рабов божьих на положенную по закону проверку да помотали бы душу: кто, откуда, зачем в окружение попал, зачем вышел? — При последних словах Климович невесело улыбнулся.

— Есть чему улыбаться! — озлился Синцов. — Что это, хорошо, что ли?

— Да уж чего хорошего! Хорошо было бы, если б мы сейчас не под Ельней, а под Кенигсбергом дрались, а немцы бы вместо нас из окружений выходили! А вообще вполне возможно, что ваш Серпилин и докажет, что надо за дивизией номер оставить и людьми пополнить, а не растаскивать то, что осталось. Вполне возможно,— повторил Климович. Ему захотелось уте-

шить заметно помрачневшего Синцова. — Тем более — вы со знаменем вышли. Недавно тут в газете писали про одних, как они из окружения безо всего, с одним знаменем вышли, такой из этого шум сделали!

— А чего же плохого? — с обидой спросил Синцов.

— А чего особенно хорошего? — в свою очередь спросил Климович. — Надо стараться кроме знамени еще с танками, и с пушками выходить, и с людьми, которые еще воевать будут! А знамя ты всегда вынести обязан, если совесть не потерял! Мы тоже из-под Слонима знамя вынесли, но в заслугу себе этого не ставим, потому что как же еще иначе? И еще потому, что с семью танками из ста сорока вышли, хвастать нечем! А этот из газеты расписал: «Знамя, знамя!» — а что они, кроме знамени, вынесли и сколько живых людей вывели, хоть бы слово сказал! Будто это и не важно вовсе! Наговорил ему какой-то краснобай на радостях, что жив остался, а тот и пошел строчить...

— Вижу, не жалуешь ты газетчиков,— сказал Синцов.

— А чего их жаловать? Испытал бы на своей шкуре, что на душе творится, когда хоть и со знаменем выходишь, а без танков, небось по-другому бы описал!

— Ну, я, например, испытал на своей шкуре,— сказал Синцов.

— О тебе теперь нет разговора, ты теперь солдат,— отрезал Климович и, вытащив из-под стола связанные бечевочкой новые, пахнущие дегтем сапоги, кинул их под ноги Синцову: — На, примерь!

Сапоги оказались малы, и Климович подосадовал: других сапог у него не было.

— Здоровые подставки отрастил! — глянул он на босые ноги Синцова. — Только в пехоте и топать.

— А я ничего, потопал...

— А я, думаешь, не топал? Когда без танков остался, будь здоров — топал. Одним словом, широка страна моя родная... Если б мне кто в тридцать девятом году, после Халхин-Гола, сказал, что так буду топать,— за насмешку бы принял, душу бы из него вытряс! Но ничего. — Он смочил полотенце одеколоном, вытер им после бритья голову и лицо и, расставив ноги, словно вызывая кого-то на бой, стоял перед Синцовым, маленький, широкоплечий, с выпиравшими из-под нательной рубахи мускулами. — Не переживай, подожди, еще въеду в Германию на своей «тридцатьчетверке». И тебя на броню посажу, если, конечно, нам до этого не выйдет с тобой «со святыми упокой» и фанерная память со звездочкой. Хаустов, принесли завтрак? — услышав за спиной скрип отворяемой двери, спросил Климович.

— Так точно! — Ординарец поставил на стол чайник и накрытые полотенцем тарелки.

— А в бане свободно?

— Нельзя сказать, чтоб свободно, товарищ подполковник...

— Когда чаю попьем, проводите политрука. Пару белья взяли ему?

— Так точно! Только страшусь, что... — ординарец окинул взглядом длинную фигуру Синцова.

— Давай сразу позавтракаем,— сказал Климович, натягивая гимнастерку,— а то и мне недосуг и тебе надо бороду снять. На одиннадцать часов начальство ваш командный состав собирает. А ты зарос, как поп, только наперсного креста не хватает.

За завтраком Климович уже не возвращался к серьезному разговору и вообще торопился.

Посоветовав Синцову после голодухи медленней есть и аккуратней прожевывать, он наскоро выпил два стакана чаю и встал.

— Извини, время вышло. Если хочешь домашним написать, что Христос воскресе, напиши и сразу Хаустову, ординарцу, отдай— он с нашей полевой почтой сегодня же отправит.

— А как у тебя семья, где она? — вдруг, словно кто-то потянул его за язык, спросил Синцов.

— Нет у меня семьи,— странным, каменным голосом ответил Климович и вышел, не простясь.

Синцов молча смотрел на захлопнувшуюся за Климовичем дверь.

«Почему он ответил таким голосом? Что у него там, в семье,— драма, измена, развод?» — спрашивал себя Синцов и, только встретив укоризненно-угрюмый взгляд ординарца, понял, что Климович говорил не о драме, не о разводе и не об измене, а о смерти...

В большой палатке политотдела бригады собралось тридцать командиров и политработников, вышедших из окружения вместе с Серпилиным. Все за ночь сбрили бороды, помылись, почистились. Некоторые вышедшие накануне в совсем растерзанном виде были теперь в сером танкистском обмундировании: сердце не камень,— по приказу Климовича, его пом по тылу расщедрился на десять комплектов.

Все, входя в палатку и радостно здороваясь, не узнавали друг друга. Было трудно себе представить, что всего одна проведенная в человеческих условиях ночь, баня и бритье могут до такой степени изменить людей.

Батальонный комиссар Шмаков представил приехавшему начальству своих товарищей по окружению и положил на стол спи-

сок на триста двенадцать человек, пробившихся через немцев.

Приехавших начальников было трое: полковой комиссар из политотдела армии — черноволосый, добродушный, невыспавшийся и все время позевывавший ласковый мужчина, подполковник из фронтового отдела формирования — немолодой, сидевший прямо, как палка («Сухарь сухарем»,— с первого взгляда подумал о нем Синцов), и маленький майор из Особого отдела, почему-то в форме пограничника, с замкнутым лицом и строго поджатыми губами.

Утренний разговор с Климовичем насторожил Синцова. Вместо того чтобы, как ему мечталось, прежде всего торжественно построить всех их, вышедших из окружения с оружием в руках, со знаменем, и поблагодарить за службу, их почему-то собирали в палатке, отдельно от бойцов... Синцову вдруг показалось, что все непременно произойдет до обидного не так, как хотелось.

Но разговор, напротив, начался совсем не обидным образом.

Ласковый полковой комиссар из политотдела армии, заговоривший первым, сказал, что торжественное построение здесь, вблизи передовой, нецелесообразно. Это не поздно сделать и по прибытии на место, в район Юхнова, куда их всех сегодня же перебросят. Товарищи командиры и политработники, которых он от лица командования поздравляет с выходом из окружения, должны понять, что решение вопроса о том, будет ли сохранен номер за их дивизией, останется ли она и будет пополняться как таковая,— этот вопрос, который уже поставил перед ним товарищ Шмаков, решается не за один день, и притом не им, и даже не командованием армии. Пока же этот вопрос не решился там, где выше, приходится рассматривать всех вышедших из окружения не как воинскую часть, а как временно сформировавшуюся в условиях окружения группу, которая как таковая уже выполнила свои задачи. А раз так, то теперь как группа она уже не существует, и те, кому положено этим интересоваться, будут отныне рассматривать вопрос о каждом из них отдельно, с учетом их званий, должностей и того, как каждый проявил себя в окружении.

— Тем более,— добавил полковой комиссар,— что, по предварительным данным, в группе из самой Сто семьдесят шестой дивизии оказалось всего сто семь человек, а остальные две трети присоединились из разных частей, в разное время.

Пока он все это говорил, Шмаков кончиком платка вытирал под очками слезившиеся от бессонницы глаза и все время внимательно смотрел на полкового комиссара; до этого общего разговора у них был уже один, предварительный, и Шмаков с тревогой

ждал, как теперь будет говорить полковой комиссар — так или не так, как нужно, по мнению его, Шмакова.

Потом полковой комиссар повернулся к подполковнику из отдела формирования, и подполковник сказал скрипучим, деревянным голосом, что когда люди придут на место и поступят к ним в распоряжение, то там с ними и будет дальнейший разговор, а сейчас товарищи командиры должны построить людей, довести их под своей командой до машин — машины стоят в километре отсюда, в лесочке,— рассадить по машинам из расчета двадцать бойцов и два командира на каждую. Место назначения — село Людково, под Юхновом, расстояние — сто сорок километров, маршрут следования — на юго-восток по дороге Ельня — Спас-Деменск, а затем по Юхновскому шоссе на восток. Интервал следования между машинами — тридцать метров, в случае налетов авиации следует рассредоточивать людей подальше от дороги. Он сам поедет на легковой машине в голове колонны. Отбарабанив все это, подполковник замолчал и, кажется, ничего не собирался прибавлять к сказанному.

Когда подполковник закончил свою речь, полковой комиссар обратился с вопросом к майору-пограничнику из Особого отдела.

— Как, товарищ Данилов, у вас будут коррективы или начнем двигаться?

Майор со строго поджатыми губами помолчал, явно не торопясь с ответом, наконец все-таки раздвинул губы и сказал жестким баском, что никаких коррективов у него нет, но есть вопрос к старшему группы. При этих словах он повернулся к Шмакову:

— Сдача оружия уже произведена?

— Какого оружия? — спросил Шмаков.

— Трофейного оружия, имеющегося у личного состава.

— А почему нам его сдавать? — удивился Шмаков. — Трофейное оно или не трофейное — это наше оружие, мы с ним пробились, с какой стати нам его сдавать?

Все заволновались и зашумели.

Пограничник переждал шум и сказал, не повышая голоса, что нашего или вашего оружия в армии нет, а есть оружие, положенное по штату и выдаваемое на руки тогда, когда его положено иметь на руках. Военнослужащим, направляемым на сортировку и формирование, иметь на руках оружие вообще не положено, а трофейное — во всяком случае. Его надо сдать, а не тащить с собой в тыл. Тут не о чем и говорить.

— Это еще не известно, есть о чем или не о чем говорить! — резко сказал Шмаков. — Мы еще подадим рапорт о том, чтобы

была сохранена наша дивизия.—В эту минуту он совершенно забыл, что сам никогда не числился в штатах этой дивизии.

— Мы этот вопрос не будем здесь с вами дискутировать, товарищ батальонный комиссар,— сказал пограничник. — Не будет дивизии или будет дивизия — не нам с вами решать, но, независимо от решения вопроса, все трофейное оружие пока надо сдать.

— Кроме командирского, личного! — совершенно неожиданно для всех, громко и даже с вызовом сказал бесстрастно молчавший до этого деревянный подполковник из отдела формирования.

Видимо, этого сухого человека что-то глубоко лично задело в происходившем разговоре.

— Обидно все это,— сказал Шмаков, вставая и в гневе сжимая кулаки. — Обидно! — повторил он громко, и голос его зазвенел. — Очень обидно, перед людьми стыдно! А вам разве не стыдно? — вдруг в упор крикнул он пограничнику.

Тот тоже встал и, слегка побледнев, медленно застегнул сначала одну, потом другую кнопку на планшетке.

— Есть указания,— сказал он очень тихо, и чувствовалось, что этот тихий голос дается ему напряжением воли,— по поводу которых было запрошено разъяснение, и есть разъяснение, что надо выполнять эти указания, поэтому надо сдать трофейное оружие, товарищ батальонный комиссар.

В разгар перепалки в палатку вошел надолго, почти с самого начала, исчезавший Климович.

— Товарищ полковой комиссар, разрешите доложить. Меня вызывал к проводу командующий и приказал передать вам, что торжественное построение группы, вышедшей под командованием комбрига Серпилина, и краткий митинг в связи с ее выходом Военный совет армии приказывает провести здесь, в расположении вверенной мне части.

Все присутствующие переглянулись. Полковой комиссар в душе был доволен: он сам утром, перед выездом, докладывал начальнику политотдела свое мнение, что построение и митинг надо провести на месте, в танковой бригаде, но начальник политотдела заявил ему, что делать это вблизи передовой не время и не место: еще разбомбят, чего доброго!

«А все-таки не по его вышло, а по-моему: значит, перерешили в Военном совете!» — подумал полковой комиссар.

Подполковник из отдела формирования и майор Данилов были подчинены фронту и не имели прямых указаний, где и как проводить митинг, но вступать в пререкания с командующим, находясь в расположении его армии, не представлялось возможным. Они только молча переглянулись.

Зато Шмаков откровенно торжествовал.

— Разрешите, товарищ полковой комиссар? — обратился он, прежде чем кто-нибудь успел ответить Климовичу.

— Да, слушаю вас.

— Капитан Муратов! Политрук Синцов! Распорядитесь построением... дивизии! — Сделав паузу, он все-таки упрямо добавил это въевшееся в их общее сознание слово.

— Вот это хорошо! — сказал Климович, присаживаясь к столу. — Я, правда, уже распорядился, но пусть поторопят, времени у нас нет, командующий приказал: провести, но не копаться!

Климович сочувственно посмотрел на повеселевшего батальонного комиссара; ему нравился этот упрямый старик, как он про себя называл седого, без единого черного волоса, Шмакова. Именно понимание той боли за своих людей, которую переживал сейчас Шмаков, и заставило Климовича проявить инициативу.

Он соврал, что командующий вызвал его к проводу. Нет, он сам вышел отсюда и позвонил командующему, прося разрешения провести на месте, в бригаде, торжественное построение и короткий митинг. «Разумеется,— сердито сказал командующий; кажется, он был сильно занят. — Уже послали к вам замначполитотдела. Чего вы вмешиваетесь? Что он, сам сообразить не может?» — «Не знаю, товарищ командующий,— сказал Климович,— видимо, у него другие указания». — «Какие там еще другие указания! Проводите! Только без канители».

— Ну, так,— сказал полковой комиссар, опираясь кулаками о стол. — Какие еще вопросы?

— Вопрос старый, насчет оружия,— напомнил Шмаков.

— Товарищ подполковник,— прервав его, обратился пограничник к Климовичу,— командующий не отдавал приказания о несдаче трофейного оружия?

— Нет,— сказал Климович.

— Тогда решение остается прежним,— поспешно сказал полковой комиссар, не давая возобновиться перепалке. — После построения и митинга сдать трофейное оружие — и погрузка на машины!

— Одну минуту, товарищ полковой комиссар,— поднялся деревянный подполковник из отдела формирования. Он посмотрел на Шмакова и, в тишине сухо пристукнув по столу косточкой указательного пальца, сердито сказал: — Попрошу вас, товарищ батальонный комиссар, не употреблять на митинге понятия «дивизия», поскольку вопрос о сохранении номера не решен и вы являетесь не дивизией, а вышедшей из окружения группой, состоящей из бойцов и командиров четырех разных дивизий и других отдельных частей.

«Сухарь ты чертов!» — хотел крикнуть ему Шмаков, но сдержался:

— Слушаюсь!

Самое главное выйдет так, как он хотел: «Сейчас построим и поблагодарим людей, а остальное — черт с ним! — с остальным разберемся после».

Он поднялся из-за стола и пошел было вслед за другими, но майор-пограничник оказался рядом с ним и тихо дотронулся до его рукава:

— Прошу задержаться на два слова, товарищ батальонный комиссар!

— Слушаю вас, товарищ майор,— сказал Шмаков с оттенком недоумения: ему казалось, что говорить больше не о чем.

— Вопрос такой. — Майор терпеливо дождался, когда все вышли и они остались в палатке вдвоем со Шмаковым.— Пока что мы ваших людей не знаем, а вы знаете. Как, по вашему мнению, можете вы полностью отвечать за каждого из людей, которые вышли с вами?

— Отвечать? — быстро переспросил Шмаков резким голосом. — По-моему, они сами уже ответили на ваш вопрос тем, что не остались у немцев, а с боем вышли к своим.

— Это я понимаю, товарищ батальонный комиссар,— сказал майор, выслушав отповедь Шмакова. — То, что они вышли к своим, для меня такой же факт, как и для вас. Но у вас люди шли под командой, а в этих условиях бывает, что заодно с другими выходит человек, который сам не собирался выходить из окружения, но, попав под команду, вынужден был выходить вместе со всеми. Однако он по тем или иным причинам все же не вызывает доверия у командования. Нет у вас таких?

— Во-первых, на мой взгляд, нет,— быстро сказал Шмаков,— а во-вторых, мы перешли фронт, мы наконец дома, и я не понимаю, что вас волнует.

— Меня ничто не волнует, товарищ батальонный комиссар,— делая вид, что он не замечает горячности Шмакова, ответил пограничник с терпением, говорившим о незаурядной выдержке. — Меня, как человека, отвечающего за свое дело, интересует еще один вопрос: не могут ли среди вышедших с вами людей оказаться лица, которые присоединились к вашей группе в своих целях, частично достигли этих целей, перейдя вместе с вами фронт, а в дальнейшем достигнут их вполне, исчезнув по дороге, до всякой проверки? Я не знаю, есть ли такие лица у вас, но опыт подсказывает, что они могут быть. И лучше подумать об этом сейчас, чем потом, когда окажется поздно.

— Нет у меня таких лиц,— упрямо повторил Шмаков.— Одного подлеца выявили и расстреляли, не дожидаясь ваших советов. Другой подлец сам застрелился. А насчет рано или поздно... — Он хотел сказать: «Эх, дорогой товарищ, мы с вами в последнее время слишком часто и слишком рано начинали думать, что человек не внушает доверия, а потом слишком поздно спохватывались, что он все-таки внушает его!» Хотел сказать, но оборвал себя на полуслове и вместо этого сказал, что сам в свое время год работал в органах ВЧК и не хуже товарища майора знает, что такое бдительность... — Если, конечно, видеть в ней меч, а не помело!

— Это как понять? — сухо спросил пограничник.

— А так,— все еще не остывая, сказал Шмаков,— что в своих людей верить надо. А без веры — это уже не бдительность, а подозрительность, паника!

В словах Шмакова был вызов, но пограничник не пожелал принять его на свой счет и хладнокровно сказал, что все это так, но на сегодняшний день приходится считаться с обстановкой, а обстановка исключительно сложная и нельзя закрывать на это глаза.

— А я не закрывал и не закрываю!

— Тогда у меня всё,— сказал пограничник. — Я поеду в колонне замыкающим. В моей «эмке» есть два свободных места. Могу предложить вам,— вдруг добавил он, как бы подчеркивая этим неожиданным для Шмакова предложением, что он, майор Данилов, делает здесь свое дело, считает себя правым и не придает ни малейшего значения всей этой словесной перепалке со вспыльчивым батальонным комиссаром.

Прорубленная через сосновый лес просека уходила далеко, к самому горизонту. Проглянувшее сквозь тучи осеннее солнце неяркими пятнами ложилось на сырую после вчерашнего дождя хвою. Там, где местами из-под хвои проступал песок, он после дождя был весь в мелких рябинках. Когда подувал ветерок, с сосен сыпались застрявшие на ветках остатки вчерашнего дождя, и стоявшие в строю бойцы пересмеивались, ежились, лезли пальцами за вороты гимнастерок...

Людей только что построили, начальство еще не появилось, и они стояли по команде «вольно».

За ночь и утро в медсанбат отправили еще человек тридцать, вчера сгоряча оставшихся в строю. Вдоль просеки было построено двести восемьдесят два человека — ровно половина того списочного состава, который был вчера вечером перед боем.

Все построенные были при оружии. Человек у пятидесяти были наши винтовки, остальные за два с половиной месяца боев

постепенно обросли немецким оружием — винтовками и автоматами. У некоторых за поясом торчали немецкие гранаты с длинными ручками.

На левом фланге стояло шесть вынесенных из окружения ручных пулеметов — два наших и четыре немецких, а еще дальше, на самом фланге, стоял большой немецкий полковой миномет и рядом с ним лежали две неистраченные мины. У миномета стоял его расчет — трое из тех артиллеристов, что шли из-под Бреста и присоединились к Серпилину еще в первый день окружения. Как они вынесли вчера из этого ночного кромешного ада, где под конец вообще было трудно что-нибудь понять, здоровенную трубу, плиту и даже мины, оставалось их тайной, но сейчас они были горды этим и стояли, не скрывая своих чувств.

На правом фланге, на полголовы возвышаясь над всеми, стоял все такой же могучий, каким он когда-то явился на глаза бывшему командиру дивизии полковнику Зайчикову, старшина Ковальчук. Два раза легко и один раз чувствительно раненный за время окружения, он стоял с перевязанной чистым бинтом головою, широко, по-богатырски, расправив плечи и держа развернутое и приставленное древком к ноге знамя дивизии. Что бы там ни было, а он от начала и до конца нес его собственноручно и вынес!

Когда полчаса назад, получив приказание на построение, стали разыскивать Ковальчука, его нашли на опушке леса: он сидел на пне и складным ножом дотесывал новое древко. Теперь он стоял со знаменем, прикрепленным к свежевыструганному древку, и все могли прочитать на этом порыжелом, пропотевшем, истершемся полотнище те же самые слова, что два с лишним месяца назад прочел на нем покойный Зайчиков: «176-я Краснознаменная... Рабоче-Крестьянской Красной...»

Как и все остальные, с нетерпением ожидая начала, Синцов стоял неподалеку от знамени и разговаривал с человеком, которого он меньше всего ждал встретить здесь.

Климович заранее, еще до звонка командующему, на всякий случай вызвал для участия в церемонии командира своего разведбата вместе с отличившимися в ночном бою танкистами. Комбат приехал на грузовике; прибывшие с ним бойцы посыпались из кузова, а он, выскочив из кабины, наткнулся на высоченного, худого политрука с немецким автоматом на шее. Оба они — капитан-танкист и политрук — несколько секунд молча смотрели друг на друга.

— Под Бобруйском, да? — наконец первым сказал Синцов, первым потому, что встреча эта запомнилась ему больше, чем

капитану. — Вы меня задержали, а моего младшего политрука у себя оставили, Люсина... И летчик у вас остался...

— Так точно! — весело отозвался капитан. — Жаль, что вы не остались, а то вместе бы воевали!

— Я тогда ранен был,— напомнил Синцов.

— А теперь зажило?

— Зажило.

— А больше не добавили?

— Пока не добавили.

— Ну, тогда счастлив ваш бог. А мне за это время они и в лопатку циркнули, и от ж..., извиняюсь за выражение, кусок оторвали.

— А вы и тогда и сейчас — все время в этой бригаде? — спросил Синцов.

— Ну да, а как же?

— Оказывается, ваш командир... — Синцов хотел сказать «мой школьный товарищ», но сказал вместо этого — мой старый знакомый.

— Вот видите,— улыбнулся танкист,— а я как раз с ним тогда при вас по телефону разговаривал. Что ж не сказали? Я бы вас сразу соединил!

— Да уж, вы бы тогда соединили! Держи карман шире! — рассмеялся Синцов.

— Все возможно,— усмехнулся капитан. — Когда кругом положение крутое, и самому гайки подкручивать приходится. Зато здесь встретил вас с распростертыми объятиями, прямо на мой разведбат вышли!

— По-моему, вы тогда были пом по тылу?

— А-а!.. — махнул рукой капитан. — Когда через немца пробиваешься, где перед, где зад, забудешь. То в морду бьешь, то, как конь, лягаешься. Был пом по тылу, а стал разведчиком, а впрочем, что вам объяснять, вы сами из окружения вышли... И нахально вышли, нахально! Месяц никто не выходил, и уже считали — никто не выйдет. Командир, видимо, у вас нахальный! — одобрительно добавил он. — Говорят, ранили его?

Синцов кивнул.

— Жалко!

— Слушайте,— Синцов снова вспомнил о Люсине,— а как тот мой товарищ, что у вас остался?

— А, младший политручок? В лихой фуражечке? — рассмеялся танкист. — Между прочим, интересная личность. Сначала оставаться не хотел, брыкался. Потом, когда увидел, что не отвертишься, три дня воевал вполне прилично, а на четвертый, когда положение маленько стабилизнулось, сразу к начальству с рапор-

том: мол, насильно, самоуправство и так далее! И уехал в свою редакцию. Мы за те дни боев его даже к медали хотели представить, ну, а как смотался, конечно, похерили.

— А летчик?

— Вот этого не знаю,— пожал плечами танкист,— этого на второй день ранили, и где он теперь — в небе, на земле или под землей,— мне неведомо.

— А вас, значит, по-прежнему зовут Иванов и на вас вся Россия держится?

— Не на мне, а на моей фамилии,— улыбнулся танкист.

Он дружески хлопнул Синцова по плечу и, отступив шага на три назад, сложив на груди руки, долго с восторгом смотрел на знамя, которое держал в руках старшина Ковальчук.

— Вот это да! Дрожь берет!

Когда вышедший на середину просеки Шмаков подал команду «смирно», сдвоенная шеренга подравнялась, звякнула оружием и замерла. На правом ее фланге с интервалом в два шага стали танкисты разведбата во главе со своим командиром.

Вперед выступил полковой комиссар и негромким, ласковым голосом сказал, что от имени и по поручению Военного совета армии поздравляет их с доблестным выходом из окружения с оружием в руках и при знамени. Он не сказал ни «дивизия», ни «группа», обошел это и прямо начал: «Товарищи! Поздравляю вас...» В ответ на поздравление в строю недружно, но от души крикнули: «Служим Советскому Союзу!»

Потом полковой комиссар сделал шаг назад, а подполковник Климович сделал шаг вперед.

Полковой комиссар, говоривший до него, не сказал ничего особенного, просто несколько справедливых слов. Но когда Климович, перед тем как заговорить, обвел глазами строй, он неожиданно для себя увидел на многих лицах слезы.

— Товарищи бойцы и командиры! — сказал Климович своим громким ясным голосом. — Семнадцатая танковая бригада никогда не забудет вашего подвига и нашего братства в ночном бою, у отметки двести одиннадцать, где мы отдавали друг другу руку боевой дружбы. А наш разведбат,— он показал рукой на капитана Иванова, стоявшего впереди своих танкистов,— всегда будет гордиться, что вы вышли к своим на его боевом участке. Капитан, салют в честь боевой дружбы!

Танкисты вскинули винтовки и дали залп.

Наступила тишина. Климович выждал еще секунду и сказал единственное, что, по его мнению, оставалось сказать:

— Смерть фашистским оккупантам!

Третьим говорил Шмаков. Ему выпал самый трудный жребий: и заключить торжественный митинг, и сказать последние, вполне прозаические слова — о сдаче оружия и порядке отправки в тыл.

Ему хотелось сказать многое, но он сдержал себя и только поэтому справился с задачей. Когда, протянув руку к знамени, он сказал, что они под командованием временно выбывшего из строя комбрига Серпилина и вот под этим самым знаменем 176-й Краснознаменной дивизии еще пройдут обратно все те дороги, по которым отступали, голос его на мгновение сорвался. Но он усилием воли вернул себе голос, потому что слезы тут были ни к чему, и по какому-то наитию задорно крикнул почти ту же самую фразу, которую год спустя сказал Сталин: «И на нашей улице еще будет праздник, товарищи!»

В рядах прозвучало нестройное «ура», перемешанное со слезами волнения.

Сделав паузу, Шмаков внешне очень спокойно, хотя внутренне это спокойствие далось ему с большим трудом, объявил, как о чем-то само собой разумевшемся, что так как их отправляют во фронтовой тыл, необходимо перед отправкой сдать здесь все наличное трофейное оружие, а также боеприпасы к нему. После отдыха и переформирования всех вооружат как положено, а трофейное оружие нужно здесь, на фронте.

— А списки всего, что передали, мы, товарищи, сохраним,— почувствовав в рядах растерянный шорох, добавил Шмаков,— чтобы помнить, кто кого разоружал, пока мы шли из окружения,— немцы нас или мы немцев.

Потом он сказал, что грузовики для отправки в тыл уже прибыли, сразу после сдачи оружия начнется погрузка, и подал команду «вольно».

Командиры рот и взводов вышли из строя и занялись сдачей оружия, а Шмаков, обернувшись, посмотрел на полкового комиссара.

«Ну как? — спрашивал его взгляд. — Все сделано, как договорились?»

Тот кивнул.

— А все-таки про дивизию не удержались — сказали! — укоризненно проскрипел деревянный подполковник.

— Не про дивизию, а про знамя дивизии! — огрызнулся было Шмаков, но сменил гнев на милость и улыбнулся. — Вы лучше не связывайтесь со мной, товарищ подполковник. Я старый диалектик, даже ученое звание по этой части имею; начнем спорить насчет формулировок — обведу вокруг пальца!

Сдача трофейного оружия заняла час. Одни бойцы сдавали его равнодушно: раз положено, так положено; другие огорчались

и вполголоса матерились; третьи припрятывали трофейные пистолеты: с ними было особенно жаль расставаться.

Синцов, у которого не было пистолета, а только немецкий автомат, сдал его и остался совсем без оружия. В таком же положении, как он, оказались и многие другие командиры, во время выхода из окружения не считавшие пистолет серьезным оружием и предпочитавшие ему трофейный автомат или карабин.

— Поторапливайтесь, товарищи! — вдруг, подойдя к Шмакову, сказал Климович. К нему самому только что подбежал оперативный дежурный и сказал что-то такое, что резко изменило его настроение. — Поторапливайтесь! Чтоб через пять минут вас тут не было! — закончил он.

Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он пожал руку Шмакову, откозырял остальным и позвал Иванова:

— Пошли, капитан!

Синцов догнал их.

— Товарищ подполковник! — окликнул он Климовича.

Климович круто остановился, повернулся к нему и пожал руку.

— Прощай, Ваня! Езжайте, не копительтесь! А мне, извини, недосуг.

И пошел дальше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Колонна из тринадцати грузовиков и двух «эмочек» — в голове и в хвосте — уже второй час ехала по лесному грейдеру, который, по словам знающих людей, где-то впереди выходил на Юхновское шоссе.

После вчерашнего дождя снова стояла сухая ветреная погода. По сторонам дороги километры желтого и красного осеннего леса перемежались полосами уходивших далеко к горизонту осенних серых полей. Гонимые ветром жухлые листья все время перебегали дорогу под колесами машин. Иногда сквозь тучи проглядывало солнце, и становилось совсем тепло и весело.

Синцов еще до погрузки на машины, когда сдавал оружие, спросил у Шмакова, какие обязанности ему теперь нести и на какую машину грузиться.

Так неожиданно потеряв Серпилина, у которого он был за все сразу — и за адъютанта, и за ординарца, и за писаря,— он чувствовал себя непривычно свободным.

— А, не торопись! — ласково, на «ты», сказал ему Шмаков, душа которого после митинга размягчилась и подобрела ко всем

окружающим. — Доедем — разберемся. В любую машину садись. Еще успеешь, накомандуешься!

И Синцов сел в первую попавшуюся машину в середине колонны.

Рядом с ним в кузове оказался красноармеец Золотарев, тот самый, который когда-то вышел им навстречу вместе с полковником Барановым. На Золотареве была даже та самая кожанка, только теперь уж и вовсе, до дыр и белизны, протертая и заношенная. И винтовка у него была та самая, с которой он пришел к ним. Пока были в окружении, он не польстился на трофейное оружие и теперь остался в выигрыше.

Рядом с Золотаревым, с другого его боку, сидел шофер из танковой бригады, он попросился с ними до тыловой рембазы, где стояла его полуторка.

Первое время разговор шел об одном — о сданном трофейном оружии. Шофер из танковой бригады не уставал шутить на эту тему.

— Конечно,— говорил он,— на миномет ваш трофейный и на пулеметы, да и хоть бы вы даже орудие взяли,— на них никто не позарится. А вот из-за автоматов целая война будет. И как это ваше командование такую богатую трофею сдать согласилось? Я бы вами командовал — ни в жисть бы не отдал!

— А что же их в тыл везти! Они на фронте нужнее,— больше для порядка, чем от души, возразил Синцов.

— На фронте! Так и вы не в Сибирь едете, еще на фронт явитесь!

— Явимся, но не сразу.

— А вы правильно объясняете, товарищ политрук,— внешне почтительно, но с огоньком усмешки в лукавых глазах ответил шофер. — Но только я бы лично ни в жисть не сдал! Ох, и война будет через эти ваши автоматы!.. Наш командир бригады лапу наложит безусловно: оставь бригаде! Из тыла армии приедут безусловно, скажут: дай! Из соседней дивизии подъедут, по-соседски попросят: может, чего уступите? Ну, а из штаба армии — это уже «всех давишь»! Приедут и заберут! Тем более, скажут, вы, танкисты, под Ельней и так кое-какими трофеями разжились. А вообще-то с этой, с Ельней... бои были крепкие, а трофеи небогатые... Нет, небогатые...

Разговор перешел на недавние бои под Ельней, в которых, как Синцов понял, ехавший с ними шофер сам не участвовал, но, должно быть, повторяя слышанные разговоры, размашисто рассказывал, что под Ельней у немцев было до восьми дивизий, целая армия, и им, в общем, крепко дали духу, но под конец малость сплоховали. По словам шофера, если бы «соседи» не подвели

(какие именно «соседи» и в чем они подвели, он не уточнял), то можно было всех немцев запечатать в бутылку.

Все, кто сидел в машине, внимательно слушали, подпрыгивая на ухабах, пропуская слова и фразы и переспрашивая друг друга.

— Значит, все-таки упустили? — огорченно спросил кто-то, когда шофер сказал про бутылку.

— Не то чтобы вовсе упустили,— ответил шофер,— но технику они повытаскивали... Я же говорю, трофеи не особые.

И все слушавшие его хотя и радовались тому, что немцев под Ельней поколотили, да еще восемь дивизий, но одновременно воспринимали как личную обиду, что не довели дела до конца, не запечатали их в бутылку. Уж очень всем ехавшим в машине хотелось, чтобы немцы оказались в окружении, побывали в их шкуре.

Потом, после молчания, кто-то спросил, большие ли были потери в боях под Ельней.

— Да как сказать... — неопределенно ответил шофер из танковой бригады. — У кого как, да и опять же, если людские взять потери или в материальной части, тоже как считать.

И Синцов понял, что потери были большие, но шофер не хочет сейчас говорить об этом.

— А авиация как? — снова спросил кто-то.

— Видишь, нету! — оторвав руку от кузова и показав в небо, отозвался шофер. — Едем — и ничего. А то, бывало, из щели носа не высунешь. А сейчас, я бы сказал, даже чересчур смело едем. Правда, последние дни тихо, совсем мало летают. Даже тревога берет: с чего бы это?

— Ну, а как, если взять потери? — упрямо переспросил тот же боец, что спрашивал в первый раз. — Вот у вас, скажем, в бригаде: сколько вас было с начала войны и сколько вас теперь есть?

— Так ведь как сказать... — снова уклонился шофер. — В первых боях людей потеряли, потом из окружения пробивались, опять потери были. Правда, и к нам по дороге люди прибивались....

— Это и к нам тоже,— отозвалось сразу несколько голосов.

— Ну, и от нас кто отбился, мог к другим прийти,— рассудительно продолжал шофер. — Так на так. Потом переформировались — опять новый счет. Потом под Ельней бои, а теперь снова пополнения ждем... Как тут считать? Я вот, например, с первых дней в бригаде, со Слонима.

— А много ли таких, как ты?

— Не считал, не знаю! — огрызнулся шофер.

И Синцов снова подумал: «Не много!»

— А письма сейчас как получаете? — спросил он. — Полевая почта хорошо работает?

— Письма идут, не скажу — быстро, не скажу — медленно, смотря у кого где родня. У вас, к примеру, где, товарищ политрук?

— Не знаю! — хмуро сказал Синцов.

Ему не хотелось распространяться на эту тему.

— Вот именно, что хуже нет, когда не знаешь. — Шофер вздохнул и замолчал.

«Может, и у него пропала семья? — подумал Синцов, услышав этот вздох. — А может, наоборот, у него пропала, а у меня за это время нашлась? Ведь не одни же несчастья на войне, бывает и счастье!..»

И он, облокотясь на борт машины и глядя вниз, на несущуюся под колесами серую ленту дороги, стал думать о том, что ждет его теперь: счастье или несчастье? Как дочь? Может быть, теща все-таки вернулась с ней в Москву, когда он уже был на фронте? Или они остались там, в Гродно, и, значит, ничего не известно и не будет известно... И как Маша? Пошла или не пошла в армию? Сегодня с утра он не успел написать ей, решил сделать это вечером, когда они доберутся до места.

— А все-таки?.. — спросил Синцов. — Если семья в Москве, как, за неделю дойдет отсюда письмо?

— Недели за полторы.

— А, например, до Вязьмы? — снова спросил Синцов.

— До Вязьмы дольше,— сказал шофер. — Хотя и близко, а идет кругом, через Москву... Вязьма-то Смоленской области, а Смоленск у фрицев!

Синцов чуть не переспросил: «Что?» Слово «фрицы» он слышал в первый раз.

— Фашистов теперь так зовем — «фрицы»,— заметив скользнувшее по лицу Синцова недоумение, с охотой объяснил шофер. — Не слыхали там, в окружении?

— Не слыхали,— вместо Синцова отозвался Золотарев.

— Значит, совсем оторвались от мира,— рассмеялся шофер.

— Вот это ты точно говоришь, оторвались,— хлопнув по колену шофера из танковой бригады, сказал Золотарев. — Меня, например, взять — я уже почти три месяца за баранку не держался.

— Мало ли кто за что по три месяца и боле того не держался! — отозвался в углу кузова чей-то тонкий веселый голос. — И то пока не жалуемся. Едем да терпим. А он за свою баранку слезы льет...

В грузовике засмеялись, подбавили еще несколько фраз, уже посолонее, разговор разгорелся, на несколько минут стал общим, а потом снова затих.

— Скучаю по баранке,— продолжал гнуть свое, шоферское, Золотарев, придерживая за рукав шофера из танковой бригады. — Так вот сел бы сейчас,— он кивнул на кабину,— да поехал!

— На грузовой работал?

— Нет, на легковой. «Эмочка» была, новенькая, только перед войной ограничитель снял.

— Что, разбомбили или бросили?

— Сжег... такой приказ был...

— А кого возил? — спросил шофер из танковой бригады.

— Так, одного... — сказал Золотарев и, встретившись глазами с Синцовым, ничего не добавил.

По стечению обстоятельств они оба были свидетелями того, как умер человек, которого Золотарев не хотел сейчас называть.

Уже на второй месяц окружения Синцов как-то вечером прошагал своими длинными ногами во взвод Хорышева с очередным приказанием от Серпилина.

Обстановка в тот вечер складывалась примерно такая же, как в первые сутки окружения. Ночью —ничего не поделаешь — надо было пересекать шоссе, и, верней всего, предстоял бой.

Поговорив с Хорышевым, Синцов перед обратной дорогой сел перекурить. Хорышев совершил чудо щедрости — отсыпал ему на одну завертку махорочной пыли, смешанной с растертыми сухими листьями.

Кругом в кустарнике расположились бойцы взвода; те, у кого оружие было в порядке, отдыхали, остальные чистили его, изготовляясь к бою.

Золотарев сидел рядом с Синцовым и Хорышевым и чистил винтовку, сетуя, что протирать ствол всухую, без ружейного масла, все равно что человеку драть горло сухой коркой.

Шагах в двадцати от них сидел на кочке Баранов и возился с трофейным парабеллумом.

Синцов, по поручению Серпилина, как раз сегодня спрашивал Хорышева о Баранове, и Хорышев недовольно ответил ему, что Баранов воюет ни шатко ни валко. Ищет чего полегче...

— Недавно сменял с одним бойцом шило на швайку — автомат на парабеллум,— пояснил свою мысль Хорышев. — Тяжел ему, видишь, автомат! Да разве я бы сменял или ты? Да я бы треснул, а не сменял! Кто до крови драться думает, разве сменяет дело на игрушку?

И вот Баранов сидел на кочке поодаль от других и возился с этим самым парабеллумом.

Синцов еще подумал тогда: почему отдельно? И ответил себе: наверное, потому, что так и не смирился со своим положением. А люди чувствуют это и сторонятся.

Так он подумал о Баранове, потом затянулся, взглянул на Золотарева и, увидев, как тот от соблазна даже глядит в другую сторону, передал ему самокрутку: «На, потяни!»

Золотарев осторожно, двумя пальцами, принял самокрутку, затянулся глубоко, но коротко, так, чтобы не взять лишнего, и вернул самокрутку Синцову.

И в это время щелкнул выстрел.

— Кто стреляет? —вскочив на ноги, злым, шипящим голосом закричал Хорышев. Они остановились слишком близко от шоссе, чтоб можно было позволять себе такую роскошь.

Но оказалось, что спрашивать уже не с кого: Баранов лежал мертвый. Выстрел был из его парабеллума, и этот выстрел, прямо в лицо, в упор, снес ему полголовы.

Синцов подумал тогда, что Баранов застрелился, устав от ежедневных опасностей, или боясь предстоящего боя, или еще почему-то,— кто его знает, у него уже не спросишь...

Но Серпилин, когда Синцов доложил об этом, покачал головой.

— Не верю, чтоб застрелился,— сказал он. — Выстрел случайный, хотя и у случаев бывают причины: опустился, махнул на себя рукой и чистил тоже спустя рукава, а оружие незнакомое. Вот тебе и пуля в лоб. Считай как хочешь — случайная или не случайная.

Синцов остался при своем мнении, а в общем, недолго думал об этом. Тяжелый ночной бой, в котором погибло много людей, сразу заслонил собой это происшествие.

Синцов, как он это делал при всех потерях, вычеркнул из списков имя Баранова. Тем дело и кончилось...

И только сейчас, встретившись с Золотаревым взглядами, они оба вспомнили сухой щелчок выстрела в лесу, прервавший жизнь человека, чью фамилию не хотел называть его бывший водитель.

— А вот моя деревня, вот мой дом родной! — весело крикнул шофер-танкист и постучал в крышу кабины: — Придержи, мне тут на рембазу сворачивать.

Там, где он соскочил, в лес углублялась свеженаезженная дорога. На опушке в квадратных ямах, затянутых маскировочными сетками, стояли зенитные орудия, а по дороге в глубь леса, рыча и оставляя за собой двойные рубчатые швы, ползли два танка Т-34.

«Должно быть, пробуют ход после ремонта»,— подумал Синцов, вспомнив слова шофера насчет рембазы.

Они миновали просеку и поехали дальше, разминувшись с колонной новеньких зеленых грузовиков, набитых снарядными ящиками. Другую колонну таких же грузовиков они встретили раньше, еще при выезде. Зенитки тоже встретились им не в первый раз: полчаса назад они мелькнули в роще возле одного из мостов, которые они переезжали.

Кое-где над лесами курились дымки. В одном месте Синцов заметил батарею тяжелых орудий. У мостов стояли часовые.

Высоко над головами на запад проплыли три девятки наших бомбардировщиков, сопровождаемые истребителями.

И если бы спросить сейчас Синцова, что больше всего успокаивало его душу после пережитого в окружении, он бы, наверное, ответил, что ему приносили душевное успокоение именно эти вписанные в мирный пейзаж приметы армии и воинского порядка. Эти приметы как бы обещали: то, чему он был свидетелем, больше не повторится, армия встала здесь, встала давно и прочно и уже не отступит перед немцами.

Вспоминая о немцах, Синцов хотел сейчас только одного: чтобы мы сделали с ними все, что они сделали с нами,— так же гнали их, как они гнали нас, так же бомбили их и расстреливали с воздуха, так же обходили и давили танками, так же окружали и душили без еды и патронов, так же вели в плен и так же не давали пощады. Этого он хотел, и хотел с такой силой, что рассмеялся бы в лицо человеку, который посмел бы сказать ему сейчас, что когда-нибудь месть его будет утолена, а ненависть пройдет.

Он ехал и думал о нашем будущем наступлении: ведь будет же оно когда-нибудь!

А рядом с этим было и другое чувство— чувство отдыха и бездумного счастья. За два с половиной месяца он нагляделся и на землю, и на небо, и на сосны и березы, и на лесные поляны и прогалины, и на этот густой ельник, подбегавший сейчас к дороге. И тишина вокруг порой стояла такая, что слышно было дыхание... Но, видно, все-таки там, в тылу у немцев, все это было не так и не то: и не те березы, и не те сосны, и не та земля, и даже не та тишина...

А сейчас все это, мелькавшее перед глазами, радовало и приносило счастье. Счастьем было все: машина, на которой они неслись, метавшиеся по ветру знакомые льняные вихры Хорышева, высунувшегося из кабины переднего грузовика, синие елки, желтые березы, перелески и поля, дымки из труб, люди, зенитки, свои самолеты в небе, обрывки песни, долетавшие с передней машины.

Синцов купался во всем этом счастье, жадно глядел на все слезящимися от ветра счастливыми глазами и беспричинно улыбался, чувствуя, как осенний холодок забирается за ворот шинели.

И точно так же, как он, иногда молча улыбаясь своим мыслям, в замыкавшей колонну «эмке», на заднем сиденье, между майором Даниловым и маленькой докторшей, ехал и глядел в боковое стекло батальонный комиссар Шмаков. Иногда, отрываясь, он коротко взглядывал вперед, на широкие спины ехавших на переднем сиденье пограничников — шофера и ординарца.

У Шмакова если и не вовсе исчезла, то, во всяком случае, выветрилась утренняя обида из-за сдачи трофейного оружия; выветрилась и потому, что это было уже в прошлом и сейчас не казалось таким важным, и потому, что, когда дело дошло до сдачи оружия, бойцы отнеслись к этому спокойней, чем думал Шмаков. А так как главным, из-за чего он лез в драку, была боязнь обидеть людей, то и на душе у него как-то само собой отлегло.

Маленькая докторша, за все окружение ни разу не охнувшая, вдруг сегодня утром почувствовала себя нездоровой и всю дорогу спала, горячим, лихорадочным комком завалясь в уголок, а Шмаков ехал, глядя в окно, и с наслаждением курил одну за другой папиросы «Казбек» из портсигара, которым всякий раз предупредительно щелкал перед ним Данилов.

Сперва, когда пограничник предложил ему сесть в «эмку», Шмаков хотел отказаться — так сильно в нем еще кипела обида. Потом, когда они уже сели и поехали, он хотел продолжить свой спор с Даниловым насчет настоящей бдительности и напрасных подозрений, но отложил, потому что они были не одни: с ним была докторша, а с майором двое бойцов. А еще через полчаса ему и самому расхотелось спорить.

Чем дальше ехали они, тем больше и больше росло в его усталой душе и усталом теле чувство радости и даже умиления оттого, что они каким-то чудом вышли живыми и целыми после всего, что было, вышли с боем и с честью.

Наконец на исходе первого часа езды он окончательно перестал злиться на Данилова и прервал молчание. Оно установилось в машине по его инициативе, но его же первого и начало тяготить.

— Далековато у вас фронтовые тылы,— сказал Шмаков.

— Почему далековато? — возразил Данилов, довольный тем, что понравившийся ему утром своей честной горячностью батальонный комиссар наконец перестал обижаться. — Нормально! Фронт большой, мы на фланге. Если тыловые учреждения ближе к одному флангу разместить, от другого далеко будут.

— Ну, да бог с ними, с тыловыми учреждениями,— сказал Шмаков, давая понять этим возгласом, что про тылы — это просто так, чтоб с чего-то начать. — Скажите лучше, как Москва живет. Сильно ее изуродовали?

— Сам не был. Но два дня назад слышал от очевидца. Разрушения небольшие. Не допускают!

— Вот это замечательно! — обрадовался Шмаков. — Знаете, когда я попал на фронт в середине июля, то сам москвичей, да и не только москвичей, успокаивал: нет, мол, не летают, а будут летать — не пустим! А потом за время окружения начитался разных листовок... Кому их все несут, когда найдут? Комиссару... Вот и начитался! — усмехнулся он. — И порой так страшно за Москву бывало! По их словам, камня на камне не оставили. Понимал, конечно, что брешут, но до какой степени?

— До очень большой степени,— сказал Данилов. — Говорят, что и двух процентов разрушений нет в Москве.

— Да, это замечательно! — радостно повторил Шмаков.

Начав с вопроса о Москве, он, теперь уже не останавливаясь, стал засыпать Данилова разными другими вопросами: о тыле, о фронте, о потерях, о настроениях — обо всем, что приходило в голову и о чем он еще не успел наговориться за сегодняшнюю, почти бессонную ночь в танковой бригаде.

— Вы меня прямо, можно сказать, на приступ взяли, даже в боевую готовность не дали себя привести,— наконец не выдержал и улыбнулся неулыбчивый Данилов.

— Ничего, терпите! — рассмеялся Шмаков. — Я дольше терпел. За два с половиной месяца, кроме фашистской брехни, ни одного печатного слова не видел!

Он задал Данилову еще несколько вопросов, последний — про то, как долго идет письмо на фронт и с фронта. Все люди — человеки, всех волнует одно и то же...

И вдруг, когда, ответив на последний вопрос, Данилов, сдвинув фуражку на нос и почесывая затылок, ожидал следующего, он вместо голоса услышал негромкий, усталый храп. Шмаков, как подрубленный, заснул на полуслове. Счастливая усталость наконец свалила и его...

— А ну, вылезайте, вылезайте, просыпайтесь!..

Шмаков слышал сквозь сон голос, но никак не мог проснуться.

— Да просыпайтесь же!..

Он открыл глаза. Машина стояла. Шофера и ординарца впереди не было, докторши тоже не было, а Данилов, стоя снаружи и открыв дверцу, с силой тащил его за руку.

— Давайте в кювет!.. Самолеты! — сердито, но, впрочем, без особого волнения кричал Данилов.

Шмаков вылез на дорогу и соскочил в кювет. Докторша уже сидела там и, виновато улыбаясь, терла кулаком глаза. Спросонок она не могла представить себе, сколько они проехали и сколько она спала.

Кругом был лес. Вся колонна остановилась и замерла. Людей на машинах не осталось — они успели разбежаться по обочинам. Только впереди двое или трое еще перебегали дорогу.

С запада шли самолеты; они были высоко и близко, но еще не над самыми головами.

— Может быть, наши возвращаются? — главным образом чтобы успокоить докторшу, неуверенно сказал Шмаков, хотя знакомое, тягучее, прерывистое гудение уже говорило ему, что это не так, а докторша вовсе не волновалась.

— А вот сейчас увидим, — иронически сказал Данилов. — Может, присядем?

Он с усмешкой посмотрел на Шмакова, первый присел на корточки и, чуть-чуть коснувшись при этом рукой земли, аккуратно стряхнул приставшие к пальцам песчинки.

Прошло еще несколько томительных мгновений; самолеты были немецкие, но теперь они находились уже прямо над головой и если и могли сбросить бомбы, то мимо. Шмаков сказал об этом Данилову.

— Да, если не развернутся, заметив нас, — ответил Данилов. — Лучше подождать еще три-четыре минуты.

Но самолеты не разворачивались; они шли в прежнем направлении и на прежней высоте, и откуда-то спереди по ним стали не часто, но довольно точно бить зенитки. Белые шарики зенитных разрывов сначала растаяли несколькими облачками ниже самолетов, потом появились сверху и сбоку. Потом один из самолетов задымил и по косой, все гуще дымя, пошел в сторону. А белые шарики разрывов опять запрыгали в небе, но теперь уже далеко позади самолетов.

— Ах ты, мимо! Чего они смотрят? — разочарованно вскрикнула докторша и первой выскочила из кювета. Выражение счастья с детской быстротой сменилось на ее лице выражением досады.

— Ишь какая жадная! Одного наказали — и то хлеб! — сказал Данилов. — Ну что ж, можно и по машинам!

Он снял свою зеленую пограничную фуражку и стал махать, чтобы люди садились.

— Знаете что... — сказал Шмаков, после появления немецких самолетов вышедший из состояния безоблачной радости и снова

почувствовавший свою ответственность за людей. — Я вас покину. Поеду на грузовике где-нибудь в центре колонны. Полковой комиссар — впереди, вы — позади, а я в центре. Так лучше будет. А товарища доктора оставлю вам на попечение,— улыбнулся он и побежал вдоль машин, на которые грузились люди.

Синцов уже сидел в машине, когда Шмаков пробежал мимо их грузовика, пробежал по-спортсменски, ровным шагом, коренастый, седой, быстрый не по годам.

— Сердце пока не сдает, ничего! — весело, без одышки крикнул он Синцову и всем другим, кто смотрел на него с грузовика. — Даром что пятьдесят два!

Он пробежал мимо еще одного грузовика и полез в следующий, не в кабину, а в кузов, к удовольствию сидевших там бойцов. Синцов все время видел впереди его седую круглую голову без фуражки.

Уже когда колонна была снова в пути, земля и воздух несколько раз дрогнули от разрывов бомб где-то впереди.

Все ждали новых разрывов, но их не было.

— Не похоже, чтоб отбомбились,— сказал Золотарев. — Так только, капнули! Как по-вашему, товарищ политрук?

Синцов был того же мнения. Настроение людей не испортилось. То, что стреляли свои зенитчики и на их глазах сбили самолет, уравновешивало тревогу, вызванную появлением немецких бомбардировщиков.

Через несколько километров произошла заминка. Колонна доехала как раз до того места, где недавно упали бомбы. Обозленные потерей, немцы сбросили несколько бомб на позиции зенитной батареи, стоявшей у моста через узкую речушку.

Зенитки остались невредимыми, но одна из бомб упала у самого моста, испортив подъезд к нему и силой взрывной волны снеся перила и часть настила.

Сначала колонна остановилась, но потом Синцов издали увидел, как через мост сперва осторожно проехала «эмочка», а потом один за другим стали переезжать грузовики.

Когда их машина подъехала почти к самому мосту, Синцов, встав в кузов, поинтересовался, как переезжают передние. Сейчас через мост как раз двигался грузовик Шмакова. Через тот пролет моста, с которого был сорван настил — длиной метра в четыре,— грузовик шел прямо по двум толстым деревянным балкам, лежавшим в основании настила, шел медленно и точно. Стоило передним или задним колесам съехать чуть-чуть в сторону — и грузовик бы провалился.

Именно это и случилось со следующим грузовиком, в кабине которого ехал Хорышев. Шофер, наверно, не такой опытный, как

другие, чуть-чуть взял руля не туда, заднее колесо заскользило по балке, и грузовик провалился, повиснув карданом на одной из балок и, по счастью, зацепившись передними колесами за другую.

Никто не пострадал, только один из бойцов от толчка вылетел через борт, упал в речку и теперь, мокрый с ног до головы, вылезал из воды под смех товарищей.

Через минуту Хорышев уже распоряжался на мосту, и люди, выскочившие из его грузовика и из грузовика, в котором ехал Синцов, прилаживались, как бы половчей, общими усилиями снова поставить машину на балки.

Шмаков, сложив рупором руки, кричал с того берега: подождать или нет? Но Данилов, объехавший по обочине грузовики и уже стоявший у самого моста, ответил, размахивая своей зеленой фуражкой, что не надо: зачем устраивать лишнее скопление?

— Езжайте! Тут до Юхновского шоссе не много осталось; через пять километров перекресток, свернете налево, а мы за вами. Да там «эмка» идет впереди, покажет! — кричал он.

Шмаков сел в машину и поехал вперед, догоняя другие грузовики, а на мосту еще четверть часа продолжалась работа.

Наконец грузовик благополучно переехал мост. Данилов приказал, чтобы с остальных слезли все, кроме шоферов, и пропускал машины по одной, под собственным наблюдением.

Только когда последний грузовик оказался на той стороне, Данилов тронулся вслед за ним на своей «эмочке». Машины двинулись дальше к Юхновскому шоссе, догоняя ушедшую вперед голову колонны.

Ни полковой комиссар из политотдела армии, ни подполковник из отдела формирования, ни Шмаков, ехавшие в голове и середине колонны, ни замыкавший колонну Данилов — никто из них не знал, что уже несколько часов тому назад к югу и к северу от Ельни немецкие танковые корпуса прорвали Западный фронт и, давя наши армейские тылы, развивают прорыв на десятки километров в глубину.

Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка у моста, разрезавшая их колонну надвое, в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых.

Шмаков не мог знать того, что грузовик, на который он пересел, будет последней машиной, благополучно свернувшей с Ельнинского грейдера на Юхновское шоссе.

А Данилов не мог знать, что этот шедший почти параллельно фронту грейдер через десять минут приведет хвост их колонны к выезду на Юхновское шоссе именно в тот момент, когда туда прорвется через наши тылы головной отряд немецких танков и бронетранспортеров.

Он не знал этого и спокойно ехал вперед, навстречу гибели.

— Сейчас проедем еще километра четыре до шоссе, и будет треть пути,— сказал Данилов, обращаясь к докторше. — Как вы себя чувствуете?

— Ничего. — Докторша дотронулась до горячего лба. — Просто немножко температурю, но это пройдет. Ничего, вы курите,— добавила она, заметив, что Данилов, вынувший было портсигар, снова сунул его в карман. — Я не курю, но люблю дым,— с обычным самоотвержением солгала она и, чтобы майор не колебался, закрыла глаза, хотя спать ей уже не хотелось.

Докторша ехала, закрыв глаза, а Данилов курил и еще раз обсуждал наедине с самим собой утреннюю перепалку со Шмаковым. Порядок есть порядок, и раз он установлен, то в армии его не нарушают, хотя, честно говоря, в данном случае у него у самого не лежала душа отбирать это оружие. Он мысленно ставил себя на место Шмакова: обменяйся они местами — ему утром тоже было бы не по себе. Одно дело, когда выходят в одиночку, вдвоем, втроем, без формы, без документов; другое дело, когда прорывается целая воинская часть, с оружием в руках, с документами, со знаками различия. Тут уж было бы вполне по совести оставить у людей их трофеи, пусть даже и в тыл едут: все равно — пусть едут и гордятся! А потом — это уже дело наше — поработать как положено, проверить, не задевая самолюбия, и изъять, если среди них, паче чаяния, окажется какая-нибудь сволочь.

Сегодняшняя история была Данилову не по душе, как и кое-что другое, с чем ему приходилось сталкиваться с тех пор, как он из пограничников попал в особисты. Хлеб не сладкий.

Прошедший школу долгой пограничной службы, раненный на Халхин-Голе, отходивший с остатками своего отряда из-под Ломжи, зоркий, памятливый, въедливый, умевший доверять и не доверять, Данилов был одним из тех людей, которым в Особых отделах было самое место. Чуждый самомнения, он, однако, и сам чувствовал, что оказался там на месте, и сознавал свое превосходство человека, много лет ловившего настоящих шпионов и диверсантов, над некоторыми из своих сослуживцев, не умевших отличать факты от липы, а случалось, даже и не особенно озабоченных этим. С такими сослуживцами Данилов, как он сам выражался, «собачился» и за недолгую службу в Особом отделе уже успел непримиримо вывести одного такого на чистую воду.

И вот теперь именно он, майор Данилов, сам не зная того, вез навстречу смерти людей, только что вырвавшихся из ее лап.

— Сейчас будет тот перекресток, о котором я говорил. — Данилов оглянулся на докторшу и, увидев, что она не спит, открыл стекло.

В эту секунду разорвался первый снаряд, и Данилов увидел шедшие наперерез Юхновскому шоссе и прямо по полю немецкие танки.

Разворачивать машину было поздно, да все равно Данилов и не стал бы спасаться один, бросив колонну. Рванув дверцу, он первым выскочил на дорогу с автоматом, который у него всегда был с собой в машине. За ним, тоже с автоматами в руках, выскочили его пограничники.

— Вылезайте! — крикнул Данилов докторше и за руку вытащил ее из машины.

На дороге уже творилось нечто невообразимое.

Передний грузовик горел, развернувшись поперек дороги. Остальные тормозили, наскакивая один на другой. Снаряды рвались на шоссе и на обочинах; люди выбрасывались из грузовиков, падали на шоссе, в кюветы, бежали по полю. Танки били по ним из пушек и пулеметов. Один танк, выехав прямо на дорогу, пошел вдоль колонны, с треском сваливая в кювет грузовик за грузовиком и давя прыгавших с машин людей. А из шедших за танками бронетранспортеров уже выскакивали немецкие автоматчики и, разбегаясь в стороны, веером, от живота, строчили из автоматов по всему живому.

Собрать на три четверти безоружных людей и принять над ними команду было уже поздно и невозможно; оставалось лишь в меру сил прикрыть огнем бегущих и подороже продать собственную жизнь.

Это и сделал Данилов со своими двумя пограничниками.

Он залег в кювет позади машины, радуясь — если в такую минуту можно говорить о радости — только одному: что немцы в опьянении легкой победы повыскакивали из бронетранспортеров и, когда они подбегут поближе, он уложит хотя бы нескольких.

Данилов оглянулся. Сзади, за дорогой, начинался кустарник. Несколько человек уже добежало до него под выстрелами.

— Бегите назад, в кусты, будете целы! — Данилов толкнул локтем в плечо лежавшую рядом с ним в кювете докторшу. — Скорей, поздно будет!

Но докторша только молча поглядела на него и отвернулась; она не хотела ничего: ни бежать, ни быть целой,— она хотела успеть выстрелить из своего нагана по немцам, а потом умереть и уже не знать и не видеть больше ничего — с нее хватит!

Тогда Данилов поднял ее за плечи, повернул и вышвырнул из кювета.

Оказавшись наверху, она беспомощно оглянулась; мимо пробежали два красноармейца, и она, подхваченная общим потоком, побежала вслед за ними.

Не дай бог никому в последние минуты перед смертью видеть то, что увидел Данилов, и думать о том, о чем он думал. Он видел метавшихся по дороге, расстреливаемых в упор немцами безоружных, им, Даниловым, разоруженных людей. Только некоторые, прежде чем упасть мертвыми, делали по два, по три отчаянных выстрела, но большинство умирали безоружными, лишенными последней горькой человеческой радости: умирая, тоже убить. Они бежали, и их убивали в спину. Они поднимали руки, и их убивали в лицо.

Даже в самом страшном сне не придумать ответственности беспощадней, чем та невольная, но от этого не менее страшная ответственность, которая сейчас выпала на долю Данилова; по сравнению с нею сама смерть была проста и не страшна.

И он принял ее, эту смерть, без страха в душе. Вышвырнув из кювета докторшу, он открыл огонь по немцам и застрелил пятерых из них, прежде чем немецкая пуля разбила ему голову.

Последнее, что он услышал в жизни, была автоматная очередь, которую в упор, с трех шагов, дал по немцам на секунду переживший его ординарец.

А еще через несколько секунд немецкие автоматчики уже стояли над тремя лежавшими в кювете телами, и немецкий обер-лейтенант с разорванной пулею щекой, прижимая к ней набухший кровью платок, нагнувшись, рассматривал ярко-зеленые петлицы лежавшего у его ног мертвого русского майора.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На третий вечер после всего случившегося на Юхновском шоссе три человека шли густым лесом, километров за пятьдесят от места катастрофы. Точнее сказать, шли своими ногами лишь двое из них: политрук Синцов и красноармеец Золотарев. Третья их спутница — военврач Овсянникова, или, еще проще, Таня, как теперь в пути стал звать ее Синцов,— сегодня с полудня уже не могла двигаться сама. Двое мужчин, сменяясь, тащили ее на закорках, в плащ-палатке, как в большом заплечном мешке.

Сейчас была очередь Синцова. Он шел, низко сгибаясь и считая про себя оставшуюся до привала последнюю тысячу шагов. Он навертел угол плащ-палатки на кулак, чтобы не выпустить ее из ослабевших пальцев и не уронить докторшу. Ее горевшая в жару голова лежала у него на плече, толкаясь, как нежи-

вая, каждый раз, как он оступался. Иногда, нагибаясь, чтобы стереть кулаком заливший глаза горячий пот, он видел у себя под правым локтем высовывавшиеся из-под плащ-палатки ноги докторши: одну в сапоге, а другую, вывихнутую, без сапога, босую; нога была совсем маленькая, как у девочки. В другое время эта ноша не показалась бы страшной и одному Синцову, но сейчас двое ослабевших мужчин после четырех часов такой ходьбы чувствовали себя обессиленными, и Синцов жалел, что они с самого начала не остановились, чтобы вырубить и связать носилки. Все равно не миновать это делать на привале!

Всем спасшимся в первые минуты там, на шоссе, теперь каждый шаг в ту или другую сторону сулил другие случайности и опасности, другую жизнь и другую смерть.

Те, кто забился в гущу леса, слева от дороги, чтобы дожидаться там ночи, были на закате расстреляны прочесывавшими лес автоматчиками. Может быть, в другом случае немцы и взяли бы пленных, но чья-то случайная или, наоборот, на редкость хладнокровная пуля наповал уложила наблюдавшего побоище с башни своего танка командира танкового полка СС, и немцы беспощадно рассчитывались за эту неожиданность.

Наоборот, те, что убежали, казалось бы, в самое ненадежное место, в мелкий кустарник справа от дороги, остались живы: немцы не искали их там, и они той же ночью вышли за внешнюю сторону немецкого кольца.

Несколько бойцов, собравшихся через час после катастрофы вокруг лейтенанта Хорышева, не теряя времени, пошли под его командой назад и к вечеру встретили танкистов из бригады Климовича, вместе с которыми им теперь предстояло выходить из нового окружения.

Те, кто, попав в лес, двинулся через него прямиком на север, думая уйти подальше от немцев, наоборот, угодили как раз в полосу движения танковых и пехотных колонн, спешивших замкнуть большое кольцо вокруг Вязьмы.

Синцов был в их числе; соскочив с машины, он бросился в лес и первый час после спасения шел без остановки, желая только одного — успеть уйти как можно дальше! В первую секунду, когда он услышал выстрелы, увидел танки и соскакивающих с бронетранспортеров немцев, его руки схватились за воздух, там, где привычно висел на груди автомат... Но автомата не было, вообще ничего не было, даже нагана. Тогда он прыгнул с борта машины и побежал в лес.

Золотарева он встретил через час. Пробежав и пройдя несколько километров, он наконец остановился, прислонился к ста-

рой сосне, чтобы отдышаться, и в эту минуту подошел Золотарев в своей рваной кожанке и, что самое главное, с винтовкой за плечами.

— Какие приказания будут, товарищ политрук?

Эти первые слова Золотарева лучше всех других слов на свете могли привести в себя подавленного и безоружного человека, уже на целый час забывшего, что он не только был, но и обязан оставаться командиром.

— Сейчас решим,— ответил Синцов, стараясь казаться спокойным и глядя в эту минуту не столько на Золотарева, сколько на его винтовку.

«Вот уже нас двое, и у нас есть, по крайней мере, винтовка»,— подумал он и, чтобы окончательно успокоиться, предложил Золотареву:

— Сядем, перекурим.

Они сели тут же, под сосной. Синцов вытащил из кармана едва начатую пачку «Казбека», и они закурили.

По приказанию Климовича его пом по тылу во время сдачи оружия выдал этот «Казбек» всем вышедшим из окружения командирам.

— Богато живем, товарищ политрук,— с удовольствием затянулся Золотарев.

— Да, уж куда богаче! — сказал Синцов. — Винтовка на двоих!

— А у вас пистолета нет? — спросил Золотарев.

— Расписочка на автомат есть от начбоепита! — зло сказал Синцов. — Если что, буду из нее стрелять!

— Ничего, как-нибудь разживемся, товарищ политрук! — сочувственно сказал Золотарев и объяснил, что он уже с полчаса идет следом за Синцовым: куда товарищ политрук, туда и он, только подошел не сразу.

Пока они сидели и курили, Синцов снова вспомнил, как они оба вот так же сидели тогда, полтора месяца назад, курили и глядели на Баранова.

«Вот и опять выпало бойцу вдвоем с начальством выходить,— подумал он о Золотареве с чувством невольной горькой ответственности за поступки этого проклятого Баранова. — А почему, собственно, вдвоем? — почти сразу же подумал он. — Не одни же мы в лесу, может, еще до ночи соберем целую группу».

Однако надежды оказались напрасными. Через полчаса после перекура они наткнулись на маленькую докторшу, но больше до ночи так и не встретили ни одного человека.

«Да, тут действительно есть о ком позаботиться!» — вспомнил Синцов слова Серпилина, когда увидел маленькую докторшу.

Как видно, у всякого человека когда-нибудь наступает конец всем отпущенным ему силам: так было сейчас и с этой маленькой неутомимой женщиной. Сколько же она сделала за время окружения, сколько исползала земли, перевязывая раненых там, где и голову страшно поднять!.. А сейчас еле шла, прихрамывая, и лицо у нее было исхудалое и пунцовое от жара. И даже наган, как всегда висевший у нее на боку, казался сейчас невесть какой тяжестью. Шмаков еще утром хотел отправить ее в медсанбат, но она добилась своего — поехала вместе со всеми. Вот тебе и добилась!

Увидев Синцова и Золотарева, она обрадовалась и заковыляла им навстречу так быстро, что чуть не упала.

— Ой, как я рада! — по-детски повторяла она, держа Синцова за борт шинели. — А еще никого? Только вы двое? Больше никого не видели?

— А вы? — в свою очередь, спросил Синцов.

— Я — нет. Только как разбегались по лесу. А потом у меня нога подвернулась, и я одна шла. Как хорошо, что Шмаков вовремя на грузовик пересел! — вдруг радостно воскликнула она.

— Что он-то пересел, хорошо, а вот что вы не пересели...

— Он бы не пересел, если б знал,— сказала докторша, словно пугаясь, что Синцов может плохо подумать о комиссаре.

— Это понятно,— усмехнулся Синцов. — Если б знали, вообще бы...

Он отмахнулся рукой от горьких мыслей и сказал, что, во всяком случае, хорошо, что она жива и что они ее встретили.

— Чего уж хорошего! — сказала она, показывая на свою ногу. — Вот ногу подвернула, да и температура у меня. — Она приложила ладонь Синцова к своему лбу. — Чувствуете?

— Ничего, сестрица! — сказал Золотарев, которому военврач Овсянникова казалась слишком молоденькой и маленькой, чтобы называть ее доктором. — Ничего, сестрица! — повторил он прочувствованно. — Хоть на закорках, а доставим! После всего, что вы людям делали, собака тот, кто вас не вытащит!

И вот сегодня, на третьи сутки, все вышло именно так, как от доброго сердца накликал Золотарев. Днем докторша оступилась на подвернутую ногу, вывихнула стопу, и они уже пятый час, сменяясь, несли ее на закорках.

Правда, она и после вывиха пыталась все-таки идти, заставила снять с себя сапог и сказала Синцову, чтобы он попробовал вправить ей вывихнутую ногу. Она села, схватившись руками за вылезавшие из земли корни. Золотарев обхватил ее сзади за пояс, а Синцов делал то, что она говорила: обливаясь потом от

напряжения, поворачивал и тянул ей ногу. Но, несмотря на все ее указания, даваемые сдавленным от боли шепотом, он так и не сумел ей помочь. Пришлось приспособить плащ-палатку и взвалить докторшу себе на спину.

И вот он шел и нес ее, считая шаги, и их оставалось до назначенного ими себе привала все меньше — триста... двести... сто пятьдесят...

А она, чувствуя, как трудно ему идти, выйдя из полузабытья, жарко шептала в самое ухо:

— Бросьте меня!.. Слышите, бросьте... Мне хуже, что вы из-за меня мучаетесь!.. Мне легче, если я одна останусь...

И невозможно было обругать ее за эти слова, потому что она говорила правду и даже сейчас думала о других больше, чем о себе.

Наконец они сделали привал. Золотарев расстелил на пригорке шинель Синцова, которую нес на себе внакидку, пока Синцов тащил докторшу, и помог ему освободиться от ноши.

Больная зашевелилась. Пока ее несли, как мешок, у нее затекло все тело.

— Что, ночевать будем? — тихо спросила она.

— Пока нет,— сказал Синцов. — Полежите. Обсудим, как быть.

Он поманил Золотарева, и они отошли в сторону.

— Что делать? Зря мы днем заторопились. Надо было сразу носилки связать.

— Куда уж «заторопились», товарищ политрук? — возразил Золотарев. — Как раз дорога проглядывалась, и машины шли. Остановились бы там носилки ладить, глядишь, нам бы фашисты уже «гут морген» сказали.

— Положим, так,— согласился Синцов. — А теперь? Надо все-таки носилки связать.

— Не носилки вязать, товарищ политрук, а скорее к ночи до людей дойти и у людей ее оставить,— убежденно сказал Золотарев. — Понесем дальше — помрет.

— А немцы? К трем деревням уже выходили — и везде немцы ездят.

— Ну что ж, пойдем лесом и далее. Может, какое жилье и в лесу будет, не пустой же он.

— Страшно оставлять одну.

— Не одну, а с людьми.

— Все равно страшно.

— А помрет на руках — не страшно? — Золотарев прислушался и сказал: — Кличет.

Так и не договорившись, они вернулись к докторше. Она лежала, приподнявшись на локтях, лицо ее пылало, она тревожно смотрела на них.

— Отчего вы вдруг ушли?

— Да куда мы уйдем от вас, Таня?! — сказал Синцов.

Но она думала не о том, о чем подумал он, не это ее тревожило.

— Почему вы без меня решаете? Раз вместе идем, давайте вместе и решать.

— Ладно, давайте. — Синцов решил быть с ней вполне откровенным. — Мы говорили с Золотаревым насчет носилок, как вас дальше нести, а потом подумали, что вы не выдержите долгой дороги.

— Ну и правильно,— сказала она, еще не понимая, чего они хотят, но уже готовясь облегчить им любое решение.

— Решили так: найдем людей, чтобы вас оставить у них, а сами пойдем пробиваться дальше.

Она вздохнула.

— Дура проклятая, дура, ну просто дура проклятая!..

Это она ругала себя за то, что вывихнула ногу и не может идти с ними. Она понимала, что они правы, но сейчас даже умереть казалось ей не таким страшным, как остаться без них.

Они передохнули, пошли дальше и уже в ранние сумерки наткнулись на уходившую в глубь леса малонаезженную дорогу.

Синцов решил свернуть, и они пошли, не теряя дороги из виду, но на всякий случай держась на расстоянии от нее.

Через час дорога привела их к лесной поляне с несколькими домиками и длинным бараком лесопилки. На поляне не было ни машин, ни людей. Лесопилка не работала. Но штабеля кругляка и досок говорили, что еще недавно работа шла здесь полным ходом.

Золотарев пошел на разведку, а Синцов остался с докторшей.

— Иван Петрович,— сказала она тихо,— если люди плохие, не оставляйте меня. Лучше отдайте мне мой наган, я застрелюсь.

— Почему плохие? — сердито ответил Синцов. — Все плохие, одни мы с вами хорошие, что ли?

— Вы с Золотаревым хорошие,— вон сколько меня тащите! Даже стыдно.

— Да бросьте вы! — все так же сердито сказал Синцов. — Кому бы говорили, а не мне! Мы вас три месяца видели, какая вы есть. Вы нам очки не втирайте. Если б не вы, а я ногу вывихнул, так небось потащили бы?

— Вас трудно, вы вон какой длинный! — сказала она и улыбнулась не тому, что Синцов длинный, а тому, что этот длин-

ный и чаще всего хмурый политрук говорит сейчас с ней так сердито только от доброты и больше ни от чего. — А вы женаты? — помолчав, спросила она. — Давно у вас хотела спросить. Но вы все такой сердитый...

— А сейчас что, добрый стал?

— Нет, просто решила спросить.

— Женат. И дочь имею. Зовут, как вас, Таней,— хмуро сказал он.

— А что вы так сердито? Я ведь к вам не сватаюсь.

Услышав это, он посмотрел на ее измученное лицо, подумал о том, как часто люди вот так не понимают мыслей друг друга, и сказал, как малому ребенку, спокойно и ласково:

— Глупая вы, глупая!.. Просто я не знаю, где моя дочь и где моя жена; жена, скорей всего, на фронте, как вы. И я все это разом вспомнил. А про вас я думаю, что вы самая хорошая женщина на свете и самая легонькая,— добавил он, улыбнувшись. — Думаете, вас тащить тяжело? Да в вас и весу-то вообще никакого нету!

Она не ответила, только вздохнула, и в уголке глаза у нее появилась маленькая слезинка.

— Ну вот,— сказал Синцов. — Я думал, развеселю вас, а вы... А вон и Золотарев идет.

Золотарев подтвердил сложившееся издали впечатление: немцев не видно, но люди на лесопилке есть. За четверть часа, что он, наблюдая, пролежал на опушке, из крайнего домика два раза выходил инвалид на костылях и поглядывал в небо, прислушивался к самолетам. Потом выбежала девочка и снова забежала в дом.

— А больше никого не видно!

— Что ж, пойдем,— сказал Синцов.

Он поднял докторшу на руки вместе с плащ-палаткой и, не став пристраивать за спиной, понес, как ребенка.

— Может, я еще в дом зайду, разведаю? — остерег Золотарев.

Но Синцов уперся:

— Раз немцев нет, пойдем прямо. Мы люди или не люди?!

Ему вдруг показалось унизительным идти в какую-то еще разведку у себя, на собственной земле, в дом, куда раньше, до войны, он и любой другой человек, не колеблясь, в любую минуту внес бы на руках больную женщину.

— Не верю, чтоб там сволочи были,— сказал он. — А коли сволочи, на сволочей у нас винтовка есть.

Так, с докторшей на руках, он дошел до крайнего дома и постучал ногой в дверь.

Испуганно отодвинувшая щеколду пятнадцатилетняя девочка увидела высокого, широкоплечего человека с худым ожесточенным лицом, державшего на руках завернутую в плащ-палатку женщину. Его большие руки дрожали от усталости, а на обоих рукавах — это сразу бросилось ей в глаза — были красные комиссарские звезды.

Позади высокого человека стоял второй, низенький, в рваной кожанке и с винтовкой.

— Проводи, девочка,— сказал высокий повелительным голосом,— покажи, куда положить! — И, увидев ее испуганные глаза, добавил помягче: — Видишь, у нас беда какая!

Девочка распахнула дверь, и Синцов с докторшей на руках вошел в избу, окинул ее быстрым взглядом; комната была полудеревенская-полугородская: русская печь, широкая лавка по стене, буфет, стол, накрытый клеенкой, стенные полки с бумажными кружевами...

— Кроме тебя, здесь есть кто? — спросил он девочку, все еще держа докторшу на руках.

— Есть, как не быть,— раздался за его спиной сиплый голос.

Синцов полуобернулся и увидел в дверях, ведших из второй комнаты, того самого одноногого, на костылях, о котором говорил Золотарев. Он был уже немолод, грузен, с неопрятно свалявшимися волосами и густой русой щетиной на обрюзгшем лице.

Увидев, что Синцов собирается положить докторшу на лавку, остановил его жестом:

— Погоди класть. Ленка, пойди возьми в горнице тюфяк с кровати, да только одеяло с простынью оставь, один тюфяк возьми! Да живо! А то не дождутся.

Синцов посмотрел в упор на хозяина, и, должно быть, выражение лица его отразило то, что творилось у него на душе,— решимость, несмотря на войну и окружение, потребовать здесь сполна все, что причитается получить от советского человека другому попавшему в беду советскому человеку.

— Что смотришь? Не радуюсь вам? — спросил хозяин. — А чему радоваться? Наедут немцы — дорога тут прямая,— и будет нам с вами конец. Что тогда делать?.. Сюда, сюда, к этому краю, а в изголовье подверни, длины-то хватит,— повернулся он к девочке, торопливо укладывавшей на лавку тюфяк.

Синцов опустил докторшу и с трудом разогнулся. Ему казалось, что он вытянул себе все жилы.

— А вы смелый! — уже на «вы», полунасмешливо-полууважительно сказал хозяин, заметив звезды на рукавах Синцова. — Кругом второй день немцы, а вы еще комиссарите... Ленка, принеси воды напиться! Видишь, люди устали, пить хотят!.. Что ж,

садитесь, гостями будьте. — Он приставил к стене костыли и, схватясь рукой за стол, первым сел, тяжело заскрипев табуреткой. — В подвал бы вас спрятать, да я так: или уж боюсь, или уж не боюсь! Заночуете?

Синцов кивнул.

— А после?

Синцов сказал, что на рассвете они пойдут пробиваться к своим, а больную — доктора — хотели бы оставить здесь: у нее жар и покалечена нога; ей надо отлежаться; если даже придут немцы, то женщина не может вызвать особого подозрения, тем более не раненая, а больная.

— Доктор, значит,— сказал хозяин. — А я было подумал, жена ваша.

— Почему? — спросил Синцов.

— Так не всякий не всякую так вот, на руках, попрет. Доктор, значит,— повторил хозяин и, взяв костыли, подошел к изголовью лежавшей. — Ишь как вас прихватило! — сказал он и положил ей на лоб свою руку. — Горите вся. Не тиф?

— Нет, простуда, наверно, воспаление легких,— проглотив комок, ответила докторша.

— А хотя бы и тиф, я тифа не боюсь. Все тифы прошел. А с ногой чего?

— Вывихнула.

— С ногой завтра поглядим,— может, ее попарить надо. С ногами баловаться нельзя. Один раз побаловался — и колдыбаю с тех пор. Будем знакомы: Бирюков Гаврила Романович. Отца Романом звали, а фамилию к нашим лесным местам подогнал,— усмехнулся он и пожал горячую руку докторши, потом поздоровался за руку с Синцовым и Золотаревым.

Девочка вошла с ведром и кружкой.

— Сперва ей... — с отличавшей все его поведение грубой заботой кивнул хозяин на докторшу. — Откуда идете? Какой день?

Горько усмехнувшись собственной судьбе, Синцов сказал, что идут они, если все считать, семьдесят третий день.

И в ответ на вопрос: «Как же так?» — коротко объяснил, как это получилось.

Бирюков даже присвистнул.

— Да! Лихая вам досталась доля! Только что, можно сказать, дома, и опять все кувырком. Слышь, Ленка, знаешь чего,— раздобрившись, сказал он,— тюфяк здесь оставь, а сама с ней ляг, в горнице. Мы, мужики, тут расположимся.

Девочка радостно, опрометью побежала готовить постель. Она гордилась решением отца, и уже через несколько минут

Синцов перенес докторшу в соседнюю комнату, на большую, широкую, двуспальную кровать, с сеткой и периной.

— Ой, как хорошо, даже не верится! — прошептала докторша. — Девочка, помоги мне раздеться! — Ей показалось, что мужчины уже вышли из комнаты, но они были еще там и вышли, только услышав эти слова.

— Ленка, выдь сюда на минуту! — крикнул Бирюков.

— Ну что? — нетерпеливо высунулась из двери девочка.

— Не нукай, а выдь сюда! И дверь за собой прикрой!

Девочка подошла к нему.

— Будешь раздевать ее, если белье солдатское, тоже сыми. Возьми материну рубаху. И все, что на ней солдатское, собери и снеси в дровяник. Знаешь, куда? Куда этого, что вчера был, обмундирование убрали. А то и не посмотрят, что женщина. Документы вынешь — мне отдашь, я сам схороню. Или, может, с собой возьмете? — повернулся он к Синцову.

— Лучше пусть будут с ней. Могут потом понадобиться.

— Ну, это как сказать! — усмехнулся Бирюков. — Тут вчера через меня один шел... звания поминать не буду — шут с ним... Даже поесть не попросил, только переодеться заботился! Вынул из кармана деньги, все, какие были,— и мне в нос: «Вот все твое, только дай за это что подырявей!» Дал я ему рубаху да штаны, правда, целые, рваных, как на грех, не было, и пустил на все четыре стороны — пусть идет, куда хочет. Что ж с человека возьмешь, когда он со страху губами шлепает, а звука нету! Схоронил его обмундирование вместе с документами. Ну, а вы вот так и располагаете идти?

Синцов кивнул.

— Ну, а коли немцы?

— Примем бой,— сказал не вступавший до этого в разговор Золотарев.

— Много ты ею теперь навоюешь! — кивнул хозяин на прислоненную к стене винтовку. — А все-таки, замечаю я, страха много перед немцами, много страха!

— Так ведь страшно! — сказал Синцов.

— Это верно,— задумчиво сказал хозяин. — И вблизи страшно, а издали тем более.

Он крикнул пробегавшей через комнату дочери, чтобы она, как управится с докторшей, собрала поесть.

Пока девочка бегала туда и сюда, а потом занавешивала мешками окна и собирала на стол, Синцов и Золотарев услышали от хозяина краткую, как он сам выразился, «повесть его жизни».

— Вроде б не вправе меня спрашивать, кто я да что я? — сам начал он этот разговор. — Не я у вас, а вы у меня в дому. Но человека здесь оставляете. Значит, совесть требует знать, на кого. Так?

Синцов сказал, что именно так.

— Вон как! Даже «именно»! — усмехнулся хозяин.

Он рассказывал свою жизнь вразброс: то про одно, то про другое. Жизнь была неудачная, а человек — натерпевшийся.

Когда-то, в гражданскую войну, он воевал и уволился в запас командиром взвода. Состоял в партии, работал прорабом на лесозаготовках. Там же, по пьяному делу, отморозил и потерял ногу. Хирурга не было, и фельдшер отпилил ногу, как бревно. Потом, не пережив увечья, покатился по наклонной, стал пьянствовать, промотал все, что было, вылетел из партии. Даже стал шататься по базарам. И вот шесть лет назад попал сюда, к вдове бывшего сослуживца...

— Ее мать, — кивнул он на стенку, за которой была девочка. — Двое детей, и оба неродные.

Женщина вытащила его из ямы, в которую он невозвратно опускался, и он остался жить с нею, стал механиком на этой лесопилке и названым отцом двух чужих детей.

Четыре дня назад у них в семье случилась беда. Наслышавшись от работавших на лесопилке бойцов разговоров о войне, четырнадцатилетний пасынок хозяина вдруг исчез. Наверно, пристал к проходившей в тот день мимо них части. И ночью, никому не сказав, мать пошла следом, чтобы вернуть сына.

— А теперь вон как все обернулось! Кругом немцы, а ее нет третий день. Когда вы в дверь торкнулись, думал — она. Сколько времени не пил, а вчера принял с горя. От солдат литровка осталась. Ленка стала отбирать, и в памяти держу, что даже стукнул ее. С пьяных глаз. Она не говорит, но чувствую — стукнул. А она к этому непривычная... Ну что, Ленка, собирай, собирай, да в литровке там немного вина осталось, ты вчерась отобрала...

В литровке действительно осталось немного. Мужчины выпили по половине граненого стакана и закусили холодной, густо посоленной картошкой.

— А как там она? — хозяин кивнул на дверь. — Ей-то снесла поесть?

— Раньше, чем вам, — ответила девочка.

— Ну, ну, верно...

Золотарев, выпив и закусив, довольно крякнул и без долгих слов, положив подле себя винтовку и накрывшись кожанкой, лег спать у стены на принесенное девочкой сено. Синцов хотел про-

ведать докторшу, но девочка удержала его в дверях: больная только что уснула.

Синцов вернулся и сел за стол.

— Может, еще чего съедите? — спросил хозяин.

— Спасибо. Боюсь с голодухи лишнего.

— Это, положим, верно.

Бирюков прикрутил немного фитиль и положил локти на стол.

— Скажите мне, товарищ политрук: что же это такое делается? Вот ты сидишь сейчас передо мной, Рабоче-Крестьянская Красная Армия, и раз ты формы не снял, то я тебя уважаю, но с тебя и спрашиваю. Что же это такое делается и до каких пор будет продолжаться? Не думайте, не с вами с первым говорю. И с бойцами говорил, и старший лейтенант тут жил, за распиловкой леса следил, но он, правда, мало чего знал... И генерал был, дивизией командовал. Как раз в лесах наших стояла, пока на фронт не кинули. Генерал боевой, ничего не скажешь, от границы с людьми пробился, и опять дивизию собрал, и на фронт пошел... Вот я его и спрашиваю: «Товарищ генерал, что вы и во сне не думали, не гадали досюдова отходить,— этого вы мне не говорите, это я сам знаю, что не думали! Но вышло не по-вашему. А вот что вы сейчас думаете, скажите откровенно: отсюда не уйдете? Тут, в моей хате, немец не будет?»

При этих словах Бирюков поднял голову и медленно, словно прощаясь с ней, обвел глазами избу.

— А что он ответил? «Еще чего! Мы, говорит, завтра вперед в бой пойдем, сами ему накостыляем и для первого случая из Ельни вышибем». И что же? Верно, пошли, и накостыляли, и из Ельни вышибли! А что теперь? Генерал от меня вперед ушел, Ельню взял, а немцы вчерась уже за нас зашли. Да куда зашли! Вчера, говорят, телефонистка с Угры в Знаменку звонила, а там ей уже по-немецки чешут, а это от нас еще на восток полсотни верст!

— Не может быть! — сказал Синцов.

— Вот те и не может быть! Генерал Ельню взял, а немцы в Знаменке. Где же теперь этот генерал? Скажи мне!

— Где, где!.. — вдруг разозлился Синцов. — Бьется где-нибудь в окружении. И мы бы тоже, если б не так, врасплох... Как-никак, а от Могилева до Ельни дошли. Было где и перед кем оружие положить, а не положили! Другие хуже нас, что ли?

— Может, и не хуже, а немец-то опять вас окружил! А надо ли было этого дожидаться? Может, самим надо было его захватывать и отсюдова и оттудова? А то стоим да ждем, пока он пер-

вый в ухо даст. А тут еще вопрос: устоишь ли? А не устоишь — так он ведь и лежачего бьет! Вот ты с бойцом своим — кто вы? Вы есть лежачие.

— Нет,— сказал Синцов.

— Ну, ползучие...

— Нет, мы и не ползучие, мы идем к своим и дойдем до них.

— А немца встретите?

— Убьем.

— А танк встретите? Тоже убьете?.. А по мне, лучше не встречайте уж никого, идите себе тихо, пока до своих не дойдете. Потому что если теперь встретите, то, скорее всего, не вы убьете, а вас убьют.

— Не знаю. — Синцов помолчал, мысленно окидывая взглядом все, что пережил с того дня, как переехал могилевский мост и остался у Серпилина. — Знаю одно: может быть, и мало, но сколько смогли их убить — убили.

— Это знаешь. А чего не знаешь? Начал-то с «не знаю».

— А не знаю, где вся наша техника. Словно ее корова языком слизнула и с земли и с неба!

— А их самолеты,— помолчав, сказал Бирюков,— через нас на Москву гудят и гудят. Вечером — туда, средь ночи — оттуда. Выйду на крыльцо и слушаю: много ли обратно идет? Какой гул в небе?.. Ну что ж, спи! Не взыщи, что разговором донял, но, может, ты последний политрук, с которым я говорил, а завтра мне уже с немцами говорить придется. Дойдешь до наших, будешь докладываться, передай от меня так: может, у вас планы до Москвы отступать — как у Кутузова, но и про людей тоже думать надо. Конечно, не во всякой щели не всякий таракан Советскую власть любит, но я не про тараканов, я про людей. Сказали бы мне по совести, что уйдете, что план такой, я бы тоже снялся и ушел. А теперь что? Теперь мне здесь жить да перед немцами Лазаря петь? Что я такой, сякой, хороший, из партии выгнанный, с Советской властью не согласный... Так, что ли? Зачем меня под такую долю бросать? Я бы ушел лучше. Так и скажи, политрук! Эх, да не скажешь! Дойдешь — скажешь: «Прибыл в ваше распоряжение». Вот и вся твоя речь.

— Почему?

— Потому. А за докторшу не беспокойся. Одну на смерть не отдам.

— Я не боюсь, я верю вам.

— А вам ничего больше и не остается,— сказал с возвратившейся к нему угрюмой усмешкой Бирюков и, совсем прикрутив фитиль лампы, грузно улегся на лавку, немного поворочался и тяжело захрапел.

Синцов лежал, глядел в потолок, и ему казалось, что потолка никакого нет, а он видит черное небо и в нем слышит прерывистое гудение идущих на Москву бомбардировщиков. Он уже начал засыпать, как вдруг его лица коснулась детская рука.

— Товарищ политрук,— присев на корточки, шептала девочка,— вас зовут.

Синцов поднялся и, не надевая сапог, босиком прошел за девочкой в соседнюю комнату.

— Ну, чего вы? — Он наклонился над маленькой докторшей. — Плохо вам?

— Нет, мне лучше, но я боюсь — вдруг забудусь или засну, а вы не простясь уйдете.

— Не уйдем не простясь. Простимся.

— Вы мне мой наган оставьте. Чтобы он у меня под подушкой был. Хорошо? Я бы вам отдала, но он мне тоже нужен.

Но Синцов без колебаний ответил, что наган не отдаст, потому что ему наган действительно нужен, а ее может только погубить.

— Вы сами подумайте: обмундирование ваше спрятали, даже переодели вас в другую рубашку, а под подушкой наган! Не придут немцы — он вам не нужен, а придут — это гибель для вас... и для ваших хозяев,— добавил Синцов и этим удержал ее от возражений. — Спите. Правда, вам лучше?

— Правда... Серпилина если увидите, расскажите обо мне. Хорошо?

— Хорошо.

Он тихонько пожал ее горячую руку.

— По-моему, у вас жар еще сильней.

— Пить все время хочется, а так ничего.

— Товарищ политрук,— остановила его на пороге девочка,— я вам что хочу сказать... — Она замолчала и прислушалась к храпу отца. — Вы не бойтесь за Татьяну Николаевну. Вы не думайте про отца,— она сказала именно «отца», а не «отчима»,— что он злой такой. Он за маму и брата мучается... Вы не бойтесь, не слушайте его, что он говорит, что он из партии исключенный,— это все когда еще было! А когда война началась, он сразу в райком пошел — просить, чтобы его обратно приняли. Его уже на бюро в лесхозе разбирали, а потом все в армию поуходили, так собрания и не было. Вы не бойтесь за него!

— А я не боюсь.

— И я тоже сделаю все! — снова горячо зашептала девочка. — Я Татьяну Николаевну, что она наша родственница, выдам! Мы уже с ней договорились. Даю вам слово комсомольское!

— А ты уже комсомолка? — спросил Синцов.

— С мая месяца.
— А где твой билет?
— Показать? — с готовностью спросила девочка.
— Не надо. Хорошо бы какого-нибудь фельдшера найти, ногу ей вправить. Я не сумел, тут умение нужно.
— Я найду, я приведу! — с той же готовностью сказала девочка. — Я все сделаю!
И Синцов поверил, что она действительно и найдет, и приведет, и все сделает, и жизнь отдаст за эту маленькую докторшу.
Он снова улегся и на этот раз заснул мгновенно, без единой мысли в голове.
Его разбудил свет. Сквозь сон ему показалось, что рассвело, но когда он открыл глаза, в избе было по-прежнему темно. Он снова хотел закрыть глаза, но в окне метнулась широкая быстрая полоса света. Это могло быть только одно: фары въезжающей на лесопилку машины.
Синцов вскочил и, еще не натягивая сапог, растолкал Золотарева и хозяина.
По окну снова чиркнуло светом.
— Немцы едут! Дождались! — хрипло сказал Бирюков. — Бегите!
Подскакивая на одной ноге и перехватываясь по стене руками, он добрался до окна, выходившего во двор, и, рванув раму, открыл его настежь.
— Давайте! Через двор, а там огородами в лес выйдете. Не увидят. Скорее!
В открытое окно был слышен шум нескольких машин. Синцов пропустил первым Золотарева и, так и не успев надеть сапог, прихватив их вместе с портянками, перелез через подоконник.
И было самое время. Другие машины еще двигались, а одна уже остановилась возле дома; слышалась громкая немецкая речь. Машина была полна людей.
Миновав огород и перебежав между штабелями бревен до опушки, Синцов и Золотарев присели, чтобы отдышаться. Синцов, обуваясь, смотрел назад, туда, где, светя фарами в разные стороны, разворачивались немецкие машины. В доме, из которого Синцов и Золотарев ушли пять минут назад, сначала в одном окне, а потом в другом зажегся свет. Он пробивался из-под неплотно прикрывавшей окна мешковины и был виден даже отсюда.
Увидев этот свет, Синцов испытал острое чувство бессилия. Еще час назад они хоть как-то могли защитить лежавшую там

женщину вот этой винтовкой и наганом. А теперь она была оставлена без всякой защиты, одна, на совесть людей и на милость врага.

О том же самом думал и Золотарев.

— Хоть бы в горячке не проговорилась чего-нибудь! — сказал он и добавил: — Может, закурим, а, товарищ политрук? Душа не на месте.

— Как бы не увидали!

— Ничего, не увидят. Шинелью накроемся...

Так они остались уже не втроем, а вдвоем, и шли вдвоем еще шесть суток, пока судьба и их двоих не расшвыряла в разные стороны.

За эти шесть суток они испытали все, что может выпасть на долю двум людям в форме и с оружием в руках, идущим к своим сквозь чужой вооруженный лагерь. Они испытали и холод, и голод, и многократный страх смерти. Они несколько раз были на волоске от гибели или плена, слышали в двадцати шагах от себя немецкую речь и звон немецкого оружия, рев немецких машин и запах немецкого бензина.

Четыре раза они, коченея от холода, ночевали в промозглом октябрьском лесу и дважды заходили на ночлег в дома.

В одном им были рады, а в другом испугались, не их самих, а того, что будет, если немцы узнают об их ночевке. Но в обоих домах, где они заночевали, люди обратили особое внимание на то, что они идут в форме. В первом доме — с гордостью за них, а во втором доме — со страхом за себя.

И, когда они на рассвете ушли из первого дома, Золотарев сказал Синцову:

— Вот уж именно русские люди! Верно, товарищ политрук?

— Верно!

А когда они ушли на рассвете из второго дома, Синцов сказал Золотареву:

— Так нет же, до смерти формы не снимем, хотя бы для того, чтобы она таким шкурникам в глаза била!

А Золотарев ответил, что зря политрук согласился дать им за харчи сто рублей. Вместо этого им бы в морду плюнуть.

— А я и плюнул тем, что дал сто рублей. Пусть утрутся ими!

— А говорят, что сын у них в армии! — не успокаивался Золотарев. — Недобрая доля — за таких родителей кровь проливать!

— Кроме родителей, еще и Советская власть есть.

— Есть-то есть, а все же тяжело! — не согласился с ним Золотарев.

И этот разговор чуть не стал последним их разговором, потому что через полчаса они, поднявшись из крутой лесной ба-

лочки, в упор столкнулись с двумя тянувшими шестовку немецкими связистами. Встреча была одинаково неожиданной для тех и других, но двое чутко, как звери, шедших из окружения русских все-таки быстрей нашлись, чем немцы, только что выпившие утренний кофе и насвистывавшие песенку на сытый желудок.

Золотарев вскинул винтовку и выстрелил в немца прежде, чем тот успел сорвать с плеча свою. А второй немец, испугавшись, побежал через кусты, и Синцов побежал за ним, на бегу стреляя из нагана, и уложил его насмерть только седьмым, последним патроном.

Потом они прихватили одну винтовку и подсумок и побежали через лес, чтобы оказаться как можно дальше от места перестрелки, и бежали до тех пор, пока не упали, обессиленные, в густом кустарнике. И только здесь, лежа, стали вспоминать, как все вышло.

«Вот и убили»,— подумал Синцов, вспомнив вопрос там, на лесопилке: «Ну, а немца встретите?» — и свой ответ: «Встретим — убьем!»

— Пойдем,— сказал Золотарев,— а то как бы лес не стали прочесывать, ушли-то недалеко...

— Ладно,— сказал Синцов и, повесив на плечо немецкую винтовку, добавил: — Тяжелой кажется. Так давно без винтовки иду, что отвык.

Тогда Золотарев посоветовал ему бросить наган, все равно он извел уже все патроны. Но Синцову было жалко, он все-таки сохранил наган, сказав, что патроны еще найдутся.

А потом он опять остался с одним этим, теперь уже пустым, наганом. Они переправлялись ночью вброд через реку, и он, идя по горло в воде, провалился в глубокую яму и от неожиданности утопил и шинель и немецкую винтовку, которые, прихватив вместе ремнем, держал над головой. И, как потом ни нырял и ни шарил, не смог найти ни того, ни другого. Так у них остались одна винтовка и одна кожанка на двоих.

Все было с ними за эти шесть дней, не было одного: они никак не могли дойти до своих; сколько бы они ни забирали все глубже и глубже на восток, оказывалось, что немцы ушли еще глубже.

Под конец мечта дойти до линии фронта начала казаться им несбыточной. Одиночество тяготило их больше всего. Иногда они говорили об этом между собой, и тяжелое время, когда они шли от Могилева до Ельни вместе с Серпилиным, начинало казаться им счастливым по сравнению с тем, что они переживали сейчас. Хоть бы встретить какую-нибудь пробивавшуюся с боями часть и идти вместе с нею!

Правда, один раз под вечер им встретился старший лейтенант в форме, с семью вооруженными бойцами: Синцов и Золотарев хотели присоединиться к ним, и старший лейтенант не возражал против этого. Но за ночь он передумал; быть может, у него вызвал недоверие рассказ Синцова, что они идут из окружения уже с июля. Под утро Золотарев услышал только, как вдали похрустывают тронутые ранней изморозью кусты. Те восемь поднялись и, не разбудив их, ушли одни.

— Что, догоним? — спросил Золотарев у Синцова.

Но тот сказал:

— Раз не доверяют, пусть идут.

А части, которая бы выходила с боем и к которой можно было бы присоединиться, все не было и не было. Как видно, выходившие из-под Вязьмы войска пробивались другими путями...

Последний раз они заночевали в лесу. Опушку огибала шоссейная дорога, по ней шел почти непрерывный поток немецких машин.

Улучив момент, они перебежали шоссе, углубились в лес еще километра на два, наломали еловых лап, залезли в их гущу и накрылись дырявой кожанкой Золотарева. До сих пор стояли сухие дни, а сегодня под вечер прошел дождь. Спать было мокро и холодно, хотя они тесно прижались друг к другу, чтобы согреться. Вдобавок их мучил голод: утром кончилась последняя еда, взятая с последнего ночлега под крышей.

Обоим не спалось.

— Жалко, ремень утопил,— невесело усмехнулся Синцов. — Брюхо затянуть — легче было бы.

— Зря мы у тех немцев не пошарили по ранцам, нет ли харчей.

Золотарев уже не в первый раз жалел об этом.

— Дорогу перешли, с булыжным покрытием,— помолчав, сказал Золотарев. — Что бы это могла быть за дорога?

— Похоже, что на Верею, Медынь к югу осталась. Возможно, что это как раз и есть дорога с Медыни на Верею.

— А сколько ж эта Верея от Москвы?

— Около ста.

— Да... — задумчиво сказал Золотарев. — Значит, сто километров до Москвы, а все еще через немцев идем. Ум верить отказывается... — Он прислушался к прокатившейся по небу тяжелой, низкой полосе гула. — На Москву! Не взяли, значит, ее, раз летают!

Они полежали несколько минут молча.

— Ваня, а Ваня! — позвал Золотарев.

Они были людьми одного поколения: политруку Синцову шел тридцатый, а красноармейцу Золотареву — двадцать седьмой; их побратала беда, и среди той жизни, которой они сейчас жили и которая, как им минутами казалось, оставила их двоих на целой земле, они стали звать друг друга на «ты», сами не заметив этого.

— Ну что?

— А все-таки оставили мы с тобой докторшу, не спасли!

— А как спасешь ее? Если б тонули, над головой бы подняли. А так что сделаешь? Померла бы в дороге — лучше было бы?

— Это так,— согласился Золотарев. И, вздохнув, повторил: — А все-таки оставили!

— Ну, чего ты хочешь? — недовольно отозвался Синцов.

— Мало ли чего хочу... Хочешь, а не можешь. Вот что обидно... А знаешь, чего я хочу?

— Ну, чего?

— Вот сказали бы мне: «Золотарев, согласен, мы тебя сбросим вместо бомбы на Гитлера, но только так: его убьешь и сам в лепешку?!» Я бы только спросил: «А попадете?» Обещали бы: «Попадем»,— сказал бы: «Сбрасывайте!» Веришь ли?

— Верю.

— И еще иногда думаю: почему я такой несчастный, что в шоферы пошел? Вполне мог на танке быть!

— Ну и что?

— Ничего. Хоть бы раз хотел не из винтовки, а из пушки по ним ударить, сам лично. Расшибить чего-нибудь вдребезги своею силой: танк или машину! Когда выйдем, не пойду больше в шоферы. Ну ее к чертям!..

— Узнают, что шофер, отправят.

— Скрою! Скрою! — Золотарев помолчал. — Ваня, а Ваня!

— Что?

— Скажи, Москву возьмут немцы?

— Не знаю.

— А как думаешь?

— Не верю.

Через небо катилась новая полоса низкого гула.

— Полетели...

— Ваня, а ты где учился?

— Сначала в семилетке, потом в ФЗУ.

— И я тоже. Ты в каком?

— В деревообделочном. А ты?

— А я — на слесаря, при Ростсельмаше. А потом?

— Потом работал. Потом учиться пошел.

— Куда?
— В КИЖ.
— Это что — КИЖ?
— Коммунистический институт журналистики.
— А я все время работал. На тракторе и на грузовой, только уж в армии на легковую перешел. А ты как думаешь, Серпилин выздоровеет?
— Не знаю. Врач сказал, что выздоровеет.
— Хорошо бы снова к нему в часть попасть! А?
— Что ж, когда выйдем, напишем.
— Ты мне говорил, что работал раньше в Вязьме? — вдруг спросил Золотарев.
— В Вязьме,— сказал Синцов и долго молчал после этого.

Он сам уже не раз вспоминал о Вязьме и сейчас, после вопроса Золотарева, прикинув, сколько до нее километров отсюда, решил, что если им не удастся пробиться, надо поворачивать на Вязьму, искать там знакомых людей и идти в партизаны.

И он и Золотарев думали в эту ночь, что оставшаяся далеко в тылу у немцев Вязьма уже давно взята. Наверно, им обоим, несмотря ни на что, все-таки было бы легче знать то, что происходило там на самом деле.

Кольцо вокруг Вязьмы и в эту ночь все еще сжималось и сжималось и никак не могло сжаться до конца; наши окруженные войска погибали там в последних, отчаянных боях с немецкими танковыми и пехотными корпусами. Но именно этих самых задержавшихся под Вязьмой корпусов через несколько дней не хватило Гитлеру под Москвой.

Трагическое по масштабам октябрьское окружение и отступление на Западном и Брянском фронтах было в то же время беспрерывной цепью поразительных по своему упорству оборон, которые, словно песок, то крупинками, то горами сыпавшийся под колеса, так и не дали немецкому бронированному катку с ходу докатиться до Москвы.

И двое людей, лежавших той ночью в лесу под Вереей и чувствовавших себя маленькими, несчастными, почти безоружными, несмотря на все это, были тоже двумя песчинками, своею собственной волей брошенными под колеса немецкой военной машины.

Они тоже не дали немцам дойти до Москвы, хотя именно в ту ночь содрогались от мысли: «Не сдадим ли?» — еще не зная, что Москва никогда не будет сдана.

Их разбудили под утро звуки сильного и близкого боя. В лесу чуть синело. Они встали и пошли навстречу этим звукам,

зная одно: раз это бой,— значит, там не только немцы, но и наши и, если повезет, есть шанс выйти к своим.

Война мерит вещи своею мерой, и они шли на смертельные звуки разрывов и пулеметной трескотни так же нетерпеливо, как в другое время идут люди на голос жизни, на маяк, на дым жилья среди снегов.

— А может, там и есть передовая? — спросил Золотарев.

Синцову тоже хотелось поверить в это, но он подумал и сказал, что вряд ли. Если бы тут проходила передовая, ночью не стояла бы такая тишина. Наверное, это наши пробиваются через немецкие тылы.

Они шли вперед, и бой, казалось, шел им навстречу; уже можно было различить, что не какой-нибудь другой пулемет, а именно наш «максим» бьет совсем недалеко короткими очередями.

— Патроны экономят,— сказал Золотарев.

Синцов кивнул.

Они прошли еще двести метров. В лесу все светлело, и они шли все осторожнее, боясь нарваться на немцев раньше, чем на своих.

Вдруг в ста метрах разорвался снаряд. Они перебежали и легли в еще дымившуюся воронку, а снаряды начали рваться один за другим левее и правее.

Огонь вели несколько батарей.

Сначала Синцов подумал, что немцы не рассчитали и бьют по пустому месту. Радуясь этому, он на минуту забыл об опасности.

Но снаряды продолжали методически ложиться все в той же полосе, и Синцов понял, что немцы ставят здесь заградительный огонь, отсекая нашим путь к прорыву.

— Как, перележим или пойдем? — спросил он Золотарева.

Впереди по-прежнему стучали пулеметы.

— Пойдем.

Они стали перебегать, ложась то в воронку, то в овражек, то просто припадая головой к земле.

— Неужели правда дойдем до своих? Даже не верится,— сказал Синцов, задыхаясь после быстрой перебежки, когда они еще раз упали у подножия большой сосны.

И это было последнее, что от него услышал Золотарев.

Разорвался снаряд. Когда Золотарев приподнялся, он увидел, что политрук лежит, раскинув руки, а голова и лоб у него залиты кровью.

— Ваня, Ваня! — затряс он Синцова за плечи. — Ваня!

Но Синцов не отзывался.

Тогда Золотарев взвалил на плечи его бесчувственное тело и пошел вперед, на стук пулемета.

Через сорок шагов он упал, не выдержав тяжести, поднялся, снова взвалил Синцова на плечи и снова упал. Он лежал и чувствовал, что ему все равно не дотащить Синцова.

А секунды летели, и ему показалось, что пулеметная стрельба стала удаляться.

Тогда он решил поскорей добежать до своих, взять когонибудь на помощь и вместе вернуться сюда.

Задрожавшими пальцами он сунул себе в карман документы Синцова, затем, секунду поколебавшись, за рукава стащил с политрука его драную, с оборванными пуговицами гимнастерку.

Он решил вернуться сюда, если дойдет до своих, но он мог и не дойти и не хотел, чтобы фашисты, узнав политрука по гимнастерке, издевались над ним, еще живым или уже мертвым.

Немного отбежав, он швырнул гимнастерку в гущу мелкого ельника, а еще через двести шагов выскочил прямо на четырех бойцов; они перебегали, катя за собой «максим». Трое из них были танкисты, а четвертым был лейтенант Хорышев, собственной персоной, со своим белым чубом из-под сбитой набок пилотки.

Золотарев наскочил на своего взводного как раз в ту секунду, когда тот после перебежки лег за пулемет. Он первый увидел набежавшего на них Золотарева и без удивления, с улыбкой, словно только и ждал этого, крикнул:

— Вот и Золотарев явился, с неба свалился! Патроны есть?

— Есть!

— Тогда ложись, веди огонь! Сейчас фрицы опять явятся.

Мимо них пробежали и залегли между деревьями еще несколько танкистов и пехотинцев. Все напряженно вглядывались назад, в гущу леса, туда, куда Хорышев повернул хоботом свой пулемет.

Не глядя на Золотарева, он спросил:

— Один?

— С Синцовым шли.

— А где политрук?

— Он тяжело раненный. Тут, недалеко. Вы дайте мне когонибудь. Мы вытащим.

— А где ты его оставил?..

Золотарев показал пальцем примерно туда, где он, по его расчетам, оставил Синцова.

— А куда ранение? — наверное, уже прикидывая в уме, как лучше вытащить политрука, спросил Золотарева взводный, но, прервав себя на полуслове, прижался к земле: над их головами

по деревьям, сбивая ржавые листья, застучали автоматные очереди. — Вы нас на испуг берете, а мы вас на мушку! — выругавшись, закричал Хорышев и дал первую очередь раньше, чем Золотарев увидел цель, по которой он стрелял.

Потом ее увидел и Золотарев: между деревьями перебегали немцы.

Как только застучал пулемет, рядом застучал еще один, ручной, правей, подальше — станковый.

А над головой били по веткам немецкие автоматные очереди.

Золотарев успел несколько раз выстрелить по перебегавшим немцам. Потом немцы залегли.

Хорышев дал сигнал для перебежки. Они перебежали метров на сто и снова заняли позицию.

Немцы и тут не заставили себя ждать: между деревьями стали рваться легкие ротные мины, и опять показались перебегавшие фигуры.

Пулеметы Хорышева и другие, справа от него, снова открыли огонь и, прижав немцев к земле, опять переменили позиции.

— Как же быть? — подползая к Хорышеву, спросил Золотарев. — Дайте мне бойца, я схожу, найду политрука...

— Куда ты теперь сходишь? — оборвал его Хорышев. — Дурья башка. Ну, куда, покажи, куда?!

И Золотарев безнадежно показал рукой, уже и сам видя, что теперь по ходу боя между ними и тем местом, куда он думал идти, оказались немцы.

— Сразу тащить надо было, а теперь что же!.. — сердито сказал Хорышев.

— Тогда я один пойду! — сказал Золотарев.

— Самоубийцу из себя не строй! Давай веди огонь! Видишь, фрицы идут!

И в самом деле, немцы снова забегали среди деревьев, на этот раз ближе, чем раньше, и Золотарев с отчаянием в душе, но старательно и умело, как все, что делал в солдатской жизни, стал вести огонь по перебегавшим зеленым фигурам.

...Лейтенант Хорышев с десятком своих бойцов и с десятком танкистов всего-навсего прикрывал на одном маленьком участке фланг танковой бригады Климовича, прорывавшейся в ту ночь через немецкие тылы.

Бригада Климовича, в свою очередь, была лишь одной из тех продолжавших сражаться частей Западного фронта, которые, пройдя по немецким тылам и устилая своими и чужими трупами леса Подмосковья, рвали всю эту ночь, весь следующий день и половину следующей ночи немецкое кольцо и в конце концов, потеряв половину людей, все-таки прорвали его.

Они совершили это чудо малым огнем и большой кровью, но, когда они пробились, их не отправили отдыхать и пополняться, а оставили там, куда они вышли.

Передовая, все отодвигаясь и отодвигаясь к Москве, в эти дни то тут, то там рвалась под ударами немцев. И одну из этих дыр сразу же заткнули только что вышедшими из окружения частями, наскоро подбросив им продовольствие, гранаты и патроны.

Вечером того же дня, когда они вырвались из окружения, эти люди снова дрались, но теперь уже не фронтом на восток, а фронтом на запад, и Москва была не перед ними, а за ними, и у них снова было хоть немного артиллерии и соседи справа и слева. И, несмотря на перешедшую все границы усталость, они были рады этому.

Но Золотарев чувствовал себя несчастным, и хотя он был человек маленький, всего-навсего рядовой боец, но все-таки на второе утро после выхода из окружения он доказал, что ему непременно нужно явиться к командиру танковой бригады подполковнику Климовичу.

Климович, только что по чистой случайности выскочив невредимым из-под сплошного обстрела, вернулся с наблюдательного пункта на командный и стоял у исковерканного снарядами здания сельской школы. Сняв шлем, он с удовольствием, как под душ, подставил свою бритую голову под сыпавшийся осенний дождик.

— Таких дождей с неделю,— смотришь — и дороги размыло. Всем плохо, но немцам хуже,— говорил он стоявшему рядом с ним капитану-танкисту, косясь на подошедшего Золотарева. — Что у вас?

Золотарев доложил. Он чувствовал, что командиру бригады недосуг долго с ним разговаривать, но Климович слушал его, не выражая нетерпения, и перебил только раз, когда Золотарев сказал, что, как он слышал от политрука, тот был знаком с товарищем подполковником.

— Про знакомство — пустое! — прервал его Климович. — И за знакомых и за незнакомых, не разбирая, каждый день головы кладем! Какие на войне знакомства?!

И была в его голосе горечь человека, на глазах которого погибло столько хороших людей, что он уже не может больше сожалеть о ком-то одном больше, чем о всех других, не из бесчувствия, а из справедливости.

И еще сказал он, и тоже всего несколько слов, когда Золотарев вынул из гимнастерки документы Синцова:

— Совесть мучает, что не вернулись за ним?

— Да.

— А уходили — думали, вернетесь?

— Да.

— Ну и нечего себя виноватить. Хотели сделать как лучше, а вышло, как война приказала! Бывает так, что и бог не угадает! — Климович вспомнил в эту минуту, что, не реши он сам сделать как лучше, не отправь семью из Слонима в Слуцк машиной, они не попали бы под бомбу, а уехали бы через шесть часов поездом и были бы живы, как многие другие семьи.

— Давайте!

Он взял из рук Золотарева документы Синцова и сказал, передавая их стоявшему рядом капитану:

— Положи, Иванов, где наши лежат.

Он не пояснил при этом, что имел в виду. Это было понятно им обоим: в кочевавший с ними железный ящик, как в братскую могилу, все время, пока они пробивались из окружения, один за другим ложились документы всех, кто складывал головы в бою...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Синцов не знал, сколько он пролежал в беспамятстве, пять минут или час. Но первое чувство, которое он испытал, очнувшись, было чувство тишины.

Он поднял голову, оперся на руки и сел, стирая ладонями залепившую глаза кровь. Потом огляпулся. Кругом никого не было.

— Золотарев! — слабо крикнул он и во второй раз, погромче: — Золотарев!

Он подумал, что Золотарев убит, и, сидя на земле, стал искать его глазами. Но нигде вокруг не было видно ни живого, ни мертвого Золотарева.

Синцов потрогал голову. Голова была вся в крови, но болело только с одной стороны, над виском. Он неосторожно зацепил пальцами содранную кожу и вскрикнул. По лбу потекла струйка крови.

Он поднялся и встал. Ему почему-то было очень зябко, но он чувствовал, что не так уж слаб и может идти. Инстинктивным движением прижав ладони к груди и испуганно оторвав их, он сначала увидел две кровяные печати на грязной нательной рубашке и только потом сообразил, что на нем нет гимнастерки.

Ему не пришло в голову то, что произошло на самом деле. Он подумал другое: что сам в беспамятстве стащил с себя гимнастерку и куда-то запихнул ее вместе с документами. Он много

раз думал о том, что, если смерть будет неизбежна, надо успеть разорвать или спрятать документы. Может, это померещилось ему в беспамятстве.

Он опустился на землю, стал шарить вокруг и увидел тянущуюся по вялой траве дорожку черных пятен. Это была кровь. Не поднимаясь с земли, перебирая руками росший кругом мелкий кустарник, он двинулся обратно по дорожке из собственной крови. Но в кустах не было ни гимнастерки, ни выброшенных документов — ничего.

Наконец он добрался до сосны, которую узнал, узнал неоспоримо: вот здесь он упал, когда разорвался снаряд.

Вот оно, это место! И большое, уже впитавшееся в землю пятно крови. Он снова прижал руки к груди, словно ему только почудилось, что он в нательной рубашке. Но гимнастерки не было.

«Может, это Золотарев решил, что я убит, и снял ее с меня...» — впервые неуверенно подумал Синцов.

Вдали послышались звуки боя. Там еще стреляли. Надо было идти туда! Он снова прислушался, покачнувшись, встал на ноги и увидел двух шедших ему навстречу немцев. Один, с винтовкой, был шагах в тридцати, а другой, с направленным на него автоматом, совсем близко.

— Хальт!

Синцов увидел яростно, до ушей разинутый рот немца, готового выстрелить ему в живот, отчужденно подумал о лежащем в брюках давно пустом нагане и поднял руки, чувствуя, что, если его заставят долго стоять так, он упадет.

С тех пор как Синцов был оглушен и ранен, прошло уже больше часа, и немцы методически прочесывали лес после прокатившегося здесь и ушедшего на восток боя.

Немец с винтовкой и другие немцы, видневшиеся еще дальше, продолжали двигаться через лес, а немец с автоматом показал дулом, куда идти, и повел Синцова назад, в ту сторону, откуда они утром шли с Золотаревым.

Синцов шел медленно, хотя немец недовольно покрикивал на него и даже один раз несильно ткнул его в поясницу автоматом.

Голова у Синцова кружилась уже меньше, и он мог бы идти чуть быстрей, но не шел потому, что не боялся этого шедшего сзади него немца.

«Черт с ним, пусть застрелит»,— почти равнодушно думал он, прислушиваясь ко все удалявшимся звукам боя.

Немец с автоматом подвел Синцова к группе других пленных, сидевших на опушке леса под охраной двух немолодых немцев с винтовками, и что-то сказал им, показывая на него.

Один из них вынул тетрадку и сначала поставил там крестик, а потом что-то записал, может быть, фамилию того немца, который привел Синцова, и тот немец ушел, еще раз оглянувшись. А немолодой немец с тетрадкой посмотрел на окровавленную голову Синцова и сказал ему:

— Зэтц дих! [1]

И Синцов сел рядом с другими четырьмя пленными: одного ранило в руку, у другого была забинтована шея, третий все время плевал кровью, у него были разорваны щека и рот.

Лицо раненного в руку бойца показалось Синцову знакомым; так оно и было.

— Товарищ политрук,— пододвинувшись к нему, шепотом сказал боец,— вот где свидеться пришлось! Хорошо хоть гимнастерку-то снять успели!

— Сам не помню, как снял.

— А чего, ну и сняли,— все тем же сочувственным шепотом сказал боец. — Зачем зазря под расстрел идти!

Потом Синцову еще не раз пришлось вспоминать эти слова.

— А мы уж мечтали, что совсем спаслись! — помолчав, продолжал боец. — И вот тебе на!

Оказывается, он тогда, на шоссе, вернулся с Хорышевым к танкистам и девять дней выходил из окружения вместе с ними. А сегодня в бою из-за раны, пока перевязывал ее, отстал и попал к немцам.

— Далеко отсюда?

— Километра три.

«Значит, все-таки Климович из-под Ельни вывел своих танкистов»,— с уважением и горькой завистью подумал Синцов.

— Я вас не буду больше по званию звать,— снова зашептал боец. — А то они прислушиваются.

Немцы и в самом деле прислушивались, хотя, кажется, ничего не понимали.

— Швайген! Швайген! [2] — стараясь казаться грозным, прикрикнул один из них.

Они не хотели, чтобы пленные разговаривали между собой.

Через три часа на опушке собрали всех, кого взяли в плен в этом лесу после прорыва русских, и погнали колонной, сначала по лесной дороге, а потом по шоссе, в сторону Боровска.

В колонне было человек сорок, из них половина легкораненых. Таких, которых пришлось бы нести, не было ни одного. Как перешептывались между собой пленные, всех тяжелых нем-

---

[1] Сядь!
[2] Молчать! Молчать!

цы пристрелили на месте, в лесу. Если не считать этого, конвоиры не проявляли особой жестокости, только поторапливали колонну да покрикивали: «Швайген! Швайген!» — когда замечали, что кто-нибудь заговаривал.

Возможно, тут уже начала играть роль сопроводительная тетрадка с крестиками, а главное — с общей цифрой пленных. Эта тетрадка перекочевала теперь от немолодого немца-солдата к сопровождавшему колонну и тоже немолодому немцу-лейтенанту с длинными, журавлиными ногами, понуро, не глядя ни на конвоиров, ни на пленных, шагавшему по обочине.

— Вот так прогонят до вечера, до ихней сортировки,— шептал, прихрамывая рядом с Синцовым, боец, с шеей, замотанной грязным бинтом. — А потом построят и начнут: «Нихт официр? Нихт политрук? Нихт юде?..» — это еврей по-ихнему.

— А ты откуда знаешь? — спросил Синцов.

— Был уже у них один раз. Сбежал, да опять угодил! И до того, как всех не опросят, жрать ничего не дадут.

Этот боец с перевязанной шеей был одним из тех четырех, к которым подвели Синцова в лесу. Там, пока они сидели, Синцову удалось незаметно вытащить из кармана и засунуть под корневище сосны свой пустой наган, который в сочетании со снятой гимнастеркой мог бы выдать его.

Но не выдаст ли его кто-нибудь из этих четырех людей? Один из них знает, что он политрук, а трое других могли слышать, как этот боец обращался в лесу к Синцову по званию.

Синцов подумал об этом только сейчас, когда боец с перевязанной шеей вдруг заговорил о сортировке; подумал и тут же отогнал от себя эту мысль: «Не скажут, и этот, с перевязанной шеей, тоже не скажет. Он не потому про сортировку, а, наоборот, предупреждает меня, чтобы я был настороже...»

После двух часов пути колонна свернула с шоссе на боковую дорогу, а потом свернула и с нее. Дорога была перерезана нашим противотанковым рвом. Толпа женщин под конвоем засыпала теперь этот ров лопатами и руками.

— Да, не жалеют труда людского! — выкрикнул кто-то в колонне.

— Наказывают! — тоже громко отозвался другой. — Сами, мол, рыли против нас, а теперь руками закапывайте!

— Швайген!

Женщины, отрываясь от своей подневольной работы, через плечо поглядывали на пленных, и их конвоиры, заметив это, кричали на них грубыми, простуженными голосами.

— Матерятся, наверное, по-своему,— сказал Синцову боец с перевязанной шеей.

Через километр после противотанкового рва конвоиры остановили колонну у сильно разбитого артиллерией пустого села, на краю которого стояло почти невредимое каменное здание с надписью: «Роддом».

Несмотря на войну и на все разрушения кругом, в здании еще осталось что-то неуловимо новое. Должно быть, оно было закончено весной или в начале лета, перед самой войной.

Оказывается, колонну остановили у этого дома, чтобы покормить и перевязать раненых. И то и другое делалось русскими руками. На кухне роддома, на полу, были свалены горы картошки и кормовой свеклы. Две женщины варили на плите похлебку в ведре и большом эмалированном тазу. В кухне пахло очистками, землей и дымом. Здесь готовили не для пленных, а для населения, согнанного на земляные работы; но, как видно, сопровождавший колонну лейтенант был в курсе дела и пришагал своими длинными ногами вместе с колонной прямо сюда.

На кухне было всего десять алюминиевых мисок; пленные выстроились в очередь, и повариха наливала в каждую миску по одному половнику бурды с недоварившейся, полусырой картошкой и свеклой, а когда видела среди подходивших людей особенно изможденных, каждый раз громко, во всю грудь всхлипывала от жалости.

Варево было горячее, как огонь, но все ели спеша и обжигаясь, стараясь не задержать товарищей. А немец стоял около поварихи и следил, чтобы не наливала лишнего и чтобы никто из пленных не подошел по второму разу.

Синцов, обжигаясь, выхлебал всю миску супа, и его чуть не вырвало. Закрыв рот рукой, он проглотил подступавшую к горлу тошноту и пошел в соседнюю с кухней комнату, где перевязывали раненых.

Должно быть, раньше это была палата для рожениц, но сейчас там стояли только стол и две табуретки. У одной из стен на застеленном грязными простынями сене лежало несколько накрытых чем попало тел. Кто-то протяжно стонал. Кажется, это была женщина.

Раненых перевязывали двое: старая кривобокая инвалидка сестра и врач, огромный старик с лицом льва и руками еще сильными и умелыми, но то и дело подрагивавшими, то ли от старости, то ли оттого, что и здесь, как в кухне, над душой стоял немец. Только тот немец говорил: «Генуг! Генуг!»[1], а этот повторял: «Шнеллер! Шнеллер!»[2]

---

[1] Хватит! Хватит!
[2] Быстрей! Быстрей!

— Терпи,— сказал врач Синцову, когда тот сел на табуретку и подставил голову.

Плеснув на рану зашипевшей перекисью водорода, он грубо, цепляя обрывки кожи, несколькими взмахами ножниц выстриг волосы по краям, потом мазнул йодом так, что Синцов завыл от боли, положил что-то сверху, еще раз больно надавив на рану пальцами, и, подтолкнув Синцова, чтобы пересаживался на следующую табуретку, сказал сестре:

— Бинтуй!

А на место Синцова уже садился следующий, с раздробленными пальцами руки.

Сестра, припадая на короткую ногу и вихляя плечом, стала перевязывать Синцову голову, что-то приговаривая сердитым шепотом. Сначала Синцов не мог понять, а потом понял, что она ругает немцев за то, что они стоят над душой у Николая Николаевича и не дают ему спокойно работать. Наверное, оба старика — и врач и сестра — целую вечность работали вместе, и она сейчас переживала за своего хирурга больше, чем за раненых.

Синцов теперь увидел лицо хирурга, которое не мог видеть, пока сам сидел у него на табуретке, и понял, какую муку терпит этот человек, вынужденный действовать как коновал. Немец не будет ждать, а он хотел пропустить побольше раненых через свои поневоле жестокие, но умелые руки. Его львиное лицо с седыми бровями, широким раздавленным носом и жесткими, покошачьи торчавшими усами было потным от напряжения, несчастным и свирепым. Будь у него возможность, он, наверное, полоснул бы по горлу своим скальпелем этого проклятого немца, как автомат твердившего ему: «Шнеллер! Шнеллер!..»

Ровно через час колонну снова построили. Часть раненых перевязать не успели, но лейтенант с журавлиными ногами посмотрел на свои часы, и после этого все остальное уже не имело значения. Конвоиры спешили довести пленных до назначенного места; они все злее покрикивали и прибавляли шагу.

Но вдруг все это сразу кончилось, и колонна надолго стала. Впереди была пробка из немецких машин, и отсюда казалось, что ей нет конца. Колонна пленных, конечно, могла свернуть и в обход, но в этом месте лес с обеих сторон теснился к дороге, и, кажется, лейтенант с журавлиными ногами не склонен был обходить пробку лесом.

— Вот и встали! — сказал Синцову боец с перевязанной шеей; они опять шли рядом.

— А тебя не перевязали, не успели? — спросил Синцов.

— А у меня не рана, у меня чиряк... Теперь стоять будем,— продолжал он. — Думаешь, порядок у них?! Ничего у них не по-

рядок, тоже беспорядок. Когда прошлый раз в лагерь гнали, за два дня, пока не убежал, таких у них пробок нагляделся и каждый раз думал: где только наша авиация? — Он помолчал и сказал мечтательно: — Эх, закурить бы сейчас с горя!

Синцов ничего не ответил, но соседу его не молчалось:

— Когда тебя перевязывали, видал, лежали люди на полу?

— Видал,— сказал Синцов. — Одна, по-моему, женщина...

— Не одна, а все! Мне повариха, когда суп наливала, сказала. Все бабы, и все с руками пооторванными. Наши там, у противотанкового рва, в одном месте заминировали, так они баб эти мины руками выкапывать заставили. А кто насмерть подорвался — их прямо там, во рву, и зарыли.

Весь день, с первых минут плена, Синцов находился в состоянии крайнего угнетения, но сейчас ему вдруг снова стало небезразлично, расстреляют или не расстреляют его немцы, дойдет он или свалится по дороге и будет пристрелен... Ему снова захотелось во что бы то ни стало спастись, и не просто спастись, а спастись, чтобы потом убивать немцев за этот противотанковый ров, который руками засыпают женщины, за эти оторванные женские руки...

Когда первые два ИЛа с ревом пронеслись над дорогой, ни Синцов, ни другие пленные еще не поняли, что произошло. Они поняли это в следующую секунду по немцам: немцы стали прыгать в кюветы прямо с бортов машин, конвоиры бросились на землю, а над шоссе проносились и проносились все новые самолеты...

Кто-то пронзительно предсмертно закричал, часть пленных попáдала на дорогу, а несколько других продолжали стоять и смотреть в небо как завороженные.

— Нидер! Цу боден! Лэгт ойх!..[1] — кричал пленным, распластавшись на земле, немецкий лейтенант.

С него соскочило все его спокойствие, он орал и суетливо дергал из кобуры зацепившийся парабеллум. Наверно, ему было страшно и позорно лежать, как червю, на шоссе, в то время как эти пленные стояли во весь рост у него над головой. Но самолеты продолжали мелькать, строча из пулеметов, и у него не было сил ни заставить себя встать, ни заставить этих пленных лечь. Нет, он заставит их лечь!

— Цу боден!.. — закричал он и стал из парабеллума стрелять в кучку все еще стоявших на шоссе пленных.

— Товарищи, бежим! — неожиданно для себя крикнул Синцов, увидев, как, схватясь за голову, упал к его ногам боец с пе-

---

[1] Ложись! Ложись на землю!

ревязанной шеей. — Бежим! — крикнул он еще раз, перескочил через кювет и, ломая кустарник, бросился в лес, слыша, как еще несколько человек тоже бегут, ломая сучья. Над головой стоял треск пулеметов, а сзади слышались взрывы и автоматные очереди.

Синцов так и не узнал, скольким из них удалось спастись тогда: они разбежались по лесу в разные стороны и уже не встретились друг с другом. Он шел, шел почти без остановок, лишь иногда на несколько минут присаживаясь, чтоб отдышаться, шел весь остаток этого короткого октябрьского дня, пока окончательно не стемнело, и шел всю ночь. Он шел через лес, через какую-то дотла сожженную деревню и снова через лес, перебирался через два противотанковых рва и через брошенные окопы. В одном из них он наткнулся на трупы, и это спасло его: иначе он замерз бы. Он снял с одного мертвого гимнастерку и почти новую телогрейку, только по краю немного замаранную кровью, а около другого подобрал свалившуюся ушанку и, сцепив зубы, надвинул ее себе на голову, поверх бинтов. Он хотел взять валявшуюся тут же винтовку, но она оказалась без затвора, и он, сколько ни шарил кругом, так и не нашел его. Потом он пересек две дороги, одна была пустая, а по другой ровно через минуту после него проехала колонна немецких мотоциклистов.

Он чувствовал запах пожарищ, видел зарева и слышал стрельбу то слева, то справа. А одно время она, казалось, была со всех сторон. Ему тогда почудилось, что он переходит фронт, и это действительно так и было...

Но когда на рассвете он, обессиленный, свалился на землю в чаще леса, то снова услышал грохот разрывов не справа и не слева от себя, и не сзади, а далеко впереди. От усталости он плохо соображал, и ему не пришло в голову, что эти далекие разрывы могли быть немецкой бомбежкой у нас в тылу. Наоборот, он подумал, что ему раньше только показалось, что он перешел фронт, а на самом деле линия фронта по-прежнему впереди.

Решив спастись во что бы то ни стало и не желая рисковать, он выпил болотной воды и заполз в кустарник. Лучше дождаться сумерек и попробовать перейти фронт ночью: у него было больше надежд на ночь, чем на день. Решив так, он на несколько часов заснул как мертвый и проснулся, когда в воздухе уже начинало чуть-чуть сереть.

Он встал и снова пошел и шел еще километров пять по все никак не кончавшемуся лесу. Один раз ему послышались голоса и даже раздался заставивший его вздрогнуть близкий выстрел. Если бы он пошел на эти голоса и на этот выстрел, он попал бы прямо в расположение стоявшего здесь медсанбата. Но он все

еще считал, что не перешел фронт и что эти голоса и этот выстрел немецкие и ему надо идти дальше.

Наконец, когда почти совсем стемнело, он вышел из леса на перекопанное противотанковым рвом поле. Он перебрался через этот ров и дошел до каких-то выселок — трех домиков с тянувшимися сзади них плетнями.

Он поднялся на взгорок и подошел к крайнему домику. Кругом было тихо. Домик показался ему нежилым, но когда он подошел еще ближе, из-за угла дома навстречу ему вышел немолодой боец с ведром в руке.

Именно это и было как чудо! Именно то, что боец шел так запросто с ведром в руке к колодцу, не оставляло сомнений: вышел к своим.

Синцов смотрел на бойца, а боец смотрел на Синцова. Синцов был моложе бойца с ведром, тому на вид было сорок, но Синцов не представлял себе, как сейчас выглядит он сам с отросшей за двенадцать дней бородой. Поэтому его удивило, когда боец с ведром, пристально поглядев на него, спросил:

— Тебе чего, папаша?

Он молча сделал два шага навстречу бойцу с ведром, так что тот даже попятился и спросил:

— Ты к кому?

Но Синцов по-прежнему молча протянул обе руки и стал трясти руку бойца вместе с дребезжавшим в ней ведром.

— Вышел!.. — только и выговорил он наконец.

— Вышел-то вышел,— сказал боец, в руке у которого все еще болталось ведро, потому что Синцов продолжал трясти ее. — Да промахнул здорово! От нас до передовой еще километров двадцать. Так до меня никого и не встретил?

— Нет. Ночью шел, а днем в лесу лежал. Думал, еще ночь идти...

— А вы кто по званию будете? — вдруг переходя на «вы», спросил боец, попристальнее взглянув на полуседую синцовскую бороду. — Уж не полковник ли? Или подымай выше?

В глазах у него даже загорелась довольная искорка: уж не генерал ли, в самом деле, лично на него из окружения вышел?.. При всей тяжести общего положения такая история его бы немало порадовала.

Но Синцов разочаровал его:

— Я политрук.

— Так вы, товарищ политрук, или подождите, я сейчас до колодца схожу, или меня уж сопроводите, а потом я вас до нашего старшего политрука доставлю. Как раз вы до его хаты и вышли!

Синцов прошел с ним до колодца, подождал, пока он наберет воды, и, все еще до конца не веря в свое счастье, пошел обратно к избе.

— Да... бороду отпустили подходящую. — Боец ввел Синцова в сени, поставил ведро и открыл одну из двух выходивших в сени дверей: — Товарищ старший политрук, разрешите обратиться! Привел до вас товарища политрука, только что из окружения вышел!

В избе за столом сидел средних лет человек и хлебал суп из поставленного на газету котелка. Он сидел и хлебал свой суп, как-то пригорюнившись, по-бабьи подперев щеку рукой, и так, еще продолжая подпирать щеку, и повернулся к дверям. Лицо у него было доброе, мягкое, немножко бабье, а петлицы с одной шпалой были голубые, авиационные, из чего Синцов заключил, что попал в летную часть.

Одна нога у старшего политрука была в сапоге, а другая в шерстяном носке. Сапог лежал на полу, а к столу была приставлена самодельная, искусно вырезанная палка.

«Этот боец, наверное, ему вырезал», — почему-то подумал Синцов, хотя были тысячи других, куда более важных вещей, о которых он мог бы сейчас подумать.

— Что ж, заходите. — Старший политрук, немного приподнявшись, подал руку. — Эк подтянуло вас! — сказал он сочувственно. — Голодный?

— Главное бы — чаю! — сказал Синцов: хотя он уже вторые сутки не ел, ему больше всего хотелось согреться.

— Чай так и так будет, — кивнув на стоявший на столе чайник, сказал старший политрук. — А вот похлебайте покамест. — И, вытерев хлебом ложку, подвинул по столу котелок вместе с газетой.

Синцов взял ложку и стал есть, а старший политрук сидел напротив и смотрел на него, не на то, как он ел, а именно на него.

Не дохлебав несколько ложек, Синцов поймал этот взгляд и вспомнил, что сидит в шапке. Тогда, с трудом оторвавшись от ложки и котелка, он обеими руками взялся за шапку и, охнув от боли, снял ее. В одном месте она немного приклеилась к бинтам.

— Ранены? — Старший политрук увидел бинты с темным пятном крови.

Но Синцов дохлебал последние две ложки и лишь после этого ответил:

— Не сильно. Оглушило так, что еле очухался, а сама рана — только кожу с волосами содрало...

— А где перевязывались? — Старший политрук налил и пододвинул Синцову кружку чая.

Вопрос был естественный: Синцов шел, не снимая шапки, и бинты остались почти свежими. Он рассказал, где и как его перевязывали, и, начав с этого, рассказал и все остальное.

Сидевший перед ним старший политрук тоже в июне и в июле выходил из окружения с самой границы, потом лежал в госпитале, досрочно выписался и всего три дня, как снова попал на фронт. Он сочувственно слушал Синцова и не находил в его рассказе ничего удивительного, кроме того разве, что человек, с которым все это случилось, сидит сейчас перед ним живой и в общем здоровый.

— Вот уж не думал, что на двадцать километров фронт перемахну и прямо к летчикам выйду! — Синцов отодвинул от себя пустую кружку.

Старшему политруку, видно, уже не в первый раз приходилось разъяснять это недоразумение, он усмехнулся:

— Не глядите на петлицы. Это я в начале войны комиссаром БАО был. Мы не летчики, мы стройбат. Прежних командира и комиссара немцы одной бомбой списали. Меня прямо из госпиталя, а нового командира из райвоенкомата прислали. Третий день роем день и ночь. Один рубеж, что в первый день рыли, уже оставили. — Он сердито покачал головой. — А по мне, чем вот так пахать да оставлять, лучше бы в бой за Москву, как пехоту, бросили! Хотя, говорят, винтовок не хватает. Где-то лежат, а мы по ним плачем!

— Значит, тяжело под Москвой? — со страданием в голосе спросил Синцов.

Уже сколько раз за эту войну ему думалось, что самое тяжелое осталось позади, а оно опять оказывалось впереди! Да и сами слова, которые он сейчас впервые вслух произнес,— «под Москвой»,— вдруг потрясли его, хотя и были сказаны его собственным голосом. Под Москвой!.. Чего уж страшней!

— Мы, конечно, кроты, наше дело — землю рыть, но, видимо, тяжело,— помолчав, неохотно выговорил старший политрук и, посмотрев на бледное лицо Синцова, на повязку, добавил: — Тут медсанбат недалеко.

Синцов покачал головой:

— Нет, я воевать хочу, раз такое дело! Если разрешите, пересплю где-нибудь у вас, а утром пойду.

— Куда?

— На фронт, с любым пополнением. На большее без документов пока не рассчитываю, а бойцом, считаю, возьмут!

Старший политрук не удивился: он уже с середины рассказа Синцова ждал этого признания, потому что те, кто выходил из окружения при документах, обычно начинали с того, что с гордостью предъявляли их. Синцов рассказал, как именно он оказался без документов. Рассказал — и вдруг почувствовал, что его собеседник впервые за все время смотрит на него с недоверием, как бы говоря: «Ну, чего плетешь? Ну, изорвал или зарыл, когда немцы подошли... Ну, понятно!.. И так бывает. А зачем врать-то?»

— Что ж,— сказал старший политрук вслух,— раз так, ночуйте тут с бойцом, который вас встретил, с Ефремовым, а я поеду. Полуторка уже, слышу, за мной приехала.

За окном действительно недавно загудела и стихла машина.

— Тут у нас дел хватает: здесь рвы, там завалы... Да и как же иначе... — Он хотел продолжать, но остановился: после того как Синцов сказал ему что-то, чему он не поверил, его не тянуло к дальнейшей откровенности. — Поспите,— повторил он. — А утром мы с комбатом отправим вас по команде... Ефремов, а Ефремов!..

— Слушаю вас, товарищ старший политрук! — сказал боец, вырастая на пороге.

— Помоги, пожалуйста, Ефремов, сапог надеть... После ранения целая история... — Эта фраза была адресована уже Синцову. Старший политрук стеснялся, что ему приходится обращаться за помощью.

Ефремов, наклонясь, придержал сапог, старший политрук, кривясь от боли, всунул туда ногу. Потом взял прислоненную к столу палочку и вышел, прихрамывая.

Синцов пошел за старшим политруком, но тот только сказал на ходу несколько слов Ефремову и, уже не оборачиваясь, влез в кабину полуторки.

— Опасной бреетесь? — спросил Ефремов, проводив взглядом машину.

— Бреюсь.

— А то, может, побрить вас?

У Синцова не было ни сил, ни желания отказываться. Странно сидеть на табуретке, откинув назад голову, и чувствовать, что тебя бреют!

Ефремов брил его, а его все сильнее клонило в сон, и он, с трудом соображая, сквозь сон слышал, что батальон уже третий рубеж строит, а мы все пятимся да пятимся, и что хорошо, что он, Синцов, попал на комиссара, а не на комбата, и что днем немцы бомбили противотанковый ров и покалечили там двадцать человек, хотя и ограниченно годных: бомба — она не разбирает, для нее все годные...

Потом Синцов и вовсе заснул, дернул головой, и его больно резануло по скуле.

— Ну вот! Засыпать нельзя, так и зарезать могу,— укоризненно сказал Ефремов и, отщипнув клочок от лежавшей под котелком газеты, приклеил его к порезу.

Он добрил Синцова, вышел во двор и слил ему на руки несколько кружек воды. Синцов умывался, стараясь не замочить повязку.

— Может, наново перевязать? — спросил Ефремов.

Но Синцов отказался:

— Боюсь страгивать. — И устало зевнул.

Они зашли в каморку, где было сложено кое-какое хозяйство и припасы, мешки с картошкой и капустой, а на узкой лавке был постелен свисавший с нее тюфяк.

— Ложитесь,— сказал Ефремов, показывая Синцову на лавку.

— А вы?

— А мое дело солдатское,— может, еще комбат приедет.

Синцов заснул раньше, чем донес голову до лавки, и проснулся глубокой ночью.

— Вставай, ну, вставай же! — тормошил его Ефремов, не считая нужным обращаться на «вы» к еще не проснувшемуся человеку. — Вставайте! — сразу перешел он на «вы», как только Синцов спустил с лавки ноги. — Комбат вас к себе требует!

Синцов стал надевать сапоги, а Ефремов вышел в соседнюю комнату.

— Ваше приказание выполнено! — донеслось до Синцова, уже когда он проходил через сени.

— Ладно. Пусть заходит,— послышался молодой недовольный голос. — И так устал, как собака, а тут еще...

За столом у керосиновой лампы сидел маленький плотный старший лейтенант с круглым бледным лицом, красивыми, словно нарисованными, бровями и глазами немного навыкате. На плечи у него была зябко наброшена до ворота забрызганная грязью шинель. На второй табуретке напротив лежала фуражка, тоже забрызганная грязью.

— Разрешите войти? — спросил Синцов, разминувшись в дверях с Ефремовым, которому старший лейтенант сразу же сказал: «Можете быть свободным». — Здравствуйте!

— Обратитесь, как положено! — быстро и сердито сказал старший лейтенант.

Синцов молча посмотрел на него, снял с табуретки его фуражку, переложил ее на стол и сел.

— Встать! — закричал старший лейтенант.

Синцов сидел и молча продолжал смотреть на него.

— Встать! — снова закричал старший лейтенант.

Синцов продолжал сидеть.

Старший лейтенант схватился рукой за кобуру с пистолетом.

— Не пугайте — пуганый,— не шевельнувшись, сказал Синцов. — Я политрук, по званию вам равен, а стоять мне тяжело. Вот я и сел. Тем более что вы тоже сидите.

— Где ваши документы?

— Нет у меня документов.

— А пока нет документов, вы для меня не политрук! Встать!

Так начался их не предвещавший ничего хорошего разговор. Они долго смотрели друг на друга, и, кажется, старший лейтенант понял, что может хоть стрелять в этого человека, но заставить его встать не в силах.

— Я тут встретил своего комиссара,— наконец первым, отведя глаза, небрежно, словно о подчиненном, сказал старший лейтенант. — Но, в противоположность ему, я Фома неверующий. Повторите мне свои басни!

Это было так неожиданно, что Синцов даже не сразу понял.

— Хорошо, я повторю вам свои басни,— после долгой паузы, с тихим бешенством сказал он.

Он вовремя вспомнил, что как бы там ни было, а они оба военнослужащие, и он вышел в расположение части, находящейся под командой именно этого старшего лейтенанта, и хотя он рассказал уже все комиссару части, но и ее командир вправе потребовать, чтобы ему повторили это. И, сделав над собой усилие, Синцов добросовестно повторил все от начала до конца.

Синцов говорил, а старший лейтенант сидел и не верил. Он был молод, недобр и растерян. И, как это бывает со слабыми и самолюбивыми людьми, злобное нежелание верить другим рождалось у него от мучившего его стыдного чувства собственной растерянности. Он сам просился на фронт, но, попав в эту страшную кашу под Москвой, в первый же день под бомбежкой в открытом поле испытал такое чувство ужаса, от которого не мог отделаться уже трое суток. Он изо всех сил старался по-прежнему держаться так, как его обязывала надетая на него военная форма, и, пряча собственный страх, цыкал и упрекал в трусости своих подчиненных. Но себя самого он не мог обмануть. И сейчас, сидя перед Синцовым, он в глубине души чувствовал, что никогда бы не выдержал всего того, о чем рассказывал ему этот человек: не вынес бы трех месяцев окружения, не шел бы до последнего часа в комиссарской форме, не побежал бы, раненный, под выстрелами из плена. И, зная, что не сделал бы этого сам, из чувства самозащиты не хотел верить, что на это способны другие.

Старший лейтенант слушал Синцова и не верил, не потому, что Синцову нельзя было поверить, а потому, что, наоборот, ему очень хотелось убедить себя, что этот сидящий перед ним человек лжет, больше того — что это, может быть, немецкий диверсант и этот диверсант будет задержан не кем-нибудь другим, а именно им, старшим лейтенантом Крутиковым, всего три дня как попавшим на фронт, но уже умеющим разбираться в обстановке лучше некоторых других, побывавших и на фронте и в госпиталях. Он уже не раз за эти дни, одолеваемый внутренней дрожью, ежился под добродушным, но все понимающим взглядом своего комиссара и был рад случаю взять над ним верх хотя бы здесь, вот сейчас, своей проницательностью, строгостью, тем беспощадным служебным рвением, на которое особенно щедры люди такого сорта в минуты, когда они не обременены страхом за свою собственную жизнь.

Несколько раз он перебивал Синцова откровенно недоверчивыми вопросами:

— Как же так — ни одного документа?.. Что же, столько идете, а ватник почти новенький!

Синцов и на этот раз сдержался и терпеливо объяснил, что снял ватник с убитого.

Но когда старший лейтенант вдруг сказал ему:

— Странная история: ранение в голову, без памяти упали, а после этого чуть не сорок километров прошли! — Синцов не выдержал, встал во весь рост, не торопясь скинул ватник и задрал на себе гимнастерку и нательную рубашку.

— Видели? — Он ткнул пальцем в двойной шрам у себя на боку. — Это я специально для вас гвоздем проткнул. А это,— он показал на забинтованную голову,— тоже для маскировки. Там нет ничего. Развязать?

— Я вам не доктор, не валяйте дурака! — растерянно сказал старший лейтенант первое, что пришло на язык.

Синцов еще несколько секунд выжидательно смотрел на него, сказал: «Эх, вы!» — и, опустив гимнастерку, стал надевать ватник так же неторопливо, как снимал.

Старший лейтенант не без труда отогнал от себя вдруг появившуюся честную мысль: все, что ему до сих пор говорил этот человек,— чистая правда. Отогнал потому, что эта мысль была ему неприятна. Он не желал верить Синцову, и тот чувствовал это.

— Ладно, идите спите. Завтра разберемся с вами! — наконец значительно сказал ему старший лейтенант.

Синцов поднялся молча, с высоты своего роста посмотрел на него и, не прощаясь, вышел за дверь.

Оставшись один, старший лейтенант Крутиков встал, с минуту постоял в тишине, прислушиваясь, как Синцов укладывается там, за стенкой, и заходил по комнате, обдумывая, как быть дальше.

Надо было теперь же послать Ефремова с запиской в соседнюю деревню, где как раз сегодня, потеснив стройбат, в двух крайних избах разместился Особый отдел начавшей подходить на этот рубеж дивизии. Надо послать туда Ефремова прямо сейчас, чтобы особисты еще ночью явились за этим типом!

Разумеется, все это вполне можно было отложить и до завтра, но бес тщеславия, соединенного со все той же проклятой неуверенностью в себе, толкал в спину старшего лейтенанта Крутикова: уж очень хотелось ему поскорее убедиться в правильности своих предположений. Он взял со стола планшет, вынул полевую книжку, написал записку особистам и, сложив листок, позвал Ефремова.

Ефремов, прикорнувший на табуретке в сенях, вошел заспанный и недовольный. Еще до того, как задремать, он почувствовал, что старший лейтенант не к добру мечется из угла в угол по комнате.

Выслушав приказание и взяв записку, Ефремов вздохнул, сказал: «Есть!» — считая всю эту затею пустой, неодобрительно глянул на старшего лейтенанта, вскинул на плечо винтовку и, хлопнув дверью, вышел на улицу.

А старший лейтенант, набегавшись по комнате, сел за стол и уронил на планшет свою усталую голову.

Он уже трое суток почти не спал и, изнемогая в борьбе с чувством страха, все-таки ревностно делал завалы, и рыл окопы и рвы, и ставил противотанковые ежи, и устал, как устают все люди, и, едва на минуточку закрыл глаза, заснул крепким, молодым сном.

И в голове у него, в усталых сновидениях, не было ни окопов, ни ежей, ни рвавшихся у него на глазах бомб, ни худого политрука со злым лицом, предлагавшего содрать с головы бинты. В его сновидениях мелькало и повторялось все одно и то же миловидное и жалкое, испуганное внезапной разлукой женское лицо, и он бормотал что-то непослушными сонными губами. Он видел во сне это лицо и, прижимаясь к столу пухлой щекой, улыбался, и его собственное лицо совсем не было похоже на то, каким видел его Синцов...

— Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант...

Перед вздрогнувшим спросонок старшим лейтенантом стоял Ефремов с приложенной к ушанке рукой и винтовкой на плече.

Он стоял вытянувшись, но в добрых глазах его бегали насмешливые искорки.

— Разрешите доложить! Так что они сказали, что раз сам пришел, то навряд ли сбежит, пусть у нас у самих до утра будет. И потом сказали, что у них своих дел много. Если хотим, пусть завтра доставим, а не хотим — пусть как хотим. «У вас, говорят, свое начальство есть, к нему по команде и обращайтесь!» И еще сказали: «Передайте своему товарищу старшему лейтенанту,— тут насмешливые искорки в глазах Ефремова заметались уже совсем откровенно,— что на диверсантов этот случай непохожий, пусть спит спокойно, не боится!»

— Можете идти! — сердито сказал старший лейтенант.

Но Ефремов все еще не уходил. Он не спеша снял шапку, вынул оттуда тот самый листок из полевой книжки, что ему дал старший лейтенант, и положил на стол.

— Бумагу вернуть велели. Говорят: «Пусть ваша канцелярия подшивает, у нас своей хватает!»

— Идите, вам сказали! — чувствуя в словах Ефремова насмешку, но не имея возможности уличить его, крикнул старший лейтенант Крутиков.

Ефремов вышел в сени, ухмыльнулся в темноте и зашел в свою каморку.

«Вот бы политруку рассказать! Комедия! — думал он, продолжая ухмыляться. — Жалко, что спит».

Но Синцов не спал. И когда Ефремов, уступив ему лавку и устраиваясь рядом на полу, оттуда, снизу, смешливым шепотом сообщил подробности своего хождения в Особый отдел и своего доклада старшему лейтенанту, Синцова все это нисколько не развеселило.

Как много горя может доставить одному человеку другой, еще вчера неизвестный и чужой ему! Старший лейтенант не поверил Синцову, и Синцов чувствовал себя несчастным, несмотря на то что он не любил и не уважал этого старшего лейтенанта и не чувствовал себя виноватым ни перед кем, а уж тем более перед ним.

Лежа с открытыми глазами, Синцов думал о Золотареве: «Жив он или убит — никто, кроме него, не скажет, что же было там, в лесу, когда я потерял сознание. Он ли позаботился обо мне, или я сам сделал это в беспамятстве — снял, зарыл, а потом не нашел? Или было еще что-то, чего я не знаю и о чем даже не могу догадаться?.. Но что же тогда говорить людям, которые не верят мне?.. Говорить то, что я знаю, или придумывать то, чего не знаю?..»

Он спрашивал себя, а в глубине его памяти ворочалась все одна и та же, наверно, навсегда врезавшаяся фраза Серпилина,

после переправы в первый день окружения: что легче стать к стенке, чем самому у себя сорвать комиссарские звезды.

Он вспомнил бойца там, в первые часы плена, и его вопрос: «Снять успели?..» Потом вспомнил вдруг ставшие недоверчивыми глаза старшего политрука, потом со все еще не прошедшей яростью вспомнил вопросы старшего лейтенанта и с внезапно возникшей в глубине души спокойной решимостью идти, не отступая, подумал, что Особый отдел — как раз то место, куда и надо явиться, раз ему не верят. Разговор со старшим лейтенантом так хлестнул его по лицу, что уже, помимо собственной воли, ему мерещились другие лица, другие недоверчивые вопросы, другие глупо торжествующие глаза: «Ага! Сейчас я тебя поймаю!» Нет, он пойдет именно туда, где по долгу службы обязаны проверить все, от начала до конца, и пойдет теперь же, не откладывая! Пусть проверяют! Если могут. А если не могут, пусть пошлют в строй и проверяют в бою!

Он спустил ноги с лавки, надел сапоги, ватник и шапку и, переступив через мирно посвистывавшего во сне Ефремова, вышел в сени. Из вторых дверей на пол ложилась слабая полоска света. Синцов распахнул дверь и вошел в соседнюю комнату. Старший лейтенант спал ничком, уткнувшись в подушку, положив грязные сапоги на обрывок газеты. Ремень с кобурой лежал рядом с ним на табуретке, а планшетка — на столе. Лампа еще горела, закоптив все стекло.

— Старший лейтенант,— окликнул Синцов и, не сбавляя голоса, повторил: — Старший лейтенант!

Но старший лейтенант спал как убитый.

Сначала Синцов хотел разбудить его и сказать, что сам намерен сейчас же, немедля, идти в Особый отдел, с конвоем или без оного — это уже как заблагорассудится товарищу старшему лейтенанту. Но, окликнув его два раза и не разбудив, передумал. Подойдя к столу, он не спеша открыл планшетку, вырвал листок из лежавшей в ней полевой книжки, вытащил оттуда же из ушка заботливо очиненный карандаш, написал несколько слов и, взяв с табуретки тот самый пистолет, за который в разговоре с ним хватался старший лейтенант, положил пистолет поверх записки. Уже подойдя к дверям, он еще раз окинул насмешливым взглядом всю эту картину: спавшего без задних ног старшего лейтенанта, догоравшую лампу, записку с положенным поверх нее пистолетом...

«Да, попади к тебе настоящий диверсант, плохо бы тебе пришлось!»

На улице уже светало, дорога поднималась от выселок вверх по косогору, и там версты за две серели крайние дома деревни.

Ефремов как раз рассказывал о том, как он в темноте топал в эту гору; колебаться, куда идти, не приходилось.

Пройдя с километр, Синцов посторонился, чтобы пропустить несшуюся навстречу полуторку.

«Может быть, как раз за старшим лейтенантом»,— усмехнулся он тому, какая будет кутерьма, когда проснется старший лейтенант, и пошел дальше.

Ефремов проснулся, услышав, как возле дома гудит машина. Вскочил, откинул мешок, которым было занавешено окно,— на улице было уже светло,— и, обернувшись, увидел, что политрука нет на месте. Он заглянул в соседнюю комнату: не зашел ли политрук к старшему лейтенанту? Но старший лейтенант, тоже услышавший гудок, лежал в комнате один, еще мыча сквозь сон и в два кулака протирая глаза.

Ефремов выскочил на улицу, подумал, что политрук вышел «до ветру», обошел вокруг дома, даже окликнул несколько раз: «Товарищ политрук, товарищ политрук!», но никто не отвечал ему.

Тогда, немного помедлив в сенях, но не слишком, потому что докладывать предстояло неотвратимо, он вошел в комнату.

Старший лейтенант сидел на койке и все еще протирал глаза.

— Ну что, машина пришла? Я не ослышался?

— Нету политрука,— вытянувшись, сказал Ефремов.

— Как нету?

— Нету! И на улице нету, нигде нету,— сказал Ефремов.

— Вот! А называются особисты! Ушел! Ушел, сволочь, диверсант!.. — торжествующим от чувства своей правоты голосом закричал старший лейтенант Крутиков, и лицо его в эту секунду было настолько же счастливым, насколько несчастным выглядело лицо Ефремова...

В этот момент они оба еще не заметили записки Синцова.

Записка была обнаружена, когда жестоко обруганный Ефремов уже вышел из комнаты, а старший лейтенант Крутиков хватился своего пистолета. Растерянно отодвинув его в сторону, он несколько раз подряд прочел записку, радуясь только одному: что Ефремов, слава богу, уже вышел. В записке стояло всего четыре слова: «Ушел в Особый отдел», но положенный сверху собственный пистолет Крутикова был таким ядовитым примечанием к этой записке, что старший лейтенант чуть не заплакал от унижения.

А Синцов шел и шел себе по дороге. Несмотря на ранний час, он встретил нескольких военных, но на него никто не обратил особого внимания, потому что он шел выбритый и одетый

так же, как и другие. На нем были ушанка со звездочкой, из-под которой только чуть-чуть белела сбоку полоска бинта, ватник и сильно прохудившиеся сапоги, но не у всех же сапоги были новые. Он был без винтовки, но не у всех были винтовки. Словом, он мало чем отличался от других военных людей, шедших и ехавших в тот час по дороге.

Великое дело — принять решение. Даже походка, несмотря на усталость, делается от этого другой... Деревня, куда шел Синцов, если смотреть от выселок, казалось, стояла прямо при дороге, а на самом деле была чуть в стороне. Впереди были разбитый бомбой мостик и объезд. За объездом дорога шла дальше прямо, а к деревне надо было свернуть вправо.

Синцов подошел к объезду, когда там в выбитой грузовиками глубокой колее застряла недавно обогнавшая его «эмочка». Шофер и командир выталкивали ее; шофер — отворив дверцу и одной рукой выворачивая руль, а командир — схватясь за задний буфер.

— Эй, боец! — обернувшись и заметив Синцова, закричал командир. — Давайте сюда! Помогите вытащить! А ну, быстрее!..

Синцов невольно послушался этого повелительного окрика и, подойдя, взялся за задний буфер. Они нажали вместе, и машина выехала из колдобины.

— Ладно, спасибо,— сказал командир, разгибаясь и отряхивая от грязи полы шинели.

Синцов тоже разогнулся, и они встретились глазами.

Перед ним стоял Люсин, живой, здоровый, точно такой же, каким был раньше, Люсин, но только не с двумя, а с тремя кубиками на петлицах.

Они оба были удивлены, и, кажется, Люсин даже сильнее Синцова.

— Люсин! Здорово!

Они пожали руки друг другу, все еще продолжая удивляться.

— А мы тебя уже списали в без вести пропавшие...

— И жене сообщили?

— Вот этого уж не знаю... Где ты был?

— Только вчера из окружения вышел... Куда едешь? В редакцию? Где она теперь?

Люсин наконец отпустил руку Синцова. Оттенок первого волнения исчез с его лица и заменился чувством превосходства.

— Когда уезжал на передовую, была в Перхушкове.

— Да это же под самой Москвой! — воскликнул Синцов, даже и сейчас все еще до конца не осознавая, как приблизился фронт к Москве.

— Ну да!.. А где же еще? А вот пробыл пять дней на передовой, и ночью в политотделе армии сказали, что редакция уже не в Перхушкове. Не то в Москве, в «Гудке», не то за Москвой, по Горьковской. Мы последнее время были в поезде, так что, возможно, поезд и перегнали. А может, и в Москве. Вот какие дела! — бодро сказал Люсин.

Бодрость эта происходила оттого, что он несколько дней подряд сидел на передовой и теперь, отдыхая от чувства опасности, встряхнувши перышки, как воробей, ехал обратно в редакцию с планшетом, полным материалов.

— А ты куда сейчас шел-то? — спросил Люсин и, вглядевшись в исхудавшее лицо Синцова, добавил: — Да, можно сказать, что от тебя половина осталась!

— Куда? — переспросил Синцов. — Теперь, раз тебя встретил, туда же, куда и ты, — в редакцию. Довезешь?

Всего пять минут назад он был совершенно уверен, что его путь лежит вот к этим двум, уже видневшимся крайним домам деревни и больше никуда, а сейчас ему показалось бы странным всякое другое намерение, кроме намерения ехать в свою собственную редакцию вместе с этим свалившимся с неба Люсиным. Встреча с Люсиным была сама судьба, и, конечно, судьба счастливая. Кто бы в ту минуту на его месте усомнился, что это так?

— Конечно. Садись, — на самую маленькую, крохотную секунду запнувшись, сказал Люсин. — Правда, «эмка» не моя, из политотдела армии, но подвезет... Правда, тут шоферам на днях драконовский приказ вышел: никого не подсаживать, — ну да, я думаю, ничего, а?.. — обратился он к шоферу, который стоял рядом, вытирая тряпкой руки.

— Да уж ладно! — радуясь счастью этого вдруг встреченного человека, улыбнулся шофер. — Тем более, если что, вы на себя возьмете! — добавил он и, открыв дверцу машины, освободил для Синцова место рядом с занимавшим половину заднего сиденья дорожным скарбом.

Шофер сел за руль, Люсин рядом с ним, а Синцов, поерзав плечами, втиснулся на заднее сиденье; из горы накрытых плащ-палаткой вещей ему на колени с грохотом свалились котелок с остатками пригорелой каши, ложка и автомобильная фара.

— Вы под ноги пихните, — обернувшись на грохот, сказал шофер. — Тут одну машину разбомбило, я кое-что раскулачил с нее.

Они ехали довольно быстро. И Синцов подумал, что так часа через три они могут оказаться в самой Москве. Почти неправдоподобным казалось, что всего двое суток назад утром, в это время, он был в плену... А через три часа будет в Москве... Это

было почти невероятно, так же как и то, что впереди него сидел Люсин и что машина везла их в их собственную редакцию.

У него даже появилась, наверное, несбыточная, но все-таки как в лихорадке заколотившая его надежда: а вдруг Маша никуда не уехала и он через несколько часов увидит ее?

— Слушай! — окликнул Синцов Люсина. Хотя, в сущности, они раньше знали друг друга всего-навсего неполные сутки, но все пережитое с тех пор на войне добавило к этим суткам такую силу давности, что она с первой же минуты заставила их обоих говорить друг другу «ты». — Слушай! — Синцов в таких вещах был прямолинеен. — Ты не обиделся на меня тогда, под Бобруйском?

Он слишком много горя хлебнул с тех пор сам, чтобы задним числом чувствовать себя неправым перед Люсиным, но теперь он лучше, чем тогда, понимал, как трудно пришлось Люсину под Бобруйском, и не хотел оставлять между собой и им даже тени обиды.

Люсин расхохотался, не поворачиваясь к Синцову, и хохотал, пожалуй, чуть дольше, чем следовало человеку, который в самом деле нисколько не был обижен.

— Нашел о чем говорить! — сказал он сквозь смех. — Во-первых, я и забыл давно: в стольких переплетах с тех пор был! А во-вторых, наоборот, благодаря тебе получил боевое крещение.

«Благодаря тебе» как раз и было признаком незабытой обиды, но Синцов в ту минуту не обратил на это внимания.

— А знаешь, я потом встретил того капитана-танкиста, и он...

— Смелый мужик, но холера! — перебил Люсин.

— Нет, ты слушай! Он говорил даже, что они тебя к медали представили, но потом, когда ты в редакцию вернулся, похерили.

— Ну и наплевать! — сказал Люсин, хотя ему было вовсе не наплевать. И, обернувшись к Синцову, раздвинул борта шинели. — Видал?

На груди у него была новенькая медаль «За отвагу».

— И без их помощи получил!

— За что?

— За ельнинские бои. С начала до конца в одной дивизии просидел. И угадал: как раз она Ельню и взяла. Командиру дивизии — Героя, а мне — медаль!

Он непроизвольно сказал о командире дивизии и о себе так, словно только о них двоих и стоило говорить.

— Значит, не ругали меня танкисты! — Люсин не удержался и возвратился к приятной для него теме.

— Нет.

— А что они еще говорили?

— Да больше ничего. Разговор о тебе так, мельком зашел,— сказал Синцов, не заметив, как этим «мельком» задел Люсина. — Не успели поговорить, через два часа опять в окружение попали.

И он стал вперемежку рассказывать о двух своих окружениях — о первом и о втором.

Люсин несколько раз перебивал его через плечо вопросами и замечаниями и, только когда Синцов сказал о письмах, отправленных с Мишкой Вайнштейном, опять повернулся всей грудью:

— Да ну? Вот где он был, оказывается! А его потом искали, искали... Никаких следов! Пропал!

— Пропал... — глухо, как эхо, повторил Синцов, на секунду явственно, как живого, увидев перед собой Мишку, заботливо засовывающего в карман гимнастерки листки того, недошедшего, значит, письма. Пропал... А тогда казалось, что все будет наоборот...

— Пропал! — повторил Люсин. — А ты что, не знаешь?

— Откуда ж я знаю?..

— Ну да, конечно.

— Ну ладно, бог с ними, с моими баснями! — вдруг посреди рассказа прервал себя Синцов, вспомнив слова старшего лейтенанта и с облегчением подумав о перемене в положении, которая произошла между тем Синцовым, который сидел ночью в избе и выслушивал подозрительные вопросы старшего лейтенанта, и тем Синцовым, что ехал сейчас вместе с Люсиным в Москву. — Расскажи, что в редакции, а главное, что на фронте творится, и в Москве, и вообще...

— На фронте, насколько я понимаю, дерутся,— сказал Люсин. — Немцы жмут, а мы деремся. Что же нам больше делать?

Хотя положение в армии, из которой он возвращался, на самом деле было тяжелым и она отступала под ударами немцев, но Люсин, проведя последние дни на передовой, несмотря ни на что, возвращался в редакцию в лучшем настроении, чем уезжал. Он уезжал тогда в неизвестность, в пучину слухов о происшедшей катастрофе, но даже самая тяжкая действительность отступления все-таки вблизи оказалась лучше того, что он представлял себе издали. Кроме того, он возвращался живой и здоровый... Он ответил Синцову правду, хотя и выразил ее с некоторой развязностью человека, спешащего подчеркнуть свою бывалость.

— А что в Москве, не знаю. Возможно, кое-кто и в штаны наклал, были такие настроения, когда я уезжал. Приедем — увидим,— добавил он с интонацией ревизора.

Тем временем они проехали мост, по сторонам которого зарывали в землю бетонные коробки дотов, потом миновали противотанковый ров и уходившую за горизонт полосу сваренных из рельсов рогаток, потом несколько рядов кольев, приготовленных под колючую проволоку, и снова еще не врытые в землю бетонные коробки дотов.

— Всюду строят. Я тоже вчера из окружения прямо на стройбатовцев вышел,— сказал Синцов.

Неизвестно, как бы повернулось дело, не начни он этот разговор, но он начал его, а начав, неотвратимо добрался до того места, из которого Люсину стало окончательно ясно, что он везет с собой в Москву человека без документов.

Конечно, Люсину, попавшему на фронт в первые дни войны, такие случаи были не в новинку, но зато ему в новинку было то, что именно он, Люсин, а не кто-нибудь другой, и именно сейчас, когда немцы под Москвой, на свою ответственность везет в Москву человека, вышедшего из окружения безо всяких документов. Собственно говоря, мысль о такой возможности возникла у него сразу, в первую же секунду, когда Синцов спросил: «Довезешь?» — и этой мыслью и была вызвана та крошечная пауза, которую сделал Люсин, прежде чем сказать: «Конечно!» Но тогда, когда они садились в машину, у него не хватило духу сразу спросить об этом: в повадке Синцова было что-то такое уверенное, что язык не повернулся. А теперь Синцов сам запросто рассказывал, что у него нет никаких документов. Да еще ругал этого старшего лейтенанта, который, по мнению Люсина, может, и был дурковат, но в общем-то действовал правильно.

Синцов продолжал рассказывать, не заметив того, как шея Люсина впереди вдруг стала негнущейся, деревянной, Люсин перестал поворачивать голову, а в паузах вместо прежних восклицаний и вопросов с трудом выдавливал из себя короткие «да-да».

А Синцов все еще не замечал этого и продолжал говорить. То, что у него нет документов, особенно после вчерашней истории со старшим лейтенантом, представлялось ему бедой, которую еще придется расхлебывать. Но сам факт, что он сейчас ехал с Люсиным, не в пример старшему лейтенанту знавшим, кто он и откуда, ехал в редакцию, где его тоже знают и где он, возможно, служил бы и до сих пор, не забудь они его в госпитале в Могилеве,— все это, вместе взятое, на время приглушило в нем ощущение действительных размеров свалившейся беды.

Он все еще говорил и говорил, увлекшись и совершенно не замечая, что Люсин перестал реагировать. Ему и в голову не могло прийти то, о чем думал сейчас Люсин, а между тем Люсин

думал о вещах, имевших отношение ко всей будущей судьбе Синцова.

Один контрольно-пропускной пункт они проехали еще до начала разговора о документах, проехали без подробной проверки. Боец с флажками только поглядел на притормозившую машину, увидел, что в ней все военные, и пропустил.

Но сейчас впереди, на девятнадцатом километре, им предстояло остановиться на первом уже собственно московском КПП, отличавшемся особенной строгостью. Люсин помнил это еще по своему выезду из Москвы и сейчас жестоко ругал себя за легкомыслие, с которым забрал в машину Синцова.

«Вот дурак! Надо было сразу спросить,— мучался он, готовый стукнуть себя кулаком по лбу. — Спросить и не взять, посоветовать, куда явиться, и пообещать сообщить в редакцию! А теперь что?..»

— Товарищ политрук,— словно отвечая его мыслям, сказал шофер, обеспокоенный и рассказом Синцова, и еще больше хмурой физиономией Люсина,— двадцать второй проехали, сейчас двадцать первый промахнем, а там на девятнадцатом и КПП...

Люсин ничего не ответил, еще с полкилометра проехал молча, борясь с собой, и вдруг строго сказал:

— Остановите машину! Давайте-ка выйдем на минуту,— повернулся он к Синцову.

Синцов вышел, недоумевая, почему они остановились именно здесь.

Как раз в этом месте на шоссе никого не было. Справа виднелся лес, слева — поля и дачные домики. Он силился вспомнить, как называется эта подмосковная местность, но не мог.

— Отойдем вон туда, подальше. — Люсин взял его под руку и отвел на несколько шагов от машины. Он не хотел разговаривать при шофере, потому что хоть и считал себя правым, но стыдился предстоящего разговора.

— Слушай! — стесненно начал Люсин. — Положение под Москвой напряженное, сейчас будет КПП, а у тебя нет документов.

Но Синцов уже понял все, прежде чем Люсин договорил фразу.

Люсин ожидал, что Синцов хоть что-нибудь ответит, но Синцов только смотрел ему в глаза тяжелым взглядом, предоставляя ему, если он захочет, говорить дальше, а не захочет — остановиться на сказанном.

— Ну, что ты молчишь? — сказал наконец Люсин.

— А что мне говорить?

— Если бы ты мне хоть сразу, когда садился в машину, сказал, что у тебя нет документов...

Синцов молчал, и у него было такое лицо, что Люсину показалось: сейчас размахнется и ударит!

Люсин даже чуть-чуть отодвинулся, переступил с ноги на ногу и только после этого спросил:

— Ну, так что?

— Хорошо,— глухо сказал Синцов. — Доставь меня на КПП, и я сойду.

— Тут уже недалеко,— с запинкой сказал Люсин. — Я, конечно, могу подвезти тебя еще немного, но перед самым КПП нельзя, надо хоть за полкилометра...

— А почему за полкилометра, почему не на КПП? — Синцов уже начинал понимать, почему не на КПП, но у него не было оснований щадить Люсина.

— Потому что... — Люсин запнулся. Предстояло самое трудное. — Потому что строго запрещено возить посторонних, тем более без документов. Ты сам подумай, и водителя мы подводим, и мне будут бессмысленные неприятности. А тебя все равно задержат, со мной или без меня, все равно остановят на этом КПП... А я везу материалы. Мне не из-за себя, а из-за них надо спешить! А мне прямо здесь, на месте, могут пять суток дать за то, что я тебя везу вот так, без документов... Им даны такие права! А тебе — доедешь ты или дойдешь — какая разница?..

— Подумаешь, какое дело — пять суток! — Синцов усмехнулся, несмотря на всю тяжесть своего положения. — По-твоему, нет, а по-моему, большая разница: с тобой я приеду на КПП, ты меня сдашь или я один, пешком, приду из окружения! Черт его знает, как я вдруг здесь, под самой Москвой, оказался! Откуда шел? Почему? Поди объясни, что ты не дезертир!

— Ничего! — сказал Люсин. — Пока тебя задержат и начнут выяснять, я буду уже в редакции, мы свяжемся по проводу прямо с этим КПП...

— Да уж ты свяжешься! — презрительно сказал Синцов. — Ладно, езжай! — отрезал он и, не глядя больше на Люсина, уперся взглядом в землю.

— Ну что ты, в самом деле? — попробовал смягчить положение Люсин.

— Брать меня не надо было,— по-прежнему не глядя на него, с трудом выдавил из себя Синцов. — А взял — вези. Не бойся пяти суток. А боишься — не надо было брать...

Сейчас Люсин не думал, что Синцов ударит его. Но Синцов как раз сейчас был близок к этому.

— Сволочь ты! Тот старший лейтенант хоть не знал меня, а ты... Просто мелкая сволочь! Шкура!

Он на секунду поднял ненавидящий взгляд на Люсина, повернулся спиной и, кинув за спину руки, до хруста стиснул их.

— Ну и как угодно! — не найдясь, что ответить, крикнул Люсин, так, словно он предлагал Синцову какой-то выбор, а Синцов не соглашался его сделать.

Люсин влез в машину, хлоппул дверцей, и машина тронулась. Синцов, стоя спиной, слышал, как она уезжает.

Никогда еще в его жизни не рушилось за одну минуту столько надежд!

Он повернулся и, продолжая держать руки за спиной, долго глядел вслед машине, пока она не скрылась из виду.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Школа связи, в которой Маша Артемьева училась уже три месяца — с середины июля, размещалась на дачах бывшей лесной школы, на тридцатом километре старого Калужского шоссе.

Под вечер 16 октября Машу и ее подругу Нюсю Журавскую отпустили переночевать в Москве, чтобы взять дома кое-что из носильных вещей. Вещи могли понадобиться им в тылу у немцев.

Было холодно и ветрено; обе женщины всю дорогу проехали в кузове грузовика, шедшего в Москву за продуктами. Они лежали на соломе, натянув поверх себя толстый брезент, которым обычно накрывали груз. Маша пригрелась, и ей в темноте под брезентом казалось, что это не грузовик, идущий за продуктами в Москву, а тот ночной самолет, на дне которого, вот так же лежа в темноте, она пересечет фронт и будет выброшена с парашютом в тылу немцев. Курс занятий кончился неделю назад, и сейчас она с ночи на ночь ждала последнего инструктажа и отправки.

Она уже знала, что будет выброшена вместе со своей рацией на одну из трех возможных точек вблизи Смоленска и что ей придется потом идти в город на агентурную работу. По легенде, которая была для нее составлена в дополнение к паспорту на чужое имя, она бывала в Смоленске в детстве, вместе с матерью, а теперь, не успев уехать из Витебска, потеряв во время бомбежки мать и проскитавшись несколько месяцев в поисках пристанища, решила добраться до Смоленска, к жившей там тетке. Адрес этой тетки — живого человека, с настоящими, а не липовыми, как у Маши, именем и фамилией — и был той явкой, которую ей предстояло заучить в последний момент, перед вылетом.

Маша лежала в кузове грузовика, прижимаясь грудью к теплой Нюсиной спине, и, чуть слышно шевеля губами, повторяла: «Вероника, Вероника...»

Вероника было имя той девушки, за которую ей предстояло выдавать себя, и это имя ей не нравилось. Ей казалось, что она никогда не сможет откликаться на него так просто, без всякого удивления.

«Вероника, Вероника...» — неслышно твердили ее губы.

С той секунды, когда сегодня после вечерней поверки командир роты скомандовал: «Всем разойтись! Артемьева и Журавская, ко мне!» — Маша почувствовала, как будущее надвинулось и стало из будущего настоящим.

Она не ошиблась. Командир роты дал им увольнительные до утра, с тем чтобы они взяли у себя на квартирах в Москве «гражданское», как он выразился, платье. Это значило, что не только Машу, но и Нюсю забросят на агентурную работу: радисток, которых забрасывали в партизанские отряды, посылали в обмундировании и полушубках.

«Зря ее сюда...» — подумала Маша о своей подруге. Она думала об этом уже несколько раз. Ей казалось, что Нюся, слишком нежно воспитанная и слишком неопытная, еще ничего не видевшая в жизни, не годилась для агентурной работы. Кроме того, она слишком бросалась в глаза своей красотой, на нее могли сразу обратить внимание...

О себе Маша не думала этого. Она больше всего боялась самого полета, особенно с тех пор, как неделю назад у нее при тренировочном прыжке не раскрылся парашют и она едва успела выдернуть кольцо запасного.

Она перевернулась на соломе, прижалась к Нюсе холодной спиной и чуть приоткрыла брезент, чтобы хоть одним глазом видеть летевшее над грузовиком небо. Это было вечернее, осеннее, холодное небо, без луны и звезд, без облачков и тучек, серое и ровное, такое, что сколько ни гляди, все равно ни на нем, ни сквозь него ничего не увидишь.

«Есть же на свете люди, которые хоть что-то знают, хорошее или дурное! — подумала Маша. — Вот Нюся знает, что ее отец был в окружении, вышел и сейчас — ведущий хирург полевого госпиталя на Западном фронте; он пишет ей письма, и она пишет письма на его полевую почту... А ее брат был ранен, у него отняли ступню, и он лежит в госпитале в Казани и тоже пишет ей письма... И многие другие люди пишут и получают письма или встречают людей, которые или сами видели, или хотя бы что-то слышали про тех, о ком у них спрашивают... А я о своих не знаю ровно ничего — ни плохого, ни хорошего, ни одного слова... Не знаю про дочь, не знаю про мать, не знаю про мужа, и на мою долю остается только неотступно думать: живы они или нет?»

В первую неделю пребывания в школе она наивно, как теперь понимала, попросила, чтобы, когда пройдут курс, ее, если это возможно, использовали в районе Гродно.

— Это зачем же? — резко спросил комиссар школы. Он знал из анкеты и автобиографии все обстоятельства Машиной жизни, но считал в такую минуту ненужным и даже вредным щадить ее чувства. — Зачем? — повторил он. — Чтобы свою семью самолично спасать? Это и без вас постараются сделать, а вы своим появлением можете только погубить их, да и сами... Ничего себе идея! — сердито усмехнулся он. — Жене политрука, прожившей с мужем полтора года в Гродно, теперь возвращаться туда на подпольную работу! Вы что, из семейных соображений, что ли, к нам в школу пошли? Тогда напрасно.

— Нет, конечно,— сказала Маша, отчасти солгав, потому что нелепая надежда, что она, перебравшись через фронт, сможет если не найти мать и дочь, то хоть что-то узнать о них, тоже сыграла какую-то роль в ее решении пойти именно сюда, в эту школу.

С тех пор прошло три месяца, и в конце концов она при всем трагизме этой мысли все-таки привыкла к тому, что мама и Таня «там» и что, если они живы, она узнает о них очень не скоро; но зато мысль, что она улетит в тыл к немцам, так ничего и не узнав о муже, оставалась по-прежнему непереносимой.

В самом деле трудно было представить себе, что тогда, в июне, на вокзале, он пожал через решетку ее руки, намотал ремень полевой сумки, вскочил на ходу в вагон... Потом, заслонив его, вскочил еще кто-то... И на этом все, абсолютно все оборвалось...

Она три раза писала запросы, на которые не получила никакого ответа, и два раза благодаря своему упорству пробивалась в политуправление: один раз — сразу после зачисления в школу, еще в июле, другой раз — уже недавно, в сентябре, специально для этого получив увольнительную на двенадцать часов.

В первый раз, в июле, ей сказали, что у них временно нет сведений о дислокации армейской газеты «Боевое знамя», в которой служит ее муж. И этот ответ не только встревожил, но одновременно и успокоил ее: они ничего не знали не только о Синцове, но и о всей редакции, а вся редакция не могла же исчезнуть! Не знают, но будут знать! Она оставила номер почтового ящика школы и просила батальонного комиссара, который принимал ее, чтобы он написал ей хоть два слова, как только будут первые известия о редакции. Батальонный комиссар обещал, но за два месяца ничего не прислал.

Кроме батальонного комиссара она оставила свой адрес жившему в их доме товарищу покойного отца — Зосиме Ивановичу Попкову. Старик Попков взял у нее ключ от почтового ящика и обещал через день наведываться к ним в подъезд и, если придет какое письмо, сразу отослать ей. Но за все это время ей не пришло ни одного письма.

Когда в сентябре она во второй раз пришла в политуправление, уже к другому батальонному комиссару,— тот, первый, ушел на фронт,— новый батальонный комиссар сказал: «Да-да, редакция «Боевого знамени» благополучно вышла из окружения и ныне действует в положенном ей месте, и редактор в ней прежний, тот же, что был до войны, Гуреев. Но, к сожалению, в ответ на запрос оттуда поступил официальный ответ, что секретарь редакции политрук Синцов из отпуска к месту службы не прибыл».

Два месяца назад Маша, наверно, стала бы убеждать батальонного комиссара, что этого не может быть, что она сама провожала мужа, когда он уезжал в Гродно... Но теперь, в сентябре, уже поняв многое из того, чего она не понимала, да и не могла понимать в июне и в июле, она только вздохнула и пошла прочь, позабыв даже проститься.

«Не прибыл из отпуска,— значит, не доехал. А что значит «не доехал»? Если бы попал в госпиталь или воевал в какой-нибудь другой части, написал бы. Значит, где-то в окружении. Что же еще?»

Так она думала, успокаивая себя, думала, стараясь быть твердой и отвергая все другие возможности. Но вместе с тем в душе ее жило щемящее чувство, почти материнское, почти такое, какое она испытывала, вспоминая о дочери. И когда она ослабевала и давала волю этому чувству, муж — большой, сильный, широкоплечий человек — казался ей меньше малого ребенка...

И земля и война казались ей тогда невообразимо огромными, и на этой войне затерялся один, никому не известный, никому не нужный, кроме нее, маленький человек — ее муж... И то, что из этого огромного далека какая-то нить вдруг свяжет его, затерянного там, с ней, оставшейся здесь, в такие минуты казалось ей чудом.

Это чувство испытывала она и сейчас, глядя в медленно движущееся над грузовиком низкое серое небо. Это небо не хотело ответить ей ни на один ее вопрос, хотя, казалось, знало все. Маша не знала, но ведь кто-то же знал, где сейчас он, что он делает, где лежит, что думает. Главное, где он?

«Любовь... — вдруг подумала Маша. — А что такое любовь? Что нам было хорошо с ним или что я тоскую по нем и, бывает,

плачу ночами? Что не хочу смотреть ни на кого другого? Или что пишу ему письма, которые некуда отправлять? Да, все это так, и все-таки все это так мало по сравнению с тем, что я чувствую, что хочу и не умею сказать! Не знаю, не знаю... А чего я хочу сейчас больше всего? — снова спросила она себя. — Больше всего я хочу...»

Она задумалась и твердо ответила себе, что больше всего она хочет сейчас быть там, где он...

«А если там страшно и меня могут убить? Все равно хочу! А если нас ранит? Все равно хочу, пусть ранит обоих! А если умрем? Все равно, пусть вместе умрем...»

И, кто знает, может, именно эти мысли и были сейчас, в пожаре войны, ответом на тот главный вопрос, задумавшись над которым она только что шептала: «Не знаю... не знаю...»

Маша опять наглухо прикрылась брезентом от задувавшего в кузов ветра и еще раз повернулась на другой бок. Мысли о муже заставили ее вздохнуть прямо в ухо подруге, и та, выпростав из перчатки руку, погладила ухо: ей стало щекотно.

— Хитрая: греешься об меня! — сказала Нюся и сладко зевнула. — Хорошо, если бы газ горел, зашли бы ко мне, помылись...

— А что же, может, и горит,— сказала Маша.

— Вряд ли. Сводка-то какая, просто ужас!..

И хотя она сказала «ужас», и хотя их обеих, так же как и других курсанток, прочитавших вчерашнюю сводку со словами «Положение на Западном направлении фронта ухудшилось», ужаснули и поразили эти слова, но все-таки всего ужаса этой сводки они еще не поняли.

Их школа жила замкнутой жизнью, жила мыслями, устремленными в недалекое и опасное будущее там, за линией фронта. Закутываясь на ночь в жесткую бязевую простыню и пегое казарменное одеяло, Маша думала всегда об одном и том же — о том, как кончатся эти тихие дни в лесной школе, с занятиями у доски, со сборкой и разборкой радиопередатчиков, с завтраками, обедами и ужинами в заведенное время, с ночными шепотами о будущем, и начнется само это будущее там, за линией фронта. Она думала о том, как в первый раз придет на явку и какими будут те люди, с которыми ей придется работать: верными, надежными или вдруг кто-нибудь из них окажется предателем? Она думала о том, что если попадется в руки к немцам, то ее будут пытать, и она, что бы с ней ни делали, должна молчать обо всем, что узнала здесь, в этих тихих домиках детской лесной школы, которая давно уже не лесная и не детская...

Логика их жизни была такова, что эти мысли о будущем порой невольно оттесняли у Маши и ее подруг мысли о том, что

сегодня делается на фронте. Они прежде всего и с особенным вниманием прочитывали сообщения из-за линии фронта о том, как товарищ С. или товарищ К. со своим партизанским отрядом уничтожили в лесах столько-то фашистов, или совершили налет на фашистский штаб, или подожгли цистерну с горючим, или минировали дорогу, или сожгли дом, в котором поселился вернувшийся помещик — барон фон Бидерлинг... Их мысли больше, чем на сводках с фронта, были сосредоточены на том, что делается там, за его линией, где они скоро очутятся сами. И проявлявшаяся в этом доля эгоизма, пожалуй, была простительной, если подумать обо всем, что им предстояло...

Грузовик круто затормозил. Над самым ухом у Маши за бортом послышалась знакомая фраза: «Прошу предъявить документы». Ехавший в кабине начхоз школы интендант третьего ранга Бурылин зашелестел бумагами, потом этими же бумагами зашелестел тот, кто взял их в руки, и сухой голос, сначала приказавший предъявить документы, теперь спросил:

— А что у вас в кузове?

— В кузове двое моих военнослужащих, но я старший по команде.

— Это ничего не значит,— сказал все тот же голос.

Маша и Нюся сели, откинув загремевший над головой брезент.

Через борт грузовика заглядывал высокий лейтенант с худыми, обтянутыми скулами. За спиной его стоял не один, а целых трое патрульных.

— Ваши документы! — сказал лейтенант.

Маша и Нюся достали свои отпускные билеты и предъявили ему.

Он внимательно проглядел их, вернул и, даже не остановив взгляда на Нюсе, что было большой редкостью, отвернулся.

— Можете следовать.

— Смотри, какой сердитый! — сказала Нюся.

— Целых четверо,— сказала Маша, глядя назад.

Она снова вспомнила о вчерашней вечерней сводке со словами: «Положение на Западном направлении фронта ухудшилось». И эта сводка, и четверо патрульных вместо двоих, которые стояли здесь в сентябре,— все это тревожно кольнуло ее в сердце.

Вдоль обочин шоссе громоздились сваренные из двутавровых балок, еще не установленные противотанковые ежи. Потом грузовик проскочил мимо баррикады, оставившей на шоссе узкий проезд, только для одной машины. В последние дни в школе знали, что Москву укрепляют и даже строят баррикады, но знать

было одно, а видеть эти баррикады, да еще при самом въезде в Москву,— совсем другое.

— Ложись, а то холодно. — Нюся уже успела улечься на дно грузовика.

Маша с трудом оторвала глаза от шоссе и, накрывшись брезентом, снова легла рядом с Нюсей.

Трудно сказать, к лучшему или худшему это было, но из-за того, что они, пригревшись, пролежали под брезентом еще полчаса, пока грузовик ехал от заставы до Пироговской, они так и не увидели по-настоящему ни окраин Москвы, ни того, что происходило на них в этот вечер.

Грузовик остановился.

— Ну что, здесь вас, что ли, сбрасывать? — спросил Бурылин, приоткрыв кабину и постучав ладонью по кузову.

Маша и Нюся, одна за другой, вылезли из-под брезента и, ставя ногу на колесо, соскочили с машины.

Мимо них по мостовой вразброд, не в ногу, проходила колонна штатских, вооруженных винтовками людей. Люди были разного возраста, одетые кто во что: кто в пальто и кепки, кто в ушанки и ватники. Они шли угрюмо, без песен, некоторые на ходу курили.

— Такие, девушки, дела! — не вылезая из кабины, вздохнул Бурылин. Хотя, свернув со старого Калужского шоссе, они проехали всего несколько улиц, он успел увидеть то, чего не увидели лежавшие в кузове под брезентом курсантки. — Такие-то дела, девушки! — повторил он и подумал о собственной семье: жене и двух детях, живших на том конце города, у Семеновской заставы, и о том, что надо успеть втиснуть их ночью в какой-нибудь уходящий на восток поезд. — Получу продукты на складе и завтра в семь ноль-ноль подъеду сюда, будьте готовы, ждите прямо на улице.

Грузовик уехал, оставив Машу и Нюсю одних на тротуаре, на углу переулка.

— Пойдем сразу ко мне, а! — поеживаясь на холодном ветру, попросила Нюся. — У тебя ведь никого нет.

Маша продолжала следить глазами за уходившей вдаль по мостовой нестройной колонной штатских людей и, занятая своими тревожными мыслями, не сразу ответила Нюсе.

— Ну как? — повторила Нюся.

Машин дом был рядом, за углом, а Нюсин — через пять кварталов, и Нюсе очень не хотелось идти одной.

— Нет, я сначала соберу вещи, а потом приду к тебе,— сказала Маша.

— Ладно, я подожду.

— Нет, ты не жди, иди, я потом приду.

Она отказалась сразу идти к Нюсе не из-за вещей, а из-за того, что хотела зайти к старику Попкову, узнать, нет ли ей письма. Но она не хотела объяснять этого Нюсе: объяснять — значило бы говорить о муже, о своей тревоге за него, значило бы искать душевной поддержки у человека, который сам нуждался в ней, потому что был не сильнее, а слабее ее, Маши.

— Хорошо, я пойду,— покорно сказала Нюся, робевшая перед Машиной твердостью.

Сказала, но словно все еще ожидая, что Маша перерешит, нервно закурила папироску. Она стояла перед Машей, боясь расстаться с ней, высокая, красивая и стройная даже в своей неподогнанной солдатской шинели и слишком широких кирзовых сапогах.

А Маша внимательно смотрела на нее и чувствовала рвущую сердце нежную жалость к этой Нюсе с ее красивым и, как Маше казалось, безвольным лицом, с ее длинной и гибкой — сразу и сильной и слабой — девичьей фигурой.

Глядя сейчас на Нюсю, Маша подумала о том, о чем думала уже не раз: что она старше и сильней Нюси, старше и сильней еще и тем, что она замужем, что у нее есть муж, ребенок... Да, есть, хотя она ничего не знает о них.

Глядя сейчас на Нюсю, Маша подумала о том, о чем и Нюся и другие девушки иногда вспоминали в разговорах между собой: что их ожидает, если там, в тылу, они попадут в руки немцев живыми, не успев покончить с собой? Маша чуть не вскрикнула от этой мысли, но сдержалась и вместо всего, что подумала, сказала своим чистым и спокойным, печально зазвучавшим голосом:

— Какая ты красивая, Нюся! — И вспомнила, что именно эти слова говорил ей Синцов, любуясь ею, совсем не такой красивой, как Нюся, говорил ей даже тогда, когда она вот-вот должна была родить Таню и когда она — Маша это наверное знала — была вовсе не красивая. И, вспомнив это, она с тревогой подумала уже не о Нюсе, а о себе, о своем будущем полете в тыл к немцам и, рассердившись на себя за эту трусливую мысль, резко, почти грубо сказала Нюсе:

— Ну, иди, что ты стоишь!

Сказала и пошла в свой переулок.

Минуя знакомое парадное, она мельком заметила, что двери распахнуты настежь, и вошла во двор. Во дворе не было ни души, а все окна были слепыми от черных полотнищ маскировочной бумаги. Около дальнего седьмого подъезда, где на верхнем этаже жил Попков, Маша чуть не упала, споткнувшись о выброшенный во двор тюфяк.

На лестнице было черно, как в трубе. Добравшись до верхнего этажа, она долго шарила кнопку звонка, но так и не нашла и стала стучать в дверь. За дверью не отвечали. Потом раздался хриплый голос Попкова:

— Кто там?

— Это я, Зосима Иванович, Маша.

Она до сих пор, по детской привычке, робела перед сварливым стариком.

Старик ничего не ответил, ноги его прошлепали в комнаты и обратно к дверям. Он долго возился с засовом и цепочкой и наконец открыл дверь.

— Заходи. Один я, недомогаю.

В коридоре свет не горел, и Попков сразу проводил Машу в столовую. В этой же столовой стояла большая никелированная кровать со смятой постелью. После смерти жены Попков вместе с кроватью перебрался в эту комнату, а во вторую пустил жить женатого сына.

— Садись! Чего стоишь? — Попков мимоходом оправил постель и сам первый сел за стол, придерживая у горла старую, когда-то выходную шубу с вытертым барашковым воротником, надетую прямо поверх белья.

Маша села напротив него за знакомый стол. Как она себя помнила, точно такой же стол стоял у них в квартире. Машин отец и Попков в одно время и в одном магазине купили два таких обеденных раздвижных стола, когда вместе вселялись в конце двадцатых годов в эти первые рабочие квартиры.

— Ну, что скажешь? — спросил Попков, глядя на Машу и поглаживая ладонью свою бритую голову с заметно отросшим вокруг лысины седым ежиком: в квартире было холодно, и голова у него мерзла.

— Что же я скажу? — Маша пожала плечами. — Думала, может, вы мне что скажете.

— Сказал бы, да нечего. Пустой твой ящик, вчера выходил, глядел.

Маша вздохнула так, словно задула огонек.

— Что вздыхаешь? — ворчливо сказал Попков и сам глубоко вздохнул. — Недели две ящик твой не глядел — в больнице лежал с ущемлением грыжи,— а вчера поглядел. Пустой,— повторил он.

— А где ваши?

— Уехали. Завод-то эвакуировали...

— А вы что же?

— Говорю тебе, с грыжей лежал! Малость поподымал лишнего — вот и нажил...

Попков вышел на пенсию еще три года назад, но с начала войны вернулся в цех.

— Что же теперь, за ними поедете?

Но старик покачал головой.

— Ждать да догонять — хуже нету. Где-нибудь тут пристроюсь, в каком-нибудь оставшемся заводишке, мины точить. Раньше бы уехал, а сейчас душа не лежит. Беглецов из Москвы и без меня многовато. Да ты сама по улицам шла, видала. Утром вышел хлеба купить, поглядел на это бегство и плюнул: тьфу ты господи!..

Попков любил называть вещи своими именами.

— На дворе — стыдно сказать — матрацы валяются, пух летит, как при еврейском погроме. Нет, я теперь из Москвы ни шагу, из принципа! — Он закашлялся, залез рукою под шубу и потер грудь.

— Вы, по-моему, и сейчас нездоровы, Зосима Иванович.

— Так, простыл чего-то. Только выписался и разом простыл. Одно к одному... Уехал завод в город Миасс. Есть, говорят, такой город в Челябинской области, сын приходил, говорил, когда я в больнице лежал. А где точнее — хрен его знает, по карте искал-искал, так и не нашел. Вот до чего дошли! Коренной завод наш, московский, в такую дыру закинуло, что даже на карте ее нету... Ты чего прибыла-то? — поднял он глаза на Машу. — Если за письмами, так я — будут — отправлю. В бега не ударюсь, не бойся. Как в доске ржавый гвоздь, буду сидеть тут до победы и одоления... Или, думаешь, немец Москву возьмет?

— Что вы, Зосима Иванович! — Маша даже вскрикнула от неожиданности этого вопроса, и старик понял, что мысль эта не приходила ей в голову.

— А что, очень даже просто,— радуясь ее уверенности, но по привычке поддразнивая, сказал Попков. — Поглядела бы, как сегодня днем тут некоторые ходу давали! Я одного приостановил, спросил — дюжий такой мужчина: «На отъезд разрешение имеешь?» Так он за все карманы сразу схватился, бумажонками полтротуара засыпал. А кто я ему? Почему испугался? Значит, нет у него ничего за душой, кроме дрожи в поджилках!

Старик вытащил из-за пазухи руку и сердито махнул ею по столу, словно сгребая невидимый глазу сор.

— Ну, а ты? Не за письмами, так что?

— На днях на фронт нас отправляют, зашла кое-какие вещи взять,— соблюдая правила школы: ни с кем не делиться своими тайнами, сказала Маша.

— Значит, и вас на фронт? А кто же вы есть такие?

Маша молча смотрела на него.

— Ладно, не отвечай, коли не вправе! — без обиды сказал Попков. — Только в одном меня успокой: что же, у вас весь такой батальон, женский, как при Керенском? Или и мужики есть?

— Есть. — Маша невольно улыбнулась.

— Ну и слава богу! Значит, до этого дело у нас не дошло еще. — Попков вздохнул и долго молчал, словно колебался, заговорить ли ему с этой мало еще чего видевшей и знавшей в своей жизни девчонкой о том самом для него важном, о чем он неотступно думал все последнее время. Но говорить об этом сейчас, кроме Маши, ему было не с кем, а молчать он больше не мог. — Я с одним полковником в больнице лежал — хотя и с фронта, а не раненый, тоже, как у меня, грыжа просто. Оказывается, это и на фронте не отменяется. Спрашиваю я его: «Ну, скажи ты мне, что это за такая за «внезапность»? Где же вы были, я ему говорю,— военные люди? Почему товарищ Сталин про это от вас не знал, хотя бы за неделю, ну за три дня? Где же ваша совесть? Почему не доложили товарищу Сталину?»

— И что же он вам сказал? — Маша сама уже много раз задавала себе этот мучительный вопрос, но еще никогда не задавала вслух так прямо и бесстрашно, как это делал сейчас Попков.

— Чего сказал? А ничего не сказал. Нагрубил мне, старику. А тебе, наверно, все понятно? — усмехнулся Попков. — Меня тут одна молодая барышня с нашего двора в прошлом месяце за длинный язык воспитывала: все ей понятно было. А сегодня с чемоданом в руках так через двор ударилась, бедная, аж ноги подламывались. Если и тебе все про все понятно, тогда бог с тобой, лучше молчи.

— Не знаю я, Зосима Иванович. Мы ведь полтора года прожили почти на границе, в самом Гродно, и кто же из нас не думал там о войне?! Конечно, все думали! А потом как ослепление какое-то перед самой войной маму с Таней там оставить! Я не знаю, как другие, я просто о себе и о муже думаю: как же мы могли это сделать? Не знаю. Даже теряюсь, когда думаю об этом.

— А теперь я тебе скажу, как я понимаю,— после долгого молчания строго и даже торжественно сказал Попков. — Какая такая была «внезапность», я не знаю — не моего ума дело. Когда за стенкой гости придут, на стол собирают, и то людям слышно! А как это так, чтоб под боком целое войско собрали — и не слыхать, не знаю! Но я другое скажу. Что обсчитались мы, какая у немца сила,— это верно. Что сила у него огромная, тоже верно. Потому он и пошел прямо с границы ломать нас. — Попков положил руки перед собой на стол и всем телом подался к Маше. — Ты уже не маленькая, кое-что помнишь и на своем веку. Скажи мне хотя бы про свой век: как ни тяжело нам было, а пожалели

мы когда-либо чего-либо для Красной Армии? Было когда такое, что надо на Красную Армию дать, а народ бы не дал? Нет, ты отвечай! Было такое или не было?

— Не было,— сказала притихшая Маша.

— А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть! Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить! А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали? Да я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую, жил, только бы у Красной Армии все было, только б она с границы не пятилась... Почему не сказали по совести? Почему промолчали? Прав я или нет?

Маша не знала, прав или неправ сидевший перед ней и говоривший, нет, уже не говоривший, а кричавший все это Попков. Но, несмотря на всю горечь того, о чем он кричал ей, она чувствовала в его душе такую силу, которая заставляла ее и себя чувствовать сильной, готовой на все — на баланду, на восьмушку хлеба,— да что там на восьмушку хлеба! — на любой бой, на любую смерть, только бы исправить, переделать все по-другому, чтобы не немцы шли на нас, а мы на немцев!

— Ничего, Зосима Иванович!—радуясь нахлынувшему на нее чувству, почти весело сказала Маша. — Мы еще свернем им шею.

— Спасибо, разъяснила старому дураку! — недовольно отозвался Попков. — Кто в конце концов сверху будет, а кто под низом, не хуже тебя знаю! А вот почему сейчас уже какой месяц под низом?..

— Но почему, почему под низом? — сказала Маша, даже растерявшись от нового натиска старика. — Идут бои, конечно, тяжелые...

— Что идут бои, в сводках читаю,— продолжал гнуть свое Попков. — Здесь их побили, тут пленили, там остановили... И при всем том третьего дня Брянск и Вязьму отдали! Так как же это выходит: сверху или под низом, как это по-вашему, по-военному? Ты военная — вот и ответь!

Маша ничего не успела ответить ему: за окном разом близко ударили зенитки.

— А я думал: чего они сегодня припоздали? — спокойно сказал Попков и, поглядев на старые, еще дореволюционные ходики, встал и спросил: — Пойдешь в убежище?

— А вы?

— А ну его! Там как глухарь внутри котла сидишь, а сверху молотит и молотит. Решил: лучше дома быть... Так как, пойдешь или нет?

— Нет, я тут с вами пережду.

— Тогда давай свет погасим, а штору вздернем,— сказал Попков, обрадованный тем, что Маша осталась. — Я тут в прошлую ночь сидел у окошка, смотрел. Интересная картина!

Прихватив у горла ворот шубы, он дошел до выключателя, погасил свет и, шаркая в темноте ногами, поднял бумажную штору.

Маша присела на подоконник, рядом со стариком. Квартира была на верхнем этаже, дома кругом были невысокие, и перед глазами открывалось целое небо, в котором все клокотало, гремело и стучало тысячами молотков. Это небо было словно одна громадная черная, натянутая над всем городом простыня, которая каждую секунду с треском лопалась в тысяче мест, и всюду, где она лопалась, вспыхивали шарики зенитных разрывов.

Совсем близко, за домом, раскатисто била зенитная батарея, от времени до времени своим грохотом перекрывая все остальные звуки, а между ее залпами, словно в испорченном радио, обрывками слышалось высокое гудение самолетов. Несколько раз дом вздрагивал от разрывов бомб, где-то невдалеке вспыхивали и погасали языки пламени.

Потом Маша услышала, как что-то звякнуло совсем рядом.

— Осколок от снаряда,— сказал Попков. — Об балкон. — И, повернувшись к Маше, добавил: — Может, отойдешь, а то залетит, как бы стеклами не порезало...

Маша, ничего не ответив, продолжала смотреть в небо.

— Да, зенитная оборона серьезная, задаром сквозь нее не пробьешься,— проговорил в один из моментов относительной тишины Попков, и, словно подтверждая его слова, высоко в небе, между желтыми шариками зенитных разрывов, вспыхнуло большое, необыкновенно желтое пятно, потом сделалось из бесформенного пятна желтым углом, потом полукрестом и, разваливаясь на маленькие гаснущие пятна, полетело вниз, в темноту.

— Сбили! — закричал Попков.

Зенитный огонь начал затихать, желтые шарики лопались все реже и реже, а скрещенные на куполе неба руки прожекторов стали одна за другой отваливаться к горизонту.

— Одна волна прошла. — Попков продолжал смотреть в окно. — Вот так ночью кажется — Содом и Гоморра, а утром выйдешь на улицу — только кое-где курится. Здесь дом, там дом, а Москва цела!

При этих словах Попков опустил штору, и они на минуту остались в полной темноте.

— Ну ладно, война — это преходящее,— сказал Попков и зажег свет. — Может, чаю с тобой попьем?

Маша поблагодарила и отказалась. Нюся ждет и, наверное, даже волнуется. Надо скорей захватить вещи и идти к ней ночевать.

— Спасибо, Зосима Иванович! Я в другой раз как-нибудь!

— А когда в другой раз? — строго спросил старик.

Она пожала плечами:

— Не знаю.

— Ладно, иди! — Попков захлопнул за Машей дверь и загремел цепочкой.

Маша снова пересекла двор и вошла в свой подъезд. Дул ветер, и распахнутые створки дверей с подсунутыми под них кирпичами терлись и сиротливо скрипели.

И Маша подумала: а вдруг там, наверху, на втором этаже, в почтовом ящике на дверях их квартиры, за круглыми дырочками, лежит и ждет ее пришедшее не вчера, а только сегодня письмо, но это письмо не от Синцова, а о том, что он убит?..

Ощупью, держась за перила, она поднялась по темной лестнице, достала из кармана гимнастерки ключ и стала нащупывать замочную скважину. Но рука ее наткнулась на что-то неожиданно звякнувшее. Она вздрогнула, сначала отдернула руку, а потом нащупала проволочное кольцо со связкой ключей. Один ключ торчал в замочной скважине.

Маша потянула за дверную ручку, и незапертая дверь пугающе приоткрылась. Маша минуту неподвижно простояла в тишине, холодея от необъяснимого страха перед этой дверью с ключами, и, рассердясь на себя, резко распахнула дверь и вошла в квартиру.

Сначала ей показалось, что все тихо, но потом она услышала доносившееся из второй комнаты прерывистое дыхание. Она перешагнула порог спальни и, вспомнив о фонарике, вытащила его из кармана шинели.

На кровати, на голом тюфяке, ничком, свесив голову, спал Синцов, в ушанке, ватнике и рваных сапогах. Он спал мертвым сном, не шевелясь, тяжело, простуженно дыша.

Окно не было затемнено. Погасив фонарик, Маша на ощупь бросилась опускать бумажные шторы в обеих комнатах, потом побежала в кухню, опустила штору и там, выбежала на лестницу, вытащила из двери связку ключей, снова вошла, закрыла за собой дверь и, щелкая подряд всеми выключателями, зажгла две оставшиеся лампочки — в передней и в кухне.

Только после этого она вернулась в спальню. Через открытые двери из передней падал слабый свет. Синцов по-прежнему лежал ничком, свесив голову с тюфяка. Опустившись на колени, Маша приподняла голову мужа и переложила ее на подушку. Из-под

крепко надвинутой на голову ушанки виднелся краешек грязного бинта, и Маша побоялась снять ее.

Синцов не просыпался. Маше показалось, что он в жару. Она приложилась губами к его виску, но висок был не горячий, а влажный, в капельках пота.

Тогда Маша с лихорадочной быстротой сбросила с себя ушанку и шинель, сняла сапоги, словно могла их громыханием разбудить этого без памяти спавшего человека, побежала в кухню, зажгла газ, еле-еле, слабым лиловатым светом мерцавший в горелке, сняла с гвоздя большой жестяной таз, налила в него воды и поставила на плиту.

Потом она открыла ключом шкаф в столовой, достала белье, простыни, одеяло, снова подошла к кровати и только тут, всем телом потянувшись к мужу, обняв его плечи и прижавшись грудью к его спине, горько и счастливо заплакала.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Таким мертвым, беспробудным сном, каким спал Синцов, мог спать лишь человек, дошедший до последней степени изнеможения.

Он пришел сюда и заснул, повалясь на голый тюфяк, незадолго до прихода жены.

Между той минутой, когда он заснул, и той минутой, когда он, высаженный из машины Люсиным, остался один на шоссе, в двадцати километрах от Москвы, прошло восемь часов, и эти восемь часов дорого ему стоили.

Оставшись один на шоссе, он пожалел, что сдержался и не ударил Люсина. Что ему было делать теперь? Наверное, несмотря ни на что, правильнее всего было идти на КПП и пробовать объяснить, как он тут оказался и куда идет. Но люди не всегда делают то, что правильнее.

Стоя один на шоссе, Синцов одновременно и проклинал себя за то, что поехал с Люсиным, и уже не хотел отступать. Раз Москва рядом, он все равно дойдет теперь до своей бывшей редакции, дойдет вот с этого места, где его бросил товарищ Люсин.

В том состоянии отчаяния и бешенства, в котором Синцов находился, он запальчиво решил, что попробует добраться до редакции, минуя все КПП. А если не удастся, если его задержат раньше, разница невелика — и так и так ему придется доказывать одно и то же: что он не дезертир и не собирался им быть!

Ему почти наверняка не удалось бы пройти в Москву ни за день до этого, ни днем позже. Но именно в этот день — 16 октября, сойдя с шоссе и минуя контрольно-пропускные пункты, он добрался до хорошо знакомой окраины, а потом, так никем и не задержанный, дошел до самого центра Москвы.

Потом, когда все это осталось в прошлом и когда кто-нибудь в его присутствии с ядом и горечью заговаривал о 16 октября, Синцов упорно молчал: ему было невыносимо вспоминать Москву этого дня, как бывает невыносимо видеть дорогое тебе лицо, искаженное страхом.

Конечно, не только перед Москвой, где в этот день дрались и умирали войска, но и в самой Москве было достаточно людей, делавших все, что было в их силах, чтобы не сдать ее. И именно поэтому она и не была сдана. Но положение на фронте под Москвой и впрямь, казалось, складывалось самым роковым образом за всю войну, и многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы поверить, что завтра в нее войдут немцы.

Как всегда в такие трагические минуты, твердая вера и незаметная работа первых еще не была для всех очевидна, еще только обещала принести свои плоды, а растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние вторых били в глаза. Именно это было, и не могло не быть, на поверхности. Десятки и сотни тысяч людей, спасаясь от немцев, поднялись и бросились в этот день вон из Москвы, залили ее улицы и площади сплошным потоком, несшимся к вокзалам и уходившим на восток шоссе; хотя, по справедливости, не так уж многих людей из этих десятков и сотен тысяч была вправе потом осудить за их бегство история.

Синцов шел по улицам Москвы, где никому не было дела до него в этот страшный московский день, когда люди, теряя друг друга, искали, не находили, ломились в запертые квартиры, отчаянно ждали на перекрестках, под остановившимися часами, кричали и плакали в водоворотах вокзальных площадей.

Люсин давно выскочил из головы Синцова; злоба на этого человека оказалась ничтожной и мелкой в том наводнении горя, которое захватило и, как щепку, волокло Синцова по московским улицам. Он проклинал уже не Люсина, а себя; поступи он по-другому, пойди в Особый отдел, как решил сначала, быть может, ему уже дали бы в руки винтовку там, за сто километров от Москвы, где решалась ее судьба. Но, чтобы получить надежду на это, надо было довести до конца начатое: попасть в редакцию.

Наконец он свернул от Никитских ворот, забитых сплошной пробкой из машин и людей, в Хлыновский тупик, к редакции «Гудка», где бывал когда-то еще перед войной.

В тупике, так же как и повсюду, стоял запах гари, порывы ветра взвивали с места и вертели в воздухе пепел сожженных бумаг. Все окна в редакции были наглухо завешены изнутри маскировочными шторами, а у запертых на висячий замок дверей сидел на табуретке старик вахтер в черной железнодорожной шинели, с мелкокалиберной винтовкой в руках. Сидел, не обращая внимания на суету бежавших мимо него по тупику людей с вещами.

Синцов подошел к нему и, хотя отрицательный ответ был уже очевиден, все-таки спросил, не приезжала ли сюда фронтовая редакция. Вахтер молча повел головой.

— А «Гудок» что, уехал? — снова спросил Синцов, хотя было ясно, что «Гудок» уехал.

— А вам чего? — только теперь, подняв голову, спросил вахтер. — Какие ваши документы будут? Предъявите!

— А зачем вам документы?

— А затем, чтобы знать, положено вам отвечать или не положено! — сердито сказал старик.

Да, «Гудок» уехал, а фронтовая редакция не приехала и неизвестно, приедет ли. Это было ясно. Но Синцов все еще топтался в тупике и смотрел на окна редакции, не зная, что делать дальше.

Он вдруг подумал о том, что раз в Москве нет редакции, то надо хотя бы найти Серпилина; ведь его увезли в госпиталь именно сюда, в Москву...

«Но как ты его найдешь? — спросил другой, трезвый голос. — Какой госпиталь? Кто среди всего, что здесь творится, ответит тебе сегодня, где Серпилин?»

Недалеко отсюда, на Арбатской площади, стояло здание Политуправления армии. Он вспомнил, как был там в сороковом году, перед назначением в Гродно, и подумал: «Может, пойти туда? Но кто пустит туда без документов? Да и там ли оно сейчас? Вряд ли... Но если не туда, то куда же? Куда же идти?..»

В голове у него опять мелькнула мысль, которую он давно отгонял от себя: «А вдруг Маша все-таки в Москве?» И эта несбыточная мысль, хотя он все еще сопротивлялся ей, потащила его из Хлыновского тупика на Усачевку, в дом, из которого он уехал на войну.

Посредине пути он еще раз заставил себя не думать о невозможном: конечно, там, в квартире, никого нет. И он идет туда вовсе не потому, что на что-то надеется! Ему просто надо хотя бы на час где-то присесть, прийти в себя, хоть на лестнице! Потом он встанет и пойдет... А куда? Да просто-напросто в военкомат. Пойдет и скажет, не вдаваясь ни в какие объяснения, что

доброволец, просит записать... Ведь формируется же что-то, ведь бросают же людей прямо на фронт!.. А там после первого боя объяснит! Тогда это будет уже не важно, важно одно: чтобы сейчас его взяли и отправили на фронт! Да, конечно, так!

Но в самую последнюю минуту, когда он подошел к дверям дома и вдруг вспомнил во всех подробностях, как Маша в июне вон там, за этим окном на втором этаже, собирала его на фронт, все мысли, кроме мысли о ней и о том, что вдруг она здесь, вылетели у него из головы.

Двери в подъезде были распахнуты настежь, под створки подложены кирпичи, на тротуаре валялись обломки кресла. После всего, что Синцов видел, проходя через Москву, это не могло удивить его; отшвырнув обломки ногой, он поднялся на второй этаж и ударил в дверь кулаком.

Уже давно поняв, что за дверью никого нет, он все еще бил кулаками в дверь, прижимаясь к ней лицом, и в этом безнадежном, свирепом стуке была вся сила переполнившего его отчаяния.

Наконец он выпрямился, повернулся и, махнув рукой, спотыкаясь, сошел с лестницы.

Из ворот задом выезжал грузовик с домашним скарбом и мешками, нагруженными так высоко, что верхние цеплялись за низкую арку ворот. На мостовой лихорадочно приплясывал какой-то человек, поводя в воздухе руками и крича: «Левей, левей, а теперь вывертывай, вывертывай!..» Грузовик наконец выехал; приплясывавший на мостовой человек остановился, вытер рукавом драповой куртки потное лицо, и Синцов узнал его. Это был здешний управляющий домами, не то Клюшкин, не то Кружкин,— Синцов знал его еще с тех пор, как ухаживал за Машей, но не помнил его фамилии.

— Слушайте! — крикнул Синцов. — Слушайте! — повторил он погромче и, шагнув к управдому, схватил его за воротник куртки так, что та затрещала.

— Вы чего, с ума сошли? — вырвавшись, крикнул управдом и даже замахнулся, но потом узнал Синцова. — Это вы там ломились?

— Я.

— Уехала ваша жена!

— Куда?

— Да разве всех запомнишь! — Управдом полез на грузовик. — А списки пожгли, все сегодня пожгли, телефонные книги и те пожгли. Все пожгли! — уже с грузовика повторил он даже с каким-то азартом. — Жена ваша еще в июле уехала — в военной форме была.

— А где она? — крикнул Синцов, шагнув за уже трогавшимся грузовиком.

— Эй, эй, постойте! — вдруг закричал управдом и замолотил ладонью по кабине. — Эй! — позвал он Синцова, когда машина притормозила. — У меня же ваш ключ, дубликат есть.

Он рывком расстегнул портфель, вытащил оттуда согнутое из толстой проволоки большое кольцо, на котором болталось десятка два ключей.

— Какой тут ваш? Берите, только скорее.

Синцов подошел и стал неуверенно перебирать ключи.

— Ну, ну! — торопил его управдом, озираясь на нетерпеливо высунувшегося шофера. — А, да хоть все берите! — крикнул он и отпустил всю связку.

Синцов не удержал ее, и она со звоном упала на мостовую.

— А куда же вы? — спросил Синцов, когда борт грузовика проехал перед его глазами.

— Куда все, туда и я! — крикнул управдом. — Я член партии. Что же мне, немцев тут дожидаться, чтобы повесили?

«Эх ты, член партии!» Синцов поднял ключи и со злостью вспомнил только что сжимавшую их, свесившуюся с грузовика, крепкую, волосатую руку.

Перебирая один за другим ключи, он вдруг подумал, что в квартире может лежать оставленная Машей на всякий случай записка... И эта мысль о записке так завладела им, что он бегом поднялся по лестнице, отпер дверь и вбежал в квартиру, оставив снаружи в двери кольцо с ключами.

Записки не было. Ни на обеденном столе, где стояла знакомая кустарная пепельница — деревянная лодка с лебединой головой, ни в спальне, на кровати, где лежали только голый полосатый тюфяк и подушка без наволочки, с торчащими перьями.

Шкаф был заперт на ключ. Синцов подергал за ручку — шкаф не открылся. На всем — на полу, на стульях, на столе без скатерти — лежал толстый слой пыли. В столовой подрагивала от ветра форточка с треснувшим стеклом; он прихлопнул ее и сел за стол, тяжело бросив на него исхудалые руки.

Все, через что и он и все, с кем он был, с такою твердостью прошли, начиная с Могилева, имело смысл или не имело смысла в зависимости от ответа на один простой вопрос: победим мы или не победим в этой так страшно начавшейся для нас войне? Не только в том строевом синодике, который он, выйдя из первого окружения, сдал под Ельней Шмакову, а прямо в душе его был длинный список всех жертв, на которые на его глазах шли люди, покупая своими смертями победу. Но сейчас на его же

глазах против всего этого кровавого списка здесь, в Москве, ставился огромный черный, как само горе, знак вопроса.

Быть может, в другом состоянии он и отделил бы в уме даже самую страшную возможность потерять Москву от бесповоротного поражения и конца всему. Но сейчас его душа напоминала лодку, на которую одну за другой грузили столько тяжестей, что она в конце концов начала тонуть. И ко всему еще эта молчащая, пустая квартира — ни жены, ни ребенка.

Ему швырнул ключ от этой квартиры человек, который уезжал из Москвы, потому что назавтра — так думал этот человек — сюда, в Москву, должны прийти немцы. И этот человек на забитом барахлом грузовике удирал из Москвы — Синцов готов был в этом поклясться,— наверняка удирал без приказа, со своей бычьей шеей и крепкими, волосатыми руками, которым бы в самый раз сжимать винтовку...

Нет, Синцов не завидовал этому спасавшемуся бугаю, но то, что у него самого не было партийного билета в кармане, то, что он не мог теперь пойти через три улицы отсюда, в тот самый райком, где он когда-то вступал в партию, пойти и сказать: «Я, коммунист Синцов, пришел защищать Москву, дайте мне винтовку и скажите, куда идти!» — невозможность сделать это угнетала его.

Он думал об этом до тех пор, пока вдруг, именно вдруг, как это порой бывает с самыми важными решениями в нашей жизни, ему не пришло в голову: «А почему? Почему я не могу прийти в райком и сказать: «Я, коммунист Синцов, хочу защищать Москву»? Что я, перестал быть коммунистом? Этот бугай на грузовике коммунист, а я перестал им быть? Пусть мне не поверили, пусть еще кто-то не поверит, но я-то знаю, кто я такой. Почему же я думаю о том, чтобы идти в Особый отдел, в редакцию, в военкомат, и боюсь пойти в свой райком, где я вступал в партию? Кто может запретить мне это? Кому дали такое право?»

Он встал из-за стола, и его покачнуло от слабости. Он пошел на кухню и в темноте долго шарил на полках, пока, на свое счастье, не нашел полбуханки превратившегося в сухарь хлеба. Он подошел к умывальнику и попробовал, идет ли вода. Вода шла. Прислонясь к стене, он стал размачивать хлеб под краном и один за другим жадно жевать мокрые, расползавшиеся в пальцах куски.

Он дожевывал последний кусок, когда за стенами дома грянули зенитки. В незатемненном окне метнулась полоса прожектора: разрыв бомбы колыхнул дом.

Синцов закрыл кран и, слушая стрельбу зениток, снова подумал о том самом страшном, о чем думал сегодня уже несколь-

ко раз, перед чем даже его беда была совершенно ничтожной: «Неужели сдадим Москву?!»

— Сейчас пойду! — шепотом сказал он сам себе, вспомнив о райкоме, но, оторвавшись от стены, почувствовал, что нет, сейчас не дойдет: ему нужно немного полежать. Полежать, а потом идти. Шаря рукой по стене, он дошел до спальни, ухватился за холодную никелированную спинку кровати и плашмя повалился на голый тюфяк.

— Сейчас полежу и пойду,— неслышно и упрямо шептал он. — Полежу четверть часа и пойду...

Когда Маша стала будить его, он, еще не проснувшись, повернулся и застонал, сначала грозно и хрипло, а потом так жалобно, что у Маши чуть не разорвалось сердце. Теперь она была готова еще хоть час вот так сидеть над ним, не пытаясь его разбудить, но он уже просыпался. Из глубины его усталого сознания поднималось что-то мешавшее ему спать. Все еще не просыпаясь, он пошевелился, раскинул руки, тяжело, с двух сторон опустил их на Машины плечи, сжал их и вдруг, словно его ударили, открыл глаза — в них не было ни сна, ни удивления, только одно счастье, такое безмерное, какого ни до, ни после этого за всю Машину жизнь ей не дано было увидеть ни в чьих глазах.

Заставь Синцова хоть целый век придумывать, какого бы счастья он хотел, он все равно бы не придумал ничего, кроме этого дорогого, мокрого от хлынувших слез лица, неудобно прижатого к его щеке. Весь ужас многих дней и самого ужасного из них, сегодняшнего,— все отодвинулось куда-то за тысячи верст. Он снова ничего не боялся.

Держа Машу за плечи и приподняв ее лицо над своим, он улыбнулся. Улыбка была не страдальческой и не жалкой, она была самой обычной, прежней его улыбкой. И Маша, глядя в страшно изменившееся, исхудалое лицо мужа, подумала, что его вид, так испугавший ее в первую секунду, еще не означает ничего плохого.

Со всей нерассуждающей прямотой и ясностью, на какую была способна ее собственная чуждая колебаний душа, она сама поспешила объяснить себе все случившееся: он командовал партизанским отрядом, и его вызвали на самолете в Москву. Почему командовал и почему вызвали именно его и на самолете, она не задумывалась: как раз вчера у них в школе рассказывали, что недавно в Москву привезли на самолетах из немецкого тыла несколько командиров отрядов и прямо с аэродрома, в чем были, повезли на доклад.

Где и кем только не был Синцов в ее мыслях за эти месяцы! Но сейчас, с первой минуты именно так объяснив себе появление мужа, она уже не думала о нем никак иначе.

Отпустив ее, Синцов приподнялся и привалился к стене. Движение стоило ему усилия, на лице проступила бледность.

— Что у тебя с головой? Ты ранен?

Он, напрягшись от ожидания боли, двумя руками снял ушанку. Но на этот раз бинты не прилипли к ней, ему не было больно, и глядевшая ему в глаза Маша поверила, когда он сказал, что это так, царапина.

— Может, перевязать тебя?

Но он сказал, что не надо. Третьего дня ему наложили повязку по всем правилам, и лучше ее не страгивать.

— Что с мамой и Таней? — спросил он и, прежде чем она заговорила, уже прочел на ее лице ответ.

Он больше ничего не спрашивал — да и что спрашивать? — а только несколько минут молча держал ее за руки, так же как тогда, в последний час их прощания через решетку, на Белорусском вокзале...

Маша похудела, подстригла волосы короче, чем раньше, и в своей военной форме с немножко широким, не по шее, воротником гимнастерки вдруг снова превратилась из женщины в девушку, и даже не в ту, какой была перед самым замужеством, а в ту, которую Синцов провожал когда-то, шесть лет назад, на Дальний Восток.

— Все-таки пошла на военную службу,— сказал он наконец.

— Пошла.

— Я так и считал. Даже и не думал, что встречу тебя здесь.

— Значит, нас сам бог свел,— порывисто сказала Маша. — Меня ведь только сегодня отпустили. Я уже месяц не была здесь. И чтобы именно ты и именно я, в один день...

— Значит, очень нужно было увидеться,— сказал Синцов, и на его изможденном лице появилась так хорошо знакомая Маше добрая улыбка старшего, гораздо больше ее знающего человека. — Не удивляйся. Лучше сама расскажи: почему пришла, и почему месяц не была, и что у тебя за служба, и где?

Маша сделала слабую попытку возразить: все, что было с ней, не так уж интересно. Но он, тихонько взяв ее за руки у запястий, мягко, но властно остановил ее.

— Я все тебе расскажу, но это долгая песня. А вот ты мне скажи сразу, в двух словах: где ты служишь? На фронте еще не была?

Маша посмотрела на его худое, усталое лицо, на резкие, незнакомые складки у потрескавшихся губ, заглянула ему в глаза,

в которых тоже было что-то такое,— она не могла уловить что, но что-то такое, чего не было раньше,— и поняла, что ему надо или не говорить ничего, или говорить все. Скупясь на слова, потому что ей казалось важней всего поскорей вымыть и уложить его, она коротко рассказала о себе, нарушая одним махом все полученные в школе строгие инструкции: никому, нигде, ни при каких обстоятельствах... По правде говоря, она даже не подумала сейчас об этом, потому что ни обстоятельства, в которых она оказалась, ни человек, с которым она всем этим делилась, не могли быть предусмотрены ни в каких инструкциях.

Синцов слушал ее, по-прежнему держа за руки и каждый раз чувствуя, как они вздрагивают в его ладонях, когда Маша по ходу рассказа хотела сделать какой-нибудь жест. Она рассказала ему все, кроме двух вещей: что ее будут забрасывать в ближайшие дни и что ровно в семь утра за углом, на Пироговке, ее будет ждать грузовик.

Он слушал ее, не меняя выражения лица, только, кажется, еще больше побледнев. Если бы он услышал все это три месяца назад, а тем более до начала войны, наверное, он бы ужаснулся тому, что предстояло Маше, и так бы прямо и сказал ей. Но сейчас, после всего пережитого, хотя его сердце наполнилось тревогой за нее, он не чувствовал себя вправе сказать ей ни слова. Он видел в окружении женщин, делавших не меньше, чем то, что только еще собиралась сделать Маша. Почему же она не имеет права на это? Потому что их он не любил, а ее любит?

— Ну что ж,— справившись с собой, сказал он, когда Маша замолчала и с тревогой посмотрела ему в лицо,— может, где-нибудь там, за фронтом, встретишь кого-нибудь из наших с тобой вяземских знакомых.

— А ты думаешь, Вязьму не успели эвакуировать?

— Думаю, что не успели,— сорвавшимся голосом сказал Синцов; при этом вопросе его передернуло от воспоминаний. — Думаю, не успели,— повторил он. — Как и другие города. — Он приблизил свое лицо к ее лицу и, переменив тон, сказал тихо и спокойно, как маленькой: — Ты, наверно, вообще еще не до конца себе это представляешь.

— Очень устал? — спросила Маша.

Синцов закрыл глаза и снова открыл их.

— Трудно было?

Синцов чуть заметно кивнул,— у него закружилась голова, и он старался овладеть собою.

— Когда прилетел в Москву, сегодня? — тихонько спросила Маша; ей показалось, что он, закрыв глаза, что-то вспоминает.

И оттого, что она спросила так тихо, и оттого, что он боролся в эту секунду с головокружением, он не расслышал слова, которое бы его удивило,— «прилетел», а услышал только последнее слово «сегодня» и слабо кивнул головой.

— Сейчас я тебя раздену, вымою и уложу спать,— сказала Маша. И, сама испугавшись слова «вымою», чтобы ему не пришло в голову, что он ей неприятен и не мил такой грязный, какой он есть сейчас,— порывисто взяла его тяжелую, в ссадинах и кровоподтеках руку и раз за разом горячо поцеловала ее.

— Вымоемся, хорошо? — спросила она, поднимая глаза.

Что ему было сказать?

— Да, хорошо, конечно, хорошо! — Чего он еще мог хотеть, как не того, чтобы эти сильные, нежные, маленькие руки, которые он столько раз вспоминал, раздели его, вымыли, уложили в постель?

— Я как только увидела тебя, сразу поставила греть на кухне воду.

— Сразу же и поставила? Вон ты какая рассудительная,— улыбнулся Синцов.

— Я не рассудительная, а просто хочу тебе помочь, ты, помоему, очень ослабел.

— Да, немного ослабел. — Синцов взял ее маленькую, чистую руку в свою, большую, грязную, и на секунду испытал желание до боли стиснуть ее.

— Я совсем забыла. Может, ты хочешь есть? — спросила она.

— Нет, пока не хочу,— сказал он, с удивлением почувствовав, что и в самом деле не хочет сейчас есть. — Иди на кухню, а я разденусь тут и приду. — И, увидев через дверь брошенную на стол Машину шинель, добавил: — Только дай мне шинель, я ее накину.

Он подождал, пока она принесла шинель и ушла, проводив ее глазами, спустил ноги на пол и стал стаскивать сапоги.

Потом он стоял на кухне в жестяном тазу, а Маша мыла его, как матери моют детей, как старые няни моют в госпиталях больных и раненых.

Когда Маша стала мыть его, она сразу заметила у него два красных рубца на боку.

— Ранили? — тихо спросила она, и он молча кивнул: да, ранили.

— Дай мне, пожалуйста, кружку воды,— сказал Синцов, когда Маша, как больного, обхватив под мышки и подпирая плечом, довела его до постели и усадила.

Пока Маша ходила за водой, он лег. Простыни были чистые, с неразгладившимися складками, поверх простынь и одеяла

лежала Машина шинель. Он потрогал пальцами надетую на себя после мытья чистую полотняную рубашку, потом понюхал ее — рубашка, несколько месяцев лежавшая вместе с Машиными вещами, пахла знакомым одеколоном. Другая такая же рубашка была надета на подушку вместо наволочки.

Маша принесла ему воды, пока он пил, закрыла дверь и подняла на окне штору, а потом, приняв у него кружку, быстро разделась и легла рядом с ним, зябко подоткнув под бок полу шинели.

— Почему ты не спишь? Ты же так устал, я чувствую.

— Устал, а спать не могу.

— Зачем ты садишься?

— Так мне легче рассказывать. Я должен, я хочу рассказать тебе...

— Потом. Лучше ляг. Ты устал. Я просто боюсь за тебя, так ты устал. Может, тебе мешают спать прожекторы? Я встану и опущу штору...

— Ничего мне не мешает.

— Ну, тогда накрой плечи. На́ шинель. Тебе будет холодно. Ты непременно хочешь сидеть?

— Да... Ты даже не знаешь, что значит для меня сегодня увидеть тебя...

— Почему не знаю?

— Нет, не знаешь. Пока я тебе не расскажу всего, что со мной было, ты не можешь знать. Когда расскажу, тогда будешь знать. Ты даже не представляешь себе, какую необыкновенную благодарность я испытываю к тебе сейчас.

— Благодарность? За что?

— За то, что любишь меня.

— Какая чепуха! Разве можно за это благодарить?

— Да, можно благодарить.

Она почувствовала, что он взволнован еще чем-то, не только их свиданием, но не могла понять: чем? Она сама была полна благодарности к нему за то, что он воевал, что был ранен и остался жив, за то, что он снова здесь, с нею... Но за что ему быть благодарным ей, она искренне не понимала. Не за то же, что она целовала ему руки и мыла ноги, не за то же, что любит его, как раньше или еще больше?.. В конце концов, это так естественно, как же иначе?

А он и в самом деле испытывал огромную благодарность к ней за силу ее любви и за то, что, вновь испытав эту силу, он был теперь в состоянии рассказать ей обо всем терзавшем его душу так, что казалось, эта душа при смерти.

Он вздохнул и улыбнулся в темноте, как бы простившись

этой улыбкой со всем тем добрым и нежным, что уже было между ними за эту ночь. Она не видела его улыбки, но почувствовала ее и спросила:

— Ты улыбаешься? Чему ты улыбаешься?

— Тебе.

И, сразу став серьезным, сказал, что для него всего на свете дороже ее вера и ее помощь в эту тяжелую для него минуту.

— Почему тяжелую?

— Тяжелую,— повторил он. И вдруг спросил: — Ты что подумала, когда увидела меня вот так, в чужой гимнастерке, в ватнике? Наверное, подумала, что я вернулся из партизан? Да?

— Да.

— Нет, дело гораздо хуже. — И повторил: — Да, гораздо хуже, гораздо!

Она вздрогнула и напряглась. Он думал, что сейчас она спросит его, что это значит. Но она не спросила. А только приподнялась и села.

Пока он говорил, ее колотила внутренняя дрожь, а он, наоборот, почти все время говорил ровным, негромким голосом, который, если бы она немножко меньше знала его, мог бы показаться ей спокойным.

Как ни трудно ему это было, но он говорил ей обо всем подряд, с самого начала, потому что иначе она не поняла бы его. Он рассказал ей о ночи под Борисовом, о сошедшем с ума красноармейце; о Бобруйском шоссе и смерти Козырева, о боях за Могилев и двух с половиной месяцах окружения. Он говорил обо всем, что видел и что передумал: о стойкости и бесстрашии людей и о их величайшем изумлении перед ужасом и нелепостью происходящего, о возникавших у них страшных вопросах: почему так вышло и кто виноват?

Он говорил ей все, не щадя ее, так же как его самого не щадила война. Он обрушил на нее за эти два или три часа всю силу горечи и всю тяжесть испытаний, которые на него самого обрушились за четыре месяца, обрушил все сразу, не соразмерив ни силы своих слов, ни величины ее неведения, мера которого была очень велика, несмотря на то что она знала войну по сводкам и газетам и что у нее были глаза, уши и свой собственный здравый смысл, подсказывавший ей, что все происходящее, наверное, еще тяжелей, чем о нем говорят и пишут. Но все это было одно, а то, что говорил Синцов, было другое, несоизмеримо более страшное и потрясающее сознание.

Маша сидела на кровати, чтобы унять дрожь, зажав в зубах уголок подушки, на которую вместо наволочки была надета рубашка мужа.

Если бы он мог видеть ее, то увидел бы, что она сидит без кровинки в лице, сцепив руки и прижав их к груди так, словно молча умоляет его остановиться, пощадить ее, дать ей передохнуть. Но он не видел ее лица, а, упершись глазами в стену и одной рукой ухватившись за спинку кровати, а другой, сжатой в кулак, беспощадно рубя перед собою воздух, говорил и говорил все, что накопилось в его душе и что ему некому сейчас было сказать, кроме нее.

И только когда он рассказал о последнем бое под Ельней и о том счастье, которое он испытал в ночь прорыва, только здесь ее напряженное, окаменевшее лицо ослабело и она тихонько охнула. Это была первая минута, когда ей стало легче.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего, говори,— сказала она, совладав с собой и подумав, что дальше уже не услышит ничего страшного.

Но самое страшное было впереди, и он, не заметив, что она находится на пределе душевного изнеможения, и не дав ей пощады, заговорил об этом самом страшном: о танках на Юхновском шоссе, о новом окружении, плене, бегстве и о том, что он сидит перед ней такой, какой есть,— переживший то, что он пережил, сделавший то, что сделал, и не сделавший того, чего не смог. И если после всего этого он все-таки должен нести ответ за свою проклятую судьбу, то он готов нести этот ответ где угодно и перед кем угодно, не опустив головы. Особенно после того, как увидел ее, Машу!

— Судьба, судьба! Да плевать я хотел на свою судьбу! — вдруг возвысив голос, с судорогой в горле сказал он. — Плевать я на нее хотел, когда такое творится! Какая бы там ни была судьба, надо идти драться за Москву — и все! Кто сказал, что я не имею на это права? Врешь, имею! И еще один вопрос. — Голос его окончательно сорвался, впервые на Машиной памяти он потерял самообладание. — Почему этот старший лейтенант, там, когда я пришел к нему и сказал все, как было, почему он, ни черта не видевший, не убивший ни одного немца, только-только прибывший из своего военкомата, почему он не поверил мне? Потому, что не хотел верить! Я видел — не хотел! А почему? Почему мне не верят?

— Успокойся!

— Не могу! — крикнул он и вырвал руку, которую она хотела погладить.

Но она простила эту грубость. Да и как она могла не простить его в такую минуту!

— Успокойся,— повторила Маша.

Сейчас, когда Синцов взорвался и закричал, она вдруг стала спокойной, куда-то глубоко внутрь ушли собственные вопросы, свой готовый вспыхнуть крик: как? почему?..

— Успокойся,— в третий раз сказала она, чувствуя, что, несмотря на весь его страшный опыт войны, она сейчас, в эту минуту, сильнее и должна помочь ему. — Что ты говоришь, милый? Не говори так, не надо!.. — вместо того чтобы спорить, стала она умолять его.

И ее нежность растопила его ожесточение. Он обмяк, отодвинулся от стены, уткнулся лицом в подушку и долго неподвижно лежал так.

Маша прикоснулась к его плечу.

— Подожди, не трогай!! — сквозь подушку, глухо сказал он. — Сейчас приду в себя.

Она думала, что он плачет, но он не плакал.

— Зачем ты так, что не верят?.. — вместо прямого ответа сказала Маша. Его слова о том, что ему не верят, больше всего потрясли ее. — Как же не верят? А я?..

— Прости... — Он повернулся, лег на спину и спокойным движением дотронулся до Машиной руки.

— Да разве я для того?..

— Все равно прости!

Он замолчал. Молчала и Маша.

Ему казалось, что она думает: что же теперь делать? Но она думала о другом.

Она думала обо всем, что он пережил, и спрашивала себя: перенесла бы она все это, очутись на его месте? Наверное, не перенесла бы... Она вспомнила все бессонные ночи, когда она гадала, что с ним там, на фронте; сколько раз казалось, что его взяли в плен, то казалось, что в него стреляют, то казалось, что он где-то ранен, и мечется в бреду, и кричит ей: «Маша! Маша!» — и стучит зубами о край жестяной кружки. И вот почти все, о чем она думала,— правда: в него стреляли, его ранили, он был в плену, он просил пить и кричал: «Маша! Маша!» — и задыхался от жажды, и некому было перевязать его.

— Что ты молчишь? Что же мне, по-твоему, делать? — спросил Синцов.

Она придвинулась и, положив его забинтованную голову себе на колени, сказала:

— Я не знаю. Ты, наверное, сам знаешь лучше.

Она и в самом деле еще не знала, что ему ответить. Но она знала главное: он должен чувствовать, как она его любит. Это и было самым нужным ему ответом, и он, почувствовав силу

ее душевной поддержки, вдруг просто и коротко сказал ей о том, что уже почти решил до ее прихода: он с утра пойдет в райком, где его когда-то принимали в партию, пойдет, все расскажет, и пусть решают, как с ним быть. А боится он теперь только одного: чтобы в последнюю минуту не случилась глупость, чтобы его не задержал на дороге какой-нибудь патруль.

— Я пойду с тобой,— сорвалось у Маши, прежде чем она успела подумать, что не может этого сделать: до утра — комендантский час, а ровно в семь за ней придет эта проклятая машина!

— Значит, возьмешь за руку и отведешь, как маленького,— улыбнулся он в темноте. — Ладно, обсудим.

Он снова становился прежним — большим, сильным и спокойным.

— Я совсем забыл про одну вещь. — Он, кажется, снова улыбнулся. — У тебя нечего поесть? Я отчаянно голоден.

— Что же ты не сказал раньше? Я же тебя спрашивала!

— Тогда не хотел. Разыскал тут без тебя какую-то довоенную горбушку. Пришлось размачивать под краном.

— Ах ты бедняга! У меня есть в шинели немножко галет и банка консервов, только не знаю, какие...

— Какая разница? — рассмеялся Синцов. — Даже если кильки — выпьем потом по пять кружек воды, только и всего.

— Ты лежи,— спуская босые ноги на пол, сказала Маша. — Я пойду принесу.

— Еще чего! — сказал он, тоже спуская ноги.

Оба встали. Она, накинув на плечи шинель, а он, завернувшись в одеяло, прошли на кухню и сели за стол. Маша вынула сверток с уже успевшими искрошиться галетами, а Синцов с трудом вытащил у нее из другого кармана шинели большую банку консервов.

— То-то я все время думал: что это на ногах лежит такое тяжелое? — рассмеялся он.

— Я совсем забыла про нее.

Синцов открыл кухонным ножом банку.

Они сидели друг против друга и ели мясные консервы, макая в банку кусочки галет. Потом Синцов выпил остатки соуса и, улыбнувшись, посмотрел на Машу.

— Эх, и смешные, наверное, мы с тобой сейчас! Сидим на кухне друг против друга, босиком...

Он зевнул и виновато улыбнулся.

— Ты знаешь, хоть и стыдно, а поел — и сразу в сон, как голодную собаку...

— А что же стыдного?

И, чтобы ему в самом деле не было стыдно, поспешила солгать, что ей тоже хочется спать.

Они вернулись в комнату и легли так, как любили спать раньше, когда спали вместе: он — на спине, откинув в сторону правую руку, а она — на боку, прижавшись щекой к этой большой, сильной, тихо обнимавшей ее руке. Но едва они легли, как за окном в небе все чаще одна за другой захлопали зенитки.

— Ну вот, теперь не заснем,— огорченно сказала Маша, имея в виду не себя, а его. Ей по-прежнему не хотелось спать.

— Почему не заснем? — сонно сказал Синцов. — Как раз и заснем...

И уже через минуту Маша почувствовала, что он и в самом деле спит усталым, крепким сном. Он иногда и раньше засыпал вот так, сразу. Только дышал во сне совсем по-другому — легче и ровнее.

Все время, пока была воздушная тревога, и еще час или два после нее Маша, так и не заснув, лежала, прижавшись щекой к теплой большой руке мужа, и все думала, думала о том, что он ей рассказал.

Не то чтобы она не знала всего этого раньше, нет, она многое знала или слышала по кусочкам из вторых и третьих уст, но, наверно, нужно было услышать все это сразу и именно из уст вот этого лежавшего рядом с ней человека, чтобы почувствовать всю меру тяжести, свалившейся на плечи не только ему и ей, а всем людям, конечно, всем людям,— это-то как раз и самое страшное!

— Какое горе! — вслух сказала она, сказала не о себе и не о нем, а обо всем, вместе взятом,— о войне.

И, подумав о взятии Вязьмы и о последней сводке, беспощадно обругала себя за то, как она могла сегодня после проверки документов на заставе снова закрыться брезентом и ехать по Москве, даже не поглядев, что творится кругом...

«Как какая-нибудь обывательница!»

Она узнала из рассказа мужа, как много людей за эти четыре месяца умерло на его глазах; они думали не о себе, а о том, что надо остановить немцев. И все-таки немцы взяли Вязьму и подходили к Москве, и, значит, чтобы их остановить, нужно сделать теперь еще больше, чем уже сделано теми, погибшими, но не остановившими их людьми! И ей, ей тоже надо сделать это на той работе, которая у нее будет! Она с тревогой подумала о том, как сильно ее потряс рассказ мужа, а ведь ей предстоит увидеть все это своими глазами, а может быть, увидеть еще худшее, увидеть и не содрогнуться!

Она вспомнила, что все еще не собрала вещи и что надо это сделать, пока он спит, чтобы не украсть у него ни минуты.

Она приподняла голову с его руки, и он, не просыпаясь, согнул и разогнул затекшую руку.

Она встала, подошла к окну, задернула штору и, приоткрыв дверь в переднюю, все еще не в силах заняться чем-нибудь другим, снова подошла к кровати и, присев на сползшую на пол шинель, стала смотреть в лицо спящего мужа.

Лоб у него был потный, а руки расслабленно лежали поверх одеяла. Две резкие, незнакомые черты, шедшие от губ к подбородку, не разошлись и во сне, словно говоря о чем-то раз и навсегда грубо вошедшем в жизнь этого доброго человека, вошедшем и уже неспособном уйти.

Маша вспомнила, с какой ожесточенной, бросившей ее в холод ненавистью говорил он о немцах, разом подумала о всей этой еще не кончившейся ночи и тихо вздохнула. Завтра или послезавтра ей лететь в тыл к немцам, а она так и не сказала ему, чтобы он поберег ее. На секунду подумала, а потом забыла от счастья. А если теперь там, в тылу у немцев, на агентурной работе, вдруг окажется, что она ждет ребенка, то неизвестно, что делать! И хотя стыдно говорить об этом, но придется сегодня же спросить у комиссара школы, как ей все-таки быть, если это случится.

«Да, уже сегодня,— подумала она, взглянув на часы,— уже сегодня, и совсем скоро».

На часах было шесть; пора собираться.

Маша открыла гардероб и сначала выгребла из дальнего угла то, о чем заранее подумала как о самом подходящем,— привезенное с собой еще с Дальнего Востока, пересыпанное нафталином старое грубошерстное пальто. Потом порылась на других полках и взяла тронутый молью головной платок и кое-что из вещей матери, которые надо было ушивать в ширину и в длину.

Завязав все это в старую скатерть и положив на стол, она не спеша помылась на кухне под краном и растерлась мохнатым полотенцем так, что кожа покраснела и сразу стало тепло.

Потом так же не спеша надела обмундирование, на ощупь, без зеркала причесалась и, посмотрев на часы, села на кровать.

— Ваня! — Она уткнулась носом в подушку рядом с лежавшей на ней головой мужа и тихонько подталкивала щекой его щеку. — Ваня!

Она думала, что он долго не сможет проснуться, но он сразу проснулся и сел.

— А! Это ты! — И он улыбнулся ей своей доброй улыбкой.

Потом увидел, что она уже одета, и спросил с тревогой:

— Ты уходишь? Куда ты уходишь?

Она объяснила ему, что через полчаса, в семь, придет машина и будет стоять за углом и ей нельзя пропустить эту машину, потому что отпуск только до девяти утра.

— Ну что ж... может, так даже и лучше,— сказал он. — Ты уедешь, а я дождусь, когда совсем рассветет, и пойду, как сказал тебе вчера. Будем одеваться. Выйди на минуту, я чего-то тебя стесняюсь.

— Я отвернусь. — Она подошла к окну и, приоткрыв штору, выглянула наружу. На улице было еще темно. — Чудак ты. Вчера не стеснялся, сегодня стесняешься.

— Да, уж вот так,— сказал он, одеваясь.

Он простучал сапогами на кухню, а она, продолжая стоять у окна, слушала, как он моется там под краном.

— Ну что же,— сказал он, вернувшись и вешая на спинку кровати мокрое полотенце. — Что бы там теперь со мной ни было, поверят, не поверят, пошлют на фронт или, самое худшее,— он сделал усилие, и голос его остался спокойным,— не пошлют, а адрес все-таки дай. Напишу тебе, как будет.

Маша смешалась. Что было ответить ему? Ответить, что завтра или послезавтра она улетит? Этого она не хотела. Не ответить? Этого она не могла.

— Ты сколько еще там, у себя в школе, пробудешь? — Он покосился на завязанные в скатерть вещи. — Это что?

— Вещи собрала, за этим меня и отпустили. — Маша не успела придумать, что солгать.

— А-а... Тогда понятно. Значит, на днях?

Она кивнула.

— Но адрес все-таки дай. Что там у вас, ящик или полевая почта?

Он оторвал угол от лежавшей на подоконнике пожелтевшей газеты, записал номер Машиного почтового ящика огрызком валявшегося на буфете карандаша, положил бумажку в карман гимнастерки и усмехнулся.

— Единственный мой документ на сегодняшний день.

Потом помолчал и, желая успокоить Машу, добавил:

— Может быть, из райкома удастся как-нибудь разыскать Серпилина, я тебе говорил про него.

Маша кивнула.

— Если только он жив и здесь, то может сказать обо мне. Мне сейчас все дорого.

— Я не могу представить, чтобы кто-нибудь не поверил тебе.

— А я могу. — Он в упор посмотрел ей в глаза своими постаревшими, какими-то странными, одновременно и добрыми и

злыми глазами. И, не желая больше говорить о себе, спросил о ее брате: — Где Павел? По-прежнему в Чите?

— Да. Недавно прислал письмо.

— Бесится, что не воюет?

— Бесится... Слушай, Ваня,— сказала Маша, снова чувствуя сейчас его большим, а себя маленькой,— что будет с Москвой?

— Не знаю. Не берусь судить, не хочу врать, не представляю. Но что войну проиграем — не думай! А если думаешь — выбрось из головы! Все, что я тебе рассказал, правда. И я же тебе говорю: не проиграем войны! Ни за что!

Он сказал это с силой и, кажется, с тревогой за Машу: не поколебалась ли она по его вине?

— Нет, я и сама так думаю. — Маша поглядела ему прямо в глаза. — Я просто хотела проверить свое чувство.

Вдруг ее лицо стало отчужденным, далеким, и он сразу заметил это.

— Что с тобой?

— Машина пришла, я слышу.

Она поспешно надела шинель, оглянулась, пошарила по столу, нашла фонарик, порывисто сунула его в карман и только после этого, уже одетая, в шинели и ушанке, бросилась к Синцову на грудь и молча замерла на целую минуту, не в силах сказать ни слова.

А он за эту минуту, обнимая ее, пережил чувство полного отчуждения от всего, что было связано с ним самим, от всех своих бед, прошлых и будущих. У него остался один только беспредельный страх за Машу, за то, что она летит туда, к немцам, что это будет скоро и что никакая сила не позволит ему ни узнать, что там с ней, ни шевельнуть хотя бы пальцем, чтобы помочь ей...

— Может быть, ты проводишь меня до машины? — спросила она, отрываясь от него. — Она прямо за углом.

— Нет. Не хочу, чтобы твои видели меня. И вообще не надо ни с кем откровенничать, что ты встретилась со мной. Потом, когда, как говорится, снова выйду в люди, скажешь, если захочешь, а сейчас не надо. Ваше дело каверзное. Возьмут да и оставят тебя из-за такого мужа,— горько усмехнулся он и на секунду предательски подумал: «Вот бы и оставили».

— Не говори так!

Он еще раз быстро обнял ее, поцеловал, отпустил и даже подтолкнул к дверям. Маша, не оборачиваясь, взяла со стола узел и вышла в переднюю.

Но, когда она уже открыла дверь, он догнал ее, снова повернул к себе и спросил:

— Скажи, куда летишь? Хочу хотя бы представлять себе, где ты будешь.

— В район Смоленска,— сказала она.

— Будь осторожной,— порывисто, захлебываясь заговорил он.— Будь хитрой, как лиса, как черт, как дьявол, только не попадись к ним, умоляю тебя! Ты слышишь? Умоляю тебя! Я ничего не хочу, все не важно... все не важно... ничего не хочу, только чтобы ты была жива. Понимаешь, ты?!

Он, как сумасшедший, тряс ее за плечи и повторял эти слова, которые в другую минуту показались бы им обоим нелепыми.

Потом вдруг разом утих, улыбнулся, протянул ей руку и, подождав, пока она положила в нее свою, сжал ласково и крепко, но не до боли.

— До свидания, Маша! Машенька моя... Маша, Маша...

И, отпустив руку, повернулся и пошел назад в комнату.

Она торопливо захлопнула за собой дверь и побежала вниз.

Уже со двора она на бегу посмотрела на свое окно — оно было открыто настежь. В едва начинавшемся сереньком рассвете она смутно увидела лицо мужа. Он не махал ей руками и не кричал. Просто стоял у окна и молча смотрел ей вслед...

В десять утра того же дня Маша вошла в маленькую адъютантскую перед кабинетом начальника школы. Адъютанта не было: он куда-то вышел. Маша несколько минут подождала, вздохнула, обдернула на себе гимнастерку и постучала в дверь.

— Входите! — послышался голос изнутри.

Маша вошла, закрыла за собой дверь и сказала то, что уже привыкла говорить за три месяца пребывания в школе:

— Товарищ полковник, разрешите к вам обратиться?

— Здравствуйте, Артемьева. — Человек за столом оторвался от лежавших перед ним бумаг. — Что у вас ко мне?

— Личный вопрос, товарищ полковник.

— Сходите к комиссару.

— Комиссар уехал в Москву, товарищ полковник, а у меня срочный вопрос.

— Тогда садитесь, ждите. — И полковник Шмелев снова уткнулся в бумаги.

— Может быть, я вам мешаю, товарищ полковник? Я выйду,— сказала Маша.

— Если бы мешали, сказал бы,— не поднимая головы от бумаг, ответил Шмелев, и Маша, сев на стул у стены, стала ждать.

Полковник Шмелев был в школе человеком новым. Прежний начальник неделю назад исчез из школы, как говорили, улетел

со специальным заданием, а на следующий день вместо него явился этот Шмелев. Он прибыл из госпиталя после ранения и быстро и ловко шнырял по коридорам школы на костылях, пробуя ступать на раненую ногу.

На второй же день он поразил слушателей своей удивительной памятью на фамилии и лица, а в общем, несмотря на это, не понравился Маше: по ее мнению, он был какой-то слишком веселый, разговорчивый и вообще легкомысленный для того дела, которому их здесь обучали. Разговаривая, он иногда смешно заикался, дергал головой и подмигивал. Маша знала, что это подмигивание вовсе не шутка, а последствие старой контузии, видела два привинченных к гимнастерке полковника ордена Красного Знамени, знала, что он ранен на фронте уже в эту войну. И все-таки у нее не лежала душа идти к начальнику школы. Если бы то, что она хотела рассказать, терпело до завтра, она непременно дождалась бы возвращения комиссара, редко улыбавшегося и мало говорившего. Он внушал ей больше доверия.

Она сидела, ждала и смотрела на Шмелева. Сейчас он не заикался, не подмигивал и не шутил — он молча сидел и писал за столом, надев очки, которых Маша еще не видела на нем. В курчавой шапке его волос виднелась густая седина, а его неуловимое, меняющееся, улыбающееся лицо было сейчас усталым, неподвижным и старым.

Наверное забыв о присутствии Маши, Шмелев два раза громко вздохнул, нахмурился, сильно потер лоб, словно отгоняя трудные мысли, и продолжал писать.

Маша еще никому не говорила о том, что встретилась с мужем. В ответ на вопрос ждавшей ее у машины, встревоженной Нюси — что случилось? — она сказала, что прилегла и проспала до утра.

Она и сейчас еще до конца не пришла в себя и даже была рада, что начальник школы дал ей эту невольную передышку.

Шмелев дописал бумагу, запечатал пакет и, вызвав звонком адъютанта, приказал отнести пакет к заместителю начальника школы майору Карпову и передать, чтобы тот выезжал согласно ранее полученному приказанию.

Майору Карпову в связи с ухудшением положения под Москвой было приказано принять на одной из станций Горьковской дороги запасные помещения для школы. Маша еще ничего не знала об этом, но Шмелев занимался передислокацией школы со вчерашнего вечера и был в скверном настроении.

— Садитесь ближе, Артемьева,— сказал он после ухода адъютанта и переставил свои прислоненные к столу костыли с

правой стороны на левую. Маша придвинула стул и села. — Слушаю вас.

Шмелев дернул головой и подмигнул левым глазом, но это подмигивание вышло не веселым, как обычно, а усталым и мрачным.

— Я вчера была в отпуске, в Москве, и виделась со своим мужем... — начала Маша.

— Муж у вас Синцов? — чуть наморщив лоб, сказал Шмелев. — Иван, Иван...

— ...Петрович,— докончила за него Маша упавшим голосом. Ей показалось, что Шмелеву известно о Синцове что-то страшное, чего она еще не знает.

— Политработник, ушел на фронт, и вы до сих пор не имели о нем сведений, а теперь, значит, увидели, вернулся в Москву... — продолжал Шмелев.

— Да, вернулся,— сказала Маша, мучаясь догадкой: что же такое, неизвестное ей самой, знает о Синцове Шмелев?

Но Шмелев знал о Синцове только то, что содержалось в личном деле Маши, а это личное дело вместе с двумя другими лежало у него сейчас в ящике стола. Троих курсантов сегодня ночью предстояло перебросить в тыл к немцам, и, прежде чем разговаривать с ними перед отправкой, он еще раз смотрел их личные дела.

— Значит, вернулся муж. Ну и что?

Сидевшая перед Шмелевым молодая женщина с девичьим бледным и решительным лицом не была похожа на такую, которая могла бы попросить никуда не отправлять ее в связи с тем, что к ней вернулся муж. Но тогда зачем она пришла к нему и почему взволнована, хотя и старается сдерживаться?

— Во-первых,— начала Маша задрожавшим голосом приготовленную еще по дороге из Москвы фразу,— что мне делать, если там, после переброски, окажется, что у меня будет ребенок? Я знаю, что не имела на это права, но что мне делать, если так будет?

«Вон что,— подумал Шмелев,— все-таки, значит, испугалась, не хочет лететь!»

Он гордился своим знанием людей, и ему было неприятно, что он ошибся.

— Значит, ставите вопрос о том, что не сможете пойти на задание? — спросил он.

Маша вспыхнула:

— Как вы могли подумать, товарищ полковник?!

— Подумать я могу все, что мне подумается,— сказал Шмелев, понимая, что его первое впечатление было правильным, а второе — ложным, и радуясь этому.

— Я не для этого добровольно пошла в школу. — Маша чувствовала, как у нее горит лицо.

— Понимаю, что не для этого,— прервал ее Шмелев. Теперь он хотел ей помочь. — Но, если так, если вы намерены делать то, к чему себя готовили, о чем же вы меня спрашиваете? Я не врач и не гадалка.

— Я спрашиваю потому,—успокаиваясь именно от резкого тона, взятого Шмелевым, сказала Маша,— что вдруг это мне сможет там помешать. Что мне тогда делать? Я сделаю так, как это будет нужно.

— Помешать разведчику может все, если он будет подчиняться обстоятельствам, и мало что может помешать, если он сам подчиняет себе обстоятельства. Разведчиком может быть женщина с ребенком, старик, слепой, глухой, инвалид, и все это можно повернуть против себя и против врага. Все зависит от человека и того, какие дополнительные трудности он ради пользы дела готов взять на себя. Я знал случай,— помолчав, добавил Шмелев,— когда разведчику пришлось сломать ногу, потому что его заподозрили, что он до этого притворялся хромым.

Маша невольно взглянула на прислоненные к столу костыли Шмелева.

— Это было давно и не со мной,— перехватил он ее взгляд. — Как начальник школы, я не придаю вашему вопросу значения по службе, а если хотите советоваться об этом как о своем личном деле, советуйтесь с нашим врачом. Кстати, она женщина.

«Честная,— подумал он, глядя на Машу. — Можно посылать — не продаст».

Он считал разговор оконченным и, сказав Маше, что еще раз вызовет ее по делам службы, уже собирался отпустить ее, но для Маши разговор только начался.

Вместо того чтобы встать и уйти, она ответила, что еще не сказала самого главного.

Шмелев искоса взглянул на часы — время было дорого,— но что-то в голосе этой курсантки помешало ему прервать ее. Маша придвинулась вместе со стулом, сцепила руки и начала говорить.

Шмелев умел слушать и не привык удивляться. Он умел слушать так хорошо, что усилием воли сдерживал даже свой нервный тик, когда чувствовал, что это может помешать рассказу. И, конечно, Маша не могла удивить его своим рассказом о муже, который сначала искал свою часть, потом воевал в чужой, потом выходил из окружения, потом попал в другое, был в плену, бежал из плена и в конце концов пришел к ней.

Сюжет этой истории был слишком хорошо знаком Шмелеву по другим похожим рассказам и собственному опыту чело-

века, уже успевшего два раза туда и обратно пересечь линию фронта.

Но трагический смысл того, о чем говорила Шмелеву эта сидевшая перед ним молодая женщина, будил отзвук в его собственной душе, потому что он успел повидать в тылу врага вещи и похуже тех, что услышала эта женщина от своего мужа, и помнил минуты, когда только выдержка и опыт помешали ему принять ошибочное решение.

По мнению Шмелева, положение, в котором оказался муж этой женщины, было действительно трудным, и даже если он под конец поступил не самым лучшим образом, его нельзя было винить так, словно в этом не был виноват никто, кроме него.

Но когда Маша, рассказывая, как Синцов попал в Москву, и глядя на Шмелева ожидающими глазами, искала у него подтверждения, что в конце концов все будет хорошо, он не мог поручиться за это. Да, если ее муж попадет в руки не к сухарям, а к людям, то они пошлют его на фронт и он еще повоюет. Но если он попадет к какому-нибудь крючкотвору, тут еще бабушка надвое сказала. С такими никогда не знаешь, чем кончится!

А Маша говорила, и смотрела на Шмелева, и чувствовала странное раздвоение между теми утвердительными «да-да», «так-так», которыми он изредка отзывался на ее слова, и тем недовольным выражением лица, которое у него было при этом.

И когда она договорила все до конца и он спросил ее, все ли, и она сказала, что все, и он коротко сказал: «Ну что ж, вы свободны, хорошо»,— она почувствовала: нет, не хорошо. Он так же, как она, хочет, чтоб все было хорошо, но не знает, будет ли это так, несмотря на все свои «да-да» и «так-так».

Маша уже пошла было к двери, когда Шмелев остановил ее.

— Вот что,— вдруг решившись, сказал он о том, о чем думал все время, слушая ее. — То, что вы мне рассказали о муже, можете не рассказывать больше никому. Говорю вам это официально. Я это знаю и учитываю, а кроме меня, этого никому нет нужды знать. Понятно вам?

Маше было не совсем понятно, почему он так сказал, но она испытала облегчение оттого, что ей больше не придется повторять своих признаний.

— Понятно.

— В семнадцать часов явитесь ко мне вместе с инструктором вашей группы. Идите!

Маша вышла. В дверь заглянул адъютант.

— Подождите,— сказал Шмелев.

Он был взволнован, и ему хотелось несколько минут побыть одному.

Почти не знавший страха, когда ему приходилось отвечать только за самого себя, Шмелев не очень-то любил отвечать за других.

За эти несколько секунд в его голове пронесся целый ряд быстро сменявших друг друга соображений. Отменить или не отменить в связи с услышанным отправку этой курсантки в тыл к немцам? Сам он был уверен в ней и не видел причин отменять ее полет, но полет можно было и отменить, поскольку другие люди в школе могли держаться на этот счет другого мнения.

«А как сама она? — подумал он. — Собирались отправить и не отправили — для нее это будет целой трагедией. Даже если она не узнает, что ее должны были отправить сегодня, она будет ждать, что ее отправят со дня на день, а ее все не будут и не будут отправлять, и она решит, что ей не доверяют. А это самое худшее для разведчика, это может сделать его навсегда непригодным к своей профессии».

Если он, Шмелев, поделится рассказом, который сегодня услышал от курсантки Артемьевой, с комиссаром школы (тем самым, к которому Маша предпочитала попасть вместо Шмелева), то этот, может, и неплохой, но в таких делах сугубо формальный человек непременно предложит отложить отправку Артемьевой. И сделает это так, что Шмелеву будет уже неудобно настаивать. Если же он сам ничего не скажет об этом комиссару школы, а Артемьева проболтается, то он, Шмелев, не только не придавший значения своему разговору с курсанткой Артемьевой, но и ни с кем не поделившийся этим разговором, будет и вовсе в странном положении.

И при всем этом ее нужно посылать, нужно для дела, нужно для нее самой, нет никаких причин не посылать!

«Пошлю! — обозлился Шмелев. — Возьму на себя ответственность и пошлю, без всякой предварительной говорильни!»

Итогом всех этих мыслей и было то восклицание, которым он остановил Машу в дверях. Теперь, когда он сделал так, как решил, и она ушла, он желчно усмехнулся над собой. Подумаешь, храбрец начальник школы, который решился на великое дело — послать своего агента, в которого он верит, туда, куда он считает нужным его послать!

«Эх, Шмелев, Шмелев,—вспомнил он уязвивший его когда-то на Халхин-Голе упрек своего непосредственного начальника,— орден на груди, грудь прострелена, военный человек, а гражданского мужества ни на грош».

Насчет «ни на грош», положим, и тогда было неправдой, но теперь, когда на груди уже два Красных Знамени, за плечами новая гора пережитых опасностей, а немцы стоят под Москвой,

пора тебе, полковник Шмелев, проявлять все свое гражданское мужество, сколько есть за душой. Если не сейчас, то когда же?

Халхин-Гол! Вот уж поистине горькая доля,— видев своими глазами, как стерли там в порошок японцев, через два года пережить все то, что он пережил на этой войне. Летать через фронт в окруженные армии, налаживать агентуру в городах, о которых и в самом дурном сне бы не приснилось, что сдадим их немцам! А тысячные колонны наших пленных на дорогах и вереницы горелых танков, тех самых, что когда-то решили успех при Баин-Цагане,— душа переворачивалась от этого зрелища!

Да, сейчас многое из того, что происходило на Халхин-Голе, виделось ему в другом свете, чем раньше. Он и теперь не считал, что японский солдат хуже немецкого, но как-никак у нас было тогда двойное, если не тройное, превосходство в технике, а что это такое — мы теперь узнали на собственной шкуре!

«Вообще пора смотреть правде в глаза,— подумал Шмелев,— давно пора. Если бы до конца, до самого конца посмотрели ей в глаза еще после финской войны, а главное — сделали бы все надлежащие выводы, может, сейчас все уже оборачивалось бы по-другому. Но и сейчас не поздно, и не только не поздно, а нужно, необходимо во всех случаях смотреть правде в лицо!»

Он с досадой на самого себя подумал о том, что у них в школе все еще не говорят необходимой правды о сложившемся положении. И кому? Людям, которых завтра же забросят в тыл к немцам и которые там столкнутся не только с действительным положением вещей, но и с преувеличенными слухами об этом положении, с пропагандой, с клеветой. Столкнутся, в еще большей мере не готовые к этому, чем та женщина, которая только что вышла из его кабинета. Это надо изменить, разведчиков надо начать информировать иначе — правдивее и смелее.

И Шмелев поморщился, подумав о том, сколько больших и малых препятствий придется ему преодолеть, если пойти на это. Насколько, по крайней мере лично ему, было бы проще, залечив ногу, снова полететь через фронт и выполнить еще одно из тех рискованных заданий, к которым он привык и которых, в общем, не боялся!

Самолет давно пересек линию фронта и по расчету времени подходил к Смоленску.

Ночь была ветреная, машину бросало, она то входила в облака, то снова выходила из них.

Внизу расстилалась однообразная чернота; все было затемнено, и только несколько раз Маша видела через боковое стекло,

как где-то глубоко внизу мелькали точки света. Один раз их было много, целая цепочка. Сначала Маша подумала, что это деревня, а потом поняла, что это движущиеся по шоссе немецкие машины: Смоленщина была для немцев уже глубоким тылом, и они не маскировали фар.

Первый час, пока летели к фронту и перелетали через него, Маша и двое ее попутчиков, парень и девушка, которых должны были забросить еще дальше, переговаривались друг с другом, а потом замолчали. Никому не хотелось показывать, как он волнуется, и в конце концов они расселись отдельно, между загромождавшими самолет ящиками со взрывчаткой и мешками с медикаментами. Девушка и парень, попутчики Маши, летели вместе и должны были прыгать вдвоем. Маша лежала на мешке с медикаментами и завидовала: все-таки когда вдвоем — это не то, что совсем одна.

Было двенадцать ночи. Всего сутки прошли с той минуты, как она вошла в квартиру и увидела Синцова.

Она зажмурилась, попробовав мысленно собрать воедино все, что случилось, что говорила она и что говорили ей за эти бесконечные сутки. Попробовала — и не смогла: все путалось и распадалось на части. То ей виделось ожесточенное лицо Синцова, когда он говорил о немцах; то она вспоминала, как под диктовку инструктора зубрила наизусть последние данные: улицу, дом, пароль; то у нее в глазах вставало задумчивое лицо полковника, говорившего ей: «да-да», «так-так»; то баррикада на шоссе, которой еще не было утром, но которая уже была вечером, когда они ехали из школы на аэродром, и луч фонарика, направленный ей в лицо.

Потом ей снова вспомнился полковник, когда уже вечером, перед отправкой, он вдруг спросил ее, где сейчас ее брат, служивший у него на Халхин-Голе. Она сказала, что брат в Чите, и полковник, перебросив оба костыля под одну руку, а другую положив ей на плечо, тихо, так, чтобы услышала только она, сказал: «За мужа своего не волнуйтесь. Все будет в порядке!» И его рукопожатие было долгим и, как ей показалось, многозначительным. Что он хотел сказать ей этим «все будет в порядке»? Просто успокаивал или уже справлялся и знал что-то?

А комиссар школы на прощание тоже потряс ей руку и сказал своим густым басом: «Помни, Артемьева: все, кто остался тут, тебе завидуют. У нас молодежь вся такая! Не щадя своей жизни, спешит в бой, каждому не терпится». И, хотя ей обычно нравились и комиссар и слова, которые он говорил, в эту минуту ей не понравились ни он, ни его слова. Они были так невпопад ко всему, что творилось у нее на душе, хотя она не хотела оставать-

ся, и готова была лететь, и не собиралась щадить своей жизни. Но все это было совсем по-другому, чем говорил об этом он.

Сейчас, когда она чувствовала, что проводит в самолете последние минуты, ей было просто страшно. Так страшно! До сих пор она считала себя храброй от природы и никогда не думала, что ей может быть до такой степени страшно при мысли о черном, незнакомом, летящем под ногами пространстве, в которое она через несколько минут прыгнет из самолета.

Командир, передав управление второму пилоту, вышел из кабины и сказал Маше, что через три минуты они будут над точкой.

Маша поднялась с пола.

Летчик проверил подгонку парашюта и громко на ухо спросил у Маши:

— Как тебя зовут? — как будто это было самое важное в последнюю минуту.

«Вероника»,— вспомнила Маша свое новое имя, но, словно прощаясь с прошлым, сказала:

— Маша.

Летчик подошел к двери, дернул защелку, дверь распахнулась, и струя холодного воздуха с силой рванулась в самолет.

Маша сделала шаг к двери, но летчик задержал ее рукой и несколько секунд стоял, держа руку на ее плече.

В самолете зазвенел звонок; штурман давал сигнал из кабины, но летчик все еще продолжал держать руку на плече Маши.

Звонок зазвонил во второй раз. Летчик отпустил руку и сказал:

— Давай!

Маша подошла к двери, едва не упала назад от напора воздуха, согнулась и шагнула в пустоту.

Последнее, что она услышала в самолете, был слабый, едва начатый и сразу же оборвавшийся в ушах третий звонок.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Синцов подходил к райкому, на улице было холодно и пустынно; в стороне Ново-Девичьего в небо поднимался тонкий столб дыма — что-то еще догорало после ночной бомбежки.

На углу Садовой Синцов споткнулся, наступив на телефонную книгу. Она валялась на мостовой, полуобгорелая и раскрытая на букве «Ц». «Цитович А. В., Цитович Е. Ф., Цитович И. А. ...» — наклонившись, прочел он на открытой странице и, отшвырнув книгу, поднял глаза. В стоявшей рядом автоматной будке были выбиты стекла и оборвана телефонная трубка, торчал только кусок шнура.

Холодный ветер гнал через улицу обрывки обугленных бумажек. У продуктового магазина с одной треснувшей пополам и с другой напрочь выбитой витриной дежурили милиционер и двое подпоясанных ремнями штатских с винтовками. Синцову захотелось подойти к ним, но, вспомнив, что у него нет документов и его могут задержать, он быстро пошел дальше.

Через пять минут он остановился у старинного двухэтажного особняка, когда-то, в былые времена, желтого, с белыми колоннами, а сейчас сплошь покрытого серо-зелеными камуфляжными пятнами.

Синцов потянул к себе холодную медную ручку и вошел, успев заметить, что возле райкома стоит машина и двое людей грузят в нее мешки с сургучными печатями.

В вестибюле, у деревянного барьерчика, стоял милиционер с винтовкой на плече.

— Вам чего, гражданин? — спросил он.

— Мне нужно в райком.

— А к кому?

— К Голубеву,— назвал Синцов фамилию секретаря райкома, когда-то выдававшего ему здесь партийный билет, и с тревогой подумал, что секретарь мог и смениться.

— Товарища Голубева нет,— сказал милиционер. — Он в партийных организациях.

— Тогда к кому-нибудь еще. Все равно, к кому. Мне нужно поговорить...

— А у вас есть партийный документ?

— Нет... — после тяжелой паузы сказал Синцов. — Но мне необходимо поговорить, вызовите кого-нибудь.

— Не могу, гражданин. Я на посту. Объясните, по какому делу,— я позвоню по внутреннему.

В этот момент сзади Синцова хлопнула входная дверь, и по ступенькам взбежал маленький молодцеватый блондинчик, одетый в бриджи и ладную гимнастерку с широким командирским поясом. Гимнастерка у него оттопыривалась, и из-под нее торчал кончик кобуры.

— Вот, Евстигнеев, закончили погрузку архива. А ты говорил, до завтра не кончим! — весело крикнул он, пробегая мимо милиционера и не обращая внимания на Синцова.

— Вот товарищ Елкин,— медлительно сказал Синцову милиционер, когда крепыш-блондинчик пробежал мимо них,— заведующий отделом партийного учета. К нему и обратитесь.

Услышав свою фамилию, блондинчик остановился, повернулся и живо воскликнул:

— Я Елкин! В чем дело?

— Товарищ Елкин,— делая шаг к блондинчику, трудным, хриплым голосом сказал Синцов,— у меня нет при себе никаких документов, но я получал здесь, в райкоме, и кандидатскую карточку и партийный билет. Мне нужно с вами поговорить, крайне необходимо,— добавил он поспешно, словно боясь, что этот быстрый, как шарик, блондинчик сейчас подпрыгнет на своих пружинящих ножках и укатится по коридору.

Но Елкин никуда не укатился, а сделал шаг навстречу Синцову. В первую секунду ему показалось, что он где-то видел этого изможденного человека, потом подумал, что нет, не видел, а в общем, это не имело значения. В эти дни в райком редко кто приходил без серьезного дела.

— Ну что ж, пройдемте со мной, товарищ. Пропусти, Евстигнеев!

Милиционер молча посторонился, и Синцов пошел за Елкиным.

Комната, куда они вошли, была небольшая, с зарешеченным окном и настенной картотекой, почти все ящики которой сейчас были выдвинуты и пусты. В комнате стояли два канцелярских стола, раскладная койка и топчан с сенником. На койке спал кто-то, накрывшись с головой черным штатским пальто, в головах у него стояла прислоненная к стене винтовка.

Елкин сел на топчан и показал Синцову на стул:

— Садитесь!

При ближайшем рассмотрении блондинчик оказался не таким уже молодым, лицо у него было живое, но утомленное. Едва сев, он быстро выхватил папиросу, примял, сунул в рот, потом, спохватясь, протянул пачку Синцову, но Синцов отрицательно мотнул головой. Ему с утра опять отчаянно хотелось есть, и он боялся, что, если закурит натощак, его стошнит.

— Слушаю вас, товарищ!

Елкин передернул плечами и несколько раз быстро закрыл и открыл глаза, как человек, которому уже давно приходится бороться с постоянным желанием спать.

— Моя фамилия — Синцов. Я учился в КИЖе, и здесь, в райкоме, меня принимали и в кандидаты и в члены партии...

— Это я понимаю,— нетерпеливо перебил Елкин. — А сейчас что пришли?

Но Синцову, чтобы объяснить, для чего он пришел сейчас, непременно нужно было объяснить все, что случилось с ним раньше.

— Я знаю, что у вас времени нет,—он взглянул в глаза Елкину,— но вы меня выслушайте десять минут. Если, конечно, можете.

— Почему не могу? Давайте говорите. Вы в райком пришли, а не на пожар...

Синцову казалось, что он сумеет рассказать все самое главное за десять минут, но проговорил вдвое больше. Приди он в райком вчера вечером или ночью, а не в этот ранний час, едва ли у Елкина при всем желании оказалась бы физическая возможность дослушать его до конца.

Синцов кончил, молчал и все-таки, потянувшись к лежавшей на топчане пачке, жадно закурил.

Елкин молча смотрел на него, испытывая противоречивые чувства. Этот человек хотя, если верить его словам, и безоружный и раненый, но все-таки сдался в плен немцам, а потом хотя и бежал из плена, но, перейдя фронт, не остался там, на фронте, а пришел в Москву, домой, то есть в общем-то совершил дезертирский поступок. И в то же время Елкину хотелось помочь этому сидящему перед ним человеку.

Почему? Наверно, больше всего из-за откровенности рассказа, в котором было не только выгодное, но и невыгодное для этого человека.

— А документов у меня никаких нет, и подтвердить то, что я говорю, некому,— снова повторил Синцов то, с чего начал.— Случившееся до первого октября может подтвердить комбриг Серпилин; его отправили тогда в госпиталь в Москву. Но здесь ли он — не знаю. А после первого — некому.

Рассказывая, как он попал в Москву, Синцов упомянул о Люсине, но во второй раз называть это имя и для доказательства своей честности хвататься, как за соломинку, за этого подлеца было свыше сил Синцова.

— Некому,— твердо повторил он, встал и ткнул окурок в стоявшую на столе консервную банку.

— А как сейчас ваша голова? — вдруг спросил Елкин, подумав об этом из-за упоминания о госпитале и посмотрев на забинтованную голову Синцова.

— Ничего, немного зудит. Наверно, уже подживает.

Елкин вскочил с топчана и запрыгал взад и вперед по комнате на своих коротких пружинистых ножках.

— Конечно, что в райком вы пришли — это хорошо, но что с партбилетом у вас получилось?.. — Елкин сердито и удивленно приподнял плечи и еще раз пробежался по комнате. — Не восстановят,— решительно сказал он, остановясь напротив Синцова.

— Я не об этом пока думаю, товарищ Елкин,— сказал Синцов. — Что такое остаться без партбилета, я понимаю. Вы мне другое скажите: куда мне вот сейчас надо еще пойти и заявить обо всем, что со мной было, и о том, что я прошу одного: взять

и послать меня на фронт бойцом? Я вам все рассказал, а теперь вы мне скажите: куда мне идти и как это сделать? Может мне в этом райком помочь или не может?

Елкин пожал плечами. Он сам еще не знал, как помочь этому человеку, который так или иначе, но потерял свой партийный билет и после этого был в плену у немцев. Но этот человек пришел не куда-нибудь, а в райком и стоял не перед кем-нибудь, а перед ним, Елкиным.

— Может, товарищ Голубев сумеет мне помочь, когда вернется? — спросил Синцов, тяготясь молчанием Елкина.

Елкин только махнул рукой.

— Голубев... Я его сам уже сутки не видел. Голубев сейчас знаете как разрывается? Я и то пять ночей спать не ложился, а Голубев... — Елкин второй раз махнул рукой и, наморщив лоб, сказал, что, пожалуй, верней всего будет пойти к райвоенкому. — Кто же еще может послать человека на фронт? Райвоенком! — продолжал говорить он, уже берясь за телефонную трубку. — Мне Юферева надо. Елкин из райкома говорит. А где он теперь? А если точнее? Ладно, я еще позвоню. Нет райвоенкома,— положил трубку. — Говорят, он сейчас на строительстве баррикад, здесь, около Крымского моста. Он по званию майор, фамилия его Юферев. Пойдите найдите его там и расскажите ему. Можете сослаться, что были в райкоме у Елкина, что Елкин вас послал. Он меня знает.

Елкин загорелся этой мыслью, разом разрешавшей все сложности.

— Ну, а если не найдете или что — придете еще раз, через милиционера меня вызовете. А я Юфереву еще раз позвоню, для крепости. Давай так! — впервые за все время заключил Елкин на «ты».

Синцов вздохнул и надел ушанку. Он почему-то не ждал для себя ничего хорошего от неизвестного ему Юферева, и ему не хотелось уходить из райкома.

— Там, около Крымского, его и ищи,— говорил тем временем Елкин. — Там и слева и справа — кругом баррикады строят, и на Метростроевской и на Садовой...

И вдруг среди всех этих объяснений ему пришла в голову не приходившая раньше мысль: «А что, если этот человек сейчас выйдет из райкома и не пойдет ни к какому Юфереву, а исчезнет?! Ведь он был в плену у немцев, и вообще мало ли что может он сделать при таком положении в Москве, как сейчас!» И, хотя мысль эта противоречила всему, что он до сих пор думал, Елкин заколебался. Теперь ему хотелось, чтобы кто-то подтвердил, что он правильно делает, веря этому человеку.

— Или, знаете чего, подождите,— вдруг снова на «вы» сказал он Синцову. — Подождите, садитесь.

Синцов сел.

— Слушай, Малинин! — крикнул Елкин.

— Что? — раздался глухой голос.

Фигура на койке зашевелилась, пальто полетело в сторону, обнаружив человека, лежавшего с открытыми глазами и закинутыми за голову руками.

— Слушай, Малинин, тут такая история, надо посоветоваться. — Елкин сел на свой топчан. — Вы повторите вкратце ему! — повернулся он к Синцову.

— А чего повторять? — сказал человек, которого назвали Малининым. — Я все слышал, я не сплю...

— А сколько ты уже не спишь? — быстро спросил Елкин.

— Нисколько не сплю,— отозвался Малинин. — Уж пальто на голову накинул, все равно не спится.

Голос у Малинина был угрюмый, низкий, как из трубы, слова он выговаривал отрывисто, словно сердясь, что его принуждают открывать рот. У него было серое, усталое лицо, крупное, тяжелое, с грубыми, резкими чертами, лицо по-своему угрюмо-красивое. Над крутым, высоким лбом с залысинами курчавились пепельные, с проседью волосы, а большой рот был сердито сжат. Малинин неприветливо уставился на Синцова и молчал.

— Ну, а раз слышал, что посоветуешь? — спросил Елкин.

— Накорми человека,— все так же угрюмо сказал Малинин. — Хлеб на подоконнике, банка рыбы тоже там, а нож... — Он впервые за все время пошевелился, вытащил из-под головы крупную, сильную руку, достал из кармана брюк складной нож и протянул его Синцову. — Берите... — И снова сунул руку под голову.

— В самом деле, вы же голодный! — спохватился Елкин.

Он метнулся к подоконнику, взял оттуда полкраюхи хлеба, банку с рыбными консервами и поставил все это на канцелярский стол перед Синцовым. Синцов раскрыл нож, хотел вскрыть консервы, но, удержавшись, только отрезал себе большой ломоть хлеба и стал жевать его, стараясь делать это помедленнее.

Малинин с минуту смотрел на него, потом дотянулся до стола, взял нож, закрыл лезвие, открыл с другого конца консервный нож, открыл банку, отогнул крышку, поставил банку на стол, снова закрыл консервный нож, открыл большое лезвие, которым Синцов резал хлеб, и, закинув руки за голову, принял прежнее положение.

— Слушай, Елкин,— сказал он, искоса еще две или три минуты понаблюдав, как ест Синцов,— дал бы ты ему чаю.

— А где он, чай? — спросил Елкин.

— Ну, кипятку. Там в кубе есть, у тети Тани. Или я встану, коли тебе лень?

— Ладно, лежи,— сказал Елкин, взял с подоконника алюминиевую кружку и вышел.

— Что, нескольких немцев сам убил? — когда ушел Елкин, спросил у Синцова Малинин, доказывая этим вопросом, что он действительно слышал все, что говорилось. — Сам видел или только думаешь?

— Видел.

— Ешь, не отвлекайся,— заметив, что Синцов отложил хлеб, сказал Малинин; сказал и закрыл глаза, давая понять, что больше ни о чем не будет спрашивать.

Елкин вернулся и поставил перед Синцовым кружку с горячей водой. Синцов съел три куска хлеба, потом сделал попытку не доесть до конца консервы, но не выдержал, съел все до конца и запил обжигающим глотку кипятком.

— Спасибо, пойду,— сказал он, вставая.

— Так какой же совет, Малинин? — спросил Елкин.

— А чего ж советовать? — не открывая глаз, сказал Малинин. — Ты уже все насоветовал, теперь делать надо!

— До свидания! — сказал Синцов.

— Всего! — отозвался Малинин, на секунду приоткрыв глаза и вновь закрыв их.

Елкин вышел вместе с Синцовым.

— Если тут товарищ еще раз зайдет,— сказал он милиционеру,— то вызови меня! Значит, Юферев! — повторил Елкин еще раз, и Синцов вышел из райкома на улицу.

Теперь был уже не тот первый послерассветный час, когда пустынность города кажется естественной. Сейчас эта пустынность обращала на себя внимание. У разбитой витрины на углу Зубовской по-прежнему ходил милиционер, но двух штатских с винтовками уже не было. По Садовому кольцу ехали грузовики. Один с визгом пронесся около самого тротуара, где шел Синцов. Он был гружен рельсами и проволокой; свисая с кузова, проволока царапала асфальт. У автобусной стоянки стояла небольшая очередь людей с чемоданами, кажется уже отчаявшихся дождаться автобуса. Другие люди с чемоданами и узлами шли пешком по Садовому кольцу, но сегодня их было совсем немного. Нельзя и сравнить со вчерашним. Москва казалась сегодня менее тревожной и более готовой к отпору, чем вчера.

«Да, будут драться за нее до конца,— подумал Синцов. — Для этого и строят баррикады. Дадут винтовку — и буду воевать на них, если придется, буду драться за нее и здесь, в черте

города,— подумал Синцов. — Для этого и строят баррикады. Так неужели мне не дадут винтовки? Что я, такой последний человек, что мне не дадут винтовки драться на этих баррикадах?! Не может этого быть».

В райкоме отнеслись к нему попросту, без особого сочувствия, но и без недоверия, и это успокаивало. А еще больше успокаивало просто-напросто то, что был райком, что секретарем в этом райкоме был все тот же самый Голубев, что милиционер стоял у барьерчика, архив вывозился куда-то в надежное место, телефон звонил и соединялся и даже у тети Тани в кипятильнике, оказывается, был кипяток.

За той взбаламученной Москвой, которую он увидел вчера, была и другая Москва — райкомовская, по-прежнему спокойная, деловая, неиспуганная. На том управдоме, что вчера швырнул ему кольцо с ключами, свет клином не сходился, и думать иначе было глупо даже вчера!

Через двадцать минут он подошел к Крымскому мосту, возле которого действительно перегораживали баррикадами с одной стороны Метростроевскую, а с другой — Садовое кольцо. С того самого грузовика, который недавно проскрежетал по асфальту рядом с Синцовым, выгружали сейчас проволоку и рельсы. С других грузовиков бросали на землю мешки с песком. В переулке, уходившем за станцию метро, трудились несколько десятков человек, выворачивая из мостовой булыжники. Видимо, они принялись за это дело еще с ночи: булыжника была наворочена целая гора. Часть Метростроевской уже перегородили, между двумя рядами вбитых в землю бревен заложили мешки с песком, а впереди вкось, как клыки, вкопали рельсы и двутавровые балки. Балки и рельсы снимали еще с нескольких грузовиков и тут же резали на куски — поодаль слышались короткие всплески автогена.

У баррикады стоял и распоряжался немолодой, из запаса, лейтенант с саперными топориками на петлицах шинели.

— Товарищ лейтенант,— подошел к нему Синцов,— вы не видели майора Юферева?

— Был Юферев, привел мне людей и уехал. Обещал вернуться,— не глядя на Синцова, ответил лейтенант. Потом поднял голову и спросил: — А вы чего, откуда?

— Меня из райкома направили...

— А вы? — повернулся сапер от Синцова к другим людям, подошедшим к нему почти одновременно.

Тут были две женщины, тощий, длинношеий юноша в очках и двое худощавых, пожилых, очень похожих друг на друга людей в одинаковых старых шляпах с обвисшими полями.

— Тоже райком направил,— отозвалась одна из женщин,— а то кто же?

— Давайте тогда рельсы и двутавровое железо на автоген подносите, резаное обратно захватывайте. Раскладывайте по ту сторону. С интервалами. Там, где вкапывать будем.

Сапер быстрыми шагами пересек мостовую, показывая, где именно раскладывать нарезанные автогеном балки и рельсы.

— Пойдемте,— обратился к Синцову длинношеий юноша в очках,— понесем.

Синцов молча нагнулся, взялся за рельс и, приподнимая его вместе с другими, с удовольствием почувствовал, что, несмотря на усталость, сила в руках у него почти прежняя. Сначала они носили рельсы на плечах, а потом, согнув крючья из толстой проволоки, стали носить рельсы, продевая крючья в болтовые отверстия, как их обычно носят путевые рабочие.

Народу кругом становилось все больше. Пока одни носили взад и вперед нерезаные и резаные рельсы и швеллеры, другие долбили мостовую, расковыривали ее железными клиньями, а на противоположной стороне Садовой даже грохотал пневматический молоток. Рельсы и балки резал автогеном широкоплечий парень в комбинезоне и ватнике, и только на второй час работы, когда автогенщик на глазах у Синцова снял защитную маску, оказалось, что это курносая, кудрявая женщина.

— Давай, давай подноси, старички, а то у меня через вас вся работа стоит! — озорно закричала она Синцову и несшим с ним вместе балку близнецам в обвисших шляпах, которые, как они уже успели рассказать, оба были библиографами из Книжной палаты. Старинное здание Палаты недалеко отсюда, на Садовой, было разрушено бомбой, и они во время работы несколько раз заговаривали об этом и никак не могли успокоиться.

— Мне неудобно,— тихим, застенчивым голосом сказал Синцову длинношеий юноша в очках. — Я бы, конечно, был на фронте, и я буду, но я только неделю, как вышел из больницы, у меня гнойный аппендицит резали; глупость просто — в такое время аппендицит, а? Как вы считаете? — И он на ходу, неся балку, уставился на Синцова близорукими стесняющимися глазами.

Синцов успокоил его: аппендицит — такая вещь, которой не прикажешь, когда ему быть и когда нет.

— Вам вообще лучше бы не таскать, а то шов разойдется...

— Нет, это уж дудки! — сердито сказал юноша в очках, словно его шов не имел права на это.

Еще час или полтора они продолжали таскать балки и рельсы, а потом присоединились к тем, кто долбил ямы в мостовой.

— Ах, тверда московская земелька! — сказал кто-то.

— Жаль, немец не знает, сколько мы ему тут всего нарыли, а то бы узнал — враз отступил...

Шутку не осудили, но и не поддержали. Люди относились к своему делу серьезно. Хоть никто не говорил об этом вслух, но все понимали: на всякий или не на всякий случай, а все же они ставят надолбы против немецких танков не где-нибудь, а на Садовом кольце, напротив Крымского моста.

Потом колонна грузовиков привезла обмотанные колючей проволокой рогатки и железные ежи, наспех сваренные из двутавровых балок.

— На «Серпе и молоте» их варят,— сказала одна из работавших с Синцовым женщин. — Мне муж вчера говорил: день и ночь они там варят тысячи и тысячи этих ежей...

Синцов работал с увлечением, топя в этом увлечении мысли о том, что же будет с ним дальше. «Что будет, то и будет»,— говорил он себе, с удовольствием поднимая очередную балку. Ему уже не хотелось бросать эту работу, уходить и где-то искать неизвестного ему Юферева, тем более что, по словам лейтенанта, райвоенком сам обещал еще вернуться сюда.

В полдень к работавшим подошла женщина в ватнике и пуховом сером платке и стала выкрикивать:

— Первая партия, кто с ночи работает, идите в детдом обедать! Только тот, кто с ночи! Кто поздней начал, пусть терпение имеет, подождет! Первая партия, идите в детдом, за мной идите!

С первой партией Синцов не пошел, а со второй оказался в одноэтажном особнячке, спрятавшемся во внутреннем дворе большого дома. Детдом давно эвакуировали, а в особнячке был устроен питательный и обогревательный пункт для тех, кто работает на строительстве укреплений.

В детдоме была только детская мебель; столы были такие низкие, что приходилось или подсаживаться на корточки к этим столам, или садиться на них, или хлебать суп из миски, прислонясь к стене. Кроме супа, ничего не давали; кто не захватил из дому хлеба, с тем делились более запасливые; но суп был хороший, жирный, из мясных консервов, с перловой крупой.

Синцов вспомнил остановку там, в плену, на дороге, в родильном доме, и подумал о немцах и о том, что им нельзя, невозможно отдать Москву.

— Кому долить? Кому долить? — постукивая половником по клеенке раздаточного стола, покрикивала женщина в ватнике и платке. Она как выходила на улицу, так и оставалась во всем этом и сейчас, только повязала поверх ватника большой грязный

фартук. — Кому долить, работнички, а то третья очередь придет — все съест!

Синцов попросил долить, и чем он больше ел, тем больше чувствовал голод и вообще, кажется, окончательно приходил в себя.

После обеда работали до самой темноты. Темнота совпала с воздушной тревогой; метро было рядом, и Синцов вместе со всеми спустился туда.

Женщины с детьми забрались в метро заранее и устраивались по-домашнему: с тюфяками, одеялами, подушками, бутылочками с молоком. Дети, уже привычные к этой обстановке, как ни в чем не бывало засыпали на своих тюфячках и одеялах.

Синцов нашел свободное место, притулился к стене, обхватил длинными руками длинные ноги и уткнулся лицом в колени. От тепла и сытости его клонило в сон, да он и не старался противиться. Сегодня день снова был прожит так, как он привык жить: за общим делом, вместе с другими людьми.

«А теперь, когда кончится тревога, выйду и все-таки найду этого Юферева...» — думал он сквозь уже навалившийся на него сон.

— Подвиньтесь немножко,— услышал он женский голос,— я ребенка положу!

Он подвинулся, не открывая глаз, и услышал, как рядом с ним положили сладко посапывавшего ребенка.

— Вчера девятый таран был над Москвой,— сказал мужской голос.

— Это же надо, чтобы самому с самолетом — в самолет!

— Вот уж именно, смертию смерть поправ,— ответил третий голос.

А женский, молодой, восторженный, перебил:

— Все бы отдала таким людям!..

— Отдать можно, брать им недосуг,— отозвался кто-то.

Кругом заговорили о таранах, этот разговор волновал всех.

— Немцы не так теперь нахально летать стали,— сказал громкий бас, и все согласились с этим замечанием.

— Верно, верно, не так...

— Это после таранов.

— Боятся таранов...

Мысли Синцова, уже и так полусонные, запутались окончательно; ему показалось, что он летит куда-то. С этим ощущением полета он и заснул, последним усилием подняв голову с колен и откинув ее к стене.

Проснулся он оттого, что кто-то мягко толкал его в плечо:

— Товарищ, а товарищ...

Он открыл глаза. Метро было почти пусто, только кое-где виднелись одинокие фигуры. Молодая женщина, скатав матрасик, увязывала его бечевкой. Рядом с ней стоял пятилетний паренек в ушанке.

— Это я вас толкала, вы извините,— сказала женщина,— но вы так долго спали со вчерашнего дня, и я подумала, может, вы работу проспите...

— Да, да,— вскинулся Синцов. — А что... а сколько времени?

— Да уже семь.

— Семь?!

Он удивленно посмотрел на нее и только теперь понял, что проспал ночь напролет.

Прошли ровно сутки, и Синцов стоял снова перед тем же самым зданием райкома. В половине окон вылетели стекла, их забили фанерой, выкрашенной под цвет стен. Наискосок от райкома четырехэтажное здание было срезано как ножом.

Синцов пришел сюда прямо из метро и потому, что его потянуло сюда, и потому, что у него были основания: Елкин сам велел ему зайти еще раз, если он не найдет Юферева. Он не нашел вчера Юферева и вот пришел сюда еще раз. Он открыл дверь в вестибюль. Милиционер сидел на прежнем месте, только щека и глаз были у него забинтованы. «Наверное, поранило стеклами»,— догадался Синцов.

— Как бы вызвать товарища Елкина? — спросил он, подходя к милиционеру. — Он сказал, что его можно вызвать.

— Нет его. Раненый. В госпитале, на перевязке...

— А когда он будет?

Милиционер пожал плечами.

Синцов стоял перед ним, не зная, что делать. Он пришел, почему-то уверенный в успехе. Он увидит Елкина; тот, как и обещал, уже звонил Юфереву; сейчас он прямо отсюда попадет к райвоенкому, и так или иначе его судьба решится. И вдруг все снова выходило не так.

Что же делать? Ждать здесь Елкина, идти искать Юферева или возвратиться на Крымскую площадь?

С минуту он простоял в нерешительности, глядя на пол, засыпанный мелким стеклом, а когда поднял голову, то увидел елкинского соседа по комнате. Малинин шел мимо, по коридору, большой, угрюмый, глядя в одну точку перед собой, и, обернув носовым платком ручку, нес алюминиевую кружку. Он шел, ни на кого не глядя, но, проходя мимо Синцова, вдруг повернулся так, словно еще издалека смотрел в его сторону.

— Чего опять пришел? — спросил он своим ворчливым голосом. — Не нашел Юферева?

Синцов молча покачал головой.

— К Елкину пришел? Нет Елкина,— продолжал Малинин с таким выражением лица, словно ему было приятно сообщить это Синцову.

— А вы не знаете,— спросил Синцов,— он не говорил насчет меня с военкомом?

— Ничего он не говорил, забыл... — как нечто само собой разумеющееся, сказал Малинин. И совершенно неожиданно для Синцова буркнул милиционеру: — Пропусти ко мне. Пойдем!

Так они и вошли во вчерашнюю комнату,— впереди Малинин с кружкой кипятка в руках, а сзади Синцов, недоумевающий, зачем его позвал этот угрюмый человек.

— Садись! — кивнул Малинин на топчан и, поставив кружку на подоконник, прислонился к стене.

Его собственная койка была уже по-солдатски, без единой морщинки, заправлена, поэтому он и не сел на нее.

— А что, сильно ранило его? — кивнув на пустой топчан и имея в виду Елкина, спросил Синцов.

— По шее полоснули... До свадьбы заживет!

— Осколком или стеклом?

— Финкой,— отозвался Малинин и, увидев глаза Синцова, добавил недовольно: — Чего удивился? Думаешь, в Москве сейчас финки в ход не идут? Шпана московская тоже не спит, свое дело делает... А Елкину, конечно, нос нужно сунуть... — не то с похвалой, не то с осуждением сказал Малинин. — Проезжал ночью, увидел: магазин потрошат — ну и наган в пятерню: руки вверх!.. Вот и резанули финкой. Хорошо, не один был — положили шпану на месте!

Теперь можно было понять, что Малинин одобряет действия Елкина, а говорит все это недовольным тоном просто по привычке.

— А ты чего удивился? — снова спросил он Синцова. — В такое время, по закону природы, все дерьмо на поверхность лезет. Глядишь иногда и думаешь: неужто все ведро с дерьмом? Нет, неправда, шалишь!

Он, видимо, вспомнил что-то крайне разволновавшее его и не мог остановиться:

— И клопы старого режима тоже поближе к щелям держатся, чтоб выползти в случае чего! Одному в морду дал вчера своей рукой... — Он поднял тяжелый кулак и посмотрел на него, как бы удивляясь сам себе. — Где же моя выдержка, спрашивается? Была выдержка, а пришел день — и ее не хватило... Значит, не нашел военкома? — прервал он себя.

— Нет,— сказал Синцов и объяснил, что вчера работал на строительстве баррикад у Крымского моста, а ночь провел в метро.

— А Елкин вчера сомневался, что придешь... — усмехнулся Малинин. — Боялся, сбежишь!

— Куда и зачем? — спросил Синцов.

— Вот именно, куда и зачем? А я тебя помню,— вдруг снова сам себя прервал Малинин: это была вообще его манера разговаривать. — Я тогда на месте Елкина работал и документы твои готовил, когда тебя принимали. У меня память такая: вновь принятых тысячи три прошло, ну и исключенных тоже перевидал, а если пригляжусь, каждого второго вспомню.

Синцов был рад, что этот угрюмый человек, оказывается, помнил, как он вступал в партию, и, в свою очередь, попробовал вспомнить Малинина, но вспомнить не смог.

— А ты не пробуй,— угадал его мысли Малинин. — Меня запомнить — это роли не играет, вот что я тебя помню — это роль играет. Как же с тобой такая беда вышла, товарищ дорогой? — Малинин покачал головой. Он не склонен был преуменьшать беды, случившейся с Синцовым. — Вчера ни буквы не соврал, от аза до ятя — все правда?

— Все,— сказал Синцов.

Что еще он мог добавить, чем мог убедить?

Малинин долго молча смотрел на него.

В противоположность веселому Елкину этот угрюмый человек, постаревший, сидя в отделе партийного учета, не имел второго, запасного мнения, на всякий случай. У него было о людях одно-единственное мнение — хорошее или плохое, он им или верил, или нет. И если верил, то до конца, а если не верил хоть в чем-то, не верил вообще.

Если б у него оставалась доля сомнения в том, что весь рассказ Синцова — правда, он бы и не подумал сделать то, на что готов был сейчас решиться. Он продолжал сомневаться только в одном: имеет ли он, Малинин, полное право сделать это?

«Имею! — решил он наконец. — Сам же иду, сам же рядом буду... И Губеру докажу... А не докажу — тогда поглядим».

— Значит, так,— после молчания сказал Малинин. — Коммунистический батальон сейчас сформирован в районе, но там не только коммунисты и комсомольцы, беспартийный актив тоже. Я иду туда. Сегодня ночью доказал, отпустили... За ночь еще несколько взводов скомплектовали. Командиров пока нет, я за старшего в своем взводе, так что запишу тебя с собой. Через час пойдем в батальон, на Плющиху. Ну как, писать тебя? — спросил

Малинин, вынимая из кармана галифе сложенную пополам школьную тетрадку.

— Что вы спрашиваете?

Малинин подошел к столу, вынул из кармана гимнастерки очки, никак не шедшие к его крупному, сильному лицу, раскрыл тетрадку и провел пальцами по списку. В списке значилось двадцать шесть номеров. Он обмакнул ручку, добавил номер двадцать седьмой и вывел каллиграфическим почерком: «Синцов...»

— Имя, отчество?

— Иван Петрович.

«И. П.» — написал Малинин, промокнул тетрадь пресс-папье, положил обратно в карман галифе и только тогда сказал:

— Явимся — доложу комиссару батальона. Как решит... А я свое мнение скажу.

Он не подчеркнул этой фразы, хотя она значила многое. Он шестнадцать лет просидел за учетным столом и только два года назад, испортив зрение, перешел в инструкторы. Здесь, в районе, его мнение имело вес, особенно в таком деле, как проверка кадров, как доверие или недоверие. Тем сильней, конечно, была и его ответственность за этого сидевшего напротив человека, и Малинин прекрасно понимал это, хотя и не подчеркивал.

Слова Малинина о том, что он еще доложит комиссару, прошли мимо сознания Синцова. Он был слишком счастлив открывшейся перед ним возможности сегодня же вместе с Малининым попасть в коммунистический батальон.

— Никогда в жизни вам этого не забуду,— сказал он.

— А зачем помнить? — ответил Малинин со своей обычной угрюмой повадкой. — Если б я тебе с барахлом места до Казани достал, вот это бы надо помнить,— усмехнулся он. — Вчера человек двадцать обещали век не забыть. А тебе что ж, помогаю опять на войну попасть! Так ты все равно попадешь. Один черт, только лишняя волокита была бы.

— Ладно, молчу,— сказал Синцов. — Я просто рад, что вы мне поверили. Могли не поверить, а поверили. Вот и все.

— А всем верить нельзя,— по-своему поняв это замечание, как вообще жалобу на бдительность, сердито отозвался Малинин. — Всем верить — в трубу вылетишь. Да и черт с тобой, что вылетишь,— Советскую власть по ветру пустишь. Хотел бриться, да отдумал,— снова сам себя перебил он. — Если хочешь, брейся, там, на подоконнике, моя бритва и кисточка. Время еще есть...

Наскоро намылившись, Синцов стал сдирать неподатливую трехдневную бороду.

— Квасцы там поищи; ишь кровищи-то, словно борова зарезали. — Малинин взглянул через плечо на его исцарапанное лицо.

Но где лежат квасцы, объяснить не успел. В дверь постучали, Малинин неприветливо отозвался: «Ну...» — дверь скрипнула и открылась. Синцов прекратил поиски квасцов и повернулся. В дверях стояла высокая худощавая женщина с рюкзаком в руках.

— Здравствуй, принесла вот тебе,— сказала она, и Малинин шагнул ей навстречу.

Синцов понял, что это пришла жена Малинина, и, стараясь не слушать их разговор, стал убирать за собой после бритья, но отдельные фразы все равно доносились до него.

— Вот это хорошо,— одобрил Малинин,— а этого не надо. Сказал, не надо,— значит, не надо. Две смены хватит.

— Возьми, куда ж их оставлять! — настаивала жена.

Но Малинин буркнул, что он не верблюд, а носильщиков не будет... Потом Синцов не расслышал несколько фраз, потом Малинин сказал:

— На, тут четыреста.

— Зачем же все-то? А себе? — сказала жена.

— А для чего мне теперь деньги? — спросил Малинин, и это, кажется, испугало жену — она всхлипнула.

Синцов все убрал и, не зная, что делать дальше, продолжал сидеть спиной к Малинину и его жене. «Наверное, сейчас они обнялись на прощание, и если что-то и говорят друг другу, то очень тихо»,— подумал он.

— Нá пару белья,— вдруг громко сказал за его спиной Малинин, и на колени Синцову полетела пара старого, заштопанного, но чистого белья. — А то, я вижу, ты без запаса. Жена понатащила тут лишнего.

Синцов повернулся и увидел, что жены Малинина уже нет в комнате. Они так тихо и незаметно простились, что он и не слышал, как она вышла.

Малинин затолкал в рюкзак бритвенный прибор, надел поверх своего синего полувоенного костюма старое черное драповое пальто и такую же черную драповую кепку и вскинул на плечо стоявшую в углу винтовку.

— Пошли!

Когда они вышли на улицу, Малинин остановился на тротуаре и, запрокинув голову, оглядел здание райкома, словно запоминая его перед разлукой.

— Сколько вы тут проработали? — спросил Синцов.

— В райкоме — с двадцать третьего, а в этом доме — как переехал сюда, с двадцать шестого. Стекла зеркальные были,— неожиданно добавил Малинин,— еще с царского времени, и в одну ночь, с одной бомбы почти все повыбило, а? Пришлось, как ларек, фанерой заколачивать!

Малинин видел вчера и позавчера то же самое, что видел Синцов, но по своему положению райкомовского работника знал больше, чем видел. Конечно, и вчера и позавчера пена кипела на поверхности, но под этой поверхностью обстановка и на самом деле была грозная. Эвакуация проводилась громадная и на последнем этапе такая сверхпоспешная, что паника могла выйти еще бо́льшая, чем вышла. На фронте был прорыв, туда уже трое суток, как в ненасытную прорву, пихали все, что было под руками, но положение еще и теперь оставалось тяжелым.

Секретарь райкома Голубев, к которому Малинин, улучив минуту, зашел проститься сегодня в пять утра, поглядел ему в глаза и сказал:

— Вчера сгоряча разрешил тебе уйти в батальон, а сегодня жалею. Нужен был бы ты мне здесь...

— А там? — Малинин готов был сделать так, как ему скажут, но в душе не хотел, чтобы секретарь изменил свое решение.

— Там тоже нужен,— сказал Голубев. — Наверное, вас почти сразу в бой кинут.

Они были в кабинете вдвоем, а работали вместе уже восемь лет.

— Как сегодня с Москвой? Только так... — Малинин рассек воздух своей тяжелой ладонью, показывая, что или не говорить, или если уж говорить, то напрямик.

И Голубев ответил напрямик:

— Позавчера, по-моему, полной ясности не было. А сейчас понемногу выравнивается. Видимо, ни при каких обстоятельствах не сдадим Москву, но как бы не пришлось у самых окраин драться. И на улицах. Этого не исключают.

Такое настроение было у секретаря райкома, и Малинин не имел оснований ему не верить. Это был человек, хорошо известный Малинину, обдумывающий свои слова и не склонный говорить лишнее.

«Может быть, и правда, придется драться на улицах,— думал Малинин, идя рядом с Синцовым по Плющихе. — А что значит на улицах? А то вот и значит, что здесь, на улице, на Плющихе! В этом доме — немцы, а в том — мы. Или за Крымским мостом — немцы, а по эту сторону — мы, не пускаем их к центру. То и значит, как в семнадцатом году были уличные бои с юнкерами, только помножить на сто!»

Он шел, пробуя привыкнуть к этой мысли, но она все равно не укладывалась в голове.

— Может, завтра сразу на фронт пойдем,— сказал он Синцову после долгого молчания.

Синцов кивнул. Он шел и думал о том, найдется ли в батальоне для него винтовка или их будут вооружать прямо на фронте.

Школа ФЗУ, где теперь была казарма коммунистического батальона, стояла в глубине двора, за высоким кирпичным забором. У забора толпилось человек двадцать штатских.

— А вот и остальной взвод,— сказал Малинин. — Сперва хотели в райкоме встретиться, а потом тут сбор назначили. Ближе к делу.

Он с неожиданной молодцеватостью подтянул на плече винтовку и подошел к собравшимся.

Это были почти все немолодые люди, многие в очках; у некоторых были рюкзаки, у других — вещевые мешки, у двоих — маленькие чемоданчики, а у одного даже аккуратно увязанная бельевая корзинка... Трое или четверо были с охотничьими ружьями, двое — с винтовками, один — с висевшим на ремне поверх пальто наганом. Все были подпоясаны, и хотя одеты кто во что горазд, но старались подогнать одежду так, чтобы было ловчее в походе.

Когда Малинин и Синцов подошли, собравшиеся подшучивали над седоватым мужчиной с бельевой корзинкой.

— Трофимов опять рыбу удить собрался, ишь как его жена упаковала! Там и харчи на два дня, и «белая головка», и подушечка-думочка... Все как положено!

— А где твои удочки, Трофимов? Забыл, что ли?

— А-а, Малинин, Малинин пришел! — сразу окликнули Малинина несколько голосов.

Как видно, его почти все знали.

— Старшой по команде пришел, значит, пора строиться,— сказал кто-то.

— А где Иконников? — пересчитав всех глазами, спросил Малинин. — Не явился?

— Не придет Иконников,— отозвался человек с корзинкой, которого называли Трофимовым. — Я заходил за ним, там команда работает, подвал откапывает... А он в подвале.

— А как они,— спросил Малинин,— дают о себе знать?

— Пока стучат, что живые.

Кто-то невесело усмехнулся, что хуже нет этих подвалов, лучше уж принимать смерть на своей жилплощади!

— Раз Иконников не придет, значит, все! — сказал Малинин.

Построились по двое. Малинин стал впереди, а Синцов оказался один в последнем ряду. Так, колонной, и зашли в просторный двор ФЗУ, мимо часового в гражданском. Он пропустил их, по-свойски поздоровавшись с Малининым:

— Здравствуйте, Алексей Денисыч!

— Здравствуй,— отозвался недовольный этим штатским приветствием Малинин.

Он оставил вновь прибывших на дворе и прошел в помещение, к комиссару батальона, доложить о прибытии.

Не возвращался он долго, минут двадцать. Наконец вернулся, еще более хмурый, чем обычно.

— Трофимов,— сказал он человеку с корзинкой,— тебя, когда отсутствую, назначаю старшим по команде. Сообщаю: сегодня назначен день занятий. В течение дня должны прибыть командиры рот. На взвод сегодня получим пятнадцать винтовок, а там видно будет. Общие занятия — начало в десять, а пока можно греться в казарме. Для нас отведена комната девятнадцать, вторая с правой руки. А ты, Синцов,— Малинин посмотрел на Синцова так, словно у него болели зубы и каждый произносимый звук доставлял ему боль,— останься. Пойдем к комиссару.

«Вот оно, начинается»,— подумал Синцов.

— Привел, спрашивайте,— все так же хмуро сказал Малинин, когда они вошли к комиссару батальона.

Комиссар батальона сидел в классе за учительским столом; позади него была доска, исчерканная мелом.

Малинин присел боком за ученический стол. Синцов стоял.

Комиссар батальона был хорошо одетый человек лет пятидесяти, в толстом вязаном свитере и темно-синем костюме со старым орденом Красного Знамени. Рядом на стул были брошены кожаное пальто и пыжиковая шапка. На столе перед комиссаром лежал маузер с прикрепленной к кобуре серебряной дощечкой.

— Вы садитесь,— вместо приветствия сказал он Синцову.— Надо подумать, как с вами быть. А то я заявил — не надо нам таких,— а вот товарищ Малинин недоволен.

— Ваше дело — приказывать, при чем тут мое неудовольствие! — сказал Малинин.

— Как приказывать, я еще не вспомнил,— усмехнулся комиссар. — Вот обмундируюсь, вспомню, тогда начну приказывать. А пока давайте посоветуемся. Мне товарищ Малинин рассказал в общих чертах вашу историю,— снова обратился он к Синцову. — Но, может, вы какие-нибудь детали сами хотите добавить?

У комиссара были зачесанные на косой пробор отливающие сталью сивые волосы, узкое умное лицо, насмешливо поджатые губы и такие же насмешливые глаза за дорогими очками в золотой оправе.

— Что ж добавлять,— сказал Синцов, глядя в эти насмешливые глаза. — Только кишки мотать!

С отчаяния у него это получилось грубо, но как раз его грубость почему-то произвела хорошее впечатление на комиссара.

— Ну, уж сразу и кишки! Хоть у меня фамилия и немецкая, но я вам не немец, чтобы кишки мотать. Их вам и так уж помотали, судя по рассказу товарища Малинина. Но вот в чем мое сомнение, если вы в состоянии его разрешить — возражайте! Если бы вы были гражданское лицо, то стоял бы только вопрос доверия: товарищ Малинин доверяет вам, а я ему. Но вы кадровый военнослужащий, не получится ли, что мы вроде как бы укрываем вас у себя?

— Э-эх, Николай Леонидович, о каком укрывательстве речь, слушать чудно́! — не выдержал Малинин.

Комиссар блеснул на него очками и продолжал свое:

— Вы находитесь в кадрах и, чтобы объяснить свои прошлые поступки и вновь получить назначение на фронт, должны явиться в соответствующую организацию. По-моему, этими вопросами занимается Особый отдел, или допускаю, что вам следует явиться в прокуратуру округа, поскольку здесь вы в зоне ее действия. А помещается она — я как раз живу рядом — недалеко отсюда, на Молчановке. Вот туда и рекомендую явиться. А вашу историю я не прошу повторять, потому что это все равно не переменит моего решения. Вот так, всё,— тихо, но беспощадно заключил он, и Синцову стало понятно, что вежливость и гладкость его речи всего-навсего привычная форма выражения.

— Напиши ему хоть сопроводительную, товарищ Губер,— вдруг на «ты» сказал Малинин. —А то ведь у человека документов никаких нет. Хорошо, в райкоме он на меня напал, я его в лицо помню.

— Хорошо,— коротко, без неудовольствия, сказал Губер, открыл лежавший на столе блокнот, вынул из кармана вечное перо, отвинтил его и начал писать.

— Ваша фамилия Синев? — спросил он, написав две первые строчки.

— Синцов,— поправил его Синцов,— И. П.

— «Синцов И. П.»,— повторил Губер, вписывая фамилию, и, написав еще несколько строчек, расписался, дернул лист из блокнота, согнул его пополам и отдал Синцову. — Печати у нас нет — на веру! Примут на веру — хорошо, не примут... — Он пожал плечами.

— Разрешите идти? — спросил побледневший Синцов.

— Пожалуйста.

Синцов со злостью, четко, по-военному, повернулся через левое плечо и вышел, печатая шаг драными сапогами.

Губер и Малинин остались одни и молча встретились глазами. Малинин глубоко вздохнул, его душил гнев.

— Говори, Малинин, а то задохнешься, ишь как тебя выворачивает. Говори неофициально, приказа еще нет, комиссар я пока только милостью райкома, да и мы с тобой старые знакомые...

— Формалист ты ласковый,— мрачно прохрипел Малинин. — Как ты только комиссаром бригады был, не пойму!

— Да еще в Первой Конной, заметь,— усмехнулся Губер. — Но это ведь когда было! А с тех пор у себя в главке уже десятые штаны протираю. Пятнадцать лет с иностранцами торгую, испортился... Видишь, как вопросы решаю.

— Оно и видно. Забыл душу в портфеле, а портфель дома оставил.

— Интересно это от тебя слышать, Малинин. А ты знаешь, как тебя самого зовут, за глаза, конечно?

— Знаю,— сказал Малинин. — Малинин и Буренин...

— Вот именно,— снова усмехнулся Губер. — Это за то, что у тебя двадцать лет вся райкомовская арифметика в голове и все вопросы с ответами сходятся, как в учебнике! А теперь ты вдруг широко жить решил! Война все спишет, так, что ли? Все порядки пóбоку? Вот уже от кого не ожидал!

— Ладно,— сказал Малинин. — Испугался того, чтоб он,— Малинин показал пальцем на дверь, словно там еще стоял Синцов,— все тебе самому рассказал, испугался, что тогда по-другому решишь, а теперь молчи! Совестно — так молчи и ко мне не придирайся...

— А что совестно? — сказал вдруг покрасневший и потерявший защитно-насмешливое выражение лица Губер. — Я поступил правильно: он военнослужащий, явится в прокуратуру, там решат так, как нужно решить.

— Все и везде сейчас как нужно решают? — прервал его Малинин.

— Ну, все ли, не все,— сказал Губер,— но в военной прокуратуре сумеют, я думаю, разобраться, и он прекрасным образом и без нас попадет на фронт.

— Ну и хорошо, ну и молчи, сделал и молчи, не объясняй,— снова махнул рукой Малинин и, поднявшись со стула, приложив руку к своей черной утиной кепке, спросил: — Разрешите идти во взвод?

Синцов тем временем уже подходил к зданию военной прокуратуры на Молчановке. По дороге он два раза развернул и два раза перечитал бумажку, написанную Губером. Почерк у Губера был такой красивый, решительный, подпись такая солидная, что бумажка и в самом деле казалась документом, хотя на ней не

стояло печати. «В прокуратуру Московского военного округа»,— было написано на ней, и пониже: «Направление». «Направляется к вам тов. Синцов И. П. для изложения имеющегося у него личного заявления. Комиссар коммунистического батальона Фрунзенского района, бригадный комиссар запаса Н. Губер».

У здания прокуратуры стояла старая «эмка», и в ней дремал военный шофер. Окна здания были заклеены крест-накрест бумажными полосами, но это не помогло — половина их была выбита. Синцов толкнул дверь и вошел. Из вестибюля вели внутрь две двери; у одной стоял часовой, у другой, приоткрытой, никого не было. Синцов прошел через эту дверь в комнату с двумя круглыми столами и стульями для ожидающих и двумя деревянными окошечками в стене. На одном была надпись: «Выдача пропусков», на другом — «Прием почты», но оба они были закрыты. Синцов постучал, потом постучал сильнее. Дверь приоткрылась, и в нее заглянул часовой.

— Чего шумите? — окликнул он Синцова. — Нет тут никого, нечего и стучать.

— Мне нужно пройти в прокуратуру.

— Нет тут никого, не стучите.

— Тогда я к вам обращусь.

— Нечего и ко мне обращаться,— отрубил часовой. — Выходите из помещения! Пропуск у вас есть?

— Нет.

— Ну и нечего вам тут делать, не пущу... Уходите, ну? — угрожающе крикнул часовой, и подталкиваемый им Синцов очутился на улице.

«Эмка», в которой сидел шофер, уже уехала, улица была совершенно пуста. Синцов понял, что снова обращаться к часовому бесполезно, и решил ждать на улице. Должен же кто-нибудь из работников прокуратуры рано или поздно подъехать или подойти сюда.

Битый час, содрогаясь на холодном ветру и теряясь в догадках, почему никто не входит и не выходит из прокуратуры, Синцов ходил взад и вперед по тротуару перед ее зданием.

Наконец не выдержал и снова вошел в вестибюль; часовой посмотрел на него тяжелым, подозрительным взглядом и, словно увидев его впервые, зло спросил:

— Вам чего?

— Может, вызовете ко мне дежурного по прокуратуре?

— Не буду я вам никого вызывать. Здесь не положено расхаживать, уходите, а не то задержу!

— Задерживайте,— сказал Синцов с полной готовностью. Но задерживать его не входило в планы часового.

— Уходите, а то оружие применю! — растерянно огрызнулся он. — И перед домом не шатайтесь: не положено!

При этих словах он даже нагнул вперед винтовку. Синцов равнодушно посмотрел на винтовку, на направленный на него штык, повернулся спиной к часовому и, не сказав ни слова, вышел. Оставалось ждать: быть может, все же кто-нибудь войдет или выйдет... Теперь он уже ходил не мимо дверей, а мерил шагами тротуар на другой стороне, наискосок от прокуратуры.

Улица словно вымерла. Синцов потерял счет времени и снова зашел в вестибюль. «Добьюсь, чтобы задержали! Нагрублю, откажусь уйти. А что же еще делать?»

Он вошел с этим решением, ожидая, что в третий раз столкнется с мрачным часовым, с которым они уже осточертели друг другу, но часовой за это время сменился. На посту стоял маленький красноармеец с девичьим чернобровым лицом.

— Товарищ боец,— сразу вынимая из кармана бумажку и идя прямо на часового, решительно сказал Синцов,— вот мое направление. Вызовите дежурного или доложите ему. У меня срочное дело.

Красноармеец принял из рук Синцова бумажку, Синцов отдал ее и сделал шаг назад. Красноармеец оценил это и, искоса смерив дистанцию между собой и подателем бумаги, стал читать ее. Несколько секунд уважение к подписи «бригадный комиссар запаса» боролось в нем с недоверием к бумаге без печати. Наконец, еще раз искоса взглянув на Синцова, он снял трубку стоявшего на тумбочке телефона.

— Товарищ дежурный по прокуратуре, докладывает часовой. Тут явился гражданин с направлением в прокуратуру от бригадного комиссара, фамилию не разбираю. Просит, чтоб вы спустились на минуту... Есть! Слушаю... Сейчас придет дежурный,— сказал он Синцову и протянул ему обратно бумагу.

Минут через пять из двери вышел военюрист третьего ранга. Молодой, худощавый, с блестевшими от воды, только что наспех зачесанными волосами и с багровым пятном на правой щеке. Кажется, военюрист, перед тем как ему позвонили, спал за столом, навалясь щекой на кулак. Он прочел бумагу, вернул ее и посмотрел на Синцова.

— Почему без печати?

Синцов ответил, что в коммунистическом батальоне нет печати. Дежурный кивнул — это простое объяснение в те дни не могло удивить его.

— Ну, а что вам, собственно, надо в прокуратуре? Почему вас направили?

— Меня направили по моему личному вопросу,— сказал Синцов и оглянулся. Что ж, вот так, здесь, стоя в вестибюле, и рассказывать все, что он должен рассказать? — Я попрошу, чтоб вы или тот, кому вы прикажете, уделили мне полчаса.

Дежурный еще раз посмотрел на Синцова. Лицо этого человека вызывало доверие — открытое, усталое, честное лицо. Одежда, правда, была сборная, не по росту и грязная, а сапоги больно уж драные. Но дежурный вспомнил, что человек пришел с бумагой из коммунистического батальона, и подумал, что, рассчитывая получить обмундирование, многие, уходя из дому, надевают что придется. Наверно, честный человек: нечестные люди в такое время держатся подальше от военных прокуратур. Но слушать то, что ему будет рассказывать этот человек, дежурный не мог, и отправить его еще к кому-то тоже не мог, и не мог объяснить причину, по которой он не может сделать ни того, ни другого.

А причина заключалась в том, что, кроме двух часовых — одного сменившегося и сейчас спавшего и другого, заступившего на пост,— он, военюрист третьего ранга Половинкин, был единственным лицом, находившимся сейчас в помещении окружной военной прокуратуры. Третьего дня, получив соответствующее приказание, прокуратура передислоцировалась в другое место, на одну из подмосковных станций. Архив был эвакуирован, а текущие дела перевезены на новое место дислокации. В прокуратуре уже вторые сутки оставались лишь пустые шкафы, телефоны, два часовых и он, дежурный, обязанный направлять по новому адресу тех, кто сюда явится или позвонит и кому будет положено сообщать этот адрес. Разговаривать с Синцовым здесь, внизу, дежурный не мог, потому что должен был дежурить наверху, у своего телефона. Брать его с собой наверх не считал возможным, потому что каждому, кто поднялся бы на второй этаж прокуратуры, стало бы ясно, что она уехала! А этого посторонним было вовсе не положено знать!

— Вот что,— сказал дежурный, обдумав сам с собой все возможности,— вы подождите тут, в комнате, в бюро пропусков. Я нахожусь на дежурстве, не могу отрываться на выслушивание вашего дела, а тем, кто сможет, я, как они освободятся, скажу. Или вызовем, или спустятся, поговорят с вами. Пусть он там подождет,— пальцем показал он часовому на комнату с двумя окошечками. — Я разрешаю...

— Хорошо, спасибо,— сказал Синцов. — Только я уже, наверно, три часа жду.

— Что ж, придется еще подождать.

Дежурный не знал, сколько придется ждать Синцову, но его предложение подождать не было лицемерным. Час назад ему по-

звонил с нового места один из начальников и сказал, что скоро вернется сюда с группой работников. Имея в виду эту группу, дежурный и сказал Синцову «подождите».

Он поднялся к себе, а Синцов стал ждать. Сначала он ждал нетерпеливо, считая минуты. Потом, потеряв счет, заснул, проснулся и, выскочив в вестибюль с поспешностью только что проснувшегося человека, сказал часовому:

— Соедините меня с дежурным!

Решительный тон подействовал на часового, тот набрал номер, вызвал дежурного и сказал ему:

— Этот, которого вы ждать оставили, просит с вами поговорить. Дать трубку?

Очевидно, ответ последовал утвердительный, потому что он протянул трубку Синцову.

— Ну что там? — послышался недовольный голос.

— Товарищ военюрист третьего ранга,— сказал Синцов,— так никто меня и не вызвал!

— Подождите, вызовут.

— Но ведь мне в часть возвращаться надо,— отчаянно солгал по телефону Синцов. — У меня самовольная отлучка будет...

Несколько секунд в трубке было молчание.

— Ладно, сядьте там внизу, раз вам так горит, напишите все, что хотели сообщить прокуратуре, и оставьте. Когда напишете, скажете часовому, он позвонит, я спущусь, возьму.

Синцов еще несколько секунд продолжал стоять, прижимая трубку к уху. Оставалось делать то, что сказал дежурный. Ничего другого не придумаешь... Доверить все бумаге, оставить здесь, а там видно будет.

«А я пойду обратно в батальон»,— вдруг решительно и с облегчением подумал он.

Он нащупал в кармане ватника пачку сложенных вчетверо листов бумаги, взятых еще в райкоме у Малинина, чтоб написать письмо Маше, вернулся в бюро пропусков и нашел там ручку с погнутым, но еще годным пером. Попробовав перо и слив из двух чернильниц в одну остатки чернил, он разгладил листы, лег грудью на стол и, не останавливаясь и не задумываясь, стал писать страницу за страницей.

Когда он, дописав восьмую страницу, закончил изложение всех обстоятельств, на улице уже начало темнеть.

Он хотел перечесть все подряд, но поглядел в окно, махнул рукой и в самом низу последнего листа написал последнюю фразу:

«Среди всех своих действий считаю неправильными два: что не явился в Особый отдел части, стоявшей по месту моего выхода из окружения, а вместо этого уехал, как мною было изложено вы-

ше, и что, подходя к Москве, не обратился на КПП, а обошел его. За достоверность всех изложенных мной фактов несу всю меру дисциплинарной ответственности».

Он подписался, поставил число, потом перечел последние строчки и после слова «дисциплинарной» вписал «и партийной».

В вестибюле повторилась прежняя процедура. Синцов попросил часового вызвать дежурного, тот позвонил по телефону, и через несколько минут дежурный показался в дверях.

— Написали? — Он взял из рук Синцова листки, сперва взглянул в начало: верно ли адресовано? — потом перевернул и бегло взглянул в конец. — Где вас искать, когда ознакомятся, написали?

— Да, в начале. — Синцов показал дежурному то место, где было написано: «Коммунистический батальон Фрунзенского района в настоящее время находится по адресу: Плющиха, здание ФЗУ № 2».

Показал и, спохватившись, вытащил из кармана ту бумажку, которой снабдил его Губер.

— Товарищ военюрист третьего ранга! Напишите на моем направлении, что меня задержали до вечера, а то ведь отлучка...

Он немного прилгнул: дело было не в том, когда он вернется, ему надо было, чтоб Губер увидел, что он действительно был в прокуратуре.

— Хорошо, напишу, что находились здесь до восемнадцати часов,— сказал дежурный.

— И печать, если можно, поставьте!

Дежурный поморщился,— придется подниматься на второй этаж, снова спускаться и подниматься,— хмыкнул, собираясь отказать, но потом передумал,— сердце не камень! — забрал синцовскую бумажку, вышел и через две минуты вернулся.

— Берите! — с раздражением доброго человека, недовольного собственной добротой, сказал он Синцову.

Выйдя на потемневшую улицу, Синцов развернул бумагу.

На ней не было печати, но был маленький штамп: «Московская окружная военная прокуратура». Под этим штампом было написано: «Находился в прокуратуре до восемнадцати часов. 18.X. с. г.». Потом стояло большое красивое «П» и уходящий вниз росчерк фамилии, так и оставшейся ему неизвестной.

Когда вскоре после отбоя первой за вечер воздушной тревоги к Губеру пришел караульный начальник и сказал, что у ворот стоит человек по фамилии Синцов и заявляет, что он отлучился из казармы с его, Губера, увольнительной, а теперь вернулся и должен явиться к комиссару, Губер усмехнулся, поправил очки

и сказал, чтобы этого человека пустили к нему, а заодно вызвали Малинина.

Синцов зашел к Губеру первым. Малинина еще не было.

— Ну, что, товарищ Синцов,— насмешливо сказал Губер,— военная прокуратура закрыта на ремонт, или вы не нашли Моллановки, или что еще?

Синцов вынул записку Губера и положил перед ним.

Губер внимательно прочел записку, как будто он не сам ее писал, потом повернул бумажку наискось и вслух прочел надпись дежурного по прокуратуре: «Находился в прокуратуре до восемнадцати часов».

— Что ж, выходит, разобрались с вашим делом и отправили вас обратно к нам? Так, что ли? — подняв лицо от бумажки, спросил Губер.

— Нет. Не так.

— А подробней?

Синцов рассказал об оставленном в прокуратуре заявлении.

— И там вы изложили все, что говорил мне о вас Малинин?

— Все,— сказал Синцов.

— Без утайки?

Синцов пожал плечами, и Губер сам честно подумал, что его вопрос глуп. Какие там утайки, когда, будь этот человек трусом, он вчера с легкостью бы дезертировал в глубокий тыл, а будь он ловкачом, наверно, сумел бы что-нибудь наврать о себе и прибиться к какой-нибудь части. Мало ли сейчас между Вязьмой и Москвой оказалось людей, потерявших свои части и утративших документы.

Он даже присвистнул, подумав о том, сколько их, и вдруг улыбнулся Синцову не насмешливо, как улыбался до этого, а просто так — он умел улыбаться и просто так,— и сказал:

— Садитесь, сейчас Малинин придет, посоветуемся...

Губер был в хорошем настроении. К ста шестидесяти винтовкам, что были в батальоне с утра, прибавилось еще пятьсот; теперь батальон был вооружен, по крайней мере, хоть винтовками, а главное — завтра его перебрасывали машинами поближе к фронту.

Что будет дальше, Губер еще не знал: не то все батальоны сведут в дивизию, не то будут пополнять ими другие части. Но, во всяком случае, это было уже похоже на дело, ради которого по праву старого конармейца он, Губер, выговорил себе возможность остаться в Москве, эвакуировав свой главк под командой заместителя.

Малинин вошел, увидел Синцова, по своей неприветливой привычке исподлобья взглянул на него и хмуро кивнул.

— Вот, пожалуйста... — Губер подвинул ему по столу бумажку, с трудом скрыв при этом насмешливое выражение глаз. — Один бюрократ написал бюрократическую бумажку, другой положил на ней резолюцию, а живой человек,— кивнул он на Синцова,— ходит по замкнутому кругу и не может из-за этих бюрократов попасть на фронт. Как, по-твоему,— вдруг весело спросил он,— можно покончить с бюрократизмом, записать добровольца Синцова в твой взвод — и на том прощай законность и да здравствует партизанщина?! А?

Но Малинин не принял шутки.

— Так как же решили? — сумрачно спросил он.

— Как решили? — все так же весело переспросил Губер. — Бумажка останется у меня, а он,— Губер кивнул на Синцова,— у тебя. Бумажкой в случае чего буду оправдываться я, а уж ты будешь оправдываться поведением товарища Синцова в бою!

Последние слова Губер сказал серьезно, и по контрасту с его обычным тоном они прозвучали почти патетически.

— Я оправдаю доверие,— сказал Синцов. — Можете быть спокойны!

— А я вообще редко волнуюсь,— поднимаясь из-за стола, сказал Губер своим прежним насмешливым тоном. Он был человек с романтической стрункой, но душил ее в себе. Задушил и сейчас.

— Можно идти? — угрюмо спросил Малинин.

— Если не хочешь высказываться, можешь идти.

— А чего ж высказываться? Решили бы теперь по-другому — пошел бы пожаловался на вас в райком.

— Использовал бы последнюю возможность? — съязвил Губер.

— Вот именно. — Малинин повернулся к Синцову: — Идем!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вторые сутки, как выпал снег. Стоял солнечный день, холодный и ясный.

Малинин шел из роты во взвод; сначала, пригнувшись, перебежал открытое место по забеленному снегом ходу сообщения, а потом полез напрямик на небольшую горушку с развалинами кирпичного завода; в этих развалинах и сидел взвод. Хотя было морозно, солнце, особенно на подъеме, грело даже через ушанку.

Он остановился, чтобы перевести дух, обернулся и посмотрел назад.

Сзади расстилался обычный пейзаж Подмосковья: слегка холмистый, с черными пятнами рощ и полосами лесов на горизонте. Поближе квадратом чернела горелая усадьба МТС — там был штаб батальона, подальше виднелись крыши деревни — там размещался штаб полка. На снегу выделялись каждая свежепротоптанная тропа, каждый окоп и ход сообщения. Как их ни маскируй, сейчас, с этой маленькой возвышенности, они были хорошо видны. Снег все выдавал.

В тот же день, как бойцы коммунистического батальона прибыли с пополнением в 31-ю стрелковую дивизию, Малинину присвоили звание и послали политруком роты. В этой должности он состоял и теперь, после десяти дней боев.

Бои были непрерывные и кровопролитные; дивизию еще раз пополнили, уже после того пополнения, с которым пришел Малинин. Правда, на этот раз пополнили скупо, чувствовалось, что недодали, приберегая на будущее.

Немцы по-прежнему имели успехи, и сегодня дивизия дралась спиной к Москве, еще на двадцать километров восточней того рубежа, на котором застал ее Малинин.

За это время она трижды отступала с занимаемых позиций. Два раза — выравнивая фронт с соседями и избегая окружения, а в третий раз потому, что один из ее полков был почти целиком уничтожен, а два других не смогли удержаться. Лишь к утру следующего дня далеко в тылу, на запасных позициях, удалось тогда задержать немцев и положить их перед собой на землю собственным огнем и массированным ударом работавшей из глубины тяжелой артиллерии. На этих позициях, по переднему краю которых шел сейчас Малинин, дивизия зацепилась и больше не отступала, хотя предыдущие трое суток прошли в жестоких атаках.

Так обстояли дела на участке дивизии, а все, вместе взятое, в масштабах всего подмосковного фронта было громадным затяжным оборонительным сражением, в котором, казалось, вот-вот должны были иссякнуть и силы наступающих, и силы обороняющихся, но ни те, ни другие все не иссякали и не иссякали. Бои продолжались с прежним ожесточением и перевесом в пользу немцев, которым, однако, несмотря на перевес, с каждым днем и за каждый взятый километр приходилось платить все дороже и дороже.

Малинин испытывал то же чувство, что и многие люди, сражавшиеся в те дни под Москвой. Немецкие танковые клинья уже не протыкали наш фронт, как нож масло, как это бывало летом и как это почти повторилось в первые дни прорыва под Вязьмой и Брянском. Сейчас люди постепенно обретали другое самочувствие — самочувствие пружины, которую со страшной силой

жмут до отказа, но, как бы ее ни давили, дойдя почти до упора, она все равно сохраняет в себе способность распрямиться. Именно это чувство, и физическое и душевное, эту внутреннюю способность распрямиться и ударить испытывали люди, медленно и свирепо теснимые в те дни немцами с рубежа на рубеж, все ближе и ближе к Москве.

Они сами напрягали все свои силы, они знали, что за ними Москва, этого им не нужно было объяснять. Но, кроме того, они чувствовали по приходившим в самые критические минуты пополнениям, по артиллерии, которой с каждым днем все заметней прибывало на фронте, и по многим иным признакам, начиная с подарков и писем и кончая тоном газет, что вся страна позади них напряглась, чтобы не отдать Москву.

Если и был момент, когда Москва могла оказаться в руках у немцев, то этот момент остался уже позади. Победы под Москвой еще не ждали, но в возможность поражения уже не верили. Казалось, география говорит за немцев: по нескольким шоссе они подошли к Москве ближе чем на сто километров. Но та первоначальная арифметика войны, по которой танки, прорвав фронт, могли за сутки-двое пройти это расстояние, под Москвой уже не действовала. Танки могли прорвать фронт и то там, то тут прорывали его, но через три, пять, семь километров так или иначе их останавливали. А без той прежней, страшной арифметики одна география уже не могла сокрушать души.

Сегодня, пользуясь затишьем, с ППС принесли письма. Малинин получил письмо от жены. Сжившись с ним за двадцать три года так, что его скупость в проявлении чувств стала как бы ее собственной второй натурой, жена сдержанно писала ему, что все время думает о нем и беспокоится, выдадут ли им ко времени зимнее обмундирование: люди говорят, что скоро должны грянуть ранние холода. Кроме того, она сообщала две новости.

Первая из них касалась сына. Директор школы, эвакуированной под Казань, написал, что их сын Малинин Виктор, ученик девятого класса, исчез, оставив записку, что уезжает защищать Москву, и, несмотря на розыски, до сих пор не задержан.

«Как же, задержишь его, стервеца!» — с нежностью подумал Малинин о сыне.

Жена писала о сыне с глубоким горем, сначала не вызвавшим у Малинина ответного чувства. «Что ж, парню семнадцатый»,— храбрясь, подумал он, но потом вспомнил вчерашний вечер и открытую братскую могилу, в которой лежало семеро, убитых в роте за один только день; вспомнил — и затосковал, хотя гордость за поступок сына по-прежнему оставалась в душе.

Вторая новость касалась жены: райжилотдел, где она слу-

жила инспектором, снова приступает к работе, и ее сделали заведующей, потому что их начальник, известный Малинину Кукушкин, возвращен из Горького, куда он удрал самовольно, снят с работы, исключен из партии, разбронирован и отправлен бойцом на фронт. Эта новость порадовала Малинина. То, что в Москве брали в оборот таких, как Кукушкин, укрепляло его в убеждении, что в конце концов вообще все будет в порядке: Москву не только не сдадим, но авось до самой до нее и не доотступаемся.

О Кукушкине, который был, по его мнению, большим прохвостом, Малинин со злостью подумал, что этот выкрутится. Сунут его на фронт, а он все равно выскочит, как пробка, где-нибудь в тылу.

Отдохнув, Малинин поднялся до самого взгорка, на котором сидел его взвод. Вчера бой сложился так, что он не был здесь ни днем, ни ночью и чувствовал себя без вины виноватым. Он взял за обыкновение хоть раз на дню повидать каждого из своих бойцов: не так-то много их осталось в роте. Да и жизнь такая — вчера не повидал, а сегодня уже не придется: взвод вчера опять понес потери, и в нем, по утренним данным, осталось всего одиннадцать бойцов, считая командира взвода сержанта Сироту. Этот Сирота командовал взводом уже неделю, после того как в один день убили двух лейтенантов: утром — воевавшего с начала войны, а вечером — присланного на его место прямо из училища.

Развалины кирпичного завода, собственно, были не развалины, тут нечего было и разваливать. Завод только начали строить и бросили недостроенным. Заложили фундаменты, основания печей и начали стены, выведенные на разную высоту, но нигде не выше чем до пол-окна. Здесь же, чуть поодаль, была заложена и будущая заводская труба. Круглая мощная кладка поднималась на метр над землей, а внутри была заглублена для подземного дымохода — это был как бы естественный круглый дот, который оставалось только приспособить под хорошее пулеметное гнездо.

Еще три дня назад, когда занимали эту позицию, Малинин, сам старый пулеметчик, посоветовал получше использовать трубу и позавчера видел, как в ней устраивался вместе со своим станковым пулеметом Синцов; он с начала боев попал в роту к Малинину, отчасти волею случая, потому что мог бы вообще оказаться в другом полку и батальоне, а отчасти волею Малинина, потому что уже здесь, в батальоне, Малинин замолвил слово, и, разверстывая пополнение, Синцова зачислили в его роту.

Синцов, как это скоро выяснилось, оказался человеком бывалым и умел обращаться с оружием. Солдатские повышения, как всегда в дни больших боев, не заставили себя ждать.

В первое утро он подносил патроны, к вечеру лег вторым номером за «максим», а на второй день заменил убитого первого номера. Четыре дня назад, при отступлении с прежних позиций на эти новые, Синцов со своим вторым номером до самой темноты прикрывал огнем отход роты и, по мнению командира роты лейтенанта Ионова, проявил при этом смелость и выдержку.

Лейтенант Ионов даже сказал, что первого номера надо представить за это к медали «За отвагу», но Малинин, помня прошлую историю Синцова, воздержался от поспешности. Его строгая душа и чувство личной ответственности за Синцова не позволяли спешить с таким делом. Он только с похвалой, с именами и фамилиями, упомянул в очередном политдонесении о действиях пулеметного расчета, а в ответ на предложение писать наградной лист промолчал. И командир роты, занятый другими заботами, сам запамятовал о Синцове.

Сейчас Малинину хотелось повидать Синцова, но пошел он не к пулеметному гнезду, а сначала к развалинам самого завода, где сидел сержант Сирота.

Сержант Сирота, как и все люди, не был, конечно, избавлен от чувства опасности, но оно не играло особой роли в его соображениях по службе. Его могли убить так же, как и всякого другого,— этим заканчивалось вообще все, в том числе и служба, но на строгость несения этой службы мысль о смерти повлиять не могла.

Увидев политрука роты еще издали, Сирота подтянул ремнем ватник, проверил, как раз ли посередине лба приходится звездочка на ушанке, и вскинул на плечо новенький, только что смазанный автомат ППШ.

В последнюю неделю эти автоматы стали поступать в дивизию; Сирота получил его первым в своем взводе и уже испытал в бою; хотя у автомата не было такой прицельности, как у винтовки, но густота поражения была хорошая, и Сирота сейчас, на первых порах, относился к своему ППШ даже с преувеличенным вниманием.

Повесив ППШ на плечо, он выбежал через проем в стене навстречу политруку. Малинин в ответ на строгое, по всей форме, приветствие Сироты сначала приложил руку к ушанке, а потом протянул ее сержанту.

— Ну, как живешь, Сирота? — Он крепко своей тяжелой рукой пожал такую же тяжелую руку Сироты.

— Питание хромает, товарищ политрук,— сразу же пожаловался Сирота.

Он по своему опыту солдатской службы хорошо знал, когда можно и когда нельзя жаловаться начальству, и, когда было можно, всегда жаловался.

— Почему хромает? — Малинин знал, о чем идет речь, но сделал вид, что не догадывается.

— Так что ж, товарищ политрук, сегодня на рассвете пошли с термосами, а получили столько, что в котелках бы унесли...

— Дали, сколько положено,— сказал Малинин,— на наличный состав. Чего же тут обижаться?

— Я не обижаюсь,— сказал Сирота, хотя как раз этим и был недоволен; он не показал убыли и рассчитывал сегодня получить продукты по вчерашней норме.

— Еще что нехорошо? — спросил Малинин.

— Сами знаете. — Сирота пожал плечами, на лице его было написано «на нет суда нет». — Не подвезли, что же теперь делать!

— Про курево, что ли, сказал?

— Ну, а про что же еще, товарищ политрук? Боевое питание нормальное, не жалуемся.

Малинин усмехнулся, открыл полевую сумку и вынул четыре пачки махорки.

— Нá, раздай. Сегодня как раз получили подарки от шефов из Москвы, так я шел, махорку захватил. Там и папиросы есть, ну, это все вам потом доставят, вечером...

Сирота взял из рук Малинина махорку и даже вздохнул от счастья; по его лицу стало видно, как давно он не курил.

— Закуривай,— сказал Малинин, увидев выражение лица Сироты,— и я закурю.— Он достал из кармана начатую пачку махорки, насыпал Сироте и себе и стал свертывать самокрутку.

— Может, внутрь зайдем? — сказал Сирота.— Там мы к одной стенке подбились и плащ-палаткой завесили.

— Да ладно, уж тут, на ветерке,— сказал Малинин. — Погода больно хороша.

— Тогда я сейчас, товарищ политрук! Если разрешите, бойцов махоркой наделю.

— Ну конечно...

Сирота скрылся в проеме, окликнул кого-то и, должно быть приказав раздать махорку, вернулся к Малинину.

Сирота попал в армию еще по старому закону о призыве — не в девятнадцать, а в двадцать два года. Теперь ему было двадцать восемь, но из-за выражения постоянной озабоченности он казался старше своих лет. Однако сейчас, когда он свертывал цигарку, по лицу его бродила улыбка.

— Чему радуешься? — спросил Малинин.

— Погода, товарищ политрук. — Сирота закурил, ловко прикрыв огонь ладонью. — Хорошо бы мороз еще покрепчал.

— Чего ж хорошего? В крепкий мороз в поле тяжело.

— А я так предвижу: нам тяжело, а немцам еще тяжелее,— сказал Сирота с такой ухмылкой, словно в его собственной власти было устроить этот подвох немцам.— У меня во взводе один студент-химик, с четвертого курса, говорит, что у ихней авиации смазка морозу не выносит, замерзает. Вы посмотрите,— Сирота кивнул на небо,— второй день зима по-настоящему, и второй день фрицы меньше летают. Может, если покрепче ударит, так и в танках у них смазка откажет?

— А ты танков не бойся.

— А я и не боюсь. Мы их уже два сожгли...

— Два — это еще не все.

— Так ведь на взвод! — обидчиво возразил Сирота. — Вот вы так посчитайте, если только стрелковые взводá брать: два — на взвод, шесть — на роту, восемнадцать — на батальон. Пятьдесят четыре — на полк,— загибая пальцы, продолжал он,— сто шестьдесят два — на дивизию, а на десять дивизий —уже тысяча шестьсот... Уже бы и танков, глядишь, под Москвой у немцев не было. Если б все так! А разве у нас все взводá по два танка сожгли? Хотя бы взять наш батальон. Не знаю я еще такого взвода, который бы два танка сжег, кроме нашего! — самолюбиво закончил он.

— Значит, все подсчитал, за целый фронт,— усмехнулся Малинин,— ты свое дело сделал, свои два танка сжег, и можешь на печку: пусть теперь другие, их очередь?

— Почему? Я так рассуждать привычки не имею. Я просто за правду, что два танка на взвод — это немало.

— Я не говорю — мало, я говорю — на смазку не надо надеяться. Мороз ударит, смазка у немцев откажет, орудия стрелять перестанут, автоматы заест, и останется их только с дорог сгребать да в поленницы складывать! Это настроение неверное, не надо себя им успокаивать.

— Да что уж нам себя успокаивать? — Сирота не привык лезть за словом в карман, когда находился в положении «вольно». Он развел руками, потом задрал голову и посмотрел на солнце. — Это все обман,— жмурясь на солнце, сказал он.— Как дадут духу, так от всей этой погоды один дым останется...

— Ну что ж, обойдем вашу позицию. — Малинин бросил окурок и, притоптав его, первым полез в проем.

Через десять минут он, как это всегда с ним бывало в часы затишья, уже сидел и разговаривал с солдатами. Вокруг него собралось шесть человек, остальные, в том числе и Синцов, были на своих позициях, но Малинин уже привык к тому, что всех сразу не соберешь, и довольствовался той аудиторией, что была.

— Вот, Михнецов,— говорил он худому молодому солдату, нервно потягивавшему козью ножку,— ты, конечно, химик, а я —

нет, тебе и карты в руки: вот ты говоришь, что авиационное горючее у немцев негодящее для морозов, а там и в танках смазка у них замерзнет, а там, может, по-твоему, и орудийные системы у них откажут, и автоматы начнут заедать.— Эта тема забеспокоила Малинина, и он теперь неуступчиво поворачивал ее так и эдак, намереваясь в конце концов повернуть по-своему и поставить так, как считал правильным. — Может быть, повторяю, и так: ты химик, тебе виднее,— но я вот лично на все это не надеюсь. Ты надеешься, а я — нет. Больше того скажу: ты надеешься на то, что в морозы техника у немцев откажет, а я нисколько на это не надеюсь, я исключительно на тебя, на Михнецова, надеюсь. Надеюсь на тебя, что у тебя при любой погоде душа не дрогнет, и винтовка, и граната, и все, что тебе в руки попадет,— ничто не откажет, потому что если у тебя душа не дрогнет, то немцы, пусть у них вся техника и в тридцатиградусный мороз как часы работает, все равно до Москвы не дойдут. А если у тебя душа откажет, вот тогда они при всех обстоятельствах в Москве будут, с техникой, без техники, в мороз, без мороза — все равно! Что скажешь на это, химик?

Михнецов был, как видно, неглупый парень, он сразу понял, куда гнет политрук. Однако ему уж очень, от всей души, хотелось, чтобы на головы наступавших на Москву немцев свалились все тридцать три несчастья, и он стал горячо приводить разные новые соображения о нашем морозе и немецкой технике.

— Ну, положим, так,— чувствуя, что уже сбил встревоживший его благодушный тон, миролюбиво сказал Малинин,— чтоб им повылазило! Но ты понял, что не в них главное дело, а в тебе? Не в том, как у них смазка будет мерзнуть, а в том, как ты стоять будешь? — упорно в одну точку бил Малинин.

— Да, это понятно, товарищ политрук, конечно,— ответило сразу несколько человек.

— Слушай-ка, Сирота,— после паузы сказал Малинин,— сегодня что у нас, четверг?

— Четверг.

— Имей в виду, в субботу заседание партбюро полка будет. Там и твой вопрос стоит, будут принимать тебя в партию.

— Вопросов боюсь,— сказал Сирота.— У меня всегда так: пока не задают вопросов — все знаю, как зададут — все забыл. Как назло!

— Он тут сегодня с утра и Устав и «Краткий курс» уже подчитывал, готовится, — по-отечески сказал пожилой боец. Это был тот самый Трофимов, над которым перед приходом в казармы коммунистического батальона подшучивали товарищи, что он собрался как на рыбную ловлю. Сейчас, в ушанке, в ватнике, в на-

детой поверх ватника шинели, он имел вид заправского солдата, и только седая щеточка усов выдавала его возраст. Он попал в роту в одном пополнении с Синцовым и после всех потерь остался единственным коммунистом во взводе.

«Если не считать Синцова»,— вспомнил Малинин и тут же подумал, что нет, считать Синцова нельзя: с партбилетом, утраченным при недоказуемых обстоятельствах, в партии могут не восстановить даже и при наличии боевых заслуг.

— А ты, Трофимов,— сказал Малинин,— помоги Сироте подготовиться. Хотя он и командир взвода, а ты боец, но, как старый коммунист, ты в этом вопросе для него старший.

— Да он помогает,— отозвался Сирота,— и «Краткий курс» — его, у меня только Устав был.

— С собой из Москвы прихватил? — взглянул Малинин на Трофимова.

Трофимов кивнул и сказал:

— Все ребята меня пытают о Москве. Как Москва, да что, да, говорят, паника там была... расскажи, как было. А я им отвечаю: если что и было, то у меня уже из памяти вышло. Теперь у меня в памяти, как у Лермонтова: «Ребята, не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой!..» Еще при царе Горохе, на заре века, в приходской школе учил, а вот ведь не забыл!

— Что же,— сказал Малинин,— если московскими новостями интересуетесь, могу рассказать самые свежие. От жены письмо получил...

Он рассказал и о своем сыне, удравшем на фронт, и о том, что жена вернулась на работу в райжилотдел, и о разбронированном и отправленном на войну Кукушкине.

Бойцы слушали сочувственно; что Кукушкина разбронировали, всем понравилось: так ему и надо, черту!

— Наводят, значит, в Москве порядок,— усмехнулся Трофимов. — Это хорошо. А что твой сын удрал, хочешь — сердись, хочешь — не сердись, Алексей Денисыч, а как он был хулиган, так, значит, и остался. Я за две улицы от тебя живу — и то его проделки знаю...

— Ничего,— сказал слегка задетый этим Малинин,— я и сам в его годы хулиганом был хорошим...

— А как,— вдруг спросил молчавший до этого молодой бледный боец, он сидел, подперев рукой щеку,— как все-таки вид Москвы после бомбежек? Я сам москвич, на Коровьем валу жил.

— Цел твой Коровий вал,— сказал Малинин. — Да Трофимов вам небось уже десять раз рассказывал. Вы ему верьте, он мужик серьезный, непьющий и неврущий, хотя и рыболов.

Все рассмеялись.

— А все-таки,— не унимался москвич с Коровьего вала,— неужели так мало в Москве разрушений, как в газетах пишут?.. Ведь каждую ночь идут над головами, и гудят, и гудят...

— Идут, да не доходят,— сказал Малинин.— Не всякая пуля до тебя долетает! Так и с Москвой. Тебе отсюда кажется, что там бомбежка — страшное дело, а я сюда, на фронт, шел — поджилки дрожали. А пришел — вроде ничего.

— Ну, уж вы скажете, товарищ политрук,— поджилки дрожали! — вежливо не поверил ему Сирота.

Малинин насмешливо покосился на него.

— А вот именно, что так — дрожали! А ты что ж думал, я страха божьего не имею? Еще как имею! — Малинин пригнулся при свисте низко пролетевшего снаряда и нашел в себе силы пошутить: — Видишь, снарядам кланяюсь...

Двое или трое улыбнулись, лица остальных были серьезны: снаряд разорвался слишком близко, чтобы шутить. Второй, такой же пристрелочный, как этот, разорвался впереди. Все разбежались под прикрытие стен. А немецкая артиллерия начала, как бешеная, молотить — снаряд за снарядом по всему взгорку с кирпичным заводом. Запахло едким дымом.

— Это они вчера, сволочи, пристреливались, когда мы атаку ихнюю отбивали! — кричал Сирота в ухо Малинину. — Вчера клал — спасу не было! А сегодня еще больше дает... Прямо с нас и начали.

То ли немцы действительно пристреливались вчера, то ли им повезло сегодня — над этим некому и некогда было задумываться. Разбросав десяток снарядов вокруг, так близко, что их тяжелым дыханием несколько раз из стороны в сторону качнуло землю, немцы положили снаряд прямо внутрь недостроенного здания.

Малинин перед этим, как и все, лежавший под стенкой, прикрываясь ею от осколков разрывавшихся снаружи снарядов, почувствовал одновременно удар, грохот, тяжесть и духоту. Его завалило кусками обрушившейся стенки и вывороченными снарядом мерзлыми комьями.

Задыхаясь, напрягая все силы, Малинин выкарабкался из-под навалившихся на него кирпичей и земли. Ему удалось это потому, что перед разрывом он закрыл руками голову и руки оказались наверху.

Высвободив руки и ощупав окровавленное лицо, он стал яростно разгребать все, что мешало ему подняться, и наконец, оглушенный, но живой, вылез из своей каменной могилы и, пошатываясь, встал на ноги.

Кругом все было кончено. Тяжелый снаряд перевернул каждый сантиметр пространства. На снегу, перемешанном с выворо-

ченной землей и кусками фундамента, темнела кровь, валялись обрывки обмундирования, изуродованные куски человеческого тела, чей-то сапог с ногой, оторванной выше колена.

Малинин сделал несколько бесцельных шагов и, вздрогнув, остановился. Что-то хрустнуло у него под сапогом,— он посмотрел вниз и увидел очки Трофимова в знакомой, обвязанной ниткой оправе.

Он вернулся в тот угол, где засыпало его самого, и понял, что остался жив именно потому, что его засыпало. Кирпич обвалился от удара снаряда, попавшего снаружи под корень стены, а тот снаряд, что попал внутрь, разорвался чуть позже, когда Малинина уже прикрыло от осколков обвалившимся кирпичом.

— Эй, кто-нибудь, кто-нибудь! — закричал Малинин, начиная вспоминать, кто же был с ним рядом в последнюю секунду.

Был Сирота, был этот химик Михнецов, где же они? В этой стороне развалин не было ни их мертвых тел, ни даже того, что остается от человеческого тела при прямом попадании.

«Может быть, выбросило ударом»,— подумал Малинин и в ту же секунду услышал стон из-под заваливших угол здания кирпичей. Ломая ногти, он стал разгребать их и наконец вытащил из-под кирпичей Сироту, живого, даже делавшего какие-то движения, похожие на усилия подняться, с красной, кровяной кашей вместо всей нижней половины лица. Он стонал не ртом, а горлом, и даже, казалось, не горлом, а живой утробой, которая прорывалась наружу сквозь искалеченный рот.

Малинин взял горсть снега и, густо кровавя ее, протер страшное лицо Сироты. Потом вытащил из полевой сумки индивидуальный пакет и, приподняв голову Сироты, стал бинтовать ему низ лица. Сначала, забыв, что тому надо дышать, он забинтовал все сплошь, так, что Сирота начал хрипеть. Пришлось перебинтовать снова. Замотав лицо сержанта в уже окровавленные бинты, Малинин подтащил его к стене так, чтобы голова была повыше, чтобы он не захлебнулся кровью, и лишь теперь увидел, что там, откуда он перетащил Сироту, из-под кирпичей торчит нога.

Еще когда он пришел сюда час назад, он заметил, что у химика Михнецова старые, но хорошие, двойным войлоком подшитые валенки. Михнецов сказал, что нашел их на днях в брошенной избе, и Малинин еще хотел пошутить, что химик подготовился к зиме лучше всех во взводе. Хотел пошутить, потом забыл, а сейчас, увидев торчащий из-под кирпича подшитый валенок, понял, что там лежит Михнецов.

Не теряя времени, он стал поспешно откапывать Михнецова: начал с ног, потом вслух обругал себя и, прикинув на глазок, где может быть под кирпичами голова, перелез и стал откапывать

там. Надо было начинать с головы, чтобы человек, если он жив, не задохся.

Продолжая ругать себя за то, что не сразу сообразил такую простую вещь, Малинин остервенело раскидывал кирпичи. Наконец показались плечи Михнецова. Малинин притронулся рукой — под ватником плечо было теплое, Михнецов был жив. Малинин стал еще торопливей, но уже осторожней освобождать шею и голову Михнецова и вдруг остановился, держа в руках только что поднятый с затылка Михнецова кусок кирпича. Тело Михнецова было еще теплое, но он был мертв. Вся верхняя часть черепа у него была снесена вот этим самым куском.

Малинин разогнулся, со злобой швырнул кирпич на землю и в ту же секунду услышал близкий отрывистый стук пулемета. В сорока шагах от него в фундаменте фабричной трубы люди были живы и вели огонь по немцам. Малинин испытал облегчение — ему казалось, что он остался один.

Подойдя к Сироте, Малинин еще раз приподнял и подвинул его тяжелое тело так, чтобы на случай новых разрывов оно было получше прикрыто от осколков. Впрочем, артиллерийский огонь немцев уже ушел далеко вглубь. Сирота, когда Малинин передвигал его, сделал под кровавой повязкой несколько слабых движений, словно хотел что-то выкрикнуть, потом разжал кулаки обеих рук, как бы удивляясь своей беспомощности, и, снова сжав их, притих. Только грудь его тяжело, с хрипом вздымалась и опускалась. Малинин еще раз взглянул на него, перелез через стенку и по прорытому к трубе мелкому, в полроста, ходу сообщения пошел туда, откуда продолжал слышаться живой стук пулемета.

Когда начался обстрел, Синцов вместе со своим вторым номером, молодым бойцом второго года службы Колей Баюковым, сидел за пулеметом у одной из двух пробитых в трубе амбразур. Они без огня, условно наводили пулемет по уже пристрелянным раньше ориентирам, причем тренировались наперекрест: Синцов — за второго номера, а Баюков — за первого.

За амбразурой начинался крутой скат, часть его была не видна и оказывалась в мертвом пространстве; потом скат делался пологим и переходил в снежную лощину. Она шла поперек наших позиций, а за ней начинался новый взгорок, на котором возле трех отдельных домиков сидели остальные взводы их роты. В самой лощине окопов не было, она была хорошо пристреляна с обеих сторон и перекрывалась огнем двух пулеметов. Вчера немцы пытались пойти в атаку как раз по этой лощине, но из-за перекрестного огня не прорвались и даже не смогли утащить своих убитых, хотя обычно делали это с риском для жизни. Вчера говорили, что в лощине осталось до трех десятков трупов, но отсюда,

из амбразуры, было видно только несколько черневших внизу, на снегу. Проводя с Баюковым условную пристрелку, Синцов брал сейчас как ориентиры воткнутую в снег вешку и два крайних трупа, на входе и выходе из лощины.

Баюков, с которым они служили вместе уже неделю, чем-то напоминал Синцову того красноармейца, который тогда, в Москве, согласился вызвать ему в прокуратуре дежурного. У Баюкова было такое же девичье, гладкое, розоватое лицо и черные брови. Когда он снимал ушанку, то было видно, что подросшие ежиком волосы у него совсем льняные.

«Наверное, на гражданке с чубчиком ходил?» — еще в первый день спросил его Синцов; Баюков улыбнулся и сказал: «Ага!» — а Синцов подумал, что Баюков со своими черными бровями и русыми волосами был, наверное, на редкость красивый парень. Сейчас он острижен, на нем слишком большая, чужая, второго срока ушанка, шинель горбится поверх ватника, да и лежат они оба тут уже три дня под открытым небом, сперва в распутицу, потом на морозе,— тут уж не до красоты.

Отношения у обоих сложились самые лучшие с первого же дня знакомства, а вернее — с той минуты, как Синцов сказал, что на пулемете оба номера должны уметь работать и за второго и за первого, и тут же подкрепил слова делом, в первый же час затишья занявшись с Баюковым расчетами углов и поправками на дальность...

Баюков был колхозник из-под Рязани, из заокского лесного села Солотча, знаменитого своей солотчинской картошкой и рыбными ловлями на старом русле Оки — Старице.

Как бы там ни было, а люди воюют не все время. Баюков, который мог быть и молчаливым и разговорчивым, в зависимости от того, нравились или не нравились ему люди, успел за неделю рассказать Синцову, что не окончил семилетку по семейным обстоятельствам: отец помер, а мать заболела, что перед армией год был бригадиром в комсомольской бригаде на картошке, а после армии хочет все-таки пойти учиться на агронома.

— Вот только надо за семь классов сперва сдать. Я думал в армии сдать,— говорил Баюков,— а тут такое дело...

«Таким делом» была война.

Баюков был доверчивый и любознательный парень. В тетрадку, хранившуюся у него в вещевом мешке, были записаны все книги, которые он прочел в жизни. Их было немало для его возраста — сто четыре, — и в большинстве хорошие. По вечерам, если позволяла обстановка, он своим акающим рязанским говором вслух пересказывал Синцову их содержание.

В бою Баюков бывал всецело поглощен своими обязанностями. В этом они сошлись с Синцовым и поняли друг друга.

У Синцова душа тоже была отдана бою, он не давал себе никаких поблажек и не строил никаких личных планов; вся его будущая жизнь на войне — до победы ли, до смерти — представлялась ему теперь солдатской. И то, что Баюков за эту неделю оказался хорошим напарником, было для него сейчас важнее всего на свете, и он не только дорожил из-за этого Баюковым, но и готов был сделать для него больше, чем для многих других людей, которых знал годами.

Когда начался обстрел, Синцов и Баюков немножко потянули пулемет из амбразуры назад, на себя, чтобы случайным осколком не ударило в дуло, и сами присели пониже, на дно трубы, выложенное крепким огнеупорным кирпичом. Что обстрел сильный и точный, они поняли сразу. Все кругом гудело от близких разрывов, но, в общем-то, даже при таком обстреле здесь, в трубе, они чувствовали себя почти в безопасности: много рядов огнеупора могло пробить только попадание тяжелого снаряда прямой наводкой с близкого расстояния, да и то не касательное, а под прямым углом. Осколкам залететь в трубу было трудно: еще позавчера они с Баюковым накрыли ее листами котельного железа. Комвзвода Сирота говорил, что железо это приготовлено для створок печных ворот. Железо было толстое, десятимиллиметровое, и два листа его покрывали трубу почти всю, с небольшой щелью. Через фундамент проходил дымоход, и теперь по нему лазали в трубу снизу.

— Прямо тебе дот,—сказал вчера Сирота, именно так и думали о своей трубе Синцов и Баюков.

Разом погубить их могло только одно — прямое попадание сверху на закрывавшие трубу листы; тогда, конечно, деваться некуда, от обоих осталось бы мокрое место. Но с такой неудачей они даже сейчас, при обстреле, считались не больше, чем с любой другой возможностью смерти, которая так или иначе всегда присутствует на войне.

Немецкий огонь все усиливался. Баюков стал выворачивать один за другим карманы и по крошке ссыпать в ладонь застрявшую в швах махорку. Вчера махорки тоже не было: он уже проделал однажды эту операцию, но сегодня старался повторить ее. Все-таки огонь был такой сильный, что он нервничал.

Синцов встал, подошел к амбразуре и посмотрел на открывавшуюся за ней снежную лощину.

В лощине, на пустом месте, тоже рвались снаряды, но реже, зато на высотке с тремя домиками, над позициями соседних взводов, стоял сплошной дым. Снаряды рвались там степой, и один из трех домиков уже исчез, словно его никогда и не было.

У Синцова защемило сердце не оттого, что он испугался продолжавшегося обстрела, а оттого, что неотвратимо подумал: «Как только окончится обстрел, начнется атака». Он сел у стены рядом с Баюковым и стал ждать окончания обстрела. У него вдруг зачесалась голова, и он, на минуту скинув ушанку, осторожно погладил рукой шрам повыше виска. Две недели назад Золотареву показалось, что это была смертельная рана, а сейчас от раны остался только узкий рубец с гладкой и скользкой на ощупь кожей и с колючим ежиком еще не отросших волос по бокам.

О чем думают в такие минуты люди — раз на раз не приходится. Иногда о важном, иногда о не важном, иногда вперемежку и о том и о другом, иногда думают естественно, так, как их влекут мысли, и иногда насильственно — о том, что, как им кажется, может отвлечь от страха смерти.

Синцов не насиловал себя. Он думал о том, что приходило в голову, но мысли сменяли и подталкивали друг друга, словно боясь, что он уже не успеет подумать обо всем, о чем ему еще нужно подумать.

Уже несколько раз за эти дни его толкало под руку сесть и написать письмо Маше о том, где он и что делает. Он хотел, чтобы она это знала, но чем сильнее хотел этого, тем ожесточенней спрашивал себя: а куда писать? Где она? Да, у него был почтовый ящик школы, но Маша уже не там, она уже давно по ту сторону фронта, и писать ей туда отсюда — все равно что пытаться проткнуть бумажным треугольником солдатского письма каменную стену этой трубы.

Он вспомнил, как она в ту ночь в Москве, сидя на корточках, мыла в тазу ему ноги, оттирала лепешки грязи и, мягко дотрагиваясь, промывала ссадины, и в нем вспыхнула такая щемящая нежность к ее ласковым рукам, что он, испугавшись силы своих воспоминаний, тут же придушил эту вспышку, вполголоса выругавшись.

— Чего ты? — спросил Баюков, наконец наковырявший несколько крошек махорки и свернувший тоненькую цигарку.

— Ничего,— махнул рукой Синцов.

— А я думал, тещу вспомнил,— невпопад пошутил Баюков.

Синцов с тупой, старой болью вспомнил Гродно и все, что было связано с этим словом в его израненной и одеревеневшей от ран памяти. И, сам не заметив этого, замотал головой, как лошадь, которую жалят слепни. Потом он подумал о Малинине, которого видел издали, когда час назад тот поднимался по склону, и вспомнил их разговор в первый день, когда Малинин был назначен политруком роты. Знакомясь с людьми, Малинин обходил уцелевшие избы теперь уже давно оставшейся в тылу у немцев деревни

Клинцы, где тогда заночевала рота. Поговорив с бойцами, Малинин поманил Синцова из избы и, широко расставив ноги и сунув руки в карманы — это была его любимая поза,— угрюмо сказал:

— Давай-ка пиши, объясни свое прошлое. В кадровую часть попали, тут полный порядок должен быть.

— Кому же еще писать? Уже писал я... — с тоской сказал Синцов.

Малинин все так же угрюмо посмотрел на него и сказал все тем же своим недовольным голосом:

— Мне напиши. Я сам отдам комиссару или в политотдел дивизии. А там уж решат, куда переслать по назначению. Ты только укажи, кто и какие факты подтвердить может, лиц укажи. Проверять захотят — пусть проверяют. Сегодня напиши, пока под крышей,— кто его знает, где завтра ночевать будем! Ну, бывай! — Малинин хмуро кивнул, зашагал по улице к следующей избе, но вдруг остановился и окликнул: — Синцов!

Синцов подошел к нему.

— Ты там укажи, что я все с самого начала знаю. Так и начинай: «Как вам уже известно обо мне...» — а потом напиши: «...но я хочу изложить письменно, чтобы политотдел и командование части...» Понятно?

— Понятно.

В ту ночь Синцов еще раз сел писать свои объяснения — коротко и со ссылками на лиц, как сказал ему Малинин.

Но, как бы коротко он ни писал, писать все это еще раз, после того, как он уже рассказывал это Маше, рассказывал Елкину и Малинину, после того, как он уже писал все это в прокуратуре, после того, как он много раз, оставшись один на один с собой, вспоминал все это,— писать еще раз было тяжко. Да что же он, в конце-то концов, пошел воевать или объяснения писать? Но он все-таки написал и отдал Малинину; это было на следующий день на марше. Дивизия, загибая обнаженный фланг, поспешно отходила на запасные позиции, и шлепавший по густой грязи, еще более хмурый, чем обычно, Малинин, поравнявшись с Синцовым, молча взял у него заявление и сунул в карман шинели. И, хотя Синцов потом много раз видел Малинина, они уже больше не говорили об этом.

Сейчас, слушая сотрясавшие землю тяжкие удары, Синцов пытался представить себе, как и кому Малинин передал его заявление, что сказал при этом и куда следует теперь ждать вызова: в политотдел или в Особый отдел? И, хотя он считал, что после десяти дней боев его уже не отзовут с передовой, нерешенность судьбы тяготила его. Прибавлялась еще невеселая мысль, что могут ранить, увезти в тыл — и тогда прощай и это объяснение, и

Малинин! Выйдешь из госпиталя, попадешь в другую часть, и придется писать все сначала...

— Слушай! — перекрикивая гул артиллерии, на ухо Синцову крикнул Баюков. — По-моему, там в ребят попало!

Синцов подошел к запасной амбразуре и увидел сквозь расплывающийся дым, что одна из недостроенных стенок завода вроде бы стала ниже.

— Да, кажется, попало,— сказал он с тревогой.

Это было примерно на десятой минуте после начала немецкого обстрела. Огонь продолжался еще полчаса и ушел вглубь, в тылы; теперь вместо разрывов слышался только частый свист проносившихся над головой снарядов.

— Ты, Коля, гляди сюда, держи связь, если кто покажется,— кивнул он Баюкову на амбразуру, из которой был виден кирпичный завод, а сам снова пошел к той, где стоял пулемет.

Отсюда был хороший обзор: в тылу стояла стена разрывов, а по снежной лощине, между высотой с кирпичным заводом и высотой с тремя домиками, двигались немецкие танки. Передние уже поднимались по склону, к тому месту, где раньше стояли три, а теперь оставался всего один покосившийся домик и где в подвалах под домиками и в окопах вокруг них, как это знал Синцов, сидели два наших взвода.

Передний танк остановился, выстрелил из пушки, и последний из трех, уже покосившийся домик, как карточный, завалился набок. Под танком рванулся огонь, и он закрутился на одном месте. Потом под ним рванулся еще один огонь, и из танка пошел густой черный дым. Черные фигурки выскочили через верхний люк на свет; по ним застучали редкие винтовочные выстрелы. Ветер тянул оттуда, слышно было хорошо, и это только подчеркивало тревожную редкость выстрелов. Там, где засели два наших взвода, почти не стреляли. Другой танк прошел мимо горящего и, перевалив высоту, скрылся за гребнем. Танки, шедшие по лощине, тоже беспрепятственно двигались вперед.

Прошла еще минута — и в поле зрения Синцова появилась немецкая пехота. Темные фигурки цепочкой шли по снегу позади своих танков.

— Баюков, к пулемету! — крикнул Синцов и поймал в прорезь уже пристрелянную вешку, до которой еще метров на сорок не дошли первые немцы.

Баюков подбежал, поправил ленту, посмотрел сначала в амбразуру, а потом напряженно, снизу вверх,— в лицо Синцову. «Чего же ты не начинаешь?» — говорил его взгляд. Но Синцов выждал еще полминуты: ориентир был точно пристрелян, и он хотел этим воспользоваться.

Цепочка немцев вышла на уровень вешки. Он дал короткую очередь, потом длинную и еще одну короткую, когда залегшие у вешки немцы вскочили. Эта последняя очередь была, кажется, самая удачная: пятеро из вскочивших немцев снова упали и уже не пытались ни встать, ни переползать.

— Что? — на секунду отрываясь, торопливо приблизил он лицо к лицу Баюкова. — Как там наши, в заводе?

— Никого не видать,— сказал Баюков,— боюсь, побило их.

И, услышав это, Синцов дал следующую очередь, короче, чем собирался, с той скупостью на патроны, которая появляется, когда солдаты остаются одни.

Минут пять они с Баюковым вели огонь, то и дело кладя немцев на снег и задерживая их продвижение. Потом немцы перегруппировались и стали перебегать по дальней стороне лощины; пулемет доставал и туда, но действенность огня ослабела. Черная цепочка немцев перевалила через высоту с тремя домиками. Оттуда никто не вел по ним огонь. Значит, все наши были уже уничтожены.

Какой-то немецкий пулеметчик вместе со своим вторым номером разлегся прямо на снегу, широко раскинув ноги,— Синцов и Баюков все это видели отсюда,— и повел ответный огонь по их пулемету. Пули зацокали по кирпичу, у самой амбразуры. Немец вел огонь метко, но был в неравном положении — лежал на открытом месте, и Синцов после трех неудачных очередей четвертую дал точно по нему. Было даже видно, как пулемет кувыркнулся в снег: то ли по нему дернуло очередью, то ли немец рванул его рукой перед смертью. Второй номер тоже, казалось, лежал на снегу мертвым. Но через несколько минут, в течение которых Синцов и Баюков вели огонь по другим целям, Баюков дернул Синцова за руку и сказал:

— Второй номер-то...

Синцов взглянул и увидел, что рядом с пулеметом на снегу лежит только одна фигура.

— Отполз... — сказал Баюков. И в его словах была не только досада, но и осуждение: он, Баюков, на месте немца не отполз бы, а продолжал один вести огонь.

Наконец немцы, сперва в общей горячке наступления, очевидно, не обратившие особого внимания на этот беспокоивший их пулемет, решили разделаться с ним и связались со своими танкистами. Танки уже начали уходить из поля зрения Синцова вправо, но вдруг один танк развернулся. Синцов сначала подумал, что он поврежден, но танк шел быстро и прямо на их высоту. Дойдя до подножия, он замедлил ход и остановился.

— Сейчас будет бить по нас,— сказал Баюков.

Синцов кивнул.

— Поди послушай, как там наши.

На башне танка открылся люк, и в нем появился немец. Наверно, хотел получше присмотреться к обстановке.

Синцов дал очередь — танкист исчез, люк захлопнулся, а еще через минуту снаряд ударил рядом с амбразурой. И тогда же пулемет Синцова, свидетельствуя, что он жив, дал злую длинную очередь по немцам, продолжавшим перебегать лощину.

«Густо идут, в несколько цепей»,— подумал Синцов. Отсюда, где он находился, все было очень наглядно; он впервые в жизни так хорошо видел развертывавшийся кругом бой.

— Слушал, слушал,— ничего не слышно, ни одного выстрела, ничего... Может, сходить к нашим? — спросил Баюков.

— Сходить бы хорошо,— сказал Синцов,— да боюсь, один тут не управлюсь...

Танк снова угодил снарядом недалеко от амбразуры, а Синцов снова дал очередь по пехоте. «Врешь, жив!» — как бы говорил он.

— Может, ближе захочет подойти,— хрипло сказал Синцов. — Гранаты подготовь!

Баюков молча поднял с пола и показал уже связанные проводком гранаты.

Танк выстрелил еще несколько раз и, как предвидел Синцов, решил подойти в упор. Глухо урча на первой скорости — это урчание пугало своей близостью,— танк стронулся с места, медленно пополз наискосок по снежному косогору, потом изменил направление, поднялся зигзагом еще выше и попал в мертвую зону. Синцов и Баюков теперь слышали его громкое, задыхающееся урчание.

— Если подойдет, будет стрелять в амбразуру,— сказал Синцов.

— Ты тогда бей по смотровой щели,— сказал Баюков,— а я выползу — и гранатами!

Но Синцов не ответил и дал очередь по новой перебегавшей через лощину группе немцев.

Невидимый танк продолжал урчать где-то снаружи. Синцову показалось, что он стоит на одном месте, не приближаясь и не удаляясь. Наконец танк снова появился, но не перед трубой, у самой амбразуры, как они боялись, а опять внизу, на прежнем месте.

— Не взял по наледи подъем! — радостно сказал Синцов и вытер рукавом пот.

В танке снова приподнялась крышка люка, на секунду показалась голова танкиста, потом люк закрылся, и танк немножко

подвинулся, меняя позицию. Пушка, как указательный палец, поднялась и опустилась, нацеливаясь на амбразуру. Синцову стало не по себе. Снаряд, кроша кирпич, ударил у самой амбразуры. Снова удар — снова кирпичная пыль. Еще один оглушительный взрыв, железный гром подскочивших листов — и внезапная глухота в обоих ушах от удара головой об стену. Синцову показалось, что снаряд попал в амбразуру и разорвался внутри, хотя, если б это было так, то от них с Баюковым ничего бы не осталось.

На самом деле снаряд ударил снаружи в край амбразуры, и лишь несколько осколков вместе с взрывной волной влетели в трубу. Чувствуя тупую боль в затылке, Синцов бросился к пулемету, увидел немецкого танкиста, который, откинув крышку люка, спокойно стоял во весь рост в башне и, прикрыв глаза козырьком от слепившего солнечного света, разглядывал результаты попадания.

Синцов чуть шевельнул дулом пулемета, поймал верхний обрез башни, плечи танкиста и нажал на спуск, вложив в это слабое движение всю силу своей ненависти к немцам. Танкист сломался пополам в поясе и чуть не выпал из башни, но кто-то изнутри потянул за ноги убитого — Синцов был уверен, что он убит,— втащил в танк и захлопнул люк. Танк сделал подряд еще три выстрела из пушки, уже неточных,— только один из них попал в трубу,— и, развернувшись, пошел вниз.

Только теперь Синцов оставил пулемет и нагнулся над неподвижно лежавшим Баюковым. Тот лежал и тихо постанывал.

— Что с тобой, Коля? — спросил Синцов, чувствуя страшное одиночество.

— В спину попало... у поясницы,— тихо сказал Баюков.

Он приподнялся на руках, ноги его не слушались.

Синцов заворотил шинель и ватник и увидел на спине у Баюкова небольшое кровавое пятно. Осколок был маленький, но ударил в позвоночник, и Баюков не мог двигаться.

— А вот руки ничего,— пока Синцов перевязывал его, говорил Баюков, шевеля пальцами. — Ты подвинь меня, я ленты смогу подавать.

Синцов повернул и подвинул его. Баюков коротко застонал, но все-таки дотянулся до ленты и слабым движением подал ее в пулемет.

— Могу еще. Что же это такое, ноги-то...

— Это просто шок у тебя,— сказал Синцов, не вдаваясь в смысл собственного объяснения, просто утешая Баюкова. — Пройдет.

Он тревожно взглянул в амбразуру. Ему не хотелось пропустить немцев, если они снова сунутся по лощине в зону обстрела,

хотя в то же время он чувствовал, что чем больше они насолят немцам, тем, наверное, скорее придет конец ему с Баюковым и их пулемету.

Он подумал о том, что немцы могут подняться по другому склону, а они с Баюковым теперь не могут даже одновременно защищать две амбразуры. Оторвавшись от пулемета, он подбежал ко второй амбразуре. Дым над кирпичным заводом давно уже разошелся, и там все молчало; наверное, все были мертвы, иначе чем объяснить это? Он перебежал обратно и снова взглянул в амбразуру с пулеметом.

— Смотри, смотри! — крикнул он с восторгом, хотя Баюков был рядом и кричать было незачем.

Там, позади, по восточному краю лощины и дальше, у ограды МТС, в которую уже ворвались немцы, и справа, на соседней высоте, где погибли два взвода, со страшным грохотом выбрасывало столбы пламени и густого черного дыма. Казалось, сама земля взрывается под ногами у немцев. Среди взрывов метались фигурки, падали в снег, снова бежали... А взрывы все продолжались и продолжались, полосой захватывая все новые и новые куски земли.

Баюков знал, что это такое; Синцов не знал, но догадался.

— Это «катюши»,— первым сказал он. — «Катюши»...

— Да. Я их видел под Ельней,— сказал Баюков.

Оба они, здоровый и раненый, смотрели как зачарованные на это страшное зрелище, сразу вызвавшее замешательство в так хорошо развертывавшемся до этого движении немцев. Их пехота затопталась на месте, начала откатываться, и в это время уже не снаряды «катюш», а обыкновенные артиллерийские снаряды, подкидывая в воздух черные фонтаны, стали рваться по всему пространству, только что занятому немцами.

Немецкие танки, повернув назад, подошли к высоте с тремя исчезнувшими домиками и стали стрелять оттуда с места. А из небольшого лесочка, правей ограды МТС, выползли на опушку семь наших танков и стали вести огонь по немецким. Вот один немецкий танк загорелся. Вот еще один... Вот загорелся наш, еще один наш... Синцов до боли сжал кулаки, наблюдая за этой дуэлью, а наша артиллерия все молотила и молотила — и по всему полю перед МТС, и по лощине, и по высоте с тремя домиками, и еще дальше, за высотой... Снаряды рвались и рвались, и немцы отступали, теперь это было уже ясно.

Потом Синцов вдруг увидел, как группа отступавших от МТС немцев, человек в шестьдесят, таща за собой станковый пулемет, не втягиваясь в простреливавшуюся лощину, взяла влево и широкой цепью стала взбираться на скаты той высоты, где он

сидел. Он дал по ним очередь, еще очередь; они залегли, свернули левей, потом еще левей и оказались вне поля его зрения.

Баюков, помогая ему, несколько раз неверными движениями подавал ленту. Синцов перестал стрелять; теперь надо было скорей тащить пулемет к другой амбразуре.

— Коля, надо пулемет... — начал он и увидел голову Баюкова, безжизненно упавшую на кирпичи.

Рука его еще лежала на ленте, но сам он был без чувств.

Синцов отодвинул его и взялся за пулемет, лихорадочно думая о том, как же он один, без второго номера, будет вести теперь беспрерывный огонь. И в эту минуту, когда ему хотелось завыть от бессилия, из дыры дымохода вылез Малинин с разбитым в кровь, грязным лицом и с винтовкой в руках.

— Давно ведешь огонь? — спросил Малинин.

— Больше часу.

— Как же так, больше часу? — переспросил Малинин.

Ему казалось, что он потерял сознание на секунду, а он пробыл без сознания полчаса; ему казалось, что он откапывал Сироту и Михнецова несколько минут, а он откапывал их без малого час. И когда он услышал очереди Синцова, то это были вовсе не первые очереди, а те последние, которые Синцов только что дал по лезшим на высоту немцам.

Синцов поглядел в лицо Малинину,— было не до объяснений, сколько времени и как он ведет огонь.

— Беритесь за пулемет! — сказал он вместо этого Малинину, так, словно он, а не Малинин в эту минуту был старшим. — К той амбразуре! Немцы оттуда лезут!

Они перетащили пулемет. Малинин, ни слова не сказав, лег за второго номера, а еще через минуту в их поле зрения показались торопливо карабкавшиеся в гору немцы.

— Давай! — тихо сказал Малинин.

Но Синцов, уже втянувшийся в свое дело, сделал жест рукой: подожди! Немцы шли поспешно, не прячась, и — он почувствовал — надеялись, что зашли с тыла и с этой стороны обстрел им не угрожает. Впрочем, на всякий случай их пулеметчики заняли позицию сзади и были наготове прикрыть огнем наступавших, если наверху что-нибудь шелохнется.

— Пулемет прикрывать поставили,— тихо сказал Малинин.

Синцов молча кивнул; он уже заметил это.

Немцы поднимались, все глубже входя в зону действительного, убойного огня, и в то же время с каждым шагом приближались к той заветной для себя черте, за которой начиналось мертвое, недосягаемое для Синцова и его пулемета пространство. Сзади, за их спинами, грохотала артиллерия.

— Наша? — одними губами спросил Малинин.

Синцов кивнул, хотя сейчас, в эту секунду, не видел ничего, кроме немцев, лезших на холм, да кусочка снежного поля позади них. Немцам оставалось всего двадцать шагов до мертвой зоны, когда Синцов нажал на спуск и широко и твердо повел пулемет за рукоятки справа налево и снова направо, описывая смертельную свинцовую дугу по не успевшим упасть людям. Это был тот не частый на войне случай, когда неожиданная и хладнокровная очередь в упор меньше чем со ста метров срезает, как подкошенную, целую цепь. Цепь упала, несколько человек поднялись, торопясь добежать до мертвого пространства. Очередь!.. Еще очередь!.. Первый из бежавших немцев почти добежал до мертвой зоны. Чтобы срезать и его, Синцову пришлось до отказа нагнуть пулемет. Пулемет немцев застрочил по амбразуре, по амбразура с этой стороны была узкая, и пули только крошили кирпич вокруг нее.

— Сейчас еще пойдут,— сказал Синцов.

И в самом деле, из-за пулемета поднялась еще одна цепочка немцев и пошла вперед. Не стреляя по ним, Синцов сосредоточил свое внимание на немецком пулемете. От немецкой ответной очереди прямо в лицо ему, в зажмуренный левый глаз, брызнули мелкие осколки кирпича, и он, от боли еще сильней зажмурив глаз, дал последнюю очередь по немецкому пулемету, попав в обоих лежавших за ним немцев. Один свалился на бок, другой вскочил и, опрокинувшись навзничь, покатился по склону. Услышав сзади себя молчание, цепь не выдержала, остановилась и побежала вниз.

Синцов даже растерялся от неожиданности. Ему казалось, что вот так, цепь за цепью, немцы будут идти сюда на них, пока они с Малининым не умрут за пулеметом, и вдруг немцы повернулись, побежали, и он уже запоздало, вдогонку промазал выше голов. Он поправил прицел, но теперь было и вовсе поздно. Он отпустил рукоятки пулемета и повернул потное лицо к Малинину.

— Посмотрите-ка мне глаз, товарищ Малинин... Что у меня с глазом?

— А ты разожми, чего зажмурился?

— Не могу, больно...

Малинин приблизил свое лицо к его лицу и сказал, что ничего особенного, ссадина под бровью, только и всего.

Синцов открыл глаз, двумя пальцами разжав веки. Глаз болел, но видел.

— Вроде отбились,— сказал Малинин.

Синцов ничего не ответил, он тоже чувствовал: отбились! Как дальше — неизвестно, а пока отбились. Общая обстанов-

ка неудачи, как видно, обескуражила немцев, и они не довели дела до конца.

— А второй номер твой убит? — спросил Малинин. — Баюков?

— Нет. Сознание потерял.

Малинин встал на колени возле Баюкова:

— Куда ранен?

— В поясницу.

Малинин так же, как до этого Синцов, заворотил Баюкову шинель и ватник, поднял гимнастерку и, пожевав губами, долго смотрел на бинты, темным пятном промокшие на крестце.

— Видно, плохо дело. Еще пакет у тебя есть?

Синцов, не отходя от пулемета, вытащил из кармана шинели индивидуальный пакет и бросил Малинину. Малинин дернул нитку, разорвал зубами пакет и, приподнимая бесчувственное тело Баюкова, стал еще раз бинтовать его, поверх старых бинтов.

Малинин бинтовал Баюкова, а тот, не приходя в чувство, тихонько постанывал.

— Стонет, — сказал Малинин. — Может, еще оживет... Ну как там немцы?

— Не видать.

— По-моему, гонят их наши.

— Поглядите в ту амбразуру.

Малинин поглядел в амбразуру и кинулся к пулемету.

— Давай, давай! — хрипло закричал он.

Они перетащили пулемет к большой амбразуре, но, пока устанавливали прицел, кучка немцев, отступавшая через лощину, уже скрылась из зоны действенного огня. Бой затихал, немцы были выбиты отовсюду, кроме взятой ими с самого начала высоты с тремя домиками. Сейчас по этой голой теперь высоте била наша артиллерия, но немцы успели подтащить туда минометы и отвечали сильным огнем.

Синцов уже привык за эти два часа к тому, что все наши, сидевшие там, на высоте, перебиты и что там теперь немцы. Но Малинин понял это только сейчас. Большинство из тех сорока двух человек, кто еще сегодня утром составлял его роту, были теперь мертвы, там, на этой взятой немцами высоте, и здесь, в развалинах кирпичного завода.

— Пропала рота. — Он покачал головой и добавил с несправедливым презрением к себе: — Проспал роту, а сам жив остался!..

— Да что вы, Алексей Денисыч!

— Молчи, не говори! Сам знаю... — Расстроенный до глубины души, Малинин остервенело мотнул головой. — Посмотри в ту амбразуру. Не идут немцы?

Синцов почувствовал, как ноги у него подкашиваются от усталости.

— Нет, не идут,— сказал он и сел у стенки.

И в этот момент оба они, и Синцов и Малинин, одновременно услышали шорох. Малинин схватился за висевшую на поясе гранату, но тотчас же опустил руку.

В лазе показались голова и плечи сержанта Сироты. Командир взвода очнулся и приполз сюда на выстрелы, таща с собой винтовку, приполз, неизвестно откуда взяв силы, потому что, выбравшись из лаза с помощью Малинина, он не только не мог стоять, но и не мог сидеть: его пришлось, как мешок, прислонить к стенке. Нижняя половина лица, замотанная бинтами, была у него черно-красная, а лоб и подглазья — без кровинки, белые, как бумага. Он сидел, не поворачивая головы, а только скашивая глаза то на Малинина, то на Синцова и силясь что-то сказать. Ему, наверное, казалось, что он говорит, но из-под его повязки вылетали только лающие, нечленораздельные звуки.

— Понятно, комвзвод, понятно, — сказал Малинин, останавливаясь над ним и успокаивающе кивая головой. — Ваша мысль понятна. Все в порядке, отбили немцев. Скоро, наверное, наши придут, подкрепление нам подбросят...

Но Сирота все еще силился что-то сказать, и снова невозможно было понять ни слова из того, что он говорил. Малинин наконец не выдержал и прекратил эту обоюдную муку:

— Ты не старайся, Сирота, все равно я не понимаю: у тебя рот разбитый... Звук и только, а голоса нет. В госпитале полежишь — восстановится, а сейчас не пробуй, не мучь себя...

Сирота посмотрел на него широко раскрытыми глазами, словно не доверяя, но Малинин снова кивнул, и Сирота, потянувшись рукой к винтовке и с усилием положив ее себе на колени, откинулся к стене и закрыл глаза.

— С твоей стороны ничего не видать? — спросил Малинин у Синцова, снова ставшего к амбразуре.

— Не видать,— как эхо, ответил Синцов.

— Если до темноты наши не придут, я здесь с ними останусь,— сказал Малинин, кивнув на обоих раненых,— а ты за связью пойдешь. Нельзя такую позицию отдавать. Мы еще отсюда ту горку можем отбить, коли дураками не будем,— сказал он, поглядев через амбразуру на соседнюю высоту. — Интересно, что с Ионовым? — после молчания вспомнил он о командире роты. — Не такой человек, чтоб от своей роты сбежать... Что молчишь, Синцов? — после нескольких минут тишины спросил он.

— Думаю.

— О чем думаешь? Если не секрет...

— О том, чего здесь нет...
— А ясней?
— О жене.
— Ну, жен здесь никому из нас не положено,— угрюмо пошутил Малинин. — Так что думать о ней бесполезно. А вот написать ей после такого дня, как сегодня, надо. Что жив и здоров остался ее комсомольскими молитвами.
Синцов ничего не ответил, промолчал.

Свои пришли только через час, уже перед ранними сумерками. Сначала пришли три разведчика, которым было сказано, что, судя по бою, на высотке удержались наши, но положение неясное, все может быть. Они обползли трубу с разных сторон и так осторожно, что Синцов заметил одного из них в самый последний момент.
— Свои, давай не прячься! — с облегчением крикнул он, и в голосе его была такая радость, что разведчик, доверившись этому голосу, сразу поднялся во весь рост.
После разведчиков на высотку подошел взвод, а потом, уже в темноте, явился командир батальона старший лейтенант Рябченко вместе с тянувшими провод связистами. Ему была поставлена задача — затемно выбить немцев с соседней высоты, которая, несмотря ни на что, все еще продолжала именоваться высотой с тремя домиками. Рябченко перед ночным боем выносил свой командный пункт сюда, на кирпичный завод, потому что здесь был самый удобный исходный рубеж для ночной атаки.
Малинин доложил, как проходил бой у завода, и сказал, что пулеметчики Синцов и Баюков, приняв неравный бой, дрались как подобает. Большего Малинин из себя не выдавил, но командир батальона и сам понимал, что пулеметчики дрались как подобает.
Со своего командного пункта он видел, как падали немцы, продвигавшиеся по лощине, и как на высотку пробовал въехать танк, и как потом, уже при отходе, безуспешно пыталась взобраться сюда немецкая пехота. Да и потери немцев говорили сами за себя. И в полку и в дивизии расценивали их сегодняшнюю атаку как попытку прощупать слабый участок и в случае успеха пойти на прорыв; но успеха не было, не состоялся и прорыв.
Малинин осведомился, что с командиром роты Ионовым. Оказалось, что Ионов был ранен в первые же минуты боя, вынесен и отправлен в медсанбат. Рябченко объяснил быстрый успех атаки немцев на высоту с тремя домиками отчасти силой их огня, а отчасти тем, что к моменту атаки там не оказалось ни командира роты, ни политрука. Хотя было бы странно упрекать в этом

Малинина, находившегося во время атаки здесь, да командир батальона вовсе и не имел в виду его упрекать, но Малинин все же принял это замечание на свой счет и попросил у Рябченко разрешения принять участие в контратаке «на бывшую нашу высоту». Он выразился именно так, подчеркивая свою ответственность за ее потерю. Командир батальона посмотрел на его лицо с запекшимися ссадинами и с молодым удивлением подумал о том, откуда берутся силы у этого годящегося ему в отцы человека.

— Вы бы сперва хоть перевязались,— заметил он, но в просьбе не отказал.

Малинин перешел в руки санинструктора, который долго перевязывал сначала его разбитое лицо, а потом изодранные кирпичом руки. Пока он проделывал все это, Малинин продолжал думать о своей погибшей роте: сформируют ли ее заново или не будут этого делать и переведут его самого куда-нибудь, где убыль в политсоставе?

Малинина перевязали, а комбат подозвал Синцова и задал ему несколько вопросов. Он спросил: не пытался ли немец с самого начала подняться на высоту? Нет, ответил Синцов, они с Баюковым только вели фланговый огонь по лощине. Потом комбат спросил, почему танк повернул, не дойдя до трубы. Синцов ответил, что, как видно, забуксовал, и упомянул об убитом танкисте.

— Наверное, офицер был,— кивнул комбат,— а как ты срезал его, больше не сунулись!

Потом комбата вызвали к телефону командир полка и командир дивизии, и он складно и гладко, гораздо складнее, чем ему все это рассказали Малинин и Синцов, стал докладывать сначала командиру полка, а потом командиру дивизии о бое за высоту с кирпичным заводом. Бой вели политрук Малинин, пулеметчики Синцов и Баюков, отбившие атаку немецкой пехоты и танков и удержавшие высоту до подхода нашего подкрепления. Уже Синцов и Баюков не просто стреляли по немцам, а вели бой; не просто дрались, а удерживали высоту.

Синцов устало присел на кирпичи,— ему было странно слышать о том, как он вел бой и удерживал высоту, будто это был не он, а кто-то другой.

Обоих раненых, и Баюкова и Сироту, давно унесли в тыл; остались только мертвые. Для них тут же, за стеной кирпичного завода, рыли еще не успевшую промерзнуть землю, но хоронить решили, как рассветет, потому что в темноте не могли собрать всего, что осталось от людей после прямых попаданий.

Синцов сидел и думал о том, кто-то теперь будет у него вторым номером на пулемете и вернется или не вернется в часть

Баюков, если выздоровеет. Потом он, кажется, на минуту задремал, потому что, услышав над ухом голос Малинина, вздрогнул от неожиданности.

— Пойдем. Звонили из дивизии. К комиссару дивизии нас с тобой вызывают...

Малинин был недоволен, потому что хотел принять участие в ночной атаке на высоту с тремя домиками, но чувств своих не выразил: приказ есть приказ. На черном фоне развалин были видны три белых пятна — забинтованное лицо Малинина и две толстые белые руки.

— Вы прямо как привидение, товарищ политрук,— сказал Синцов.

— Запеленали, как маленького,— сердито отозвался Малинин. — Пошли, нечего время проводить!..

— А чего вызывают-то? — спросил Синцов, шагая вслед за ним вниз по склону.

— Там узнаем. До штаба полка пешком пойдем, а до дивизии, сказали, на грузовике подбросят. Значит, понадобились...

— Я знаю зачем,— сказал Синцов после долгого молчания, когда они уже спустились с высотки на равнину перед усадьбой МТС и стали пересекать ее по неглубокому снегу.

— Зачем?

— Это по моему заявлению,— сказал Синцов.

Он сразу подумал об этом, когда Малинин сказал, что их вызывают. Состояние физической усталости и душевной приподнятости, которое у него было после боя, сменилось состоянием напряженного ожидания.

— Ну да,— сказал Малинин,— держи карман шире! Станут с такой срочностью прямо из боя тащить!

— А что же, что из боя! — сказал Синцов. — Прочли, кому надо — показали. Как же так, такой тип — и вдруг на передовой! Скорей давай его в тыл, на проверку!

Он не был убежден в этом, но готовил себя к худшему.

— А меня чего? — спросил Малинин.

— А я же на вас кругом ссылаюсь!

— Чепуха! — твердо сказал Малинин.

Он знал, что это действительно чепуха, по одной простой причине: у него еще не было удобного случая лично передать заявление Синцова в политотдел дивизии, и он уже вторую неделю со дня на день все ждал этого случая, продолжая таскать письмо в кармане шинели. Но говорить об этом Синцову сейчас он не хотел: вызов в дивизию давал ему возможность не только передать заявление, но и поговорить с комиссаром при самых благоприятных для Синцова обстоятельствах — после нынешнего боя.

— Чепуха,— повторил Малинин и на ходу обернулся к Синцову. — Я считаю, напротив: тебя вызывают, чтобы медаль за этот бой дать.

Синцов молчал. Он не верил в это.

На самом деле, хотя Малинин был ближе к истине, чем Синцов, ни одно из двух предположений не было правильным. Для их срочного вызова с передовой была совершенно иная причина. В штабе дивизии сегодня во время боя сидел приехавший от одной из московских газет писатель, человек известный и уже немолодой. Его и в дивизию-то пустили поморщившись: как бы не убили, а потом отвечай! Но когда он сейчас, вечером, узнал от командира дивизии, что впереди, в батальоне, есть политрук и пулеметчик, отбившие несколько немецких атак и положившие полсотни немцев, он твердо решил сам идти в батальон, говорить с людьми. Ему так же твердо отказали в этом и не вполне последовательно, чего он, впрочем, сгоряча не заметил, сказали, что ему в батальон пройти сейчас нельзя, но людей, с которыми он хочет говорить, можно вызвать из батальона сюда. Он пытался возражать: зачем же так специально? Но ему сказали то, что обычно говорят в подобных случаях: людей все равно надо вызывать, не сейчас, так потом, и для них это не составит разницы!

Пресекая дальнейшие споры, комиссар взялся за трубку,— хоть он и не решался пустить писателя в батальон, он очень хотел, чтобы тот написал о людях их дивизии.

И вот Малинин и Синцов после боя, усталые, топали по снегу от высоты с кирпичным заводом к усадьбе МТС. Сыпавший последние часы снежок прекратился. На небо вышла луна. Снег засеребрился, заиграл, и сразу стало как-то веселее.

— Хорошая погода! — сказал Синцов.

— Смотри, немец лежит. — Малинин кивнул на темневший около самой стежки труп с широко раскинутыми руками.

Поравнявшись с мертвым немцем, они на секунду остановились, взглянули на него и пошли дальше.

— А ты, я вижу, стоящий мужик,— вдруг без всяких предисловий сказал Малинин.

Они молча прошли еще шагов тридцать.

— Если бы в партию заново вступал, я бы тебе рекомендацию не думая дал... — снова неожиданно сказал Малинин и опять замолчал.

— Спасибо.

Они снова в молчании прошли с полсотни шагов.

— Скоро дойдем,— сказал Синцов.

И едва сказал, как позади ударила мина, потом еще одна... Синцов и Малинин легли рядом на искрившийся белый снег,

на котором они в своих шинелях были видны, наверное, за целую версту. А мины не часто, но и не редко продолжали рваться в шахматном порядке по всему снежному полю, вздымая черные конусы и разбрасывая вокруг себя запах гари.

— Не по нас,— сказал Малинин,— беспокоящим по площади бьют.

— Угу,— сказал Синцов сквозь зубы.

По ним или не по ним, а они лежали уже пять и десять минут, а мины одна за другой падали на поле то справа, то слева, то спереди, то сзади, и чувство опасности, не притупляющееся, а, наоборот, обостряющееся у людей после только что пережитого тяжелого боя, владело и Малининым и Синцовым. Они оба лежали молча, им не хотелось ни говорить, ни думать, ни успокаивать друг друга, хотелось только одного — чтобы поскорее кончилось, чтобы их не убили и они могли идти дальше.

Налет окончился так же внезапно, как и начался. Белое поле, на котором вечерний снежок только-только успел прикрыть следы дневного боя, снова было изуродовано следами разрывов. Оно снова было войной и пахло ею.

Малинин и Синцов встали и пошли. Им не было суждено погибнуть на этом ночном снежном поле. Писатель со своим блокнотом, вечным пером и беспомощно-виноватыми расспросами штатского человека ждал их у комиссара дивизии. Заявление Синцова лежало в шинели Малинина, а наградной лист на Синцова за сегодняшний бой сочинялся в штабе полка, но и тому и другому еще только предстояло сойтись вместе.

Война шла своим чередом. Кончался еще один день ее. И главным в этом дне было не заявление, лежавшее в шинели Малинина, и не наградной лист, писавшийся в штабе полка, и не торопливые записи в блокноте писателя, а то простое, но знаменательное обстоятельство, что еще один раз, еще на одном участке фронта под Москвой немцам к вечеру удалось сделать лишь четверть того, на что они рассчитывали утром.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Эшелоны, которыми танковая бригада Климовича была переброшена из Горького в Москву, в ночь с 6 на 7 ноября разгружались на Курской-товарной. Не получив маршрута дальнейшего следования, Климович недоумевал, что будет дальше: оставят их в Москве или бросят на фронт своим ходом?

Во втором часу ночи к месту выгрузки приехал генерал из Московской комендатуры.

Отозвав Климовича в сторону, генерал сказал, что бригаде дается маршрут следования на Подольск, но перед этим, проходя через Москву, она, возможно, примет участие в параде на Красной площади.

Обстановка под Москвой все еще оставалась грозной, и Климовичу до сих пор не приходила в голову даже мысль о возможности парада. Однако он сказал «есть», ровно ничем не выразив своего волнения, и, задержав руку у шлема, попросил разрешения обратиться с вопросом.

— Пока парад только готовится,— сказал генерал, считая, что предупреждает этим вопрос командира бригады. — В шесть ровно выйдете головой колонны к Центральному телеграфу и там будете ждать приказа на прохождение. Окончательное решение зависит от погоды, летная будет или нелетная,— добавил генерал и ткнул перчаткой в ясное, морозное небо.

Он говорил все это понизив голос, хотя вполне мог бы кричать: последние танки съезжали с платформы, треща досками настилов.

Но Климович был намерен задать совсем другой вопрос. Он и задал его, продолжая держать руку у шлема:

— Нельзя ли заранее побывать на Красной площади, посмотреть на месте градус подъема и градус уклона при спуске к Москве-реке? Никогда через Красную площадь не ходил. — Климович имел в виду не себя, а свои танки.

Генерал разрешил и уехал, оставив у Климовича капитана комендатуры.

Климович и капитан сели на ледяные подушки только что сгруженной с платформы «эмочки», проехали по Садовому кольцу и свернули на улицу Горького. Москва была пустым-пуста. Витрины магазинов были забиты досками и фанерой и загорожены мешками с песком. Войска, которым предстояло участвовать в параде, еще не двинулись к центру, пешеходов не было; лишь иногда гулко проносились одиночные машины с пропусками комендатуры.

Климовича и капитана несколько раз задерживали, но пропускали и наконец остановили совсем: через улицу Горького тянулось оцепление, дальше пришлось идти пешком.

Почти все пространство Красной площади было покрыто ровным, нетронутым слоем снега. На серых полосах трибун лежали большие снежные шапки.

Климович прошел через площадь и спустился вниз, мимо Спасской башни, до самой Москвы-реки. Под снегом не было наледи, и танки могли без осложнений на любой скорости пройти через площадь, особенно если дать чуть побольше интервалы.

Он сказал об этом капитану из комендатуры, когда они стали подниматься обратно. Капитан пожал плечами и сказал, что увеличить интервалы не страшно: на пятки никто не наступит, как он слышал, техники будет немного. Потом, прервав себя на полуслове, поднял голову и остановился: небо, еще полчаса назад совсем ясное, заметно помутнело.

— Теперь парад будет,— сказал капитан.

Они снова шли через Красную пощадь мимо разрисованного разноцветными маскировочными кубами и квадратами здания ГУМа, мимо закрытого защитным дощатым чехлом Мавзолея с еле видимыми в глубине часовыми... Но тишина и пустынность Красной площади уже не произвели на Климовича того тревожного впечатления, которое он, не давая воли своим чувствам, все же испытал, проходя через нее в сторону набережной. Небо все гуще затягивалось облаками; еще несколько часов — и эти покрытые снегом камни оживут: на них квадратами встанут войска и на Мавзолей поднимется Сталин, какой же парад, если его не будет?

Утром 17 октября, когда весь уцелевший после окружения и трехдневных боев под Москвой личный состав бригады сняли с фронта и на двадцати грузовиках бросили через Москву своим ходом в Горький, получать танки, Климович вышел из своей головной машины на углу Садового кольца, возле булочной с разбитой витриной, чтобы поставить «маяка». И едва вышел, как к нему сразу же подошли две женщины — одна старая, другая молодая, с красивым, но исхудалым лицом. Они остановились перед ним, и молодая, прямо и зло глядя ему в глаза, громко, на всю улицу, спросила:

— Что, танкисты, отвоевались?

И, глядя в эти беспощадные в ту минуту женские лица, Климович заново пережил весь свой крестный путь, начавшийся потерей семьи. Вся горечь, которую он накопил с первого дня войны, все кровавые дороги, все потери, все подбитые немцами и сожженные своей рукой танки — все это собралось в один кулак, и этим кулаком его ударили прямо в сердце: «Что, танкисты, отвоевались?»

Он ничего не ответил.

А потом было шоссе Энтузиастов. Первые часы колонна Климовича шла в сплошном потоке людей. Уже через час они посадили в кабины и кузова своих грузовиков столько женщин с детьми, сколько могли поднять машины. А люди все шли и шли, и там, где движение задерживалось, борта машины терлись о плечи теснившихся рядом людей.

Его танкистов больше всего мучило то, что они на своих грузовиках, военные, вооруженные люди, оказались среди этого без-

защитного потока и двигались туда же, куда и он: на восток, к Волге. На них смотрели с подозрением, с удивлением, с возмущением, с вопросом в глазах: «Куда вы и почему?» И сколько бы боев ни было у них за плечами, все равно было невыносимо ехать по этому забитому людьми шоссе, никому не объясняя, зачем и почему они едут на восток, потому что объяснять это им не дано было права.

Так было 17 октября. А сегодня, через двадцать дней, он со своими восемьюдесятью танками пройдет через Красную площадь. Шестьдесят «тридцатьчетверок» — машины, о которых может только мечтать любой танкист,— и двадцать КВ — тяжелых, не таких маневренных, но зато практически не пробиваемых малокалиберной артиллерией.

Эх, если бы иметь их в бригаде в первые дни войны!

Восемьдесят танков... В день выхода из своего второго, вяземского окружения, отчаянно, прямо по грейдеру прорвавшись на стыке двух немецких дивизий, он своим ходом на грузовике приехал на командный пункт нашей дивизии. Ему навстречу поднялся из-за карты молодой небритый генерал, которому выпала тяжкая доля командовать наспех сколоченной группой войск.

— Товарищ генерал, командир Семнадцатой танковой бригады подполковник Климович явился в ваше распоряжение.

Хотя Климович и шел двенадцать суток из окружения, но кожанка на нем была застегнута на все пуговицы, петлицы и шпалы были на месте; привычка выглядеть так, а не иначе, была в нем сильней обстоятельств, и, наверное, поэтому генерал встретил его удивительной фразой:

— Наконец-то танкисты явились! Заждались вас! Сколько привел танков?..

Счастливый генерал вообразил, что на его залитый кровью, рвущийся, как дырявое решето, участок фронта подбросили из тыла танковую бригаду и этот застегнутый на все пуговицы подполковник — его ангел-спаситель.

Климович подумал, что над ним насмехаются, но в следующую секунду все понял и с горечью доложил, что генерал ошибается: он прорывался через немцев и изо всей своей техники вывел десять грузовиков и один поврежденный танк.

— А, пропади ты пропадом! А я-то думал... — Генерал осекся, остановился, шагнул к Климовичу и обнял его. — Прости, брат, не обижайся! Сколько людей вывел?

— Около пятисот,— сказал Климович. — Через час уточню.

— Драться могут?

— Могут. Но боеприпасы на исходе.

— Боеприпасы дам. А танк один?

— Один.

— Все-таки вывел. Из принципа, что ли?

— Из принципа,— сказал Климович.

В тот же вечер этот последний танк сожгли немцы на улице той самой деревни, у того самого дома, где Климович встретился с генералом. Так погиб последний танк...

А сегодня он пройдет с восемьюдесятью танками через Красную площадь и выйдет на Подольское шоссе, почти па то же направление, где был тогда.

«Не больно-то продвинулись немцы с тех пор. Оказывается, кусается она, Москва-то!..»

Проходя обратно мимо Мавзолея, Климович остановился. У входа по-прежнему стояли часовые, а там, за ними, несколько ступенек вниз, в глубине, лежал Ленин. Если у Климовича и раньше не укладывалось в голове, что Москва может быть взята немцами, то сейчас, около Мавзолея, это казалось вдвойне немыслимым. Представить себе, что здесь, на Красной площади, у Мавзолея, не мы, а фашисты, в их форме, в их фуражках, с их свастиками на рукавах... этого не могло быть!..

В это утро Серпилина еще до рассвета разбудил его сосед по госпиталю, полковой комиссар Максимов.

— Федор Федорович, вставай! На парад поедем,— тормошил он Серпилина за плечо.

Серпилин поднялся одним рывком и быстро спросил:

— Что?.. Какой парад? Когда? Куда ехать?..

Он еще не проснулся, но делал вид, что проснулся, и, глядя в глаза полковому комиссару, спросонок соображал, что случилось: почему Максимов, которого вчера днем, еще до окончательной выписки, отпустили в Москву, сейчас, ночью, стоит перед ним точно в таком же виде, в каком уехал, в полном обмундировании, стоит и смеется?..

— Вставай, вставай!— повторял между тем Максимов, присаживаясь рядом с ним на койке. — Седьмое ноября сегодня. Парад. Приглашаю, едем!

— Какой парад? — переспросил Серпилин, все еще не веря, что это серьезно. — Немцы под Москвой! Какой парад?

— Парад! — повторил Максимов и улыбнулся своей веселой, ослепительной улыбкой. — Товарищ Сталин распорядился. Вчера выступал в метро на Маяковского, я там был, только поздно вернулся, будить тебя пожалел... Вчера выступал, а ныпче сказал — быть параду!

— В самом деле? Не шутишь? — Серпилин осторожно спустил с койки уже зажившие, но непослушные ноги, с которыми все еще приходилось обращаться как со стеклянными.

— Какие шутки! — Максимов снова улыбнулся. — Тем более — погода нелетная. Я уже выходил, смотрел: небо затянуло по-честному, в нашу пользу.

— Если шутишь, не прощу,— сказал Серпилин, глядя снизу вверх в смеющееся лицо Максимова.

— Зачем же так грозно? Я уже и «эмку» выпросил.

— А выпустят?

— Позавчера же выпустили!

Действительно, Серпилину, уже начавшему гулять с палкой в госпитальном саду, позавчера разрешили съездить получить партийный билет, ордена и новое генеральское удостоверение. Об этой поездке и говорил Максимов.

— Так то в наркомат...

— А тут на парад,— продолжал улыбаться Максимов. — Ты уже не лежачий генерал, а ходячий.

— Придется валенки надевать, в сапоги не влезу,— сказал Серпилин, не совсем уверенно вставая на ноги.

Привычки въедаются на всю жизнь, и слово «валенки» казалось ему нелепым рядом со словом «парад».

— Так ведь нам с тобой не маршировать, нас на трибуны, в гости, звали.

— А звали? — недоверчиво спросил Серпилин.

— Звали, звали! — рассмеялся Максимов и похлопал себя по карману гимнастерки. — Вот они тут, пригласительные! У меня же друзей пол-Москвы, а главное — пол-ПУРа!

— Раз так, одеваюсь,— сказал Серпилин, тоже невольно улыбаясь и с удовольствием глядя на Максимова.

Полковой комиссар Максимов был из тех, на кого заглядываются не только женщины, но и мужчины: высокий, молодой, широкоплечий, с лицом, привлекавшим внимание не столько красотой, сколько силой. И друзей у него действительно было пол-Москвы. Серпилин уже успел в этом убедиться, хотя так еще и не разобрался до конца, кем был его сосед: то ли просто счастливчиком, то ли человеком такого на редкость веселого мужества, что невольно казалось — ему все легко достается. А вернее всего — полковой комиссар Максимов был и тем и другим сразу. В тридцать лет у него было уже три боевых ордена, и за каждым из них стояло особое стечение обстоятельств, про которое потом, если человек остается жив, говорят, что ему повезло. Дважды — на Халхин-Голе и на финской войне — он начинал с того, что ехал туда инспектором ПУРа, а кончал тем, что воевал как ко-

миссар полка. Июнь сорок первого года опять застал его в инспекторской поездке по Особому западному округу. На этот раз он в первый же день войны заменил убитого комиссара дивизии, месяц с боями шел через немцев и, уже прорвавшись, был тяжело ранен в живот. После нескольких операций, сидя на свирепой диете и смеясь над ней, он жил в госпитале рядом с Серпилиным — как какой-то живой праздник, не унывавший сам и не дававший унывать другим.

Его обещали выписать через неделю с ограниченной годностью, но он смеялся и над этим, как надо всем остальным, и, похохатывая, говорил Серпилину, что не только поедет на фронт, но и вдобавок словчит попасть обратно в свою же собственную дивизию.

Только по ночам,— и этого не знал никто, кроме Серпилина,— неунывающий полковой комиссар Максимов, когда его никто не видел и не слышал, скрючившись, сидел на койке и часами не спал от боли.

Обмундирование Серпилина, как выздоравливающего, висело здесь же, в палате, в гардеробе. Надев бриджи и новую гимнастерку с генеральскими петлицами и двумя привинченными к ней орденами Красного Знамени — старым и позавчера полученным, он подошел к зеркалу и пригладил руками свои редкие желтовато-седые волосы. Потом присел на стул, осторожно вдвинул ноги в валенки, с неодобрительной усмешкой посмотрел на них и сказал Максимову:

— Коли не шутишь, готов!

К Центральному телеграфу, где стояло оцепление, не пропускавшее дальше ни одной машины, они подъехали в половине восьмого.

По всей улице Горького, от площади Маяковского до самого телеграфа, стояли в два ряда танки. Их было не больше бригады, но вид танков порадовал Серпилина: все это были серьезные машины — «тридцатьчетверки» и КВ, а не Т-26, которые немцы жгли почем зря в начале войны.

— Дальше не пускают. Здесь мои знакомства кончаются,— сказал Максимов, когда они вылезли из «эмки». — Дотопаем?

— Раз приехали, дотопаем,— сказал Серпилин и покосился на танки.

Около головного, из люка которого высовывалось зачехленное знамя, стоял командир-танкист в перетянутом ремнями черном полушубке. Лицо его показалось Серпилину знакомым; у него была такая память на лица, что он помнил их, даже когда хотел бы забыть. Но это лицо он был рад вспомнить. Продолжая вглядываться, но уже твердо зная, кто это, он шагнул к

танкисту, еще издали козырнувшему перед его генеральской папахой.

— Здравствуйте, подполковник. — Серпилин приложил руку к папахе. — Я ночью первого октября вышел на вас из окружения. Не ошибаюсь?

— Точно, товарищ генерал,— ответил Климович, хотя сначала, козыряя, еще не угадал в этом высоком прихрамывающем генерале с палкой того раненого комбрига, о котором командующий спрашивал по телефону. «Какой он из себя, этот Серпилин?..» Тогда Климовичу казалось, что он век не забудет этого комбрига. И вот не прошло двух месяцев — забыл! Много чего было с тех пор.

«Значит, уже поднялся на ноги,— продолжая глядеть на генерала, подумал Климович. — А тогда казалось — чуть не при смерти...»

И, подумав об этом, вспомнил красноармейца Золотарева, сдавшего ему документы пропавшего без вести, а проще говоря, погибшего политрука Синцова. Тогда, под Ельней, Синцов беспокоился: не помрет ли его комбриг? И вот комбриг жив и здоров, в генеральской папахе стоит перед ним, Климовичем, а кости Синцова гниют где-то в лесу за Вереей...

— Спасибо за выручку, подполковник. Еще не полковник?

— Никак нет,— отозвался Климович.

— Рад встрече! Хотел написать вам благодарность, да фронт большой...

Серпилин пожал руку Климовичу, и Климовича удивила сила, которая была в этой большой костлявой руке.

— Правда, потом мне писали,— помрачнев от воспоминаний, сказал Серпилин,— что многие из моих так и не выбрались. По дороге от вас под танки попали!

— Некоторые, товарищ генерал, назад, ко мне в бригаду пришли.

— Много ли?

— Человек двадцать.

— И где же они?

— Тех, кто в боях не погиб, после выхода из окружения в пехоту сдал, а один и сейчас у меня.

— Кто такой?

— Золотарев, шофер. Сейчас водителем на «тридцатьчетверке».

— Знаю,— сказал Серпилин. Впрочем, он с успехом мог сказать это почти о каждом. — Нельзя ли увидать?

— Далеко. В хвосте колонны.

— Тогда сами передайте ему спасибо за службу от бывшего командира дивизии. А из командного состава кто вышел к вам?

— Лейтенант Хорышев,— сказал Климович.

— Жив?

— Был жив, а теперь — не знаю. Сдал в пехоту.

Серпилин заметил краем глаза, что к Климовичу подошел капитан-танкист и ждет окончания разговора, чтобы сообщить что-то по службе.

Но Климович, сказав о Золотареве и Хорышеве, вспомнил о Синцове.

— А ваш адъютант, товарищ генерал, пропал без вести, скорей всего погиб.

Серпилин ничего не ответил. Только, наклонив голову, несколько секунд молча смотрел себе под ноги. Потом еще раз покосился на подошедшего танкиста и протянул руку Климовичу.

— Желал бы взаимодействовать с вами в бою, а пока посмотрим ваше прохождение. — Он приложил руку к папахе, повернулся и, прихрамывая, осторожно переступая валенками, пошел вниз по улице Горького.

Проводив взглядом Серпилина, Климович недовольно повернулся к танкисту:

— Ну что, Иванов, что тебе еще не ясно? В боях не терялся, а в Москве на каждом перекрестке по вопросу!

Когда Серпилин, опираясь на палку, доковылял до трибун, они были уже почти полны.

Ему не однажды приходилось в строю Академии Фрунзе проходить через Красную площадь. Но тогда это были совсем другие трибуны: веселые, штатские, с детьми, поднятыми на плечи, с цветными шариками над головой, с приветственно летящими по воздуху платочками и косынками...

Сейчас на трибунах на каждого штатского приходилось двое или трое военных. Многие приехали прямо с передовых, как представители дравшихся на разных подмосковных направлениях полков, бригад и дивизий. Они были в затасканных ушанках, в брезентовых варежках, в шинелях и полушубках, перекрещенных ремнями.

На площади было выстроено квадратами несколько полков пехоты. На трибунах тоже стояла оборонявшаяся от немцев Москва — военная и гражданская.

В том, что все эти оставшиеся оборонять Москву военные и штатские люди сейчас, когда Гитлер был всего в нескольких десятках километров от нее, все равно, как всегда, собрались

в этот день вместе, было и чувство собственной силы, и молчаливый вызов, и силу своего вызова, несомненно, чувствовали сами люди, собравшиеся здесь.

Чувствовал это и Серпилин. Хотя в былые годы, проходя в строю академии мимо Мавзолея, он испытывал знакомое всякому, кто участвовал в парадах, чувство счастливой взвинченности, сейчас это чувство было более глубоким и сильным. Пожалуй, можно было сказать, что, стоя здесь, на трибунах, он чувствовал себя счастливым, хотя, казалось бы, владевшие им мысли противоречили этому чувству счастья.

Он с острой жалостью думал о Синцове, с которым случилось то, чего он сам, Серпилин, больше всего боялся, думая о себе: пропал без вести... А казалось, что прошел, выжил, вырвался... Вот тебе и вырвался! И многие другие тоже думали, что вырвались... Он сердито вспомнил присланное с фронта письмо Шмакова — что о всех, кто ехал на последних восьми машинах колонны, ничего не известно. Задержались у моста, а потом их, видимо, отрезали немцы...

«Видимо!» — прошептал Серпилин и в который раз мысленно обругал Шмакова.

Он так разозлился тогда на это «видимо», что даже не ответил на письмо.

Были и трудные мысли о самом себе: о позавчерашнем разговоре с заместителем начальника Генерального штаба, старым товарищем, одним из тех, кто выручал его из беды. Уж этого-то человека никак нельзя было заподозрить в недостатке добрых чувств или доверия, и тем тяжелее вышел их разговор.

«Тут я запросил на тебя медицинское заключение,— сказал старый товарищ после того, как поздравил с присвоением звания и вообще со всем, с чем мог поздравить Серпилина. — С одной стороны, тебе анкету подправили, с другой — испортили, на этот раз врачи. Строго говоря, о фронте тебе пока думать рано; со здоровьем у тебя неважно, и вообще растрепалось, да и окружение свое добавило...»

«Насчет «вообще» сам не помню и от других, даже от тебя, не желаю напоминаний,— со вспыхнувшим душевным ожесточением сказал Серпилин. — А насчет окружения,— десятки генералов выходили из него с боями и на своей шкуре приобретали боевой опыт не для того, чтобы просиживать его в тылу! Как только буду к строю годен, или отправляйте на фронт, или дойду до Сталина, имей в виду!»

«Вот как ты теперь заговорил!» — даже поморщившись от тона Серпилина, сказал старый товарищ.

«Да, вот так я теперь заговорил!» — отрезал Серпилин.

Он несколько раз вспоминал об этом разговоре, пока ковылял в своих валенках от телеграфа до трибун. И чем ему труднее это давалось, тем разговор задним числом казался тяжелее.

«Может, и правда, для пользы дела лучше отправиться куда-нибудь за Волгу части формировать? Тоже дело нужное...» — дразнил он себя.

Были и другие невеселые мысли. И все же, вопреки им, Серпилин стоял сейчас на трибуне на Красной площади и чувствовал себя счастливым. Как видно, в этом снежном утре, в этих квадратах войск, застывших на площади, в самом даже не сразу умещавшемся в сознании факте, что сегодня состоится парад, было что-то такое, что делало собравшихся здесь людей счастливыми: это было первое за войну осязаемое предчувствие еще неимоверно далекой победы, испытанное в то утро на Красной площади сразу и вместе несколькими тысячами людей.

— Слушай, какая вышла история!.. — взволнованно заговорил над самым ухом Серпилина исчезавший куда-то Максимов. — Места себе не нахожу... Один полк моей дивизии здесь... Вон стоит, у ГУМа. — Максимов показал рукой на квадраты, темневшие в правом дальнем конце площади. — Мне говорили, что дивизия в боях, а оказывается, ее пять дней назад вывели, пополнили и сегодня ночью перебросили через Москву на новое направление. И этот полк тоже прямо с площади отправят. А я и не знал, вот история!

Максимов был одновременно и воодушевлен и опечален.

— Не все тебе счастливчиком быть,— пошутил Серпилин. — Один раз не повезло, проморгал! Может, после парада...

— А что после парада? — перебил Максимов. — Проситься сверх штата вторым комиссаром? Эх, лучше б не знать! — Он с досадой махнул рукой, но не выдержал и стал жадно вглядываться в колонны своего стоявшего у ГУМа полка.

Серпилин тоже посмотрел в ту сторону и с завистью подумал, что хотя Максимов и не попадет в свою дивизию, но в какую-нибудь другую наверняка выпросится и все равно скоро окажется на фронте.

Если бы глядевший в сторону этого полка Серпилин мог на таком расстоянии видеть лица солдат, он увидел бы в первой шеренге правофлангового батальона знакомую длинную фигуру своего бывшего адъютанта в старой замызганной шапке и новом, коротковатом полушубке, с автоматом на груди.

Дивизии, в которой когда-то, в начале войны, был комиссаром Максимов и в которой сейчас служил Синцов, на следующий день после боев у кирпичного завода выпала доля, редко кому выпадавшая под Москвой в те месяцы. Вместо того чтобы, как

обычно, пополнить прямо на передовой, ее сменили и отвели во фронтовой тыл. Правда, несмотря на тяжелые, доходившие до двух третей состава, потери, пополняли ее в тылу недолго, всего пять дней, а на шестой уже подняли по тревоге. Штаб дивизии, артиллерийский и два стрелковых полка тут же, в ночь, перебросили через Москву за Подольск, где вновь угрожающе продвинулись вперед немцы, и только один полк задержали на день в Москве, для участия в параде.

Команды «смирно» еще не было подано. В строю переговаривались о том, как их бросят после парада на фронт: своим ходом, на машинах или эшелоном? Второй, и главной, темой разговоров был парад и будет ли на параде Сталин. Большинство считало, что будет, но были и сомневающиеся.

— Вот увидишь, младший сержант, не будет его,— говорил Синцову стоявший рядом с ним автоматчик.

— Чего так?

— А того, что я бы вовсе не разрешил ему сюда, на площадь, являться. Мало ли чего! — кивнул автоматчик на серо-белое, туманное, низкое небо. — Побоялся бы за него!

— А за себя не боишься? — Синцов тоже поглядел в небо.

— За себя не боюсь: для меня немцы стараться не будут. А для него постараются. Хоть и затянуло, а из-за облаков насквозь как кинут!.. Что тогда будешь делать?.. — И автоматчик упрямо повторил еще раз, что, спроси у него, он бы не разрешил товарищу Сталину являться на парад.

В эту минуту к Синцову подошли комбат Рябченко и Малинин, которому за эти дни дали вместо трех кубиков шпалу и назначили комиссаром батальона.

— Здравствуй,— сказал Малинин Синцову своим обычным угрюмым голосом и, как всегда, хмуро, словно Синцов был в чем-то виноват перед ним, глянул на него исподлобья. — Командир полка комбату сказал, что в штабе дивизии приказ получен. Звездой тебя и Баюкова за кирпичный завод наградили,— так что поздравляю!

Удивительное обыкновение было у Малинина: чем больше души вкладывал он в какие-нибудь слова, тем угрюмее и неприветливее говорил их. Со стороны, если бы кто-нибудь слышал только звуки его голоса, можно было подумать, что он не поздравляет Синцова с орденом, а делает ему выговор.

— Да-да,— радостно подтвердил комбат Рябченко,— я сам слышал! Поздравляю вас, товарищ Синцов!

Синцов сказал: «Служу Советскому Союзу!» — но, к собственному удивлению, почти не почувствовал радости; наверно,

потом она еще придет, эта радость, а пока не почувствовал. Вспомнил кирпичный завод, вспомнил искалеченного Сироту и тяжелораненого Колю Баюкова, вспомнил, как утром хоронили то, что осталось от всех остальных, и радость застряла где-то на полпути, как сухарь в горле.

— А вас, товарищ старший политрук, можно поздравить? — спросил он, пользуясь тем, что Малинин все еще не отошел.

— Мое дело маленькое,— сказал Малинин все тем же угрюмым тоном, и Синцов так и не понял, награжден он или не награжден.

На самом деле Малинин не был награжден, потому что его решили представить не к Красной Звезде, а к Красному Знамени, а Красное Знамя давал фронт, а во фронте кто-то, сокращая и не входя в подробности, вычеркнул среди других и политрука Малинина. Но Малинин относился к тому, что его не наградили, с редким даже у нетщеславного человека равнодушием. Причина этого равнодушия была в том, что он действительно считал, что его дело маленькое, дело вовсе не в нем, Малинине, а в том, как дела у людей, которые ему поручены. Он был вполне удовлетворен тем, что оставшийся в строю Синцов и находившийся на излечении Баюков, которых он представил к награде, оба награждены именно так, как он просил. Прося за кого-нибудь, он всегда делал это как бы нехотя, но потом уже стоял на своем и болезненно переживал отказы.

— Слушай, Синцов! — сказал он, помолчав. — Младшего сержанта тебе присвоили, орденом наградили, в дивизионной газете о тебе написали. Считаю, тебе надо перед будущими боями подать о восстановлении в партии. Как ты на это смотришь?

Как смотрел на это Синцов?! Малинин лучше, чем кто-нибудь, знал, как он на это смотрит.

— День сегодня, по-моему, подходящий, чтобы написать заявление. — Малинин искоса взглянул на небо, с которого начал сыпать снежок.

В голосе его послышался непривычный оттенок торжественности. Так же как и все, он был взволнован тем, что должно было произойти на Красной площади.

Синцов взглянул прямо в глаза Малинину: «Может, ты рано заговорил об этом? Тогда зачем заговорил, не подумав? А если не рано, тогда поддерживай меня до конца. Потому что, если ты не поддержишь, кто же поддержит?»

Малинин встретил взгляд Синцова и тоже несколько секунд молча смотрел ему в глаза. За эти дни, пока дивизия пополнялась, стоя под Москвой, Малинин, ничего не говоря Синцову, добился через политотдел дивизии соответствующего формального

запроса и получил ответ. Да, отчетная карточка на коммуниста Синцова И. П. хранилась там, где ей положено было храниться. Его принадлежность к партии подтверждалась документально, без чего никто не стал бы даже и рассматривать вопрос о восстановлении. Это был первый и важный шаг, и именно о нем подумал сейчас Малинин. Но по глазам его трудно было сказать, о чем он думал в эту минуту; у него было такое выражение лица, словно он ничего особенного не думал, а просто решил еще раз внимательно поглядеть на Синцова: «Вот, значит, какой ты есть, Иван Синцов! Так-так...»

Вдруг справа раскатом донеслась команда:

— Сми-иррр-но!

Рябченко как на пружинах выскочил вперед, Малинин мешковато шагнул за ним, шеренги стали равняться...

— Смотри, смотри... да смотри же! — подравниваясь к Синцову, в самое его ухо зашелестел автоматчик, тот самый, который не разрешил бы Сталину присутствовать на параде. — Да смотри же!..

Синцов посмотрел вперед и направо. И так же, как тысячи других людей, выстроенных вместе с ним на площади, сквозь белую сетку все гуще сыпавшегося снега увидел Сталина, стоявшего в своей солдатской шинели на своем обычном месте на крыле Мавзолея.

— Да,— сказал Серпилин, когда они с Максимовым после парада подъезжали к Тимирязевской академии, в корпусах которой теперь размещался госпиталь,— трезво расценивая обстановку на фронтах, сегодня еще трудно представить себе, что мы возвращаемся хотя бы к тому, с чего начали: ведем бой на государственной границе. Но одна мысль меня сегодня утешает.

— А именно?

— А именно, когда я переправлялся с остатками полка через Днепр у Могилева, трудно было представить себе, что седьмого ноября, как всегда, будет парад на Красной площади и я буду на этом параде. Не укладывалось в голове. Хотя и старался держать себя в руках, но в глубине души были слишком мрачные для этого мысли. Вспоминаешь все это, и кажется, что живут в тебе два разных человека. Один говорит: «Рано радоваться, рано!» А другой говорит: «Рано? А надо!» Как бы тебе сказать? Несмотря на все их успехи, есть у меня ощущение разницы между нами и ими в нашу пользу, не только вообще, а даже в чисто военном смысле. Не верю я, чтобы они парад в Берлине устроили,

если бы мы были в шестидесяти километрах оттуда. Вот не верю,— и все! Хотя, в общем-то, дела не на парадах, а на фронтах решаются... Тебя что, обещали в ту пятницу выписать?

Максимов почему-то не ответил. Он сидел рядом с Серпилиным и молча смотрел в одну точку. Потом, когда машина остановилась и Серпилин первым осторожно вылез из нее, Максимов, не вылезая, протянул ему руку.

— Всех благ, Федор Федорович! Желаю скорее выписаться!

— А ты что?

— А я — будем считать — сбежал. Буду на фронт выпрашиваться. Говоря между нами, до конца здоровым все равно уже не буду, а неделя дела не решает. Или вернут с позором, или завтра же пошлют куда-нибудь.

Войдя к себе в палату, Серпилин застал там жену.

Валентина Егоровна была, ради праздника, в старом, давно памятном ему черном шелковом платье, и Серпилин, как только она молча, поджав губы, встала ему навстречу, понял и что она здесь давно, и что уже несколько часов сердита на него.

— И все твой Максимов, я знаю,— сказала Валентина Егоровна, идя навстречу Серпилину. — Знает кошка, чье мясо съела! Где он? Боится мне на глаза показаться?

Она уже поняла, что ради праздника все равно придется простить мужа, и лишь поэтому заговорила первая.

— Ищи-свищи! — сказал Серпилин. — Развернулся во дворе и на фронт уехал.

— Да кто же пустит его? Ему выписка только в ту пятницу.

— Говорит, пустят.

— Может, и ты так собираешься?

— Там посмотрим!..

— Я передачу слышала,— сказала Валентина Егоровна,— только не сразу поняла, что это Сталин говорит. Не знаю почему — радио было все время включено, а передачу с середины речи начали...

Серпилин удивленно пожал плечами. Они оба не знали и не могли знать, что сначала, из-за опасения налета немецкой авиации, было решено ничего не передавать в эфир до окончания парада. И только в самый последний момент, уже подходя к микрофону, Сталин поглядел на небо, с которого густо повалил снег, и отдал приказ включить все радиостанции. Но пока этот приказ был передан и исполнен, прошло еще несколько минут...

— А когда поняла, что он, даже заплакала...

— Чего?

— Не знаю чего. Взяла да и заплакала... Ляжешь?

— Нет,— сказал Серпилин.

Он был взбудоражен, и ему не хотелось лежать. Валентина Егоровна поняла и не настаивала.

— Ладно. Только валенки сними.

— Они просторные.

— Ну что ж, что просторные. Ноги-то болят?

— Немножко есть.

Серпилин снял валенки, поставил их к гардеробу и в одних носках прошел через палату и сел в кресло наискосок от жены.

Валентина Егоровна никуда не уезжала из Москвы. С начала войны она работала медсестрой в госпитале рядом с домом, там же, на Пироговской, а когда Серпилина привезли в «Тимирязевку», все эти пять недель каждый день ездила сюда то утром, то вечером, в зависимости от своих дежурств.

Неизвестно почему, а впрочем, известно почему: потому что после нескольких лет разлуки она наконец видела мужа — Валентина Егоровна за эти пять недель поправилась и расцвела и из той измученной тревогой, поразившей его своим видом старухи, какой он встретил ее, вернувшись из лагеря в первый день войны, превратилась снова в немолодую, но красивую женщину, какой была несколько лет назад. За годы разлуки с ним волосы ее начали седеть, особенно на висках, но она как-то в один из дней решилась, подкрасила волосы и пришла к нему в госпиталь без седины. А когда Серпилин стал подтрунивать над ней, сказала ему без обиды, но с кольнувшей его в сердце укоризной:

«Что? Хочешь сказать, зря старалась, и так любишь? Знаю. Попробовал бы не любить! — И, помолчав, добавила: — Как, вычеркнул те годы?.. Или только притворяешься?»

«Вычеркнул»,— сказал Серпилин, и сказал правду.

«Ну и я вычеркнула,— сказала она и не очень весело улыбнулась. — Это ведь у меня не от природы,— дотронулась она до волос. — Кабы от природы, чернить обратно бы не стала...»

— Как было на параде? — спросила Валентина Егоровна, когда Серпилин сел в кресло.

И он рассказал ей сначала о параде, а потом о своем позавчерашнем разговоре в наркомате. Они виделись с женой тогда же, позавчера. Но она тогда страшно рассердилась, что он вышел раньше времени, и ничего не захотела слушать. Ей показалось по его виду, что он после этого преждевременного выхода снова плохо себя почувствовал, а в таких случаях на нее не действовали никакие резоны.

«Ничего, и документы и ордена свои на неделю позже бы получил! Ничего бы не произошло ни с тобой, ни с ними!» — непримиримо твердила она, не желая слушать его оправданий. И вчера в виде протеста даже пропустила день, не пришла.

Но сейчас, после парада, у нее уже не было сил ругать его ни за позавчерашнее, ни за сегодняшнее.

Начав рассказывать, Серпилин не промолчал о том, о чем другой на его месте, разговаривая с другим человеком, а не с Валентиной Егоровной, наверное, промолчал бы: он рассказал ей и о скверном медицинском заключении, и о том, как Иван Алексеевич (так звали его старого товарища) грозился после госпиталя отправить его не на фронт, а в тыл, на формирование частей.

Он рассказывал все это безбоязненно, зная, что, несмотря на беспокойство о его здоровье, жена понимает: не поехать после госпиталя на фронт для него — несчастье, а несчастья она ему не хотела. Напротив, она хотела, чтобы все было так, как он хочет сам, пускай ценой новых тревог для нее. За это он и любил ее той большой, нестареющей любовью, которую дарит людям судьба не каждый день и не под каждой крышей.

Пересказал он ей со всеми подробностями и другую часть своего разговора, тоже, хотя и по-другому, огорчившую его.

Речь шла о 176-й дивизии, остатками которой он командовал после Зайчикова, о ее номере и о ее знамени, доставленном Шмаковым в штаб фронта.

Сейчас, после госпиталя, а главное — после всего происшедшего с тех пор под Вязьмой и под Москвой, Серпилин, конечно, уже не заговаривал о том, на чем когда-то собирался настаивать: о сохранении дивизии как таковой. Он не был прожектером, знал, что это невозможно, но именно эта невозможность и оставляла в нем чувство горечи, и он, отчасти даже вопреки здравому смыслу, начал спрашивать Ивана Алексеевича, где сейчас знамя дивизии, и говорить, что хорошо бы, хотя людей уже не соберешь, все же сформировать дивизию наново на основе этого знамени и номера.

«Ну что ж, наверное, сформируется и такая дивизия, за этим номером»,— равнодушно ответил Иван Алексеевич, не скрывая, что придает этому делу мало значения.

«Важно, чтобы традиция была в дивизии»,— сказал Серпилин.

«Важно-то важно, да кто этим сейчас будет заниматься? Тебя послать — так ты новой дивизии не желаешь формировать, ты хочешь получить готовую, принять команду взамен убывшего или не оправдавшего, да и в бой! И подозреваю, что если назначат тебя — ты не будешь расспрашивать, что там и как было, а спросишь, сколько людей, сколько оружия, где стоит, и поедешь принимать. Или ты себя на одну колодку меришь, а других — на другую?»

«Положим, так. Но история частей у нас будет или не будет, как ты думаешь?»

«Будет,— сказал Иван Алексеевич. — Но, по правде говоря, на сегодня не хочется ее начинать с Адама и Евы, с того, как драпали...»

«Не драпали!» — повысив голос, резанул Серпилин.

«Ценю твои переживания,—сказал Иван Алексеевич. — Да и не только твои... Но факт остается фактом: истории, как наступали до Кенигсберга или, на худой конец, до Варшавы, пока нет ни у одной дивизии. Есть история, как отступали до Москвы. Надо глядеть правде в глаза. И пока война,— сказал он жестоко, и Серпилин почувствовал, что он прав,—и пока война,— повторил он,— историю будем вести от побед! От первых наступательных операций. Это нам надо помнить, пока война. И на этом учить людей. А воспоминания обо всем подряд, с самого начала, потом напишем. Тем более что многого вспоминать не хочется».

«Слушай,— сказал Серпилин, перегнувшись через стол и глядя ему прямо в глаза. — Ты на этом же самом месте накануне войны сидел. Скажи мне: как вышло, что мы не знали? А если знали, почему вы не доложили? А если он не слушал, почему не настаивали? Скажи мне. Не могу успокоиться, думаю об этом с первого дня на фронте. Никого не спрашивал, тебя спрашиваю...»

«Спроси чего полегче!» — стукнул кулаком по столу Иван Алексеевич, и глаза его стали злыми и несчастными.

Серпилин не сробел перед этими глазами, он хотел спросить еще, но Иван Алексеевич остановил его, прижал его руку к столу и сказал решительно, почти грозно:

«Молчи! Врать не хочу, а отвечать не могу! — И, глотнув так, словно ему не хватало воздуха, спросил совершенно другим голосом: — Как твоя Валентина Егоровна? Как здоровье? Как выглядит? Тут, когда ты в окружении был, приходила ко мне. Совсем лица на ней не было...»

Весь этот разговор и передал Серпилин жене, со всеми подробностями, заставлявшими его бледнеть, когда он рассказывал, а ее бледнеть, пока она слушала.

— Не понимаю,— тихо сказал Серпилин, близко наклоняясь к жене и глядя в ее печальные глаза. — Не понимаю, в грудь готов себя бить — не понимаю: как такой человек, как Сталин, мог не предвидеть того, что готовилось?! В то, что не докладывали, не верю.

— А как выглядит Сталин? — спросила Валентина Егоровна, то ли желая перевести этот тяжкий разговор на другое, то ли отдавшись собственному ходу мыслей.

Серпилин задумался.

— Как выглядит? По-моему, обыкновенно. — Он там на пло-

щади как-то даже не очень вслушивался в глуховатый, усталый голос Сталина, а просто смотрел на него.

Сталин стоял и говорил. Немцы были под Москвой, а он стоял на Мавзолее и говорил. И перед Мавзолеем стояли войска, и это был ноябрьский парад в Москве, и именно в этом и состояло то главное, что чувствовал в те минуты Серпилин. «Да, наверное, и все другие»,— подумал он.

— Тяжело он переживал все это! — сказала Валентина Егоровна.

Серпилин посмотрел на нее и подумал, что между ними продолжается старый спор. Каждый оставался при своем, и чаще всего, не говоря друг другу ни слова, они спорили об этом молчаливо, будучи вместе и находясь порознь, спорили уже не первый год.

Жена — Серпилин знал это — глубочайше верила в то, что все, что было и есть плохого, совершается помимо Сталина, только потому, что он об этом не знает или что ему сказали об этом что-то неверное, такое, что заставило его сделать не так, как было нужно; так она думала даже в те годы, на которые у нее отняли мужа.

Сам Серпилин думал иначе.

Он знал Сталина давно: еще по Царицыну, и не мог без насилия над собой представить, как такого человека можно было обмануть, обвести вокруг пальца, против его воли заставить его делать что-то, чего он не хотел делать сам. У Серпилина, как ему казалось, понимавшего, что из себя представляет Сталин, хорошо знавшего и всю ту цену, которую Сталин придавал армии, и все, что он делал для нее, не умещалось в голове,— как могло случиться то, что случилось с армией в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах. Кому это было нужно? И как мог Сталин допустить до этого?..

А начало войны? И это после того, как Сталин предвидел Мюнхен, после того, как он в тридцать девятом году подписал пакт с немцами, не дав англичанам и французам еще раз сделать из нас русское пушечное мясо!.. И вдруг после всего этого так встретить эту войну! Как это могло случиться?

— Да,— помолчав, сказал Серпилин. — Он ничего, неплохо выглядит... Неплохо выглядит... — еще раз повторил он вслух. — Только немного постарел... — И, сказав это, подумал про себя, что никогда и ни к кому он не испытывал и, наверное, не будет испытывать таких раздирающих душу противоречивых чувств, как к Сталину, который сегодня снова сделал то, на что мало кто решился бы на его месте: все-таки провел этот парад, имея под Москвой восемьдесят немецких дивизий...

Ровно через двенадцать часов после того, как кончился парад и опустела Красная площадь, 93-й полк 31-й стрелковой дивизии, в которой служил младший сержант Синцов, уже участвовал одним батальоном в ночном бою за деревню Кузьково, находившуюся, если мысленно взять по прямой на юго-запад, ровно в восьмидесяти километрах от Красной площади. По предварительным наметкам, как раз в этом самом Кузькове, в тылу, во втором эшелоне, должен был расположиться штаб полка, но на деле все вышло по-другому.

Еще утром, когда на Красной площади происходил парад, немцы сразу в нескольких местах ударили по тонкой цепочке, прикрывавшей это направление, обескровленной долгими боями дивизии. Сначала у них ничего не вышло: их остановили огнем, но они подбросили силы, потыкались еще, проткнули фронт и, пройдя пять километров, заняли три деревни, в том числе и Кузьково. Полку, уже к темноте переброшенному из Москвы и подпершему сзади отступившие части, было приказано за ночь восстановить положение. Две другие деревни вернуть не удалось, но Кузьково к двенадцати часам ночи было во исполнение приказа отбито у немцев одним батальоном 93-го стрелкового полка и ротою танков 17-й танковой бригады подполковника Климовича.

Кузьково было крайней точкой дневного немецкого продвижения. Заняли его немцы только к вечеру и не успели закрепиться. Приказ немецкого командования не отступать ни шагу был такой же категорический, как приказ нашего командования взять Кузьково во что бы то ни стало, но, как водится, когда два таких приказа издаются одновременно и сходятся в одной точке фронта, один из них оказывается выполненным, а другой — нет. В том, что Кузьково было взято нами без больших потерь, главную роль сыграли своим неожиданным появлением танки. Немцы считали, что их на этом участке фронта нет, да их и на самом деле еще утром не было.

После пополнения дивизии в каждом ее батальоне сформировали по взводу автоматчиков. Синцова зачислили в этот взвод командиром отделения, и он с другими автоматчиками вошел в Кузьково сразу следом за танками.

Танкисты ворвались в Кузьково прямо с ходу; ночь стояла лунная, занесенная снегом деревенская улица была белым-бела, и когда немцы стали выскакивать из домов и перебегать, большинство их перестреляли.

Батальон поспешно закреплялся перед Кузьковом, штаб расположился в деревне, а автоматчикам отвели две избы возле командного пункта. Сегодня они сделали свое дело и вместе с

танкистами чувствовали себя героями дня, а то, что им дали отдых и не заставили, как других, тут же ночью окапываться на снегу, в поле, тоже содействовало хорошему настроению.

Изба, соседняя с теми двумя, где расположились на ночлег автоматчики, была сожжена, еще когда немцы занимали деревню. Под горелыми бревнами лежало несколько трупов. Сначала, когда автоматчики наткнулись на пепелище, они подумали, что немцы сожгли наших пленных. Но потом из-под бревен вытащили три обгорелые винтовки и автомат с обугленным ложем.

Жителей в деревне не было; о том, что произошло здесь днем, оставалось только догадываться.

— Наверное, отстреливались, сдаваться не хотели, а немцы зажгли избу,— сказал кто-то.

— Да, раз при оружии, стало быть, не пленные.

Один из автоматчиков долго чистил вытащенный из пепелища автомат; чистил, чистил и в конце концов, сплюнув, сердито отложил в сторону.

— Что? — спросили его.

— Разве сразу отчистишь? Такая окалина! Наверное, жар большой был.

— Да, уж жару там было! — попробовал пошутить кто-то, но шутка повисла в воздухе.

Несмотря на легкую ночную победу, от этого соседства с пепелищем и заживо сгоревшими людьми у всех, у кого меньше, у кого больше, в зависимости от натуры, а все-таки щемило душу. Такая же безвестная судьба могла в другом бою ожидать и их самих: тоже могло случиться, что останутся только мертвые тела да обгорелое оружие, и никто никому не сможет поведать, как это было...

Неяркое пламя от сырых дров, со свистом и хлюпаньем горевших в печке, освещало нежилую, наверное уже давно брошенную хозяевами, избу. Несколько человек спали, улегшись вдоль стены и для тепла теснясь друг к другу. Остальные, в том числе и Синцов, сидели у огня. Вспоминалось утро, Красная площадь, трибуны, полные людей, Сталин в шинели, говоривший с Мавзолея... И хотя все это было, но почти не верилось, что это было всего-навсего сегодня утром.

— Жалко, ни одного фрица не изловили,— сказал автоматчик по фамилии Комаров, на параде стоявший рядом с Синцовым, а сейчас сидевший тоже рядом с ним, плечом к плечу.

— А что бы ты с ним сделал, кабы поймал? А, Комар? — спросил боец, чистивший обгорелый автомат.

Это был худой, длинный, жилистый, большой физической силы человек; на вид ему было за тридцать. Фамилия у него

была красивая: Леонидов. Когда Синцов пять дней назад узнал его, тот сам так и представился: «А фамилия у меня красивая: Леонидов»,— и ухмыльнулся так, что было непонятно, серьезно он это или шутит.

— Ну что, Комар, что замолчал? Так что ты с фрицем сделал бы, кабы нынче его поймал?

— Я бы ему про парад объяснил: что мы сегодня на параде были и что товарищ Сталин выступал.

— Ну и как бы ты это объяснил? Ты что, немецкий знаешь?

— С толмачом.

— Ну ладно. Дали бы тебе толмача, объяснил. А дале что?

— Пустил бы его.

— Чего-чего? Пустил бы?

— Ну да. Пусть идет к своим, рассказывает.

— Так бы и пустил живого?

— Да уж конечно не мертвого.

— Ловко ты, младший сержант, тех двух немцев резанул, у церкви. Аккурат у меня диск кончился, сейчас, думаю, за бугор уйдут, а ты их тут и резанул,— перебив спор, обратился к Синцову третий автоматчик, ефрейтор по фамилии Пудалов.

Его Синцов тоже знал уже три, нет, даже четыре дня и успел заметить про себя, что этот Пудалов хотя и вполне исправный боец, но почему-то нет-нет да и старается подслужиться даже к такому невеликому начальству, как командир отделения. Синцов и правда срезал там, у церкви, очередью бежавшего немца, но одного, а не двух; второй успел перебежать. И Пудалов знал это, но, как видно, не считал за грех польстить командиру отделения.

— Второй ушел,— сказал Синцов. — У меня только остаток диска был.

— А между прочим, немцы за здорово живешь от танков бегают,— сказал Леонидов. И на его худом, узком лице мелькнула жесткая усмешка. — Эх, если б столько танков наделать, чтобы сразу всем до одного в танки сесть — и ка-а-ак давануть их. Пестрак, а Пестрак! — стал расталкивать он локтем сидевшего с ним рядом рослого солдата, который спал, откинувшись усталой головой к стене.

Лицо у солдата было молодое, чистое, красивое. Но даже во сне было на нем выражение такой усталости, что Синцову стало жалко Пестрака — ну зачем его будить?

— Пусть спит,— сказал он.

— Не-е, пусть он расскажет, как он своего танка испугался. Танк как мимо нас пошел, а он ка-ак в сугроб прямо бросится и лежит плашмя, не шевелится... Пестрак, а Пестрак!

Но Пестрак спал, а выражение смертельной усталости на его лице было не оттого, что он устал больше других, напротив, он был моложе и сильнее многих,— выражение усталости на его лице было от всего пережитого за этот день.

Хотя людей во взвод автоматчиков брали большей частью из числа уже участвовавших в боях, но, как это сегодня понял Синцов, в бою Пестрак был впервые, хотя и попал в часть после ранения. А впрочем, что тут удивительного? Разве редко человека ранят еще до того, как он в первый раз сам увидит в глаза врага или хотя бы издали выстрелит по нему?

Синцов сидел у печки, смотрел на людей своего отделения, спавших и сидевших рядом с ним у огня, и думал о том, что дольше всех он теперь знает Леонидова — целых пять дней, а меньше всех Пестрака — всего два дня. Он смотрел на них и думал, что за всю свою жизнь он не знал столько скоротечных встреч, неразлучных товариществ и бесповоротных разлук со столькими людьми, как за эти пять месяцев войны. Был капитан-артиллерист в лесу под Борисовом; и батальонный комиссар — пограничник, которого убило бомбой; и полковник, с которым в Орше искали поезд на Могилев; и летчик с бомбардировщика; и капитан-танкист, которого он во второй раз снова встретил под Ельней и опять потерял из виду; и Хорышев, у которого он был политруком в роте; и Золотарев, с которым они шли к своим и который, будь он жив, один на всем свете мог бы подтвердить, что Синцов говорит о себе только правду от первого и до последнего слова...

А Коля Баюков? Жив ли он, поправляется или навсегда стал калекой? И где он, куда написать ему про его орден?

А что делать? Все время вокруг тебя исчезают одни и приходят другие люди, иначе и не может быть на передовой. Так было и так будет.

— Ну что, ребята, спать? — сказал Синцов, гоня все эти некстати пришедшие мысли.

Автоматчики стали укладываться. Синцов тоже собрался лечь, как вдруг дверь открылась и в избу вошел Малинин.

— Как с продуктами?

Синцов сказал, что на завтра еще есть сухой паек.

— К утру кухни подвезем,— сказал Малинин. — Отдыхайте. Действовали хорошо, совесть чистая — спать можно.

Он расстегнул верхний крючок полушубка, полез рукой за пазуху, вытащил сложенный вчетверо тетрадочный листок в клетку и протянул Синцову.

— Об чем говорили па Красной площади, помнишь?

— Помню.

— На. Написал тут тебе. Приложи к заявлению.

— Спасибо.

— Даю не за спасибо,— сказал Малинин,— а за то, что верю. Двое мы с тобой остались от нашей роты. Ты да я. Кто бы мог подумать о такой судьбе!

И было в его глазах что-то такое, что заставило Синцова понять: «Все хотят жить. И Малинин тоже».

— Ну ладно, бывайте...

Синцов хотел проводить его, но Малинин досадливо махнул рукой и вышел.

Синцов присел у печки и, развернув тетрадочный листок, при слабом, догорающем свете прочел первые строчки: «Я, Малинин Алексей Денисович, член ВКП(б) с 1919 года, настоящим сообщаю свое мнение...»

Синцов дочитал до конца, до слов, которых в мирное время, наверное, трудно было дождаться от Малинина: «Могу лично подтвердить его прошлое только с октября сего года, но ручаюсь за него, как за самого себя»,— снова сложил бумажку вчетверо, засунул в карман гимнастерки и, услышав, как по улице прогромыхал танк, вышел на воздух.

Улица была ярко освещена луной. Около избы остановилась «тридцатьчетверка»; в открытом люке стоял танкист.

— Эй, пехота! Закурить нету?

— Есть. — Синцов подошел к танку и вытащил из кармана полушубка полпачки «Беломора», еще оставшиеся от московской праздничной выдачи.

— С вас причитается: без танкистов небось показали бы вам фрицы в этом Кузькове кузькину мать! По одной на брата. Не возражаешь?

— Ладно,— согласился Синцов.

Танкист скрылся в люке,— должно быть, давал закурить механику-водителю. Потом снова появился в башне и отдал Синцову пачку.

— Спасибо.

— Что, уходите?— спросил Синцов.

— Уходим. Деревню без нас не отдадите?

— Как-нибудь,— сказал Синцов.

— А то, если слабина будет, залезайте на колокольню да вдарьте! Услышим — подъедем. — И громко крикнул внутрь машины: — Петя, заводи, поехали!

Танк заревел и, оставляя за собой две полосы рубленого снега, пошел вдоль лунной улицы.

Синцов стоял, прислонясь к стене избы, и, пока танк не скрылся за поворотом, смотрел ему вслед, не зная, что жестокая

и прихотливая военная судьба только что едва не свела его с человеком, с которым ему до крайности нужно было бы встретиться,— с водителем танка Золотаревым, тем самым, которому минуту назад крикнули: «Петя, заводи, поехали!».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Старая барская усадьба стояла на невысокой, но заметной горушке, а старый парк спускался по обоим ее склонам — и назад, в наши тылы, и вперед, к немцам. По лощине змеился заледеневший ручей, а за ним лежало село Дубровицы, взятое немцами несколько дней назад.

Горушку сутками трясло от бомбовых взрывов и обстрелов, половина деревьев в парке была обломана, как спички, дом с мезонином вдребезги разбит прямыми попаданиями бомб; колокольню стоявшей на усадьбе церкви обгрызло снарядами по первый этаж. Но как немцы ни трясли, как ни вырывали эту землю, дивизия после нескольких вынужденных отходов, словно разозлясь и на себя и на соседей, зацепилась и держалась зубами за эту горушку со старым барским домом и, казалось, только крепче стискивала челюсти.

Уже пятнадцать суток, считая с утра 15 ноября, немцы всеми своими силами снова шли на Москву, одновременно стараясь охватить ее с севера и юга и в разных местах все ближе прорываясь к ней на центральных участках фронта. За две недели наступления они взяли Клин, Истру, Яхрому, Солнечногорск, Венев, Сталиногорск, Богородицк, Михайлов. На Северо-Западном направлении им оставалось всего двадцать пять километров до Москвы...

И хотя после парада на Красной площади дивизия вступила в бой с прямым приказом не отступать ни шагу, ей все-таки снова пришлось отходить, и не один раз.

Правда, солдатская почта все чаще приносила из тылов сведения, что за спиной стоят части второго эшелона, а подальше будто бы и третьего.

У людей, дравшихся на передовой, появилось ощущение, что теперь позади, за их тонкой цепочкой, на всякий случай что-то припасено. Они уже не чувствовали того невольного холодка в спине, который рождается, когда знаешь, что сзади тебя никого нет и что если упадешь, то перешагнут и пойдут и пойдут...

Говорили — и последние бои как будто подтверждали это,— что немцы наступают из последних сил. Но кто их знает, сколько у них еще этих «последних сил»? Вчера все радовались, что на

Южном фронте забрали у них обратно Ростов, хотя только из этого сообщения узнали, что Ростов им отдавали; а сегодня в записанной по радио утренней сводке говорилось, что мы уже несколько дней как оставили Тихвин. Может, потом заберем обратно, как Ростов, а пока что оставили...

Как раз об этом — о Ростове и Тихвине — шел сейчас спор в землянке автоматчиков — накрытой двумя накатами бревен старой кирпичной теплице, от которой было рукой подать до КП батальона в подвале барского дома и до передовой, проходившей тут же, внизу, по опушке парка.

Спор вели между собой Леонидов и Комаров. Запальчивый Леонидов нападал на сводки Информбюро, а рассудительный Комаров защищал их.

— Ты брось, Комар,— дразнил его Леонидов,— у тебя всегда все верно. А где же это верно, когда мне говорят, что Ростов у фрица взяли, а я себе глаза тру: батюшки! Взяли-то взяли, а когда же отдали-то? Неужто я проспал и только проснулся? Так и с Тихвином. Ну, случилась такая беда, отдали. Ну и скажи, отдали, а то «несколько дней назад», а может, это уже месяц, как было.

— Ну и дура! — сказал Комаров. — Что бы тебе прибавилось, кабы ты на неделю раньше узнал?

— Пусть убавилось бы, а все же знать хочу.

— А может, этого нельзя писать! Может, этого немцы знать не должны!

— Чего? — Леонидов даже подскочил. — Это немец-то не знает, чего он взял? Взял и не догадывается! Мы, когда Кузьково взяли, так и скрыли? Как бы не так! Командир полка от нас, из батальона, аж прямо чуть не в армию звонил, я сам слышал. А когда отходили, тут уж, конечно, не до шуму... Все у тебя верно! Не комар ты, а божья коровка.

— А ты не шуми,— спокойно отозвался Комаров. — Много больно знаешь... Тот ему коровка, тот букашка. А сам гудишь, как шмель: шуму много, а толку мало.

— А я и буду гудеть! — сказал Леонидов, и злое лицо его стало печальным. — Мне Тихвина жаль! Я сам из Кайваксы, можно сказать тихвинский, Тихвин взяли, а я не знаю.

— Из какой ты там Ваксы? — поддразнил задиру Леонидова миролюбивый Комаров. — Из какой такой Ваксы?

— Не из Ваксы, а из Кайваксы, место такое есть под Тихвином! — сердито отозвался Леонидов.

Но Комаров уже не хотел упустить случая взять верх в споре.

— Эх ты! Сам из Ваксы, а судишь до неба! Сводки без него составить не умеют!

— Слушай, младший сержант,— обратился Леонидов к Синцову, сидевшему, как за столом, за положенной на обломки кирпичей дверью и писавшему письмо жене. — Как по-твоему, для чего человеку голова дадена: чтоб «да» говорить или чтоб «нет»?

— Чтоб мозги в ней иметь,— прежде чем Синцов поднял голову, откликнулся Комаров.

— А мозги в ней для чего? Для «да» или для «нет»? — не унимался Леонидов.

Синцов поднял голову. В землянке было тепло и сухо, а сегодня — еще и тихо.

С утра, впервые за все время, на их участке установилось затишье. Первый день на их глазах никого не убивали и не ранили, и смерть напоминала о себе только отдаленной канонадой справа, в соседней дивизии,— наверное, там шел сильный бой. Но пока не было речи о прямой выручке, которой могли потребовать от них в любой момент, днем и ночью, Синцов, как и все другие, радовался, что сегодня немцы жмут не на них, а на соседей. Без этой доли солдатского эгоизма на передовой вообще не проживешь.

За полмесяца боев в отделении у Синцова из семи человек осталось четверо, считая его самого. Вытаскивая с поля боя раненого, погиб ефрейтор Пудалов, любивший по мелочам услужить начальству, но в последнюю свою минуту ценою жизни услуживший товарищу; двое были ранены и отправлены в медсанбат; был еще один раненый — Пестрак, но он не захотел уходить из части и благодаря своей богатырской силе так и остался в строю с рваной раной в плече. Сейчас он пошел за обедом, и, не считая его, в землянке был весь наличный состав отделения: Синцов да эти двое вечно ссорившихся между собой автоматчиков — Леонидов и Комаров, к которому так пристала кличка Комар; его звал так командир взвода лейтенант Караулов.

— Нашли о чем спорить! — сказал Синцов. — Когда в голове только «да» или «нет», разве это голова? Это анкета.

Синцов понимал, что имел в виду Леонидов со своим «да» или «нет»: голова на плечах у того, кто, если надо, умеет и «нет» сказать. Он был человек храбрый в бою, но своенравный, и его злило спокойствие Комарова, обычно считавшего, что все, что ни делается, верно. В другом споре Синцов, может, и поддержал бы Леонидова, но сейчас Леонидов от дурного настроения прицепился именно к сводке, а это было уже ни к чему. Подвергать сомнению сводку на фронте не полагалось. И уж во всяком случае — вслух. «Да и какое значение имеет, когда именно сообщили, что отдан Тихвин,— сегодня или три дня назад? — подумал Синцов. — Может быть, надеялись отбить его и не сообщали, как

мы, когда нас из Кузькова выбили, целую ночь не докладывали в армию, все думали, что обратно возьмем? А потом все-таки утром, хочешь не хочешь, пришлось доложить...»

— Кому пишешь, младший сержант? — помолчав, спросил Леонидов.

— Жене.

— А я замечаю, ты ей уже в другой раз пишешь, коли не в третий, а от нее тебе писем нет.

— Нет.

— Можем обжаловать, раз такое дело! — сказал Леонидов. В словах его одновременно были и насмешка и сочувствие.

— А где обжалуешь? Говорю, как с глухой, без ответа.

— Вот и я теперь безответный,— сказал Леонидов. — Вчера думал — чего-то знаю, а выходит — нет. Думал, немец под Волховом, а сегодня оказывается — за Тихвином, как обухом по голове! А у меня там семейство. А вдруг, думаю, не только мне, задним числом, такая радость, что немец в Тихвине, а и там тоже как снег на голову? Утром наши, а к вечеру немцы? А у меня отец с гражданской инвалид. Коли загодя не сказали, далеко не ушел.

И только после этих его слов и Синцову и Комарову стало до конца понятно, почему он нынче зол сверх обычного.

— А ты возьми да тоже, как младший сержант, напиши,— посоветовал Комаров.

— Куда? — спросил Леонидов.

— Да в эту, в свою Ваксу...

Комаров уже не хотел его поддразнивать, а просто из-за дважды повторенной шутки забыл, как на самом деле называется родина Леонидова.

— Кай-вак-са! — по слогам сердито поправил Леонидов. — А еще раз обзовешь — в ухо дам.

— А ты все же напиши,— не откликаясь на угрозу, повторил Комаров. — Ведь на войне оно как? Говорят, у нас на фронте кругом Тулы все в кольце, а Тулу не взяли. А там, может, напротив: Тихвин взяли, а кругом наши. Сядь да напиши.

— Не буду,— сказал Леонидов; характер мешал ему легко поверить в такое счастье.

Немножко подвинувшись, чтобы на бумагу падало побольше света, Синцов принялся за письмо. Леонидов был прав, за последние недели он отсылал Маше уже третье письмо на тот, записанный на бумажку еще в Москве, туманный почтовый ящик.

Письмо было, как и предыдущие два, короткое: жив-здоров! Не говоря уж о военной цензуре, вообще трудно писать длинные письма, когда не имеешь представления о том, как они могут дойти до адресата.

Дописав и сложив письмо треугольником, он, как и в прошлые разы, приписал под фамилией Маши: «При отсутствии адресата все равно прошу вскрыть». В конце концов, если она выходит на радиосвязь с Москвой, что им, трудно передать несколько слов: «Ваш муж жив и здоров»? Даже если шифровать, сколько тут шифровать? Ерунду! А человек там, в тылу, был бы спокоен. Разве это трудно? А если даже трудно, что из этого? — с минутным ожесточением против кого-то выдуманного им же самим и не желавшего позаботиться о Маше подумал Синцов.

В землянку, низко пригнув огромные плечи, вошел Пестрак. В руке у него был бидон из-под молока, в последние дни заменивший пробитый осколками термос, а под мышкой — два кирпича хлеба.

— Вот и горяченьким побалуемся,— вытер руки Леонидов.

— А то подождем, пока ребята из наряда придут и комвзвода вернется? Или как? — осадил его Комаров.

— Газет не принес? — спросил Синцов.

— Принес.

Пестрак распахнул шинель и, вытащив из брюк смятую газету, стал разглаживать ее.

— Армейская?

— Подымайте выше,— сказал Пестрак. С Синцовым он говорил на «вы». — «Известия»!

— Оборотистый ты, однако, парень,— сказал Леонидов.

— Прямо на кухне взял,— сказал Пестрак. — Там корреспондент харчился и пачку газет оставил.

— Значит, хорошо его подхарчили,— усмехнулся Леонидов.

Пестрак оставил это замечание без ответа, еще раз аккуратно разгладил газету и, передавая Синцову, сказал, что шел сейчас на передовую вместе с фотографом из дивизии, фотограф просил показать КП батальона и пошел к Малинину.

— Значит, скоро с тебя причитаться будет,— сказал Леонидов Синцову.

Автоматчики были в курсе дела: знали, что Синцов восстанавливается в партии и, так же как еще несколько человек в батальоне, уже прошедших партбюро, ждет, что вот-вот должен появиться фотограф.

— Видимо, так,— сказал Синцов и улыбнулся. Он был рад приходу фотографа, и у него не было причин таить это от товарищей.

— Дать бритву? — спросил Леонидов.

У него была хорошая опасная бритва, и он не жалел давать ее другим.

— Да я и своей могу,— сказал Синцов.

— Ну, твоей что за бритье! Где поле, а где перелесок!

Синцов зачерпнул в консервную банку воды из стоявшего возле печки ведра и поставил подогреть.

— Что интересное, вслух почитаю, ладно? — сказал Леонидов, потянув к себе газету. Он любил читать вслух, но не подряд, а только то, что считал заслуживающим внимания.

Синцов вынул из вещевого мешка мыло и кисточку. Мыло лежало в розовой целлулоидной мыльнице, кисточка была новая и хорошая. Была еще и безопасная бритва, но бесполезная — без лезвий. Все это попало к Синцову в одном из мешочков с подарками. Подарки шли в дивизию с Алтая, где она стояла до войны, и пришли не к 7 ноября, а с опозданием в две недели. Из алтайцев в батальонах и ротах уже мало кто остался, а среди автоматчиков был всего один — командир взвода Караулов. И все же то, что подарки пришли так издалека, с Алтая, особенно тронуло людей, и автоматчики написали ответное письмо землякам Караулова. Писал под диктовку Синцов, а Караулов, стоя за спиной, как запорожец, время от времени ввертывал разные выражения по адресу немцев. В тот день он, что с ним редко бывало, расчувствовался и выпил лишнего.

Синцов вспомнил об этом сейчас, доставая мыльницу и кисточку.

— Вот,— сказал Леонидов, постучав пальцем по газете.— Вот! Я в армейской еще позавчера заметил, хотел вам почитать, да у меня кто-то замахорил... Вот... — И стал медленно читать вслух громким, сердитым голосом: — «Немецко-фашистские мерзавцы зверски расправляются с попадающими к ним в плен ранеными красноармейцами. В деревне Никулино фашисты изрубили на куски восемь раненых красноармейцев-артиллеристов; у троих из них отрублены головы...» — Он задержал палец на том месте, до которого дочитал, и, продолжая держать его там, поднял злые глаза и спросил: — Ну, что? — Спросил так, словно кто-то спорил с ним. Потом снова посмотрел на то место, где держал палец, и повторил: — «У троих из них отрублены головы...» А я вчера немца убил, так мне Караулов по уху дал. Да?

— Так тебе и надо! — отозвался Комаров. — А что же, люди старались, «языка» брали, а ты его бьешь! Посмотри, какой стрелок!

— Так я ж его и брал,— возразил Леонидов.

— Не ты один брал.

— Ну ладно, по уху,— сказал Леонидов. — Не будь он комвзвода, он бы у меня покатился! Ладно, пусть,— повторил он. — Но он же еще пригрозил: в другой раз повторишь — расстреляю! Это как понимать?

— А так и понимать: не бей «языка»,— снова наставительно сказал Комаров.

— А как понимать, что меня еще старший политрук тягал? Он мне про «языка» не говорил. Он говорит: «Раз пленный, то вообще не имеешь права... Какое твое право!» — он мне говорит. А это,— Леонидов упер палец в газету так, что прорвал ее,— а это я имею право читать? Или не имею? Я в газете своими глазами все это вижу, как людям головы рубят! А мне по уху? Да?

Он замолчал, ожидая, что ему кто-нибудь ответит. Но ему никто не ответил, и он стал читать дальше, повысив голос против прежнего:

— «В деревне Макеево командир роты связи тов. Мочалов и политрук роты тов. Губарев обнаружили зверски истерзанные трупы красноармейцев Ф. И. Лапенко, С. Д. Сопова, Ф. С. Фильченко. Фашисты надругались над ранеными, выкололи у них глаза, отрезали носы и перерезали горло...» — Он снова оторвался от газеты. — Для чего нам про это пишут? А, младший сержант?

— Чтоб злей были.

— Я и так чересчур злой!

— А «языка» все равно не трогай,— отозвался Комаров, любивший бить в одну точку. — Раз взял, значит, взял.

— Чересчур вы добрые, погляжу я на вас! — зло сказал Леонидов.

Синцов отложил бритву. Последние слова Леонидова рассердили его.

— А ты нам свою злость в глаза не суй! Подожди... — хлопнул он по колену, видя, что Леонидов собирается прервать его. — Ты злой! А сколько фашистов у тебя на счету? Кроме того пленного, два? А Комаров добрый, у него четверо!

— Не все пишутся,— угрюмо ответил Леонидов.

— У всех не все пишутся. У Комарова тоже не все записаны. Какая же твоей злости цена? От злости, что мало убил, решил к двоим третьего добавить? Пленных бить — злость недорогая!

— Много вы знаете о моей злости! — прервал Синцова Леонидов, в гневе переходя на «вы».

— Знаю! — отрубил Синцов. Судьба ожесточила его, лишила последних остатков былой, довоенной мягкости. — Мало ты еще чего видел! Вот что!

— Не меньше вашего!

— Нет, меньше. И первый твой настоящий бой, если хочешь знать, в Кузькове был!

— Больно вы много всего про меня знаете! — сердито, но растерянно сказал Леонидов.

— А я твой отделенный, я про тебя все должен знать,— заставляя себя успокоиться именно при воспоминании, что он отделенный, сказал Синцов.

По свойственному ему чувству справедливости он подумал при этом, что Леонидов под Кузьковом, так же как и Пестрак, был в атаке действительно в первый раз, но он, Синцов, тогда не догадался об этом по его поведению, узнал лишь потом и случайно. И двух, а не четырех фашистов Леонидов убил не потому, что трусливее Комарова, а просто потому, что в бою сложилось так, а не иначе.

Снова взявшись за бритву и искоса взглянув на упрямо уткнувшегося в газету Леонидова, Синцов еще раз подумал, что был прав. «Нечего тыкать другим в глаза свою злость, все мы сейчас на войне одинаковые: и злые — злые, и добрые — тоже злые! А кто не злой, тот или войны не видал, или думает, что немцы его пожалеют за его доброту».

Он вышел без гимнастерки на улицу, вытер снегом горевшее после бритья лицо и вернулся.

— А ну его знаешь куда... — услышал он, входя обратно в землянку, голос Леонидова. — Я злой, а он добрый... А когда сам того фрица у землянки автоматом по каске хрястнул, так от злости — куда ствол, куда приклад!..

Синцов вошел, и Леонидов замолчал, не боясь продолжать — это было не в его характере,— а просто не желая.

— Ну, чего там еще вычитал? — примирительно сказал Синцов, уже надев гимнастерку, полушубок и ушанку и повесив на шею автомат с новым самодельным прикладом.

— А вот все то же и вычитал,— неприветливо отозвался Леонидов и ткнул пальцем в конец все того же абзаца сводки, что читал до этого вслух. — «В деревне Екатериновка подобран труп санитарного инструктора тов. Никифорова. Гитлеровцы избили тяжело раненного санитара прикладами, искололи штыками, изрезали лицо бритвой».

«Бритвой, а?!» — подумал Синцов, физически ощутив, как он сам лежит, раненный, не в силах шевельнуться, а немец сидит у него на груди и режет ему лицо бритвой.

— Пойду сниматься,— сказал он вслух. — Если придет Караулов, доложите ему.

Когда он в первый раз выходил из землянки умываться, это не бросилось ему в глаза, а сейчас он внезапно заметил всю красоту природы в этот солнечный зимний день: и на редкость синее небо, и белизну напáдавшего за ночь снега, и черные тени стволов, и даже треугольник самолетов, летевших так высоко, что их далекое, тонкое пение не казалось опасным.

Только что в блиндаже они спорили между собой о войне и смерти, о том, как убивать людей, и о том, можно ли при этом быть добрым и злым...

А сейчас он шел к развалинам барского дома по залитой солнцем и разлинованной тенями стволов сосновой аллее и думал, как, в сущности, плохо приспособлен человек к той жизни, которая называется войной. Он и сам пытается приучить себя к этой жизни, и другие заставляют его приучиться к ней, и все равно из этого ровным счетом ничего не выходит, если иметь в виду не поведение человека, на котором постепенно начинает сказываться время, проведенное на войне, а его чувства и мысли в минуту отдыха и тишины, когда он, закрыв глаза, может, словно из небытия, мысленно возвратиться в нормальную человеческую обстановку...

Нет, можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно. Можно только сделать вид, что ты привык, и некоторые очень хорошо делают этот вид, а другие не умеют его делать и, наверное, никогда не сумеют. Кажется, он, Синцов, умеет делать этот вид, а что проку в том? Вот пригрело солнышко, небо синее, и самолеты летят куда-то не сюда, и пушки стреляют не сюда, и он идет, и ему так хочется жить, так хочется жить, что прямо хоть упади на землю и заплачь и жадно попроси еще день, два, неделю вот такой безопасной тишины, чтобы знать, что, пока она длится, ты не умрешь...

У самых развалин барского дома Синцов, погруженный в свои мысли, столкнулся со старшиной пулеметной роты Васюковым, которого тоже должны были снимать для партийного билета.

— Чего, сниматься? — весело спросил Синцов.

— Уже,— сказал Васюков, погладив усы: от него пахло одеколоном.

— А где он снимает-то? — спросил Синцов.

— Здесь за домом, к стенке ставил, прямо как на расстрел,— пошутил Васюков.

— А остальные там, что ли? — спросил Синцов.

— Уже снялись. Я думал, и ты раньше меня снялся. Давай догоняй его, он только сейчас в полк пошел!

Синцов прибавил было шагу, подумав, что сам виноват, завозился с бритьем, но потом вспомнил о Малинине и его аккуратности в таких делах и понял, что за это время и Васюкова и остальных не могли бы успеть и собрать, и снять, и отпустить. Значит, Малинин знал заранее, что будет фотограф, и заранее приказал им подготовиться и явиться. Значит, бежать догонять фотографа бессмысленно. Тех, кого было приказано снять для партдокументов, сняли, а его нет. Значит, дивизионная партко-

миссия не утвердила решения партбюро, решила воздержаться от выдачи ему нового партбилета. Какие тут могли быть еще объяснения? Только это!

Он растерянно остановился.

До сих пор, за эти полтора месяца на фронте, ему не раз в трудные минуты помогала мысль, что в конце концов все в его жизни будет как было, не может быть, чтоб он не добился этого сам и чтоб ему не помогли другие! Были дни особенно жестоких боев, как тогда на кирпичном заводе, когда война заполняла все и, казалось, ничего другого уже не существует, кроме твоего пулемета и маленьких, пойманных на прицел фигурок немцев на белом снегу. А все-таки эта мысль о доверии и справедливости даже и в такие дни жила где-то в уголке души, и не только жила, но и помогала воевать так, как он воевал.

День, когда его вызвали на партбюро полка, чтобы получить от него устные объяснения об утрате партбилета, остался в его памяти как день последнего — так ему казалось тогда — испытания.

Члены партбюро полка поверили ему в главном — что он говорил правду о том утре под Вереей, когда очнулся один, без Золотарева. И хотя эта правда на первый взгляд и им показалась неправдоподобной, но потом они поняли: он говорит ее именно потому, что не хочет лгать, даже если бы ложь была во спасение. «Товарищи! — сказал он тогда членам полкового бюро. — Ну что я вам могу еще сказать? Не знаю я, куда он делся! Не закапывал я его и не рвал! Не знаю, может быть, и закопал бы, если бы ничего другого не оставалось. Но не закапывал, понимаете? Решайте, как знаете, а врать не буду!»

И они поверили ему в том, в чем раньше другие люди сомневались, поверили потому, что сегодня знали его лучше, чем те, другие люди.

Ему дали строгий выговор за утерю партбилета и постановили: просить дивпарткомиссию о выдаче нового.

И хотя речь шла о строгом выговоре, Синцов был счастлив в тот день, и, казалось, уже никто не может отнять у него этого!

И вот отняли! Счастливая уверенность, с которой он жил последние дни, с которой он и сейчас шел сюда, а перед этим так неторопливо собирался,— эта счастливая уверенность рухнула... Значит, где-то в другом месте, в дивизии или где-то еще, ему опять не верили. Не верили его прошлому, хотя его настоящее было у них как на ладони!

Он простоял целую минуту, обуреваемый всеми этими мыслями, даже повернул в землянку, но передумал и пошел к Малинину.

Малинин сидел за столом в накинутом на плечи полушубке и с недовольным видом слушал сидевшую напротив него старую женщину в валенках, теплом платке и черной железнодорожной шинели. Она на что-то жаловалась Малинину.

Когда Синцов вошел, женщина замолчала, а Малинин все с тем же недовольным лицом полуобернулся к нему.

— Что скажешь?

— Разрешите обратиться, товарищ старший политрук?

— Сейчас обратишься, обожди,— хмуро сказал Малинин.

Синцов от нечего делать, уже не в первый раз, окинул взглядом подвал, служивший помещением командного пункта и жильем Малинину и командиру батальона Рябченко. Подвал был низкий и длинный; половина его была забита до потолка рухлядью, оставшейся от эвакуированного отсюда госпиталя. Рябченко сначала даже не хотел идти сюда из-за этого, но подвал был теплый; Малинин тепло любил, а заразы не боялся и настоял на своем. Госпитальную рухлядь кое-как продезинфицировали, а остатками тумбочек и гофрированных картонных коробок от лекарств растапливали «буржуйку».

Женщина была из Подольска и жаловалась, что добровольно записалась в дивизию в санитарки, а теперь, когда всех разверстали по батальонам, ее не берут.

— Вас утром не было, приходила к заместителю к вашему, рыженький такой, молоденький...

— Не к заместителю,— нравоучительно поправил ее Малинин,— а к командиру батальона. Это командир батальона был.

— Ну, мне все равно,— сказала женщина.— Так он двух молодых санитарок взял, а я, говорит, ему уже не по штату. Конечно, он сам еще молоденький, я понимаю...

— Вы это бросьте,— сердито сказал Малинин,— бросьте эти намеки, понятно вам?

— Выходит, мне теперь обратно в Подольск ехать?

— Может, и так.

— Не поеду! Вы человек взрослый, вы понимать должны! Я тридцать лет по больницам работаю, только в нашей железнодорожной — двадцатый. Мне чего надо? Мне ничего не надо. Мне только обидно, что у вас такие неопытные санитарки работают. Мало чего еще умеют; только и счастья, что молодые. Я троих перевяжу, пока они одного,— вот что мне обидно!

— Раненых не только перевязывать, их и с поля боя выносить надо,— сказал Малинин.— А на поле боя сила нужна и молодость.

— А ты что-то не больно молодой,— поглядев на Малинина, сказала женщина.

— Это верно,— согласился он.
— А на войне место себе нашел, с летами не посчитался?
— Ну и что?
— Ну и все! Пущай твоего рыженького, если что, молодые вытягивают, раз он на них лучше надеется, а уж тебя, старичка, я на плечи взвалю!
— Значит, разделение труда,— усмехнулся Малинин такому неожиданному ходу мыслей.
— Валенки у меня свои,— сказала женщина. — Только уж шинельку дайте. Моя шинелька черная, на снегу приметная. — Она считала вопрос решенным; так оно и было. — На-ка вот,— порывшись в кармане шинели, вытащила она и положила перед Малининым на стол бумажку.
— Что это? — не глядя, спросил он.
— Путевка подольская,— отозвалась женщина. — А ты как думал? Я не Христа ради к тебе пришла. Меня райком в армию отбирал.
Малинин ничего не ответил, взял бумажку, написал на ней что-то карандашом, потом приостановился, посмотрел на женщину и спросил:
— Ушанку тебе выписывать?
— А это как будешь звать! — весело откликнулась она, и в голосе ее послышались привычные нотки разбитной больничной няни. — «Тетей Пашей» будешь звать — тогда и в платке сойду, а «бойцом Куликовой» — выписывай ушанку!
— Ладно, выпишу. — Малинин приписал еще строчку и отдал женщине бумажку. — Идите становитесь на котловое и вещевое. А в остальном — вернется командир батальона, согласуем. Еще зайдете. — Он кивнул, не вставая, и женщина с бумажкой в руках пошла к выходу.
Теперь Синцов хорошо увидел ее лицо в крупных морщинах, лицо женщины уже старой, но еще сильной многолетнею привычкой к упорному и несладкому труду. Проходя мимо Синцова, она мельком взглянула на него. В глазах у нее еще светилось торжество одержанной победы.
«А какая победа? — подумал Синцов. — Идти санитаркой в батальон, в роту, в самое пекло! Другая бы какая-нибудь за тысячу верст убежала от такой победы...»
— Что, обижаться пришел? — с места в карьер спросил Малинин, показав Синцову, чтобы он сел.
И Синцов сел на еще теплую табуретку.
Малинин смотрел на него, и чем яснее видел, до какой степени подавлен Синцов, тем его собственное лицо делалось все мрачнее. Принимая на себя ответственность за какого-нибудь

человека, Малинин имел привычку с этой минуты думать о нем больше, чем о себе самом.

Синцов не знал, что вопрос о выдаче ему нового партбилета проходил через бюро полка вовсе не так гладко, как ему показалось.

До бюро Малинин целый час говорил с секретарем.

«Написал ты о нем хорошо, как говорится, за словом в карман не полез,— сказал секретарь,— и по существу возражений нет. Но подумай сам, ты в этих делах опытнее меня: не рано ли нам ставить вопрос о человеке, всего полтора месяца назад утратившем партийный билет?»

На это Малинин сердито возразил, что, может, и на фронт тогда посылать рано. А то на фронт посылать не боялись, за пулеметом на кирпичном заводе против немецкой атаки оставить не побоялись, орденом за это наградить не побоялись, а партийный документ выдать боимся.

«Я лично не боюсь,— сказал он. — А насчет «рано», так из той роты, после кирпичного завода, в строю двое: он да я. Что ж, можно и еще подождать...»

Этот вопрос был снят, но зато возник другой.

Речь шла о том путаном, по мнению секретаря, объяснении, которое давал Синцов о потере партбилета и других документов.

«То ли так, то ли этак, то ли память отшибло... Плохо верится!»

«А какой расчет ему врать? Сказал бы, что закопал, да и все».

«Возможно, сперва сгоряча придумал, считал, так лучше,— а потом хоть и вышло хуже, да пятиться уже поздно. Что, разве не бывает?»

«Чего не бывает!.. — сказал Малинин. — Но я лично ему верю. Давай ставь на бюро: как люди поверят...»

Люди поверили. Но уже потом, после бюро, секретарь, сидя вместе с Малининым, который помогал ему оформить протокол, все-таки вздохнул и сказал:

«Тебе, конечно, виднее, как старому кадровику, но боюсь, что дивпарткомиссия с таким объяснением об утере партбилета не утвердит наше решение».

«Поживем — увидим»,— ответил тогда Малинин, уверенный в своей правоте.

И вот пожили, увидели!

Малинин узнал об этом еще два часа назад, когда секретарь полкового бюро позвонил и сказал, что из дивизии придет фотограф и надо подготовить всех принятых, кроме Синцова.

Малинин ничего не ответил, но про себя молча решил, что опять дойдет с этим делом до комиссара дивизии. Правда, дивизии не везло. В ней с начала войны сменялся уже третий комиссар. Тот комиссар, которому Малинин после боя на кирпичном заводе лично отдал письменное объяснение Синцова и через которого потом запрашивал об учетной карточке, теперь лежал в госпитале. Тогда тот комиссар сказал про Синцова, что дело ясное, пусть воюет, а придет время, заслужит, поставим вопрос и о восстановлении в партии. Теперь того комиссара не было, был новый, и с ним надо было начинать разговор наново. «Ну что ж, начну наново,— упрямо подумал Малинин,— а надо будет, так и повыше напишу».

Прихода Синцова он ждал и даже удивился бы, если б тот не пришел; это значило бы, что Синцов не верит в свою правоту.

— Такие дела, Синцов! — после долгого молчания, первым прерывая его, сказал Малинин.

— Не утвердили? — спросил Синцов.

— Пока задержали.

— Почему?

— Пока не знаю.

— А думаете?

— Думаю, все потому же...

— Алексей Денисович, можно на полную откровенность? — спросил Синцов голосом, предвещавшим мало хорошего.

— Валяй. — Малинин понимал, что Синцов оглушен неожиданностью и должен выговориться...

«Ну что ж, пусть. Раз накипело, все равно не удержит, скажет. И пусть лучше мне, чем другому».

— Значит, на полную откровенность? — повторил Синцов.

— А ты не пугай меня,— сказал Малинин. — Я правды не боюсь, и неправды тоже.

— А тогда скажите,— Синцов побледнел,— что дороже: человек или бумага?

— А ты как думаешь? — В голосе Малинина негромко звякнуло железо.

Но Синцов не обратил на это внимания.

— Я сейчас думаю, что бумага дороже. Лежит она где-нибудь в лесу, гниет и думает обо мне: «Врешь! Считаешь, ты без меня человек? Нет, без меня ты не человек! Не ты виноват, не ты меня бросил, а все равно жить тебе без себя не дам!»

— Это она тебе говорит. А ты ей? — все с тем же тихим железом в голосе спросил Малинин.

— А я молчу, Алексей Денисович! Заявления пишу, объяснения... Жду, кто кого перетянет: я или бумага.

— Если только бумага там, в лесу, гниет, зачем об ней хлопочешь? А если там партбилет твой, то в партию тебя силком не тащили, сам шел и сам знал, какая партбилету цена! И раз стоишь на своем, на том, что не зарывал, раз хоть удави, а стоишь на своем, значит, не так это просто. Зарыл или порвал — один человек, а соврал — другой...

— А как быть тому, кто правду сказал? Научимся мы когда-нибудь людям верить, или это нам лишнее? — перебил его Синцов.

— А ты на кого обижаться сюда пришел? — в свою очередь перебил его Малинин. Как бы ни сочувствовал он Синцову, как бы крепко ни связывала их боевая жизнь, были в его взглядах пункты, по которым он никогда не смягчал суждений. — На меня? Что сам советовал тебе подать, а теперь не настоял? Правильно. Но рано. Я еще от своего слова не отступился. Или на партбюро? Тоже рано, и оно еще последнего слова не сказало... На дивизионную парткомиссию обижаешься? А ты кого-нибудь из нее в глаза видел? — вдруг сам себя оборвав, спросил Малинин.

— Покуда нет, откуда же?

— И они тебя не видели! А нашим с тобой бумажкам не верят! — усмехнулся Малинин. — Может, им, как и тебе, человек дороже бумажек! Может, им на тебя сначала посмотреть надо, а потом решать! Не допускаешь? А я вот допускаю. Но и допускаю, с другой стороны, что там какой-нибудь сухарь сидит, которого снизу не размочишь, которого только сверху размочить можно. Партия большая, в ней разные люди бывают. Это уж не ты мне, а я тебе говорю, раз на полную откровенность! Но замахиваться на партию не смей! — вдруг повысил он голос и даже встал при этих словах. — «Когда это мы верить людям научимся?» — передразнил он Синцова. — Ишь ты, какой быстрый! Из своей болячки целый лозунг вывел!

— Болячка-то болит, Алексей Денисович,— сказал Синцов и тоже встал.

Он не был задет вспышкой Малинина: чувствовал, что Малинин расстроен происшедшим не меньше, чем он сам.

— На, держи,— через стол протянул ему руку Малинин, по своей привычке, как всегда, когда здоровался и прощался, хмурясь и не глядя в глаза.

— Алексей Денисович,— пожимая руку Малинину, не удержался и бухнул Синцов,— а скажите: орден мне по тем же причинам не придержат? Что-то долго не вручают.

Малинин только усмехнулся нелепости этого предположения. Откровенность Синцова ему даже понравилась: за ней стояло доверие.

— Я вижу, ты вовсе психованный стал. Говорят, генерал ордена уже три дня в сумке возит. Позавчера артиллеристам вручал, вчера — в девяносто втором. Возможно, еще сегодня у нас будет.

Синцов попросил разрешения идти, но у самых дверей повернулся и порывисто повторил то же самое, что однажды сказал Малинину еще в Москве, в райкоме:

— Что бы там ни было со мной, а вашего отношения я никогда не забуду.

— А-а! — небрежно махнул рукой Малинин. — Встретишь после войны в Москве на улице, скажешь: «Здравствуй, Малинин!» — и на том спасибо! — Он снова махнул рукой, пошел вдоль стола и круто повернулся спиной: выслушивать благодарности было не в его привычке.

Пошагав взад и вперед по подвалу и искоса кинув взгляд на дверь, закрывшуюся за Синцовым, Малинин глубоко вздохнул, сел за стол, вынул из кармана гимнастерки письмо, надел очки и медленно, словно проверяя, действительно ли там может быть написано то, что он читает, в третий раз за день перечел от начала до конца. Письмо было из госпиталя, а в нем было написано, что его сын Виктор лежит с ампутированной правой рукой, благополучно поправляется после ранения, но просит пока ничего не сообщать матери. Перечитывая письмо, Малинин остановился на слове «благополучно». Снял очки, положил их перед собой на стол и уперся взглядом в стену.

Жене сообщить все-таки надо, иначе, если долго не будет писем, решит, что убит. Ее надо утешить, а самому жаловаться некому. Не такая должность, чтоб жаловаться. Просто надо привыкнуть к мысли, что сын в семнадцать лет остался без правой руки. А привыкнуть к этому трудно.

Дверь распахнулась, и в подвал ввалился комбат, старший лейтенант Рябченко. Он быстро ссыпался по лестнице, брякая по каменным ступеням не положенными по форме кавалерийскими шпорами. Молодцевато сидевшая на широких молодых плечах длинная шинель завивалась при ходьбе вокруг начищенных сапог, а на его рыжеватеньком, востроносом петушином лице было одновременно выражение веселья и озабоченности.

— Письмо получил? — весело спросил он.

— Получил. — Малинин спрятал письмо в карман.

— Через час генерал приедет, ордена вручать,— все так же весело сказал Рябченко. — И мой там, еще июльский. Думал, замотали, пока по госпиталям крутился. Нет, оказывается, вышел все-таки!

Садясь на табуретку, он от радости даже хлестнул себя по сапогу перчатками и раскинул настежь полы шинели.

— Обещал, что приедет, а на прощание всем подряд, кто в штабе был, духу дал: «Почему, говорит, два дня на своем боевом участке ни одного «языка» мне взять не можете?» Это командиру полка. А потом мне: «А у вас, говорит, знаю, вчера «языка» взяли, а не довели, дураки!..» И откуда он только вызнал?

— От политотдела,— спокойно сказал Малинин. — Я это в политдонесении вчера указал.

— Ну и зря! — сказал Рябченко.

— Разговор старый и напрасный.

Рябченко огорченно махнул рукой и не стал спорить.

— Ну, скажи,— помолчав, воскликнул он,— что за люди у нас такие невоспитанные? Воспитываем, воспитываем их, как будто понимают, а потом пленному р-раз — и пулю в лоб!

— Не одни мы воспитываем,— сказал Малинин. — С одного конца — мы, с другого — немцы. Мы ему говорим: не трогай! А он в Кузькове своими глазами видел, как немцы наших живьем в избе пожгли. Наука на науку. Ему бы после этого Кузькова впору самому Гитлеру или Геббельсу руки-ноги поотрывать, но он не знает, доживет ли еще до этого. Скорей всего, нет. А тут ему, пока суд да дело, вместо Гитлера под горячую руку просто ефрейтор попался!

— Значит, оправдываешь?

— Не оправдываю, я объясняю для себя: как так, люди у нас не звери, а бывает, зверствуют? Много фашисты сил положили, чтобы довести их до этого!

— А как же тебя все-таки теперь понимать?

— А так понимать, что надо работать, чтобы повторения таких случаев не было. А этот случай я как факт своей недоработки записал, поэтому и в политдонесение включил. Хотя ты и против сора из избы, но сор из избы — плохо, а сор в избе — еще того хуже.

— Ну, а тут, батя, как без меня дела? — помолчав и посмотрев в хмурое лицо Малинина, спросил Рябченко.

— Тут дела, как сажа бела: прислали фотографа, сняли людей для партдокументов. А Синцову от ворот поворот.

— Да что они там дурака ломают! — вскинулся Рябченко. — Мы же оба с тобой писали, поддерживали... Чего им еще?..

— Да, мы с тобой, комбат, конечно, сила,— усмехнулся его молодой горячности Малинин и бросил на Рябченко из-под своих хмурых бровей добрый, почти ласковый взгляд. — Большая сила! — И, помолчав, добавил: — Да только, видно, не всюду.

Генерал приехал ровно через час, на санках командира полка Баглюка. Сзади генерала и Баглюка сидел адъютант, а лошадью правил сам Баглюк.

Рябченко и Малинин вышли встречать генерала. Четверо награжденных, не считая самого Рябченко,— Синцов, его командир взвода Караулов и двое бойцов из стрелковых рот — были вызваны к штабу батальона заблаговременно и тоже, стоя поодаль, ожидали приезда генерала.

Первым с саней соскочил Баглюк и, передав вожжи адъютанту, сказал:

— Отведи за дом.

Генерал тоже легко выскочил из саней. Он был среднего роста, но рядом с очень высоким Баглюком казался маленьким. Был он одет не в папаху, а в ушанку, в перекрещенный сверху ремнями полушубок и валенки. Расстегнутый верхний крючок полушубка позволял увидеть краешки красных генеральских петлиц на кителе. Усы у генерала Орлова были как две черные короткие щеточки; лицо желтоватое, татарское, а узкие глаза, тоже черные, как усы, веселые и еще не старые.

Рябченко подал команду «смирно», генерал принял рапорт, скомандовал «вольно», потом радостно глянул на небо, на заходившее за лес солнце и сказал, чтобы прямо сюда вынесли какой-нибудь столик.

— Тут и вручим, на солнышке, чем в ваши катакомбы лезть, тем более — у вас там карболкой пахнет.

Он был в прекрасном настроении по многим причинам.

Вчера вечером их собрали в штабе, познакомили с планом наступательной операции в масштабе армии, запросили у всех командиров дивизий последние сведения о силах находящегося перед ними противника и приказали на основе армейской директивы каждому планировать бой в своей полосе наступления.

Судя по армейской директиве, главный удар, очевидно, предполагалось наносить не на участке их армии, но по всему было ясно, что наступление планируется большое и пусть хоть на второстепенном участке, но и они будут участвовать! И то слава богу!

Все последнее время генерал как бы своим собственным телом чувствовал: немцы жмут и жмут на нас, а мы, несмотря на всю силу этого нажима, хотя и подаемся назад, но еле-еле, почти незаметно. Он чувствовал это своим телом и телом своей обескровленной боями дивизии. Он знал, что сзади подошли вторые эшелоны, но пополнения ему уже давно не давали, и он понимал, что эта жестокая скупость неспроста. Словом, предчувствие перемен к лучшему висело в воздухе уже с неделю, но вчерашний вызов в армию — это не предчувствие, это уже канун дела!

На совещании в ответ на вопрос: что ему еще дополнительно нужно? — генерал по старому знакомству с командующим по-

просил себе, конечно, побольше и получил отпор. Командующий, усмехнувшись, сказал ему: «Хоть я у тебя, Михаил Николаевич, и служил когда-то под началом, а все же не жди, что дам тебе больше, чем положено». Но и этот отпор его не обескуражил: сколько даст, столько даст, как-нибудь да вытянем побольше! Главное — что будет наступление! Это его бесконечно веселило.

Вернувшись, генерал весь остаток вечера и всю ночь просидел с начальником штаба за первой прикидкой плана, утром оставил его работать одного, а сам поехал в полк к Баглюку, решив сделать разом три дела: вручить награды, нажать насчет «языка» для уточнения обстановки перед фронтом дивизии и, наконец, побывать самому на всех трех НП батальонов, потому что именно здесь, у Баглюка, будет удобней всего наносить удар и он хотел еще раз сам проверить это на местности.

В двух батальонах он уже побывал, «языка» ему взять обещали, даже дали честное солдатское слово, а то, что он увидел с НП обоих батальонов, только подтверждало его предварительные наметки. Вдобавок ко всему солнце светило вовсю, а немцы не стреляли...

— Ишь веселый нынче, смеется! — глядя на генерала, вполголоса сказал Синцову стоявший рядом с ним командир взвода лейтенант Караулов, прослуживший в этом полку три года действительной и девять сверхсрочной.

— Может быть, принял за обедом немножко,— сказал Синцов.

Но Караулов решительно покачал головой:

— Не берет. Из наших, из алтайских староверов, пива и то не пьет.

— А может, он и сам старовер?

— Сам-то он партийный,— не пожелав понять шутки, сказал Караулов,— а из семейства из старообрядческого.

Он не любил шуток вообще, а тем более над начальством, и недовольно покосился на Синцова: не попробует ли тот еще шутить? Но Синцов не пробовал, зная обидчивость Караулова. Получив лейтенантское звание, не кончая училища, за недюжинную храбрость в боях, Караулов переживал свою малограмотность и на всякий случай пресекал любые шутки подчиненных.

Увидев, что Синцов не улыбается, он смягчился. Синцова он уважал, знал, что тот начал войну политруком, и если бы Синцов вновь стал политруком, Караулов считал бы в порядке вещей служить под его началом. Но пока Синцов был командиром отделения во взводе у него, у Караулова, Караулов ничего не спускал ему, впрочем, как и всем другим.

— Ты не гляди, что он смеется,— сказал он Синцову, с восторгом глядя на генерала. — Сейчас тебе смеется, а через минуту уже так крут бывает, так крут! — Караулов с удовольствием покрутил в воздухе своим внушительным кулаком, показывая, как крут бывает командир дивизии, случись что-нибудь не по нем.

За это время из подвала вынесли стол. Генерал снял через голову полевую сумку и передал ее адъютанту. Адъютант вынул из сумки пять красных коробочек, пять удостоверений, заглянул в удостоверения, заглянул в коробочки, потом подложил удостоверения под каждую коробочку и, приблизившись к генералу, сказал ему что-то.

Генерал повернулся, улыбка сбежала с его лица, и лицо сразу стало строгим и красивым.

Рябченко самому предстояло получить орден, поэтому команду подал Баглюк.

Вытягиваясь «смирно», Синцов подумал о стоявшем тут же рядом Малинине. «Почему так: я получаю, а Малинин — нет? И даже не заикнешься ему об этом: начнешь говорить — не даст кончить!»

— Старший лейтенант Рябченко! Подойдите, примите награду,— прозвучал голос генерала.

И Рябченко, разбрасывая полы шинели, сделал три быстрых шага и встал перед генералом, закинув вверх побледневшее лицо с выглядывавшими из-под сбитой набекрень ушанки рыжими полубачками.

Караулов получал награду предпоследним, а Синцов — последним. Когда генерал выкрикнул Караулова, прочел приказ Военного совета и поздравил его, у Караулова лоб покрылся испариной от волнения.

— Очень рад за вас, Караулов! — сказал генерал, подсовывая поудобнее руку под гимнастерку Караулова, чтобы привинтить ему орден Красного Знамени. — И рад, что именно я вам этот орден вручаю! Шесть лет, половину вашей солдатской службы, мы с вами вместе служили и вместе каждый год ждали: вот-вот война... И вот вы уже лейтенант, и боевой орден у вас на груди. Приятно за нашу дивизию!

У Караулова даже губы задрожали, когда он это услышал, и Синцов, вызванный в свою очередь, выйдя вперед, еще чувствовал за своей спиной тяжелое дыхание взволнованного Караулова.

Генерал прочел приказ. Синцов стоял «смирно», и адъютант так, словно он сам не мог поднять руки, расстегнул ему крючки на полушубке и ножичком проткнул дырку в гимнастерке. Генерал взял Красную Звезду, положил ее на ладонь, не спеша от-

винтил гайку и, просунув под гимнастерку Синцова холодную, застывшую на морозе руку, стал привинчивать Звезду.

В эту минуту Синцов увидел его лицо совсем близко от себя и вспомнил, как впервые увидел его в каске и в мокрой плащ-палатке на плечах в октябре в Дорохове, когда он приехал отбирать себе в дивизию пополнение и в ответ на вопрос: кто пойдет? — весь коммунистический батальон шагнул ему навстречу.

Привинтив орден, генерал отступил на полшага и протянул Синцову маленькую крепкую руку.

— Поздравляю! — сказал он, снизу вверх посмотрев на Синцова. — В дивизии с какого дня?

— С девятнадцатого октября, с московским пополнением прибыл.

— Из Фрунзенского коммунистического батальона! — с оттенком гордости напомнил Малинин.

— Хорошее было пополнение,— похвалил генерал и снова поднял глаза на Синцова. — Коммунист?

— Да! — сказал Синцов и встретился глазами с Малининым.

Нет, напрасно Малинин так на него посмотрел: сейчас он ничего не добавит к этому, ни о чем не попросит! Не то место и не тот случай. А что он ответил «да!», то как же иначе? Пусть комиссар батальона поправит его, если это не так.

Но Малинин не поправил его, и он, сделав три шага назад, стал обратно в строй награжденных.

Генерал, оглядев их, забросил руки за спину, перевел взгляд на Баглюка, потом снова на награжденных и, еще секунду помедлив, сказал, что дивизия до сих пор с честью выполняла все приказы командования, но впереди еще более ответственные задания и он уверен, что награжденные сегодня товарищи так же, как и все другие бойцы и командиры дивизии, с честью выполнят их.

— А пока, на сегодня,— в узких глазах генерала шевельнулись огоньки,— есть одна маленькая задача...

Баглюк, уже побывавший при награждении в двух других батальонах и знавший, что предстоит, тяжко переступил с ноги на ногу и набычил свою крутолобую, большую голову.

— Вот, я вижу, ваш командир полка подполковник Баглюк,— заметив это и поведя глазами в его сторону, сказал генерал,— уже ежится, потому что при вас скажу ему: эту задачу еще вчера надо было решить. Но дело поправимое и сегодня: надо взять к утру «языка». И живого, а не мертвого! У кого есть настроение?

Синцову показалось, что генерал с ожиданием посмотрел прямо на него, хотя на самом деле генерал смотрел не на него, а на стоявшего плечом к плечу с ним Караулова.

— Достанем, товарищ генерал! — принимая вызов, сказал Синцов и, шагнув вперед, почувствовал плечо Караулова; Караулов шагнул одновременно с ним, но молча.

— Ладно, договорились,— не по-военному, а как-то вдруг попросту, по-товарищески, сказал генерал. — Позиции противника, подходы к ним хорошо знаете?

— Так точно! — на этот раз откликнулся Караулов.

— Значит, можете показать место, где думаете пройти? — спросил генерал.

Он хотел выполнить последнюю часть своего плана: сходить на НП батальона, но, чтобы избавиться от обычных уговоров сварливого Баглюка: «Не ходите», «Вам не положено»,—решил взять с собой не его, а Караулова и этого младшего сержанта.

— Может быть, лучше посмотрим с НП полка, товарищ генерал,— делая, как он уже сам понимал, безнадежную попытку удержать командира дивизии, сказал Баглюк.

— На твой НП я всегда попаду, а вот на ту щель, в которую ребята за «языком» собираются пролезть, хочу с батальонного НП взглянуть. Сюда я не каждый день добираюсь,— сказал генерал. — Вы тут оставайтесь, товарищ Баглюк, занимайтесь своими делами. А со мною они,— кивнул он на Караулова и Синцова,— и командир батальона пойдут.

— Разрешите хотя бы пока здесь, в батальоне, ужин подготовить! — сказал расстроенный Баглюк.

— Слава богу, догадался! — весело сказал генерал и, не вполне уверенный, что Баглюк догадался до конца, добавил: — Поужинаю вместе со всеми награжденными. — Он повернулся к Караулову: — Как, Караулов? Одна чарка не повредит перед разведкой?

— Мне-то не повредит, товарищ генерал! — сказал Караулов. — Да вы, боюсь, свою чарку не выпьете.

— Опоздал. — Генерал рассмеялся. — Опоздал, Караулов! Раньше привычки не имел, верно! Но с тех пор, как нарком норму положил, пью в приказном порядке. А ты,— генерал повернулся к своему адъютанту, стоявшему в недоумении: берет его генерал с собой или оставляет? — сбегай пока к минометчикам.

— Можно им позвонить,— вмешался Баглюк.

— Сбегай к минометчикам,— игнорируя его замечание, сказал генерал,— и передай Фирсову, что я прошу у него прощения. Хотя и дал слово, сегодня не приду награждать, завтра. Не успеваю!

Адъютант недовольно козырнул и побежал выполнять приказание, а генерал повернулся и, не оглядываясь, быстро пошел в другую сторону, огибая развалины дома. На НП батальона он

уже был и, куда идти, знал. Рябченко, метя снег полами шинели, поспешил за ним вместе с Карауловым и Синцовым. Сначала они прошли по закрытому от немцев обратному скату холма, потом по овражку с протоптанной на дне тропинкой, потом влезли в ход сообщения и пошли по нему к чуть заметному бугру над самым обрывом. Когда-то там была каменная беседка; сейчас она обвалилась, но как раз под ней, под прочной кирпичной кладкой ее фундамента, был вырыт и удачно замаскирован наблюдательный пункт Рябченко.

Теперь первым шел Рябченко, за ним Караулов, потом генерал. Замыкал Синцов.

Караулов все время заметно придерживал шаг, словно хотел своей большой, квадратной спиной заслонить генерала от немцев. Так оно, наверное, и было.

— Эй! — Генерал шутливо, но сильно толкнул Караулова в спину. — Не задерживайся, а то ноги отдавлю. — Караулов прибавил шагу, а генерал, чуть отстав от него, крикнул Рябченко: — Как, старший лейтенант, не замерзнете в своей кавалерийской? Шинель, правда, у вас хоро... — И не договорил.

Мина разорвалась рядом с ходом сообщения. Синцов бросился лицом вниз, инстинктивно закинув руки на затылок. А когда он поднялся, то увидел, что генерал лежит на дне хода сообщения, головой к его ногам, смотрит на него, закатив широко открытые глаза, и беззвучно шевелит губами.

Синцов, бросившись на колени, стал приподнимать его. Под расстегнутым полушубком на груди все было разорвано, торчали обрывки сукна, и был виден кусок голого, залитого кровью тела. Он приподнимал генерала за плечи, все выше и выше, и вдруг услышал булькающий звук, который показался ему голосом, но это была хлынувшая из горла кровь.

Он встретился глазами с Карауловым, который примащивался в тесном ходу сообщения, чтобы ловчей принять генерала на руки.

— Отпусти! — сказал Караулов. — Помер!.. — Снял ушанку и заплакал.

В парке, сзади, у штаба батальона, кучно разорвался минный залп, и все снова затихло.

Немцы под вечер напоминали о своем существовании — били по развалинам барского дома. Первая мина была случайный недолет...

— На шинель возьмем,— сказал Рябченко и стал стаскивать с себя шинель, но как-то странно, неловко. — Помоги снять,— охнув, сказал он Караулову. — У меня в кисти осколок. — И Синцов увидел, что кисть левой руки у него вся в крови.

— А чего шинель марать! — сквозь слезы сказал Караулов. — Я донесу.

Полушубок его был окровавлен сверху донизу: вся кровь из горла генерала хлынула прямо на Караулова. Даже на лице у него были брызги крови, которые он размазал вместе со слезами по щекам.

Он взял мертвого на руки так, как приладился брать его, еще думая, что он живой, поднялся сперва на колени, а потом в рост и с ношей на руках пошел по ходу сообщения обратно к штабу.

Синцов шел впереди него, иногда оглядываясь.

— Может, вдвоем возьмем? — спросил Синцов, когда они прошли шагов пятьдесят.

Но Караулов только помотал головой.

Лицо у него было побагровевшее от напряжения, а из глаз все еще лились слезы. Так он до самого штаба не уступил и не разделил ни с кем своей ноши, никому не отдал своего командира дивизии.

Синцов добежал до штаба на две минуты раньше него, и когда Караулов подошел туда, на улицу уже выскочили потрясенные случившимся Баглюк и Малинин.

Караулов дошел до стены, задыхаясь, прислонился к ней и еле слышно спросил:

— Куда класть-то?

Он не хотел класть свою ношу на землю. Спросил, не удержавшись на ослабевших ногах, пошатнулся, съехал по стене спиной и сел на снег, продолжая, как малого ребенка, держать на руках тело генерала.

Через несколько минут подъехали сани, и Караулов вместе с Баглюком положил тело генерала на постланное поверх сена рядно. Стоявший рядом Рябченко все время нагибался, брал пригоршни снега и прикладывал их к раненой руке. Снег сразу кровенел и отваливался розовыми кусками.

Малинин подвернул комбату намокший от крови рукав шинели и, так как Рябченко сгоряча никуда не хотел уходить, послал за врачом или сестрой, чтобы они сами пришли сюда.

Потом Баглюк, прежде чем везти генерала, пошел вниз, в подвал, звонить в полк и в дивизию. Как ни привыкли к потерям, но несчастье было из ряда вон выходящее и вдобавок поражало своей совершенной неожиданностью. Надо было предупредить о нем. Генерал лежал на санях. Лошадь топталась на снегу, тихонько подергивая сани.

А Малинин, Рябченко, Караулов и Синцов стояли рядом с санями, смотрели на мертвого, и каждый думал свое.

Малинин думал о том, что генерал почти ровесник ему и дети у него тоже, наверное, уже взрослые и, может быть, тоже были или будут на фронте...

У Рябченко, хотя и потрясенного так же, как все другие, это потрясение путалось с мыслями о собственной ране. Он думал о том, что если кость не перебита, то можно будет остаться в строю, и все прикладывал и прикладывал снег, чтобы унять боль, и пошевеливал пальцами раненой руки: нет, кажется, кость не перебита.

Караулов вспоминал о том, как перед самым ударом мины генерал толкнул его в спину и он проскочил на три шага вперед, а надо было не послушаться, устоять, тогда бы ничего не было. Под «ничего не было» он понимал, что тогда бы не генералу, а ему, Караулову, достался этот осколок, и в простоте этой мысли, и в силе его досады на себя выражалась вся самоотверженность его солдатской души.

А Синцов думал о том, что, когда они шли все четверо по ходу сообщения, в его сердце вдруг заговорил страх и он пожалел, что вызвался идти за «языком». А сейчас, после этой неожиданной смерти, все на войне казалось ему одинаково страшным и одинаково нестрашным, и уже не было жаль, что он вызвался.

И только один генерал ни о чем не думал.

Каким он был веселым весь этот день! Таким веселым, каким давно себя не помнил. Его так и распирало от счастья предстоящего наступления. Обычно вовсе не такой уж улыбчивый, он сегодня — нужно и не нужно — улыбался целый день. «Наступление! Наступление!..»

Нет, значит, не судьба была ему наступать. А как он ждал, как ждал этого, сколько мучился тем, что отступаем! Сколько дней и ночей мечтал об этом наступлении — и упал на самом пороге! Если бы мертвые могли думать после смерти, наверное, он бы думал именно об этом, а если бы мертвые могли плакать, наверное, на его глазах выступили бы слезы нестерпимой досады!

Генерал неподвижно лежал на санях и смотрел на четверых живых людей, с которыми он еще полчаса назад говорил и шутил, смотрел открытыми, мертвыми, начинавшими стекленеть глазами.

Баглюк вернулся. Тело генерала закрыли, чтобы не всякий встречный раньше времени знал, что убили командира дивизии, и сани с Баглюком и телом генерала поехали в обратный путь.

— Да, тяжело для дивизии,— глядя вслед уже скрывшимся за поворотом саням, сказал Малинин.

Запыхавшись от ходьбы по снегу, военврач, пришедший сразу вместе с сестрой и санитаром, благо в батальоне сегодня не

было ни одного раненого, увел Рябченко на перевязку вниз, в подвал.

— У меня тело хорошее, быстро заживет! — уходя, сказал Рябченко, успокаивая больше себя, чем Малинина.

Он был храбрым человеком, но уже по первому ранению знал за собой такой грех, что плохо переносит боль, и сейчас робел перед перевязкой.

— Как думаешь насчет «языка», Караулов? — спросил Малинин, когда Рябченко ушел.

— Как? Возьмем, товарищ старший политрук!

Караулов даже с некоторым удивлением поднял на Малинина свои вспухшие от слез глаза. Теперь, после смерти генерала, последнее его приказание было для Караулова тем более святее святого.

— Я думаю так,— сказал Малинин,— пусть на первый случай Синцов сам напарника себе выберет и пойдет.

— А я? — осипшим от волнения голосом спросил Караулов. — Я генералу слово дал! Вы от меня его не отымайте!

— Вот именно, что дал,— сказал Малинин. — И, значит, должен провести операцию при всех случаях, обеспечить их проход через позиции,— кивнул он на Синцова,— а уж если у них не сладится, тогда разрешу тебе самому пойти повторить...

«Ишь ты, «не сладится»! Какое выражение осторожное подобрал: «не сладится»!» — подумал Синцов, и холодок прошел у него по спине.

— Вот так, товарищ Караулов,— сказал Малинин, заметив, что Караулов собирается возразить. — Идите действуйте!

У него не было профессиональных военных повадок, и, приказывая, он порой говорил не те слова, что положено, но характера у него хватало не повторять своих приказаний по два раза.

Караулов и Синцов пошли, а Малинин остался, все еще не заходя в подвал.

«Кто его знает! — подумал он. — Перевязка — дело невеселое, а Рябченко человек молодой и самолюбивый, еще застонет при мне, а потом стыдиться будет».

Малинин, когда считал, что без этого не обойдешься, не боялся портить отношения и доставлять неприятности, но без нужды задевать людей за больное место не любил. Так было и с Карауловым. Он отставил его от задания под разумным предлогом, не нанося обиды. На самом же деле он просто не хотел, чтобы Караулов шел к немцам, потому что как раз сегодня тот мог сорваться и погибнуть. Так, по крайней мере, казалось Малинину, после того как он своими глазами увидел всю меру испытанного Карауловым потрясения. Правда, Караулов был из тех, про кого

любят говорить, что с ними ничего не станется, у них шкура дубленая! Но Малинин не верил в защитную силу дубленой шкуры, когда речь шла о человеке. О нем самом, случалось, тоже говорили этими же словами, а он просто-напросто умел держать себя в руках. Только и всего.

На огибавшей развалины тропке появился адъютант генерала. Он шел от минометчиков, спешил и, издали заметив только Малинина, решил, что опоздал.

— А где комдив, уехал? — спросил он на ходу.

Малинин посмотрел в глаза адъютанту и, вздохнув, сказал вместо прямого ответа:

— Спуститесь прямо по косогору. Сани по дороге поехали, еще догоните их, пока холм обогнут...

Адъютант побежал вниз по стежке, придерживая плясавшую на боку полевую сумку, а Малинин еще раз подумал о том же, о чем думал, провожая сани с Баглюком и телом генерала: «Плохо, очень плохо для дивизии!..»

Караулов, прежде чем зайти в землянку автоматчиков, скинул полушубок, долго оттирал его снегом, но кровь никак не оттиралась.

— Вы хотя лицо... — сказал ему стоявший рядом Синцов.

Караулов набрал горсть снега и несколько раз провел им по лицу.

— Ну как?

— Дайте-ка! — сказал Синцов и соскоблил у Караулова возле уха запекшееся пятно крови.

Караулов накинул полушубок на плечи, и они вошли в землянку.

До землянки уже дошел слух о смерти генерала, и когда Караулов начал объяснять задачу и сказал, что обещание достать «языка» было дано самому командиру дивизии, все почувствовали особую крепость этого обещания, данного мертвому.

Караулов объяснил задачу. Провожать и встречать разведку будет он сам. Кто вызовется идти напарником вместе с младшим сержантом Синцовым?

— Я пойду! — поспешно сказал Леонидов.

Синцов надеялся, что идти с ним вызовется Комаров: его спокойствие и ровность были Синцову по душе и внушали особое доверие.

Но вызвался Леонидов, вызвался и огляделся так зло, словно кто-то хотел вырвать у него кусок изо рта, и под его злым взглядом так больше никто и не вызвался.

То, что с ним вызвался идти не Комаров, а Леонидов, портило Синцову настроение, но спорить не приходилось. Леонидов

сам выслушал от него сегодня обидные слова и, однако, шел: может, даже как раз и шел доказать, что его зря, напрасно обидели.

«Немного нервный он, а так — что ж, ничего...» — постарался успокоить себя Синцов и, в последний раз про себя пожалев, что с ним идет не Комаров, сказал вслух:

— Раз так, давай собираться!

Они пошли налегке, без полушубков, в одних подпоясанных ремнями ватниках, взяв с собой автоматы, ножи, по две гранаты на худой конец, если засыплются, клок ваты для кляпа и моток телефонного шнура, чтобы связать «языка».

Когда Караулов уже отдал все приказания и им оставалось лишь вылезти из окопа и сползти по занесенному снегом мелкому кустарнику вниз, к ручью на ничейной земле, Леонидов вдруг шепотом сказал на ухо Синцову слова, которых тот совсем не ждал:

— Кабы вчера не мой грех, сидели бы сегодня да твой орденок обмывали...

И Синцов понял: нет, не со злости вызвался в разведку Леонидов, а не хотел, чтобы из-за вчерашнего убитого им «языка» другие, а не он, рисковали своей жизнью.

— Погоди, еще обмоем,— сказал Синцов и, ощутив щекой колючее прикосновение снега, перевалился через бруствер...

Когда через три часа случилось несчастье, когда они, волоча за собой «языка», уже в лощинке, откуда до наших позиций осталось с полкилометра, попали на мины и Леонидову оторвало ступню, Синцов, поясным ремнем перетягивая ему под коленом ногу, с горечью подумал: «Вот тебе и обмыли!»

Рядом с ними на снегу лежал связанный по рукам и ногам немец, которого они сперва вели, связав ему руки, а последние полкилометра по очереди, как мешок, тащили за собою по снегу. Немец лежал и сопел: во рту у него был кляп.

Мина, скорее всего, была наша. Если бы мины были немецкие и немцы знали о них, они сразу после этого взрыва подняли бы стрельбу. Но на немецких позициях все было тихо, исчезновения заснувшего в окопе солдата еще не обнаружили, а взрыв, наверное, сочли залетевшей от русских миной.

— Что делать будем? — тихо спросил Леонидов.

Кто его знает, может быть, в момент разрыва, когда ему оторвало ступню, он и крикнул, но потом не разжал губ — ни когда Синцов резанул ножом лохмотья кожи, на которых висела ступня, ни когда бинтовал индивидуальным пакетом культю, ни когда поясным ремнем перетягивал ногу под коленом. Ничего не скажешь, характер у Леонидова был твердый!

— Переждем еще немного и поползем,— сказал Синцов. — Будешь силы терять — буду тебя подтягивать.

— А фриц? — спросил Леонидов.

Синцов с содроганием подумал о том, что стрелять нельзя, придется, прежде чем тащить к своим Леонидова, зарезать немца ножом. Оставить его с расчетом потом прийти было рискованно: он мог развязаться или вытащить кляп.

— Что же делать! — сказал Синцов, и по его жесту Леонидов понял, что именно он собирается делать.

— Давай бери его и тащи! — сказал Леонидов. — Приказ надо выполнить. Один дотащишь?

— Дотащу, но...

Синцов не договорил, потому что Леонидов снова прервал его горячим, лихорадочным шепотом. От потери крови он заметно с каждой минутой терял силы.

— Тащи его, а я сзади поползу.

— Ладно. — Синцов вдруг согласился с Леонидовым. — Но только никуда не ползи! Тут будь. Я его дотащу и приду за тобой. Ребят возьму и приду. Только ты на этом месте будь. Никуда!

Он боялся, что Леонидов, ослабев, может отползти куда-нибудь, где его не найдешь.

— А ты придешь? — Несмотря на собственное самоотверженное решение, Леонидову хотелось жить, а то он не задал бы такого вопроса.

— Сам приду! Слово даю!

Синцов, чтобы легче было ползти, скинул с себя даже ватник, оставил рядом с Леонидовым свой автомат и только с ножом и одной гранатой в кармане пополз вперед, волоча за собой немца.

Немец, как потом оказалось, был и не здоровый и не тяжелый, даже вовсе маленького роста, но попробуй-ка волочить такой мешок по снегу, не подымая головы!

Когда Синцов, самому себе не веря, что добрался, за пятьдесят метров до окопов встретил выползших ему навстречу и лежавших за бугром в снегу Караулова и командира занимавшей здесь оборону роты, он уже изнемогал и, хотя полз по снегу, был потный с головы до ног.

— А где Леонидов? — спросил Караулов.

— Там, раненый... Сейчас схожу за ним... — задыхаясь после каждого слова, сказал Синцов.

И Караулов не стал больше ничего спрашивать, пока они теперь уже все втроем не втащили немца в окоп.

— Ну чего там с Леонидовым? — уже в окопе снова спросил Караулов, накинув на Синцова свой полушубок.

— Сейчас... скажу... Немцу... кляп... выньте, а то как бы... — Синцов не договорил: не хватило дыхания.

У немца вытащили кляп изо рта, и он стал надрывно кашлять, как туберкулезный. Потом его стошнило: то ли от страха, то ли оттого, что у него долго был заткнут рот.

— Леонидову ступню оторвало,— сказал Синцов. — Сейчас пойду за ним.

— Куда ты такой пойдешь? — сказал Караулов. — Сейчас я сам пойду! Только объясни где.

— Нет,— сказал Синцов. — Я с тобой пойду, дай только передохну.

Обычно он разговаривал с Карауловым на «вы», но сейчас назвал на «ты».

Командир роты протянул ему фляжку.

— Не надо,— сказал Синцов. — Боюсь, ослабну. И так жарко. Воды вот...

Но воды поблизости не было, и он, взяв пригоршню, стал есть снег.

— Оставайся,— снова, на этот раз уже по-начальнически, сказал Караулов. — Я найду. Вот Комарова с собой возьму.

Комаров тоже был здесь. Оказывается, его взял себе в напарники Караулов — «на случай, если бы не сладилось»,— вспомнил Синцов слова Малинина.

Синцов выплюнул комок снега.

— Как вы — не знаю, а только я сам с вами пойду. Без меня все равно его не найдете... Там и ватник мой, и автомат...

Он вдруг вспомнил весь ужас, испытанный им самим тогда, в лесу, когда он очнулся, раненный, и пополз, а потом поднялся и увидел идущего на него немца с автоматом.

«Нет, с Леонидовым этого не будет!»

— Пойдемте,— повторил он и, не дожидаясь окончательного решения Караулова, стал первым вылезать из окопа.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Серпилин получил назначение на фронт только после второй врачебной комиссии, да и то не сразу. Комиссия была 25 ноября, а назначение он получил через неделю. Утром его вызвали в Генштаб, а вечером ему уже предстояло принимать дивизию, дравшуюся с немцами под Москвой.

— Мы тут докладывали о тебе товарищу Сталину,— сказал Иван Алексеевич. — И о твоем письме, чтоб непременно на фронт, и так далее... (Серпилин послал это письмо после второй комис-

сии.) Не скрою, мы были против, хотели оставить тебя здесь, у себя... но,— Иван Алексеевич пожал плечами,— он решил по-своему, и, стало быть, теперь прав ты, а не мы. Сказал: раз хочет на фронт, дать дивизию. Между нами говоря, чуть было уже не законопатили тебя на Карельский. Он ведь два раза повторять не любит; спросит: «Уехал?» Что ответишь? Но позавчера тут у нас, под Москвой, целая драма вышла. Ни за что ни про что, по-дурацки, случайной миной прекрасного командира дивизии убило. Орлов, генерал-майор. Не знал?

— Слыхал,— сказал Серпилин.— В Сибирском округе был до войны.

— В Сибирском, алтайская дивизия,— кивнул Иван Алексеевич.— Сначала думали начальником штаба заменить, а потом командующий позвонил, попросил посильнее подобрать. Остановились на тебе.

— Спасибо,— сказал Серпилин.

— Не кажи «гоп»! — сказал Иван Алексеевич.— Дивизия, правда, хорошая, кадровая, но потрепана порядочно, точней сказать — беспощадно. Орлов был командир сильный, надо отдать ему должное, и привыкли к нему за шесть лет. Так что это не после какого-нибудь недоросля прийти на дивизию: тут будут и вершки и корешки... Словом, что ж? Раз не захотел с нами здесь работать, добрый путь! — заключил Иван Алексеевич.

В его тоне была обида. Старые товарищи хотели сделать Серпилину как лучше, а он уперся и через их головы написал Сталину. Но Серпилин не чувствовал себя виноватым перед ними. Он хотел быть на фронте и в таком вопросе не мог считаться даже с самолюбием людей, которым был многим обязан.

— А ты принимай армию,— отшутился он, не вдаваясь в спор.— Вот и буду опять у тебя служить!

— Принимай, принимай!..— сказал Иван Алексеевич.— Думаешь, тут сахар сидеть? Между молотом и наковальней, наверное, и то легче! Я бы принял, да не у всех так гладко с письмами получается, как у тебя: сюда хочу, туда не желаю... Можно и по шее получить!

Серпилин подумал про себя, что у него тоже не всегда так гладко получалось с письмами: слал он когда-то и безответные письма на этот же адрес. Ну, да ладно, бог с ними, с теми письмами, а за резолюцию на этом письме спасибо по гроб жизни!

— Начальство свое будущее знаешь? — И Иван Алексеевич, уже вставая, назвал фамилию командующего той армией, куда предстояло ехать Серпилину.

Серпилин сказал, что человек, о котором шла речь, помнится, учился с ним одновременно в академии, но на два курса моложе.

— Был на два курса моложе, а теперь на одну звезду старше! — усмехнулся Иван Алексеевич. — Но я бы сказал, что выдвинулся закономерно. Доля в начале войны ему досталась горькая: принял мехкорпус в процессе, как говорится, формирования: старые танки накануне списания, а новые — накануне получения. Но выглядел с этим мехкорпусом неплохо, особенно на фоне некоторых других. С боями вышел из окружения. Да и здесь, под Москвой, тоже проявил себя... А впрочем, сам увидишь; снизу, как говорится, виднее.

— А сверху что, плохо видно?

— Как тебе сказать? Разно бывает. Бывает и так: и чин большой и даден давно, а на своем военном инструменте до сих пор все одним пальцем играет; щиплет его по старой памяти, как балалайку, и нам, среднему звену, операторам, по ходу дела уже слыхать, что это за музыка, а сверху,— Иван Алексеевич мельком глянул в потолок,— все еще уха не приложат! Да, кстати,— протягивая руку Серпилину, сказал Иван Алексеевич. — Тут вчера ко мне вдова Баранова приходила. Я вспомнил наш разговор и посоветовал, чтобы она тебя нашла. Ты ей уж сам рассказывай, я этого на себя не взял.

Серпилин нахмурился.

— Когда поедешь принимать дивизию?

— Сейчас прямо в штаб фронта поеду, если машину дашь. Оттуда на часок домой; соберусь — и к ночи на место. Думаю так.

Ему не хотелось разговаривать с вдовой Баранова, и он с удовольствием подумал, что едет на фронт сегодня и, наверное, его минует чаша сия. Однако вышло по-другому. Он обернулся с поездкой в штаб фронта в Перхушково скорей, чем думал, а когда заехал домой пообедать и взять вещи, жена, которой он позвонил о своем назначении еще из Генерального штаба, недовольно сказала, стоя над открытым чемоданом:

— Тебе тут два раза очень настойчиво какая-то Баранова звонила. Я ей ответила, что ты уезжаешь сегодня на фронт, но она заявила, что все равно будет еще звонить. Это какая Баранова?

— Ну, какая! Жена Баранова.

Они посмотрели друг на друга. Валентина Егоровна знала, муж имеет основания считать Баранова одним из виновников того, что случилось с ним в тридцать седьмом году, знала, что судьба, как назло, снова свела его с Барановым в окружении, а теперь — только этого и не хватало — ему перед отъездом на

фронт еще предстоит разговор с женой Баранова. По лицу мужа она уже поняла: предстоит. Если только Баранова позвонит, он непременно скажет ей, чтобы приехала; оставалось надеяться, что Баранова не позвонит. На это они оба и надеялись сейчас перед разлукой.

Серпилин был за обедом разговорчив, а Валентина Егоровна молчалива. Она давно знала, что он хочет пойти на дивизию, знала, что он писал об этом Сталину, и верила, что желание его исполнится.

Они уже давно вполне и до конца понимали друг друга. Конечно, понимание друг друга еще не вся любовь, но такая важная часть ее, с годами делающаяся все важней и важней, что чувство, в котором не присутствует это понимание, вообще вернее было бы называть не любовью, а как-нибудь иначе. Глубокое и полное понимание всего, чем тяготится и чему радуется Серпилин, уже давно было главной частью любви Валентины Егоровны к своему мужу, и она была рада за него, что он едет принимать дивизию, хотя в ее собственной душе все бунтовало против этого: опять разлука, опять фронт, опять напряженная, бессонная жизнь с его еще и наполовину не восстановленным здоровьем.

Но говорить об этом она себе не разрешала, не желая портить ему настроение перед дорогой, а говорить о чем-нибудь другом была не в состоянии. Она весь обед сидела и молчала, и это ее трудное молчание было не следствием размолвки, как, наверное, подумал бы, зайдя сюда, кто-нибудь посторонний, а следствием любви и самоограничения.

Было и еще одно чувство — тревога. Сидя за этим прощальным обедом напротив мужа, Валентина Егоровна помнила, что он едет сменить убитого. Новое назначение могло сулить смерть и ему, но говорить об этом уж и вовсе не было заведено в их семье.

— Слушай, Валя. — Серпилин принялся было за чай, но отодвинул от себя стакан. — Знаешь, что я хотел тебе сказать?..

Он хотел ей сказать, чтобы она после его отъезда сразу же возвращалась на ту работу медсестры, которую временно оставила, когда он выписался из госпиталя домой. Он знал: она и так завтра же вернется на эту работу, но хотел дать ей почувствовать, что это важно не только для нее, но и для него.

Однако сказать это удалось только потом, в последнюю минуту прощания: зазвонил телефон, несчастный и требовательный женский голос сказал, что это звонит Баранова, она знает, что Федор Федорович уезжает на фронт; но она звонит в третий раз, теперь с угла, из автомата, и он не вправе отказаться поговорить с ней десять минут!

Серпилин не любил, когда ему напоминали о том, что он вправе и чего не вправе, но раз Баранова позвонила, он не позволил себе отказать ей:

— Приходите, жду вас.

И, повесив трубку, спросил жену, не помнит ли она, как зовут Баранову.

— А я ее вообще не помню,— не скрывая неприязни, сказала Валентина Егоровна.

Смерть Баранова не примирила с ним Валентину Егоровну. В ней все кипело от мысли, что последние полчаса перед разлукой с мужем у нее отнимет жена человека, приложившего руку к тому, чтобы отнять у нее мужа на целых четыре года, самых долгих и страшных в ее жизни.

— Нахалка все-таки! — непримиримо и, скорее всего, несправедливо сказала она и, не стыдясь своей несправедливости, захватив чемодан, ушла собирать вещи мужа на кухню, не желая видеть эту женщину.

Серпилин допил чай в одиночестве, силясь вспомнить не только имя и отчество Барановой, но и какая она из себя: кажется, молодая, моложе Баранова. Он видел ее, помнится, в тридцать шестом году на вокзале, когда они ехали на осенние маневры в Белоруссию; тогда-то, кажется, Баранов их и познакомил.

Женщина, которой он через несколько минут открыл дверь, была действительно еще не стара, одета в форму военного врача, и если бы Серпилин в ту минуту думал об этом, то, наверное, мысленно бы добавил: «И хороша собой».

Он помог ей раздеться, посадил за стол и предложил чаю. Но она поспешно отказалась, посмотрела на большие мужские ручные часы и сказала, что отнимет у него ровно десять минут, как и предупредила по телефону.

Что ее муж погиб, она знает уже месяц, и уже месяц, как ее старший сын, которому восемнадцать лет, узнав о гибели отца, ушел добровольцем на фронт, и она одобрила это. Ей сообщили число, когда погиб муж,— 4 сентября, и сказали, что она может ставить вопрос о пенсии. Но она еще не оформляла этого...

— И вообще все это с пенсией пока не так важно,— поспешно добавила она. — Как видите, я на военной службе, работаю ведущим хирургом госпиталя, старший сын на фронте, младший у родителей мужа и вполне устроен, так что наша семья ни в чем не нуждается. — Она говорила так, словно заранее хотела оградить себя от подозрений, которых не было у Серпилина.

— Но я только вчера, после долгих звонков, пошла к... — она назвала фамилию Ивана Алексеевича,— в надежде, что такой человек, как он, может знать больше других. И он действительно

сразу же сказал, что муж выходил из окружения с вами, и рекомендовал обратиться к вам.

«И черт бы его подрал за это! Навязал крест и мне и ей на шею»,— подумал Серпилин с долей сочувствия к этой независимо державшей себя женщине.

Серпилина было нелегко пронять, он верил сдержанным чувствам и сейчас в напряженно звеневшем голосе женщины и в ее глазах читал больше горя, чем если бы она разливалась тут перед ним слезами.

— Да,— сказал он вслух,— мы действительно вместе выходили.

Он говорил медленно, обдумывая тем временем сразу два вопроса: что ей сказать и что ей уже сказали? Сведения о гибели Баранова могли исходить только из уст Шмакова и из тех строевых списков, которые он сдал по выходе из окружения. Но включал ли Шмаков туда какие-нибудь пояснения или не включал и что ей сказали, этой женщине: то, что она говорит, или больше? Пожалели ее, и в самом деле она не знает? Или знает больше того, что говорит, а у него, Серпилина, хочет проверить? Все это было одинаково возможно и не противоречило искренности горя, которое он слышал в голосе женщины.

— Действительно, выходили вместе, и погиб он действительно четвертого сентября. — Серпилин все еще до конца не решил, как говорить с ней, но она услышала еле заметное колебание в его голосе.

— Расскажите мне, пожалуйста, правду, все, как было! Мне это важно, а главное, это хотят знать сыновья, прежде всего старший. Я обещала написать ему на фронт.

Но именно теперь, когда она сказала «скажите всю правду» и снова упомянула о сыне, Серпилин решил не говорить ей правды — ни всей, ни половины, ни четверти.

Он сказал, что встретил ее мужа в конце июля, когда выходил со своей частью лесами из Могилева на Чаусы, что муж ее в условиях окружения, как и некоторые другие командиры,— эту фразу Серпилин выговорил с трудом, хотя она была только частичной ложью,— воевал рядовым бойцом и погиб четвертого сентября, в самом начале боя, разыгравшегося в ту ночь при переходе шоссе. Сам он, Серпилин, не видел, как это произошло, но ему сообщили, что Баранов погиб смертью храбрых... Снова сделав над собой усилие, он сказал это не столько для нее, сколько для ее сына, которому она будет писать на фронт.

— Так что, как видите, к сожалению, мало что могу добавить. У меня было там под командой полтысячи людей, и я не могу помнить все подробности о каждом. Шли мы тяжело,

со многими боями и потерями, а в последнем бою, когда уже соединялись, потеряли половину людей. Вам, конечно, от этого не легче, но в живых из нас вообще осталось меньшинство...

— Может быть, вы чего-нибудь не договариваете? — Она испытующе посмотрела на Серпилина.

Сначала ему показалось, что его выдал тон, которым он говорил о Баранове,— но нет, кажется, он сдержался. Потом он подумал: может быть, ее поразило, что муж — полковник — был у него, Серпилина, простым бойцом?

Но, продолжая смотреть ей в глаза, он понял, что правдой было не то и не другое. Просто она знала или угадывала в своем муже что-то такое, что заставляло ее бояться за него. Как видно, она любила его, но при этом боялась: какой он будет там, на войне?

Она надеялась узнать о муже хорошее, для этого и пришла, и в то же время в глубине души боялась узнать плохое. А сейчас, когда Серпилин замолчал, заподозрила, что это плохое все же было и лишь осталось несказанным.

— Может быть, вы все-таки чего-то не договариваете мне? — повторила она.

«Может быть, может быть...» — мысленно сказал он. Но вслух ответил, что нет, он рассказал все, как было, и пусть она напишет об этом сыну.

«Главное все же не она, а сын!» — еще раз подумал он.

На этот раз, кажется, она поверила.

— Я буду писать сыну и сошлюсь на вас.

— Что ж, ссылайтесь,— сказал он.

А про себя подумал: черт его знает, наверное, в этом ненавистном ему Баранове было что-то такое, за что его и сейчас еще любит такая, как видно, хорошая женщина.

Он проводил ее в переднюю и подал шинель. Она поблагодарила и ушла. Когда он вернулся и посмотрел на часы, то увидел, что она не уложилась всего на четыре минуты. Для женщины, пришедшей с тем, с чем пришла она, это был подвиг.

«Да, с характером человек. Так за что же она все-таки любила Баранова? Или, как говорится, ни за что? За просто так?.. Тоже, кажется, бывает...» — подумал он, сам, однако, не представляя себе, как это может быть.

— Уже ушла? — входя, спросила Валентина Егоровна.

Даже то, что Баранова так быстро ушла, не смягчило ее. Она просто решила, что Серпилин сказал этой женщине все, как было, потому она и ушла так быстро.

— Ну как, все ей сказал? — не удержалась она.

— Ничего я ей не сказал! — недовольно ответил Серпилин.

Он не хотел больше разговаривать на эту тему. — Сказал, что пал смертью храбрых.

— Не знала прежде за тобой привычки врать,— непримиримо сказала Валентина Егоровна.

— А ты полегче на поворотах! — рассердился Серпилин. — Сын пошел добровольцем на фронт, мстить за отца. Так за кого же прикажешь ему мстить? За труса?

— А разве, кроме как за его дорогого отца, мстить не за кого? Если бы его отец был жив, значит, сыну можно не на фронт, а за Урал ехать? Не согласна!

— Оказалась бы на моем месте, согласилась бы... — Серпилин имел в виду объяснить ей: одно дело — рассуждать, что правильно и что нет, а другое дело — глядеть в глаза вдове.

Но Валентина Егоровна перебила его:

— Мне незачем на твоем месте оказываться, я и на своем достаточно видела!

Продлись этот разговор еще немного, он бы кончился размолвкой, но оба вовремя почувствовали, что это может случиться, сдержались и заговорили о другом: Серпилин — о том, чтобы она сразу же шла снова работать в свой госпиталь, а она — о том, чтобы он после своего ранения пореже надевал сапоги.

— Сегодня в дорогу, например, вполне можно ехать в валенках...

С этого резонного соображения начался уже и вовсе предотъездный разговор...

А еще через полчаса Серпилин, миновав Замоскворечье и предъявив на выезде документы, уже ехал по шоссе, уходившему к фронту.

...Серпилин прибыл в штаб армии и разыскал избу, где жил командующий. Встретивший его адъютант предложил ему располагаться и ждать.

— Командующий отдыхает, но приказал себя разбудить в двадцать два ровно, а если приедете раньше — по вашем приезде.

Адъютант вышел, а Серпилин взглянул на часы — на них было 21.50 — и обвел взглядом комнату.

Даже временное жилье военного человека дает известное представление о хозяине. В рабочей комнате командующего было холодно, чисто и пусто, все лишнее было вынесено; остались стол, стулья и этажерка с пачкой книг на одной полке, с подшивкой «Красной звезды» — на другой и стопкой карт — на третьей. Стол был застлан прикрепленной кнопками бумагой, бумага была без единого пятнышка: очевидно, ее положено было ежедневно менять.

Человек, работавший в этой комнате, видимо, был педант; Серпилин невольно вспомнил вскользь брошенную Иваном Алексеевичем фразу о том, что характер у командующего крутой.

— Рассчитывал, что прибудете позже. Прошу прощения! — оторвал его от этих мыслей раздавшийся за спиной резкий голос.

Серпилин поднялся, но человека, который произнес это, уже не было в комнате — он быстро прошел из двери в дверь, мелькнув в полутьме повешенным на шею полотенцем.

Через две минуты он так же быстро, но теперь уже молча, прошел обратно, а еще через две вышел к Серпилину, на ходу последним четким движением засунутых за поясной ремень больших пальцев заправляя гимнастерку.

Серпилин представился.

Командующий стоя выслушал его, коротко пожал руку и предложил сесть.

— Вот, значит, вы какой! — Он оглядел Серпилина. — Когда генерал-лейтенант, — командующий назвал фамилию Ивана Алексеевича,— сватал мне вас на дивизию, он так вас обрисовал, что я представил себе прямо по Лермонтову: «Богатырь ты будешь с виду и казак душой...» Даже заколебался. Боюсь дружеских рекомендаций. Вы что, с ним вместе служили? — спросил он, имея в виду Ивана Алексеевича.

— Служил,— сказал Серпилин, не вдаваясь в подробности.

И это понравилось командующему.

«А ты вон какой!»—глядя на него, подумал Серпилин.

Перед ним сидел человек небольшого роста и заурядной внешности: круглая голова на короткой, крепкой шее, коротко, под бокс, подстриженные волосы с белесым хохолком впереди. Совсем молодое, без морщин, гладкое лицо с одной-единственной резкой чертой на подбородке. Гимнастерка полевая, без орденов, с полевыми защитными петлицами. Командующий выглядел так, словно он нарочно заботился о том, чтобы не только в его рабочей комнате, но и в его собственной внешности не было ничего лишнего. Серпилин знал, что ему сорок, но мальчишеская стрижка под бокс делала его еще лет на пять моложе, и голос у него тоже был молодой, резкий и звонкий.

Серпилин ожидал вопросов о прохождении службы: при знакомстве с новым командиром дивизии это было естественным. Но командующий сразу начал с того, что успел познакомиться с послужным списком Серпилина.

— Будем считать, что познакомились. Дознакомимся в бою, а теперь кратко введу вас в обстановку.

Он не глядя протянул руку к этажерке и безошибочно взял с того места, где лежала, именно ту карту, которая была нужна.

— Мы с вами находимся здесь. — Его остро очиненный карандаш без поисков попал в точку на карте.

Обстановку он охарактеризовал действительно кратко, так, словно мысленно отсчитывал слова, но как раз благодаря этой краткости нарисованная им картина, лишенная всего привходящего, была особенно наглядна.

Все пять дивизий армии занимали семьдесят километров по фронту и были в первом эшелоне. В последние дни армейских резервов, в сущности, не оставалось. Но, по мнению командующего, не оставалось их и у немцев. Хотя они последние дни все еще наступали и имели частные успехи, но в целом их атаки носили уже, как он выразился, «необоснованный характер», чувствовалось, что, по крайней мере, здесь, на участке армии, у них нет крупных резервов для развития успеха.

— «Крупных» говорю из осторожности, про себя думаю, что практически против нас вообще нет резервов.

После этого он перешел к тому, как рисуется в полосе его армии предстоящее наступление, до которого остались считанные дни и о котором уже знали командиры дивизий, в том числе и предшественник Серпилина.

— В этом наступлении именинниками будем не мы, — сказал командующий. — Левей, между нами и прежним соседом, вводится свежая армия, — он назвал номер, — она займет часть полосы соседа и часть нашей. Свою левофланговую дивизию мы выводим в резерв, а вы, таким образом, оказываетесь на стыке с новым соседом, с именинником. Но и нам предложено за первую неделю выйти вон куда! — Расстояние, которое он показал по карте, было изрядным — в треть стола. — Разумеется, по снегу и под огнем противника — это не с карандашом по карте идти, — добавил он, кладя карандаш. — Так что придется потрудиться. Я пока не богат, располагаю на сегодня... — Он назвал такое скупое число активных штыков, которое проняло даже видавшего виды Серпилина.

Командующий заметил тень, промелькнувшую на лице Серпилина, но ничего не сказал: по его мнению, Серпилин и сам должен соображать, что не пустить немцев к Москве было не просто и стоило не дешево.

— Живем пока не богато, — снова повторил он, на этот раз во множественном числе. — Пополнение обещают дать завтра к вечеру, но не щедрое, поскольку не мы именинники. У вас в дивизии картина немного лучше, чем в других: перед тем как перебросить к нам, ее отводили и пополняли.

— Я видел один ее полк на параде седьмого ноября, — сказал Серпилин, позволив себе воспользоваться паузой командующего.

— А я его ждал в тот день как манны небесной,— сказал командующий и перешел к дивизионным делам.

Планирование боя в полосе дивизии, произведенное ее бывшим командиром и начальником штаба на основе общей, армейской директивы, он считал приемлемым, но требующим уточнений.

— Генерал Орлов как раз и погиб при уточнении на местности,— сказал командующий. — Пошел уточнять днем на НП батальона и не вернулся. Говорят, случайная мина, хотя на них не написано, какая случайная, а какая специальная. Завтра вечером вызываю к себе командиров дивизий. У вас остается меньше суток на все уточнения. Времени мало, и положение ваше, как нового командира дивизии, трудное. Но я предпочел назначить командира дивизии накануне наступления, чем менять в ходе его. Раньше считал, что начальник штаба полковник Ртищев по опыту и знаниям вправе претендовать на командование дивизией,— кем и кого заменять, нашему брату, к сожалению, приходится думать заранее...

Серпилин кивнул: а как же иначе!

— Но когда приехал в дивизию, встретил раздавленного горем человека. Они с комдивом двадцать лет служили вместе — горе понятно. Но в то же время не почувствовал в нем ни на йоту самостоятельности, уверенности, что теперь дивизия на мне и я буду командовать ею так, как мне моя голова подскажет. А без этого чувства командовать нельзя, тем более после такого командира, как Орлов. Я его знал когда-то, на заре юности — служил у него в роте. Да, не получилось с Ртищевым... Если человек только и боится, как бы не вышло хуже, чем было, итог известен: тех же щей, да пожиже влей. Словом, не почувствовал я в нем командира дивизии,— жестко сказал командующий, и Серпилин понял, что первое впечатление не обмануло его, этот человек крут. — Поедете — сами оцените. Если будет поддерживать традиции Орлова,— а традиции у Орлова были хорошие,— думаю, и вы его в этом поддержите, а если по-прежнему останется в состоянии панихиды — доло́жите мне, переместим в другую дивизию, а из другой возьмем к вам... Что до комиссара, то комиссар человек порядочный, храбр и любит передовую. Большего не скажу: пока мало знаю. До него был хороший, я бы даже сказал — замечательный, но дивизия невезучая: ранили за неделю до Орлова. А подробней на эту тему — зайдите к начальнику политотдела: член Военного совета уехал в части, а он — здесь и просил, чтоб зашли. По стакану чаю перед дорогой?

Серпилин поблагодарил. Он продрог в пути и был не прочь выпить рюмку водки. Но чай оказался действительно чаем. В со-

седней комнате на столе, возле койки, накрытой ковром, стояли два дымящихся стакана с крепким чаем и прикрытая салфеткой тарелка с печеньем.

— А знаете, я вас, когда мы учились в академии, не запомнил,— сказал командующий, как бы кладя этими словами грань между служебным и товарищеским разговором.

— И я вас тоже,— сказал Серпилин.

Теперь, когда речь шла о прошлом, он чувствовал себя на равной ноге.

— А потом вы, судя по вашему послужному списку, вернулись в академию и были на кафедре тактики?

— Да, до тридцать седьмого.

— Значит, чуть было снова не встретились. В тридцать шестом меня тоже сватали в академию, на преподавательскую, а потом вдруг в двадцать четыре часа собрался и уехал в Испанию,— как говорится, бывают в нашей жизни неожиданности...

— А после Испании?

— В Генштабе. А в самый канун войны бог сподобил пойти на мехкорпус.

Упомянув о мехкорпусе и, очевидно, вспомнив об окружении, командующий спросил, как Серпилин прорывался под Ельней.

— Понес большие потери,— сказал Серпилин.— Больше половины.

— И я примерно такие же... — сказал командующий, впервые за все время глядя не перед собой, а в сторону. — Горькая вещь — окружение: с трудом вспоминаю и не хочу повторять. Противоречие: с одной стороны, человек вчера добровольно присоединился к тебе и идет с тобой сквозь все опасности, через фашистов к своим. А с другой стороны, завтра ты его за первое же невыполнение приказа расстреливаешь перед строем. И не можешь иначе, не вправе, потому что два-три невыполненных приказа в обстановке окружения — и все рухнет. Хотя люди в большинстве сами пришли к тебе. Могли разбрестись, а пришли. Но раз пришли — дальше действует сила приказа. Не так ли?

— Еще бы не так! — сказал Серпилин.

— Меня потом один выходивший со мной товарищ,— перед словом «товарищ» командующий выдержал крохотную паузу,— обличал в превышении власти. Не спорю, может, и был жесток, настаивая на безусловном выполнении своих приказов. Но давайте спросим себя: почему человек не выполняет приказа? Чаще всего потому, что боится умереть, выполняя его. А теперь спросим: чем же преодолеть этот страх? Чем-то, что еще сильнее страха смерти. Что это? В разных обстоятельствах разное: вера в победу,

чувство собственного достоинства, страх выглядеть трусом перед лицом товарищей, но иногда и просто страх расстрела. К сожалению, так. И тот, кто потом писал про меня насчет жестокости, превышения власти и прочего, сам вышел из окружения чистеньким, про него писать было нечего — ни хорошего, ни худого. Но людей из окружения вывел не он, а я. Не сталкивались с этой проблемой? — Командующий посмотрел в глаза Серпилину.

Серпилин молча кивнул.

— Ну что ж... — Командующий выпил последний глоток чаю и встал. — Желаю успеха в наступлении! Может, наконец утолим свои сердца бывших окруженцев, когда погоним их к чертовой матери! Расплатимся за все и за всех, даже за тех, кого из-за создавшейся обстановки когда-то пришлось расстрелять своей рукой. Зайдите в политотдел и езжайте. Мой адъютант сопроводит вас до штаба дивизии.

Начальник политотдела жил через три дома. Серпилин открыл дверь, спросил: «Разрешите?» — и с радостью узнал в человеке, поднявшемся навстречу ему из-за стола, полкового комиссара Максимова.

— Здравствуй, Максимов, веселый человек! — невольно вырвалось у Серпилина, пока он, стоя посреди комнаты, тряс руку улыбавшемуся Максимову.

— Раз явился, посиди с нами пять минут,— сказал Максимов, таща Серпилина за руку. — Сейчас тебя познакомлю!

— Хорошо, но только правда на пять минут,— постучав по часам, сказал Серпилин. — Тот, кто повыше тебя, приказал немедля ехать в дивизию!

— Гонит или сам спешишь? — улыбнулся Максимов.

— И гонит, и сам спешу.

Серпилин познакомился с четырьмя сидевшими у Максимова, вставшими при его появлении людьми и подсел к столу, не снимая шинели, показывая этим, что, как ни приятно встретиться с Максимовым, через пять минут он все же уедет.

Из четырех человек, с которыми познакомил Серпилина Максимов, один был военный — полковник, а трое — гражданские, одетые, впрочем, тоже по-военному: в такие же сапоги и гимнастерки с командирскими поясами, только без петлиц и знаков различия. Двое гражданских были — секретарь райкома лежавшего впереди оккупированного немцами района и секретарь горкома небольшого подмосковного городка, стоявшего как раз за спиной армии; час назад Серпилин проезжал через него. Третий гражданский — старик со щекой, изувеченной шрамом,— был директором мебельной фабрики.

— По поручению Военного совета вместе с начальником тыла кое-что дополнительно вынимаем из товарищей подзащитных,— объяснил Максимов.

— Смотри, какой адвокат! — сказал секретарь горкома.

— Не адвокат, а защитник,— отшутился Максимов.

— Защитники в окопах сидят,— не спустил ему секретарь,— а ты только состоишь при них. Из нас вынимать не надо, мы сами даем.

— Ну, мужик ты, положим, прижимистый,— сказал начальник тыла.

— С двух его промышленных гигантов сейчас дань собираем,— рассмеялся Максимов,— со швейной и с бывшей мебельной, а ныне лыжной. Маскхалаты нам шьют, лыжи и пулеметные санки делают. Сегодня дополнительно кое-что попросили и для убедительности к себе привезли.

— А, брось ты,— отмахнулся секретарь горкома,— хоть бы говорить постыдился! На швейной фабрике без твоих убеждений какую ночь женщины не спят? Скажи лучше — не рассчитали, теперь еще триста пар лыж просим!

— Не спорю,— Максимов кивнул на старика с изуродованной щекой,— но пока его уговоришь, семь потов сойдет. И хоть бы лыжи хорошие были!

— Из невыдержанного дерева, а тем более сырого, хорошие лыжи быть не могут,— спокойно сказал старик. — А по количеству мы дадим. — И он повернулся к секретарю горкома и кивнул. — Я прикинул: дадим.

Серпилин был рад, что на минуту окунулся в стихию армейского хозяйства еще с одной, и тоже важной, стороны, напоминавшей, что наступление на носу. Но время не ждало.

— Пожелаю всего доброго, товарищи!

— Провожу тебя до машины. — Максимов встал.

Серпилин поочередно пожал руки присутствующим, последнему — директору лыжной фабрики.

— А я у вас служил, товарищ генерал,— сказал тот, задерживая руку Серпилина.

— Когда?

— А тогда, когда мы с вами генералов били,— улыбнулся директор, и от улыбки шрам на его щеке изогнулся в запятую. — С пополнением московских рабочих прибыл к вам, на Деникина! А стояли вы тогда немного поюжнее Навли, Брянской губернии.

— Стоял, верно. Было дело,— сказал Серпилин. — Значит, теперь за лыжи для своей дивизии могу быть спокоен?

— Считайте, как у Христа за пазухой!..

— Вот и встретились, Федор Федорович, я очень, очень рад...— говорил Максимов, выходя с Серпилиным на залитую лунным светом деревенскую улицу. Она имела бы вполне мирный вид, если бы не припорошенная снегом свежая воронка от бомбы.

— Я тоже рад.

— А я так рад,— повторил Максимов,— что, ей-богу, впору обратно комиссаром дивизии к тебе попроситься. Тем более — в ней воевал, в ней ранен был и прежнего ее командира знал и любил и своими руками вчера похоронил. До слез жалко Орлова! Но, раз уж так вышло, рад, что именно ты на эту дивизию идешь. Серьезно, моя бы воля, пошел бы с тобой комиссаром. Одна беда: раз уже повысили, теперь, пока не согрешу, обратно не понизят.

— А ты согреши.

— Ладно! — сказал Максимов так серьезно, что Серпилин улыбнулся.

— Буду ждать. А пока скажи мне про нынешнего комиссара!

— Фамилия его...

— Фамилию как раз знаю — Пермяков. А вот все остальное?

— Прибыл сюда меньше недели. Был комиссаром корпуса в Крыму. Корпус себя на Чонгаре, как говорится, не показал, ну, и с комиссара, раба божьего, ромб сняли, а шпалы надели. Не знаю уж, за чьи грехи — за свои или за чужие. Еще вопросы будут? — полушутя-полусерьезно добавил Максимов.

— Вопросов много, да времени у нас с тобой мало...

Они стояли у машины, обоим не хотелось расставаться.

— Вот готовим лыжные батальоны,— сказал Максимов.— Ты, Федор Федорович, папаху, надеюсь, скинешь и шинель тоже? А то ведь у них снайперы, а у тебя фигура полтора человеческих роста. Да и теплей в ушанке и полушубке.

— Скину,— сказал Серпилин. — В машине все в запасе есть. Даже валенки. Не беспокойся, под снайпера не попаду. Не входит в число моих желаний. Тем более сейчас.

— А разве когда-нибудь входило?

— Как тебе сказать... Тут я последние дни в госпитале, признаться, перечитывал Достоевского. Так вот, может, помнишь, там у него Раскольников рассуждает про человека, который, чтобы жить, на что угодно готов,— хоть всю жизнь на одном аршине, один, без людей, в темноте, молча, стоять, только бы жить, только бы не умереть! Ну, а я на это не согласен, я согласен жить только на определенных условиях.

— А именно?

— А именно на таких, чтобы мы победили немцев! А какая может быть без этого жизнь? В темноте, в страхе, молча, на одном аршине? Так я на такую жизнь не согласен! И ты тоже, наверное.

И он уехал, еще раз крепко пожав руку Максимову.

Чтобы добраться до штаба дивизии, нужно было вернуться с проселка на шоссе, сделать по нему километров семь и снова свернуть на другой проселок. До шоссе Серпилин доехал довольно быстро, но там почти сразу же его «эмка» застряла. По обочинам шоссе шла к фронту пехота, а посередине, неведомо как далеко растянувшись, застрял гаубичный артиллерийский полк на механической тяге. Дальше дорога подымалась в гору, там, наверное, буксовали машины и была пробка.

Шофер обогнул несколько грузовиков, съехал на обочину, застрял, выскочил с лопатой в снег, побуксовав, снова выехал на шоссе, объехал еще один грузовик и, не рискуя опять завалиться в снег, остановился.

Адъютант командующего выскочил из «эмки» и побежал вперед, к голове застрявшей колонны.

— Этот сейчас расчистит! — уверенно сказал шофер.

Предсказание не оправдалось: прошло еще двадцать минут, пехота все шла и шла, растягиваясь на ходу в цепочку, обтекая машины, и по обочинам и по целине, а машины по-прежнему не двигались.

Серпилин вышел из «эмки» и без особого нетерпения прохаживался взад и вперед, поскрипывая по снегу валенками, которые он после визита к начальству сейчас, в дороге, снова надел вместо сапог. В дивизию все равно приезжали ночью, ночью же он собирался поехать в полки, спать не намеревался, и небольшая задержка не так уж беспокоила его, а зрелище двигавшихся к фронту войск и техники еще раз напоминало о наступлении.

Ему было и радостно и тревожно. Строго говоря, дивизией он с мирного времени не командовал, выход из окружения с несколькими сотнями людей был хотя и суровой, но все же односторонней школой, и он волновался сейчас, думая о предстоящем наступлении.

«А эти, кажется, вовсе свежие,— думал он, глядя на мелькавшую с той стороны дороги в просветах между машинами и гаубицами пехоту. — Вообще не воевали. И командиры тоже в большинстве, наверное, не воевали. А на войне, как ни говори, первый день — трудный день...»

Занятый этими мыслями, Серпилин все еще прохаживался взад и вперед, когда перед ним вырос запыхавшийся от бега адъютант командующего.

— Вот, товарищ генерал,— показал он рукой на сопровождавшего его рослого майора,— он отвечает за движение колонн на этом участке. Я ему объясняю, что вы ждете, а он не принимает мер! Пришлось попросить к вам!

Серпилин выпрямился и посмотрел на стоявшего перед ним непокорного майора.

Майор приложил руку к ушанке и доложился простуженным, но веселым голосом, что он командир полка этой находящейся на марше дивизии, майор Артемьев.

Несмотря на простуженный голос и замотанное бинтом до подбородка горло, майор был само здоровье: большой, с квадратными плечами, с обветренным, даже при лунном свете кирпично загорелым лицом.

Адъютант, кажется, надеялся, что майор сразу же получит нагоняй, но Серпилин начал не с этого:

— Ангина?

— Так точно, ангина! — все так же весело и хрипло отчеканил майор.

— А пробку надолго устроили?

— Сейчас, товарищ генерал, пехота уже подошла, еще пять-шесть грузовиков на руках в горку вынесем, а там интервалы установим; остальные сами, с разгону пойдут. Через десять минут все ликвидируем. Я объяснял старшему лейтенанту,— кивнул он на адъютанта, как человек, недовольный, что его зря оторвали от дела.

— Хорошо, десять минут даю. — Серпилин взглянул на часы. — Но не дольше! Еще не воевали?

— Что имеете в виду, товарищ генерал? Лично меня?

— Имею в виду ваш полк, раз вы полком командуете, вашу дивизию...

— Большинство рядового состава не воевало, а командный состав был в боях на Халхин-Голе. Конечно, бои... — Наверное, он хотел объяснить, что бои на Халхин-Голе не те бои, что на этой войне.

Но Серпилин прервал его:

— Не смею задерживать. Желаю умножить боевую славу вашей дивизии.

— Спасибо, товарищ генерал! Пойду пробку пробивать. — Майор на секунду высунул из полушубка руку с часами и побежал вдоль колонны.

В штаб дивизии Серпилин добрался к часу ночи. Комиссара дивизии не было: с полудня уехал в один из полков, но начальник штаба не ложился, ждал нового командира.

По предложению Серпилина они начали с того, что рассмотрели уже разработанный план боя, по первому впечатлению, без прикидки на местности, показавшийся Серпилину разумным.

Начальник штаба — маленький, усталый и печальный полковник,— кажется, заранее свыкся с мыслью, что он не придется и не может прийтись по душе новому командиру дивизии. С упорством человека, не намеренного считаться с тем, понравится или не понравится то, что он говорит, он своим тихим, ровным голосом через каждые десять слов поминал убитого командира дивизии: «по предложению генерала Орлова», «по указанию генерала Орлова», «по наметкам генерала Орлова», «по подсчетам генерала Орлова»... — и это в конце концов надоело Серпилину.

— Слушайте, полковник Ртищев! — прервал он. — Вы-то сами участвовали в планировании боя? Кто его разрабатывал? Вы или не вы? Я привык к тому, что это лежит на обязанности начальника штаба. И как будто мы с вами в одних училищах учились. Если не так, давайте заранее внесем ясность!

Ртищев не сразу, словно нехотя, поднял глаза на Серпилина и сказал, что да, конечно, все детальные расчеты составлял он.

— А я нисколько в этом и не сомневался. Но почему же тогда вы мне все время к месту и не к месту тычете «генерал Орлов», «генерал Орлов»? — сказал Серпилин, не собиравшийся останавливаться на полдороге. — Я уже слышал, что у вас до меня был прекрасный командир дивизии, во фронте слышал и в армии слышал. Очень рад, что прихожу в дивизию с традициями. Но тыкать себе в нос бывшим ее командиром не позволю. Потому что теперь я командир дивизии, и это не подлежит дальнейшему обсуждению ни вашему, ни чьему-либо, ни в прямой, ни в косвенной форме! Возьмите себе на заметку для будущего: не трудитесь внедрять в мое сознание, каким хорошим командиром дивизии был генерал Орлов. Я сам найду уместную форму и обстоятельства, чтобы напомнить, чем я, как командир дивизии, обязан своему предшественнику и вам, как начальнику штаба, хотя живых хвалить у нас не принято. Скажите откровенно, что думаете по этому поводу? — вдруг совершенно внезапно для собеседника после короткой паузы спросил Серпилин.

Он хотел с самого начала сработаться с этим человеком, первым выложил то, что почувствовал при встрече, и теперь хотел дать ему возможность в свою очередь выговориться, если он того пожелает. Если пожелает,— значит, они сработаются, если уползет в свою скорлупу — хуже.

— Что вам на это сказать, товарищ генерал? — Ртищев помолчал и снова посмотрел на Серпилина своими глубокими, печальными глазами. — Миши Орлова — не взыщите, что так говорю, но он умер, и меня служебно больше ничего не связы-

вает,— после двадцати лет службы мне все равно никогда не забыть, да и не хочу его забывать. И, откровенно говоря...

— Только откровенно!

— ...И, откровенно говоря, тем более раз сами к этому призываете, мне лично вы его не замените.

«Сработаемся»,— подумал Серпилин.

— Вижу, командира дивизии вы любили,— сказал он вслух. — А дивизию?

— И вот я и хотел сказать про дивизию. Дивизию я люблю и от вас — если имею право чего-либо хотеть — хочу только одного: чтобы вы с возможно большим успехом заменили ее прежнего командира. Моя персона тут не суть важна...

— Ну, это как сказать! Вы начальник штаба,— не удержался и перебил его Серпилин.

— Не суть важна,— упрямо повторил Ртищев,— но я хочу вам сказать, что даже сейчас, после всех потерь, у нас в дивизии больше тридцати командиров, окончивших Омское пехотное училище, где Орлов прослужил десять лет, прежде чем пришел в дивизию,— его курсанты. Это, знаете ли, такой костяк, с которым стоит посчитаться, тут с традициями шутить нельзя. Может, я вам сначала и не больно по-умному долбил: «Орлов да Орлов!» Сознаюсь, хотел дать почувствовать. Отбросьте это! Но за этим стоят интересы дивизии.

— Согласен.

— Это суть дела,— сказал Ртищев и снова взглянул на Серпилина своими печальными глазами, которые сейчас, лишенные неприязни, стали еще печальнее. — А что касается меня лично, то я просто-напросто не могу пережить его смерти, и все тут. Угнетен ею.

— Положим, так. А как дальше воевать будем?

— А воевать будем, военной грамоты из головы не вышибло, и смерти боюсь не больше, чем другие.

— Поедем в полки,— предложил Серпилин.

— А стоит ли? — спросил Ртищев. — Может, с утра?

— До света еще далеко — пять часов. Пока темно, полазаем по переднему краю, там, где днем не пройдешь. А с утра пойдем на наблюдательные пункты. Генерала Орлова, говорят, на НП убило? В каком полку?

— У Баглюка,— сказал Ртищев.

— А в какой полк комиссар уехал?

— Туда же, к Баглюку.

— Ну что ж, с Баглюка и начнем,— решил Серпилин.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Климович сидел в операционной и ждал, пока приготовят гипс. Сутки назад он получил пустяковое, как он считал, пулевое ранение в руку повыше запястья, но за ночь рука разболелась, и он заехал в медсанбат соседней стрелковой дивизии. Рана оказалась хуже, чем он подумал: кость треснула, и хотя выходить из строя по такому ранению он все равно не собирался, но на гипсовую повязку пришлось согласиться. Он сидел в гимнастерке с закатанным до плеча рукавом и, чувствуя, как на голой руке кожа идет пупырышками, смотрел через выбитое окно на улицу. Отсюда был виден дом напротив, тоже с выбитыми окнами, и верх черного немецкого штабного автобуса, стоявшего перед входом в медсанбат.

Наше контрнаступление под Москвой уже вторые сутки шло по всему фронту, медсанбат разместился в здании больницы только что, на рассвете, взятого городка.

«Быстро они, однако, подтянулись!» — с одобрением подумал о медсанбате Климович.

Его собственная медсанрота, наоборот, ночью застряла где-то в снегу, и на перевязку пришлось ехать к соседям.

Городок был маленький, в мирное время, услышав его название, наверное, переспрашивали и вспоминали: где это? Не то под Москвой, не то на Волге... Но сейчас, в начале декабря сорок первого года, его имя гремело, как музыка. Город, отбитый у немцев! К этому еще не привыкли.

Его взяли после короткого ночного боя два полка 31-й стрелковой дивизии. Своим успехом они были обязаны главным образом соседям — прорвавшейся левее их километров на пятнадцать в глубину дальневосточной дивизии и танкистам Климовича. Танкисты еще вечером перерезали немцам пути отхода, вынуждая их либо драться в окружении, либо немедля отступать, бросая все, что разом не стронешь с места. Городок и его окрестности были забиты брошенными немецкими машинами — тылами моторизованной дивизии.

Ожидая, пока приготовят повязку, Климович закрыл глаза. Сначала ему показалось, что сейчас он так вот возьмет и заснет, сидя на табуретке и положив раненую руку на край стола. И в этом не было бы ничего удивительного: целый месяц, пока его бригаду перебрасывали с места на место, затыкая то одну, то другую дыру, он спал урывками — по два, по три часа, а в последние дни ни разу не спал больше часа подряд. Да, впору было заснуть, но сон только почудился и не пришел: слишком уж он взвинчен был происходившим; и в какую бы внешне непроби-

ваемую броню привычки к своему военному делу ни был закован, а все же началось наступление, и оказалось, что человеку трудно переживать не только одно горе. Радость, когда она большая, тоже трудно пережить! И она от тебя требует всех сил, и от нее тоже устаешь.

Конечно, эти ребята с Дальнего Востока, вчера впервые вступившие в бой и с ходу на пятнадцать километров толкнувшие немцев, разом испытали такое счастье, которому позавидует всякий военный человек, а все же до конца понять то, что испытал Климович, они не могли. Только тот, кто был унижен и оскорблен отступлениями и окружениями, только тот, кто, облив последними крохами бензина свой последний танк и оставив за собой щемящий душу прощальный черный столб дыма, повесив на шею автомат, неделями шел через леса, вдоль дорог, по которым гремели на восток немецкие танки,— только тот мог до конца понять Климовича — понять всю меру жестокого наслаждения, испытанного им за эти полтора суток с той минуты, когда он вчера на рассвете прорвал оборону немцев и пошел крушить их тылы, и до той минуты, когда по дороге сюда, в медсанбат, он пронесся по городу, забитому брошенными машинами, засыпанному пущенными по ветру немецкими штабными бумагами.

Вчера на рассвете, после прорыва, когда исход боя был уже решен и его железная кузница начала затихать, оглохшему Климовичу последним снарядом все-таки заклинило башню КВ. Он вылез и увидел, что танк его весь черный, с него сбито все, что вьючат на него перед боем: инструменты, запасные траки, цепи. Со всех сторон было только одно черное от дыма железо. Пока он смотрел на свой танк, его и ранил с крыши немецкий автоматчик. Автоматчика убили. Климовичу перевязали руку; он пересел с КВ на «тридцатьчетверку» и пошел дальше.

Днем он с несколькими танками нарвался на отступавшую артиллерийскую колонну и первыми же удачными выстрелами по голове и хвосту закупорил дорогу. Сначала немцы разбежались, но потом, надо отдать им должное, пришли в себя, развернули несколько орудий и под прикрытием их огня даже пробовали подобраться к танкам. Пришлось делать все сразу: и добивать колонну, и вести огонь по стрелявшим орудиям, и обороняться. Из танка не увидишь: могут подобраться и сжечь. Климович снял с машин башнеров и положил их с пулеметами в круговую оборону между танками. В конце концов атаковавших немцев перестреляли, орудия разбили, грузовики зажгли, а когда потом наскоро подсчитали, оказалось, что уничтожили целый артиллерийский полк. Такого на памяти Климовича не было с начала войны.

Уже ночью он выскочил на немецкую автоколонну; она, светя фарами, ползла сквозь метель. Шоферы разбежались по лесу, бросив машины с зажженными фарами и работающими моторами, а солдаты дивизии СС сыпались из кузовов в снег и поднимали руки. Тогда, в июне, они и думать не думали, что такое когда-нибудь будет, а сейчас, в декабре, все-таки пришлось научиться. А утром он брал укрепленный узел уже далеко в глубине немецкой обороны и своими глазами видел, как из окопов поднимается и бежит, бежит перед нашими танками немецкая пехота. Он сам был в этой атаке и видел бегущих фашистов и в двухстах и в двадцати метрах перед собой; бил им в спину из пулемета и видел их повернутые на бегу лица...

Его память за время войны была обременена таким количеством страшных воспоминаний, что другому человеку, не пережившему всего, что он пережил, каждого из этих воспоминаний, наверно, хватило бы на целую жизнь. По правде говоря, некоторые из них даже у него вызывали содрогание; да и разве можно без содрогания вспоминать танкистские похороны, когда после боя надо вытаскивать из танка все, что осталось там, внутри, а в каком виде все это там, трудно сказать словами!.. А если танк годен, его потом там, внутри, моют и отскребают, прежде чем в него сядет новый экипаж, сядет и пойдет в бой...

Говорят, что такие вещи закаляют душу. Это, конечно, верно. Но, закаляя, они в то же время и ранят ее. И живет и воюет дальше человек с душой, одновременно закаленной и израненной. И это две стороны одной и той же медали, и, что бы там ни говорили, никуда от этого не денешься. И даже такие воспоминания, как сегодняшнее утро и немцы, бегущие перед танком и поворачивающиеся на бегу, чтобы увидеть, близко ли за спиной смерть,— даже эти воспоминания не только закаляли, но и ранили душу. Потому что все-таки где-то в памяти сидело это мгновенно возникшее перед танком и так же мгновенно исчезнувшее человеческое лицо с его безмолвным криком: «Не надо!.. Боюсь!..» Сидело в памяти, не уходило, тоже было частью того чувства победы, которым жил Климович. Иногда человеку кажется, что война не оставляет на нем неизгладимых следов, но если он действительно человек, то это ему только кажется...

И, наверное, поэтому, принимая из рук медсестры приготовленную гипсовую повязку, молодая женщина-военврач с добрым некрасивым лицом, глядя в лицо Климовичу и осторожно поворачивая его руку, вдруг спросила участливо и некстати:

— А семья ваша где, товарищ полковник, далеко?

— Далеко. — Климович вздрогнул от неожиданности и первым попавшимся словом защитился от этого непрошеного вторжения в свою незажившую душу.

И чтобы не думать о том, о чем не хотел сейчас думать, стал думать о другом: как там дела у его нового механика-водителя с «тридцатьчетверки», которого он тоже взял с собой в медсанбат перевязать гноившуюся после ожогов голову.

— Не поймешь, где снег хрустит, а где стекло,— сказал Климович, выходя из медсанбата, жмурясь от света и наступая валенками на битое стекло, которым была усеяна вся улица.

Он вышел в полушубке, надетом в один рукав, застегнутом снаружи, поверх перевязанной руки. На улице его ждал капитан Иванов, после переформирования бригады снова ставший помощником по тылу. Климович, знавший, какую цену имеет на такой должности надежный человек, уговорил его на это по старой халхин-голской дружбе. И теперь Иванов тоже по старому товариществу, заставив Климовича перевязаться и заодно посмотреть город, привез его сюда с передовой на своей «эмочке».

— Этак и в танк не влезете, товарищ полковник!

— Ничего, влезу. А у вас как? — обратился Климович к Золотареву, в «тридцатьчетверку» которого он пересел вчера утром после ранения.

— Порядок, товарищ полковник, но полголовы выстригли.

Голова Золотарева была в такой шапке бинтов, что танкистский шлем еле держался на самой макушке.

— Поехали домой,— сказал Климович, имея в виду бригаду.

— Сначала к командиру дивизии заедем! — попросил Иванов.

— За какой радостью?

— Хочу тут кое-чего!.. — Иванов выразительно загреб в воздухе рукой, показывая на загромождавшие улицу машины. — Да боюсь, как бы пехота лапу не наложила. Заедем на минуту!

— Не успели первые трофеи взять, а уже начинаешь торговлю разводить! — поморщился Климович, но, понимая, что Иванов хлопочет для бригады, перечить не стал.

Иванов, сидя сзади, говорил шоферу, куда ехать и где поворачивать, и одновременно обращал внимание командира бригады на взятые трофеи.

— Вот видите, это — полевая рация танкового полка. А это — ихняя летучка ремонтная. — Он показал на машину, в утробе которой, подняв капот, ковырялись двое танкистов.

— Твои? — вместо ответа спросил Климович.

— А как же! Мои! Трофеи, по совести, чьи? Разве не наши?

— Эх,— с досадой крякнул Климович, когда они уже подъезжали к штабу дивизии,— если бы с таких картин войну начать...

Шофер затормозил у домика на окраине. К нему была протянута связь, а у ворот стояла покрашенная в белый цвет «эмка».

На этой белой «эмке» пять минут назад вернулся к себе в штаб Серпилин. Он шагал по низкой, заставленной фикусами комнате взад и вперед, разметывая на ходу полы распахнутого полушубка, и возбужденно говорил сидевшему за столом Ртищеву о порыве, с которым шли люди. Порыв был и вчера, но особенно чувствовался сегодня, после взятия города.

— Как только прошли через город, увидели,— просто веселые стали! И бой впереди, и знают, что кто-то из них завтра уже не будет существовать, а как идут! Откровенно говоря, я с утра боялся, что придется выпихивать полки из города, что удовлетворятся достигнутым. Нет! Взяли — и дальше пошли! Знаете, куда Добродедов вышел?

— На четырнадцать часов был в Зарубине,— сказал Ртищев. — Связи пока нет — тянем!

— И еще не скоро дотянете: он сейчас уже вон где! — Серпилин ткнул пальцем в карту, километра на четыре дальше Зарубина. — Я только что оттуда!

Он уже побывал в обоих полках, ночью бравших город, и накоротке завернул в штаб. Теперь хотел ехать к Баглюку, обходившему город справа.

Зная общую обстановку, Серпилин понимал, что таким быстрым захватом города обязан танкистам и своим соседям слева, вынудившим немцев к стремительному отходу. Но при всем том город все же взяли его, серпилинские, полки, и хотеть, чтобы он сейчас, в горячке наступления, думал о заслугах соседей больше, чем об успехах собственной дивизии, значило бы требовать от него слишком многого. Он лихорадочно работал в канун наступления и сейчас, пожиная первые плоды, был горд, что именно его дивизия освободила один из первых городов Подмосковья, а потери за первые сутки, к его великому счастью, оказались меньше, чем ждали.

— Товарищ генерал, разрешите представиться: командир Семнадцатой танковой бригады полковник Климович!

Серпилин повернулся, блеснул своими стальными зубами и пожал руку Климовича.

— Давно полковник?

— Месяц. Когда там, у телеграфа, перед парадом, спрашивали, уже приказ был, а я не знал.

— А я слышал,— все так же весело сказал Серпилин,— что с соседом взаимодействуют танкисты полковника Климовича. Танкисты у нас, к сожалению, еще наперечет, вряд ли, думаю, под Москвой сразу в двух бригадах командиры Климовичи!

— А я вас, откровенно говоря, не рассчитывал встретить, товарищ генерал,— сказал Климович.— Думал — Орлова увижу: мы в начале ноября с ним взаимодействовали...

— Да,— сказал Серпилин, погасив улыбку так мгновенно, словно ее и не было,— жил генерал Орлов, больше, чем о царствии небесном, мечтал повести свою дивизию в наступление — и вот не дожил, и вместо Орлова наступает Серпилин. Бывает такая петрушка на войне, никто из нас от нее не застрахован.

Он вздохнул, подумав, что надо будет ночью выбрать время и написать хоть короткое письмо вдове Орлова, что дивизия, храня традиции ее мужа и мстя за его смерть, наступает и гонит фашистов.

Но вслух спросил совсем о другом: уж не перекантован ли Климович взаимодействовать с их 31-й дивизией?

Климович сказал, что он по-прежнему в подчинении у соседа слева, а сюда заехал в медсанбат и заодно взглянуть на город.

— Воюю давно, а отбитых у немцев городов, кроме Ельни, не видел!

— Да,— сказал Серпилин,— первый город, первый город — подумать только!.. Вам хоть с Ельней повезло, а я на шестой месяц войны первый город беру! Да и то с вашей и божьей помощью.

Несмотря на все великодушие этих слов, он не мог скрыть нотки самодовольной радости: как бы там ни было, а город все же взяла его дивизия.

— Может, чаю по-соседски выпьем? Или танкисты чай не пьют?

Но Климович отказался. Он беспокоился о бригаде. Правда, там остались и комиссар и начальник штаба, были отданы все приказания, и сейчас еще шла заправка машин перед ночной операцией, а все же душа была не на месте.

— Спасибо, товарищ генерал,— сказал он,— я поеду. Но к вам просьба. Раз уж сами признаете наше участие в успехе, то здесь мой пом по тылу остается, хочет кое-что из трофеев использовать, в особенности транспорт... Словом, пожалейте сироту! — При этих словах он кивнул на стоявшего навытяжку Иванова, и Серпилин улыбнулся несоответствию слова «сирота» с самоуверенным видом пом по тылу.

— Да уж, вашего сироту обидишь... Как думаете,— спросил он, уже прощаясь,— вам видней, вы вчера им на тылы вышли,— ждали они нашего наступления или нет? У меня одни пленные показывают — не ждали, а другие заявляют, что слышали о предстоящем отходе.

Климович задумался и сказал, что, по его впечатлению, у немцев были и части, уже получившие приказ на отход, и части, не получившие такого приказа. В общем, какая-то неразбериха.

— Наверно, так оно и есть,— согласился Серпилин.— Но мне лично сдается, что, просрочь мы неделю, не почувствуй момента, пришлось бы иметь дело с организованным отходом. Чувство такое, что момент унюхали! — с удовольствием воскликнул он и даже потянул носом воздух.

Радуясь происшедшему, они подумали об одном и том же: какая-то доля немецкого сопротивления уже сломлена, но с чем придется иметь дело завтра, еще неизвестно. И простились, прочтя эту беспокойную мысль в глазах друг у друга.

— Я прямо на его бригаду из окружения вышел,— после ухода Климовича сказал Серпилин Ртищеву, который во время их разговора продолжал молчаливо заниматься своими делами.

Ртищев кивнул. Он вообще много работал и мало говорил, словно желая своим молчанием сказать Серпилину: «Что у меня на душе, вам дела нет. А о моей работе судите сами: работаю у вас на глазах».

Такие отношения хотя и не радовали, но устраивали Серпилина, да у него и не было времени задумываться над этим.

Он задал Ртищеву несколько вопросов, которые, пробыв полдня впереди, в полках, обычно задает командир дивизии своему начальнику штаба: что слышно у соседей справа и слева? как с подвозом боеприпасов? как подтягиваются тылы и не звонило ли начальство?

Слева, в соседней армии, дела шли хорошо. Сосед справа отставал: образовавшийся уступ грозил превратиться в разрыв. Из армии звонил начальник штаба и запрашивал обстановку. Судя по тому, что не попрекал и никого не ставил в пример, следовало полагать, что ставить им в пример пока некого: наибольший успех и вчера и сегодня приходился на их долю.

Услышав все эти известия, Серпилин, так и не сбросив полушубка, наскоро сел пить чай.

— Вон как! — раздался с порога резкий, насмешливый голос.— Еще у немцев пол-России отбирать надо, а командир дивизии одну точку на карте занял и сидит чаевничает!

В дверях стоял командующий; несмотря на сильный мороз, он был одет строго по форме: в сапоги, шинель и папаху; лицо было багровое от мороза и, как показалось Серпилину, злое.

— Доложите обстановку! — сказал командующий и, скинув на ходу шинель и папаху на руки адъютанту, шагнул к столу.

Серпилин, нагнувшись рядом с ним над картой, доложил обстановку и карандашом уточнил продвижение двух своих лево-

фланговых полков. Педантичный Ртищев впредь до получения письменных донесений от командиров полков отметил последнее продвижение только пунктиром.

— Что, сюда, куда вы показываете, продвинулись? — недоверчиво спросил командующий, видя, как Серпилин поверх пунктира наносит на карту жирные красные линии. Ему показалось, что командир дивизии спешит в его присутствии выдать желаемое за действительное. — Продвинулись или предполагаете, что продвинулись?

— Продвинулись,— сказал Серпилин.

— Что-то не верится.

— А я привык верить своим глазам! — твердо сказал Серпилин, понимая всю важность этой минуты для их дальнейших отношений. — Предполагаю,— добавил он,— что сейчас продвинулись уже сюда и сюда... — Он нанес две пунктирные черты. — А здесь,— он упер карандаш в свои жирные красные линии,— был сам. — Он взглянул на часы и уточнил до минуты, когда именно был в том и в другом месте.

Командующий часто говорил с подчиненными в той холодной, резкой манере, в какой начал разговор с Серпилиным. Он умел задевать людей, когда был недоволен ими, и не признавал за ними права на обиду, если, задетые формой, они были виноваты по существу. Но в его крутом характере была спасительная грань, отделявшая властность от самодурства. Отпор по существу дела он признавал и именно с таким отпором столкнулся сейчас.

— Так,— сказал он, не меняя, впрочем, своего резкого тона. — Здесь обстановка ясна. А как справа, у Баглюка?

— К Баглюку сейчас выеду. — Серпилин обратился к Ртищеву: — Доложите, как продвигается Баглюк.

— А чаем напоите? — выслушав Ртищева, спросил командующий и сел. — Чтоб вам не стыдно было одним чаевничать.

И, показывая, что шутит, самую чуточку улыбнулся.

— Разрешите спросить, товарищ командующий, как дела в других дивизиях? — спросил Серпилин, когда командующий отпил первый глоток чаю.

Командующий исподлобья взглянул. Если б у Серпилина дела шли плохо, он ответил бы по-другому. Но у Серпилина дела шли хорошо, и командующий ответил по-товарищески:

— Так себе, Федор Федорович. Дела оставляют желать лучшего. Умение командиров отстает от боевого духа войск. Не привыкли, не привыкли наступать! — сердито повторил он. — Некоторых толкать приходится, да так толкать, что руки болят.

Он приподнял обе руки и выразительно показал, как именно приходится ему толкать сзади тех, кто недостаточно быстро движется. Там, где продвигались, встречая слабое сопротивление, останавливались, беспокоясь за фланги. Там, где наталкивались на сильные узлы обороны, повторяли отчаянные атаки, не решаясь на глубокие обходы, опять-таки тревожась за фланги.

Как раз дивизия Серпилина сегодня шла быстрей и беспокоила его меньше других, и он сначала думал поехать в соседнюю дивизию, но потом не удержался, захотел хоть краем глаза увидеть первый город, взятый армией, и поехал к Серпилину.

— Толкал-толкал,— сказал он именно то, что подумал, с откровенностью, на которую чаще других способны уверенные в себе люди,—а потом решил поглядеть на трофеи, чтобы на душе легче стало! Трофеи порядочные, есть о чем докладывать.

Он допил чай, встал и спросил Серпилина:

— К Баглюку?

— Так точно!

— Так вот, слушайте на прощание. Я вашему соседу Давыдову хоть синяки на спине набью, а толкну его вперед. Но вы за его отставание не прячьтесь! Поставьте Баглюку задачу к ночи выйти вот сюда! — Командующий показал на карте железнодорожную станцию в двенадцати километрах от места, где они сейчас находились. — К ночи быть там. За ночь взять и пойти дальше! А к утру выдвиньте туда вперед свой КП, а еще лучше — перетащите весь штаб!

Мельком взглянув при этом на Ртищева, командующий слегка повел головой, и адъютант подошел к нему с шинелью.

Затрещал телефон, Ртищев взял трубку и сказал, что на проводе штаб армии.

— Доложите, что я к Давыдову уехал. Пусть туда звонят через час,— сказал командующий и быстро вышел в сопровождении Серпилина.

На крыльце он так съежился от холода, что Серпилин, не удержавшись, сказал, что полушубок все же надежней шинели.

— Ни к чему другому не привык,— сказал командующий. — На свой счет, конечно, не относите,— добавил он, взглянув на валенки и полушубок Серпилина. — Дойдете в своих валенках до станции — спасибо скажу. А будете в сапогах на месте топтаться — и сапоги не спасут.

Он усмехнулся, вспомнив о том, кого не спасут сапоги,— о щеголеватом полковнике Давыдове, командире соседней дивизии. И, еще раз настойчиво повторив, что станцию Воскресенское ночью нужно взять, уехал минутой раньше Серпилина.

— Боюсь, как бы к ночи не пришлось всем, без различия званий, пешком ходить,— сказал Серпилин, садясь рядом с шофером в машину и кивая в окно на хлопья метели.

Полк Баглюка, в который поехал Серпилин, наступал правее взятого ночью города.

Об этом в полку жалели, соседям завидовали, а в общем, ни на то, ни на другое не оставалось времени. За первые сутки полк освободил шесть деревень, а сегодня с утра — еще пять. Но если вчера слово «освободил» походило на истину, то сегодня все занятые деревни были почти дотла сожжены немцами. Они начали жечь деревни еще с ночи, и всю ночь перед полком маячило на горизонте сразу несколько зарев.

Батальон Рябченко первые сутки шел в острие прорыва, но сегодня с утра на перекрестке дорог уперся в небольшую деревеньку Мачеха, которую немцы не хотели отдавать ни в какую, и, прежде чем взять оставшиеся от нее головешки, за пять часов боя потерял сорок человек убитыми и ранеными.

Теперь Рябченко с одной ротой спешил догнать ушедшие вперед батальоны, а Малинин подтягивал остальные роты, растянувшиеся на переметенной снегом дороге. Еще одна деревня впереди, как говорили, тоже была взята и тоже перед тем сожжена; дым ее пожарища напоминал, что надо спешить.

— Кругом дым,— сказал Синцов, равняясь с Карауловым, сзади которого он шел по дороге.

Ноги вязли в снегу, ветер дул прямо в лицо, и нужно было большое усилие, чтобы прибавить шагу и нагнать Караулова.

— Чего?— не расслышав, спросил Караулов.

— Дым, говорю, кругом.

Караулов кивнул и рукавицей стер снег, налипший на брови и усы.

— Вот я все иду и считаю,— сказал он, не поворачивая головы,— то с утра пять дымов было, а теперь — восемь. Все больше жгут. Восемь! И еще считай эту, что мы взяли, как ее...

— Мачеха,— сказал Синцов.

— Именно что мачеха! Считай, девять! Была Мачеха — и нет Мачехи. А жили ведь люди... Не знаю, чего фашисты думают: чтобы нам голову некуда было приклонить? Так мы на снегу переспим, а все равно до них дойдем! И раз они такие паразиты, я бы по армии приказ дал: пока они кругом жгут, их кругом в плен не брать. Сжег избу — пулю в лоб! Как думаешь?

Синцов думал так же, как и Караулов, да и сам Караулов в сожженной дотла Мачехе именно так и распорядился с захваченными поджигателями. Но, как человек, привычный к по-

рядку, он хотел, чтобы и уже сделанное им прежде и то, что он собирался сделать впредь, делалось не просто по его гневу, а во исполнение приказа.

— Офицера там, у конюшни,— кто снял? — спросил Караулов.

— Комаров.

— То-то я видел, ты со своим отделением ушел, а потом ничего не слыхать, только ихние автоматы. Думаю: неужели положили вас? А потом граната — и они уж не стреляют!

— Это Комаров гранату кинул,— повторил Синцов.

— Да,— сказал Караулов.— А то я подумал — побили все ваше отделение.

Сейчас в отделении Синцова было всего двое: он и Комаров, но для Караулова отделение оставалось отделением, сколько бы в нем ни было на сегодняшний день...

— А вон еще один мертвяк,— сказал Караулов и остановился над лежавшим у дороги, наполовину занесенным метелью трупом немца.

Немец лежал навзничь, обняв руками голову, одну ногу подвернув под себя, а другую выкинув прямо на дорогу.

Караулов пнул эту ногу носком валенка, она чуть подалась, но снова заняла прежнее место.

— А зимой мертвяки другие, как летом,— сказал Караулов.— Иной прямо тебе как кукла и на человека не похож!

Теперь Караулов снова шел первым, а Синцов — за ним, видя впереди широкую спину Караулова и слыша, как сзади, тяжело дыша, идет Комаров. Накануне наступления Комаров занемог: болела грудь и перехватывал кашель, наверное, простыл, когда вытаскивали Леонидова. А теперь вот шел с этой простудой без отдыха и сна вторые сутки, шел не жалуясь, только от времени до времени натужно кашлял.

«А Леонидов сейчас лежит в госпитале, может, в Москве, а может, и дальше, лежит там на простынях, под одеялом»,— с минутной острой завистью к лежащему на простынях под одеялом с оторванной ступней Леонидову подумал Синцов.

Ему самому захотелось быть раненым, не так тяжело, как Леонидов, а хотя бы как Баюков, которого все-таки — сдержал свое слово — разыскал Малинин. Баюков прислал письмо, благодарил за извещение об ордене и писал, что начал поправляться. Вот бы и ему, Синцову, лежать сейчас так и поправляться, как Баюкову, в госпитале, на простынях...

Он с большим трудом выгнал из головы эту мысль, которая приходит к людям на войне гораздо чаще, чем они в этом признаются. И выгнать из головы эту мысль помогло не соображение о том, что она стыдная и трусливая, а внезапно

полоснувшее память воспоминание о четырех трупах, снятых ими час назад с виселицы в этой самой деревне Мачехе.

Один труп был женский. Синцов обрезал скрученный вчетверо цветной телефонный немецкий шнур, на котором была повешена эта девушка.

Синцов обрезал ножом шнур, принял на руки тело и положил на снег. На девушке было грубошерстное черное пальто, расстегнутое на груди, из-под него виднелась вязаная кофта; одна нога у нее была в неровно обрезанном по верху старом валенке, с подшитой подметкой, а другая — только в чулке, и на чулке, на колене, была большая дыра, сквозь которую виднелось белое, неживое тело. Телефонный шнур глубоко врезался в длинную белую шею, голова была повернута набок, и выражение у нее было такое, словно она говорила: «Ну что вам от меня надо, что вы ко мне пристали?»

Казненные висели давно и, когда их снимали, были такие неживые, ледяные, белофарфоровые, что казалось: если неосторожно положить их или ударить обо что-нибудь, то можно отколоть кусок лица или руки. Синцов снова и снова во всех подробностях вспоминал, как он снимал с виселицы эту девушку и с близким к ужасу чувством думал о Маше. Один раз, наверное, потому, что эта повешенная была в одном валенке и рваном чулке, он вдруг вспомнил, как нес когда-то на себе маленькую докторшу, и, вспомнив о докторше, опять-таки с ужасом подумал о Маше. Где она? И жива ли? Сейчас, после всего пережитого с тех пор, ему казались нелепыми и бессмысленными все те слова, которые он, захлебываясь от страха за нее, говорил ей в последние минуты их последнего свидания. Последнего? Или не последнего? Он не знал этого, как и миллионы людей, простившихся с миллионами других людей.

— Ну как? — оборвал его невеселые мысли голос Малинина, который шел по дороге вместе с цепочкой батальона и, подогнав хвост, теперь вышел ближе к голове. — Как война идет?

— Война неплохо идет, товарищ старший политрук,— сказал Синцов, на ходу поворачиваясь к Малинину.— Одно жаль: не успеваем. — И он кивнул вперед, на дым.

Другие дымы, еще недавно по всему горизонту воздетые к небу, как черные руки горя, уже закрыло пеленой метели, а этот, ближний дым, все чернел и чернел впереди.

— Что же, так вот и будет? — спросил Синцов, когда они с Малининым пошли рядом.

— От нас зависит,— сказал Малинин.

Он был не любитель прописных истин, но что ответишь на этот вопрос? Да, от нас. От кого же еще? И в конце концов

так оно и было, хотя казалось, что это уже не зависит ни от Караулова, ни от Синцова, ни от других шагавших за ним бойцов, ни от Малинина и Рябченко, уже сделавших и вчера и сегодня все, на что они были способны, и продолжавших идти вперед так быстро, как только могли.

— Тут двух жителей я все же нашел,— сказал Малинин. По знакомой интонации в голосе Синцов понял, что Малинин говорит это неспроста и не в первый раз, а идет вдоль колонны и повторяет всем.— Они рассказывают, что и ночью у немцев стрельба была на шоссе, где два брошенных танка. Видал их?

— Видал.

— Их моторизованная колонна отходила, а бензин кончился. Так у них целая драка со своими танкистами вышла — до стрельбы! И все-таки слили из танков бензин в транспортные машины и уехали. Хороший факт?

Это он спросил у Синцова, уже как у бывшего политрука, как бы советуясь: верно, хороший факт для агитации?

Синцов вспомнил два брошенных при дороге немецких танка и ясно представил, как ночью в снегу из-за бензина дерутся немецкие танкисты и пехотинцы...

— Факт-то хороший, только...

— Что?— быстро спросил Малинин.

— Только хорошо бы и у нас побольше техники было!

— В такую погоду правда в ногах.

— Да, это верно, что в ногах!— Синцов с трудом передвигал по снегу эти ноги, чувствуя в каждой пудовую тяжесть.

Сказал и замолчал: он так устал, что у него не было охоты разговаривать. Но Малинин понял его молчание по-своему: «Наверно, переживает!»

В самый канун наступления в батальон привезли пять партийных билетов и вручили всем, кроме Синцова. Малинин, так и не найдя случая поговорить об этом с комиссаром дивизии и подумав о себе, что все люди смертны, тут же, в ночь перед наступлением, с великим трудом вырвал десять минут и написал о Синцове короткое письмо прямо в политотдел армии. Со всей той мерой резкости, на какую он был способен, когда верил в свою правоту, он написал, что дивпарткомиссия зря задержала решение полкового бюро и еще до наступления не решила вопрос о партийной судьбе человека, который в любой день и час может сложить голову, так и не дождавшись правды.

Он не желал сейчас, прежде времени, говорить самому Синцову об этом, наверное, еще не дошедшем письме, но чувствовал потребность хоть чем-нибудь поддержать его.

— Ты не думай, что я забыл. И вообще меньше думай про это. Теперь я за тебя думать буду.

Малинин сказал эти неуклюжие слова от всей души, но Синцов невольно усмехнулся. Он верил Малинину, но не мог не думать об этом сам. И тут уж Малинин был не властен помочь ему. Он думал об этом сам, думал много раз и вчера и сегодня, хотя как раз сейчас, пока они шли рядом с Малининым, думал совсем о другом, а об этом вспомнил только теперь.

— Конечно, пока идем...— сказал Малинин, по своей привычке не договаривая тех фраз, в которых конец был заранее определен началом.— А как только остановимся...

— Эх, Алексей Денисович!— Синцов поднял опущенную голову и зло посмотрел на дым впереди.— Я на все согласен, только бы подольше не останавливаться!

— Без остановки и машина не работает, что зря языком трепать,— хмуро сказал Малинин.— Что ж, мы без остановки до Берлина дойдем?..

— Хоть бы до Вязьмы.

Малинин неопределенно хмыкнул, не поддерживая и не возражая. Вязьма, конечно, не за такими уж горами, но без передышки и пополнения, пожалуй, не дойдешь и до Вязьмы...

— Эй, посторонись!— крикнул сзади Комаров.

Малинин и Синцов обернулись, отступили в сторону, и мимо них проехали сани Баглюка. Бежавшая рысью запаренная лошадь тяжело разбрасывала копытами снег. На передке сидел автоматчик, а сзади, рядом с Баглюком, ехал генерал в полушубке и валенках.

Сани проехали. Малинин снова шагнул на дорогу и, считая, что Синцов продолжает идти рядом с ним, сказал, что это проехал новый командир дивизии, он один раз уже видел его в штабе полка перед наступлением.

Но Синцов не шел рядом с Малининым, а стоял у дороги, там, куда отступил, по колено в снегу и смотрел вслед саням, на которых рядом с Баглюком — нет, он не мог обознаться!— пронесся мимо него живой Серпилин.

— Ну, чего отстал?— окликнул его Малинин.

Синцов вытащил из сугроба ноги, выбрался на твердый наст, догнал Малинина и пошел рядом с ним.

— Вы знаете, кто это проехал? — сказал Синцов после молчания.

— Знаю. Новый командир дивизии.

— А как его фамилия?

Малинин нахмурился, стараясь вспомнить. Фамилия командира дивизии так и крутилась в памяти. Он записал ее

в тетрадку, тетрадка лежала в планшете, но ему не хотелось снимать на морозе рукавицу.

— Еще помню, когда услышал, показалось, что знакомая фамилия, а потом забыл.

— Серпилин,— сказал Синцов.

— Да,— подтвердил Малинин и пристально взглянул на Синцова. Теперь он вспомнил, почему фамилия показалась ему такой знакомой.

— Тот самый?

— Тот самый!

— Ах ты мать честная! Прямо хоть за санками беги,— сочувственно сказал Малинин.

Он обрадовался за Синцова: присутствие в дивизии, да еще на должности ее командира, того самого человека, под командой которого Синцов выходил из окружения, могло сильно упростить дело.

«А вот и не побегу!» — подумал Синцов в полном противоречии с мыслями, которые приходили ему в голову всякий раз, когда он раньше, как о чем-то несбыточном, мечтал о встрече с Серпилиным. Он постепенно и незаметно для себя привык к трудной, но гордой мысли, что все в его судьбе должно быть правильно решено и без этой встречи, решено не потому, что нашелся свидетель его прошлого, а потому, что есть люди, знающие, как он воюет сейчас: и Малинин, и комбат, и Караулов, и кашляющий сейчас там, сзади, Комаров...

Было время, когда он просил у судьбы послаблений для себя: таким подарком почудилась ему когда-то встреча с Люсиным; правда, потом она оказалась не подарком, а ударом судьбы. Но он продолжал мечтать, чтобы все сразу разъяснилось, и чаще всего вспоминал при этом Серпилина.

А сейчас ему захотелось, чтобы все шло своим чередом, шло так, как идет, и чтобы, решая его дело, поверили не генералу Серпилину, знавшему политрука Синцова, еще когда у него в кармане гимнастерки лежал партийный билет, а чтобы поверили до конца, до последней точки, ему самому, красноармейцу, а теперь младшему сержанту Синцову, вместе со многими тысячами таких же, как он, не отдавшему немцам Москвы, а теперь гнавшему их обратно...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

К ночи батальон Рябченко, безостановочно идя вперед, занял еще три деревни: две — сожженные дотла, и третью — сгоревшую только на три четверти. Когда они подходили, деревня

была еще цела. Потом стали загораться первые дома, а через час горело уже полдеревни.

Это зрелище заставило их, несмотря на немецкий огонь, все-таки ворваться в деревню и не дать дожечь ее дотла. Уж слишком наглядно все это происходило: пока одни немцы из выпиленных прямо в стенах амбразур били из пулеметов, другие бегали и жгли дома. Мгновениями в пламени были видны их перебегающие от избы к избе фигуры. Это довело бойцов до исступления, и, когда они ворвались в деревню, у них еще достало силы, растащив горящие бревна, погасить только начавшие заниматься дома. Но потом наступила такая беспримерная усталость, что даже не будь приказания Рябченко расположиться на отдых, все равно его люди не в состоянии были сделать ни шагу.

Поставив охранение, Рябченко приказал командирам рот, где удастся, кипятить чай, кормить людей и, главное, скорее класть их спать. Многие до того измаялись, что, набившись в уцелевшие избы, свалились как убитые, не в силах даже поесть перед сном.

Рябченко боялся, что среди ночи может явиться Баглюк и послать батальон дальше в наступление. Он молил бога, чтобы этого не случилось, и хотел, чтобы люди побольше времени урвали для сна.

Слева на горизонте сквозь метель розовело зарево над станцией Воскресенское. В два часа ночи со стороны станции приехал на санях Баглюк вместе с командиром дивизии и потребовал, чтобы Малинин и Рябченко подняли людей. Два других батальона Баглюка уже четвертый час брали станцию и никак не могли взять ее. Немцы отчаянно дрались и жгли станцию прямо на глазах.

От Рябченко требовалось, чтобы он поднял свой батальон и, сделав последнее усилие — семикилометровый бросок вперед, пересек дорогу, по которой немцы вытягивали со станции свои тылы. Если он перережет дорогу или хотя бы выйдет к ней, немцы бросят станцию и начнут отход.

Так поставил задачу Баглюк. А командир дивизии спросил, сколько нужно времени, чтобы поднять людей.

Рябченко честно сказал: «Полчаса». Он ожидал в ответ крика, но предпочитал пережить это, чем кривить душой. Все равно меньше чем за полчаса ему не поднять и не построить людей, и то слава богу.

Баглюк, кажется, и хотел возвысить голос. Но командир дивизии, посмотрев на часы, спокойно сказал:

— Хорошо, но только чтобы ваши полчаса действительно были полчаса!

Рябченко и Малинин принялись за свое трудное дело. В таком состоянии людей может поднять на ноги только что-нибудь чрезвычайное: обвал, наводнение, пожар, ну и, конечно, война, которая в любой день боев запросто соединяет в себе все эти так грозно звучавшие в мирное время слова.

Через полчаса батальон Рябченко, насчитывавший к концу вторых суток наступления немногим больше семидесяти человек, построился в две неровные шеренги.

Вдали стояло зарево пожара.

Рябченко подал команду «смирно», и Серпилин подошел к строю батальона.

Он коротко повторил всему батальону то, что Баглюк говорил командиру и комиссару, и сказал, что сейчас от них зависят две вещи: чтобы там, на станции, осталось хоть что-нибудь, кроме дыма и пепла, и людям — женщинам и детям — завтра было где жить; и второе — от них зависит, чтобы их товарищи не легли безвозвратной жертвой под этой станцией. Вот уже четыре часа они атакуют ее и не могут взять, но немцы сами побегут оттуда, как только батальон обойдет станцию и перережет дорогу.

Он, командир дивизии, знает, что батальон полностью выполнил утренний приказ и сделал сегодня все, что мог, но он все-таки просит их пойти и перерезать фашистам путь к отступлению.

— Такая к вам просьба. Большая просьба,— сказал он, закончив свою короткую речь, и хотя его слова по тону мало чем отличались от приказа, хотя он мог бы просто сказать: таков мой приказ, но он употребил слово «просьба». И если не в каждом из этих усталых сердец, то все же во многих из них что-то шевельнулось от этого слова, хотя слово остается словом, а надо было с теплого, кровью заработанного ночлега идти опять вперед по метели и принимать там бой с немцами.

— Товарищ генерал, батальон выполнит поставленную вами задачу! Выполним и доложим еще до рассвета,— сказал Рябченко, словно стараясь молодцеватостью, звонким голосом возместить то угрюмое молчание, в котором стоял его батальон.

Он подал команду, и люди двинулись.

Серпилин стоял и смотрел, как проходили мимо него бойцы, и на его таком же усталом, как у них, лице было выражение благодарности к этим людям и понимание всей меры того, что они сейчас делают. Он бы и сам сделал на их месте то, что делали они, но это не мешало ему ценить их самопожертвование. Разве право приказывать исключает потребность испытывать благодарность к людям, которым по долгу службы не остается ничего другого, как безусловно выполнить твой приказ? И разве

ты сам, вот так же безусловно выполняя другие, тяжкие для тебя приказы, не ждешь порой благодарности хотя бы в глазах, глядящих на тебя?

Когда уже почти вся колонна прошла мимо Серпилина, он вспомнил, что, когда она еще только строилась, ему бросился в глаза очень высокий правофланговый боец. Правофланговому и полагается быть высоким, и внимание Серпилина зацепило не то, что он такой высокий, а что-то другое: фигура правофлангового о чем-то напоминала ему... Сейчас, пропуская хвост колонны, он вспомнил об этом и тотчас же снова забыл, как только Баглюк обратился к нему с вопросом: достаточно ли оставить ему тут для охраны один взвод?

— Это кого же охранять? — вскинул на него глаза Серпилин. — Меня или вас? Если вас, так берите этот взвод с собой, потому что пойдете с командиром батальона, и не возвращайтесь, пока не пришлете мне донесения, что перерезали дорогу! А если меня — так я сейчас вернусь к станции и буду там в ваших батальонах до тех пор, пока не возьмем ее.

— А разве, товарищ генерал, вы сюда КП дивизии не перемещаете? — спросил Баглюк, показывая рукой на деревню и не выражая никаких чувств по поводу того, что Серпилин посылает его вместе с батальоном.

— К утру размещу. Как только подойдет комендантская рота, сразу брошу ее вам на помощь на станцию. До утра оставьте здесь трех бойцов, чтобы деревня не пустовала. А всех остальных — вперед! И чтобы я здесь через пять минут не видел ни одного лишнего человека!

Баглюк оставил командиру дивизии трех бойцов, свои сани и своего автоматчика, а сам, гребя валенками по снегу, пошел догонять батальон.

Посмотрев вслед удалявшемуся батальону, Серпилин, прежде чем ехать обратно к станции, зашел в ближнюю избу. В избе грелись погорельцы: женщины и дети. Серпилин поздоровался, закрыл за собой дверь и, сняв на пороге шапку, устало потер рукой голову, чувствуя непреодолимое желание вот сейчас выбрать угол в нагретой людским теплом избе, свалиться и заснуть.

Пожилая женщина, низко нагнув голову, скребла ножом стол.

— Что это вы? — спросил Серпилин.

— За немцами скоблю,— сказала она, не поднимая глаз и продолжая яростно скоблить. — Нелюди, на столе спали! — Потом разогнулась, вскинула глаза на Серпилина и быстрым, торопливым голосом стала рассказывать, как немцы вчера убили у нее младшего сына: он ночью хотел угнать в лес корову, а они по-

гнались и застрелили. Говорила она быстро, а глаза у нее были такие, словно вот сейчас, как только она до конца все доскажет, он, Серпилин, возьмет и все исправит. Женщины, перебивая друг друга, начали говорить, когда и кого в их деревне убили за то время, что тут стояли фашисты, а Серпилин, прислонясь к притолоке, слушал и наливался новой ненавистью, хотя, казалось бы, к той ненависти, которую он испытывал к немцам, уже нечего было прибавить.

— Товарищ генерал,— оставленный Баглюком автоматчик открыл за его спиной дверь,— двух фашистов в подвале взяли, заховались. Что с ними делать?

— До свидания,— поклонился Серпилин женщинам. — Завтра, как подвезем продукты, понемногу выдадим погорельцам на детей. — Он надел шапку и вышел за автоматчиком. — Где они?

И сразу же увидел немцев. Они стояли между двумя поймавшими их бойцами. Были они в ботинках, в шинелях, в натянутых на уши пилотках, дрожащие, насквозь промерзшие.

— Аус вельхен дивизион? — спросил Серпилин.

Один из немцев ответил, что из сто четырнадцатой.

— Унд зи?

Второй сказал, что он тоже из сто четырнадцатой.

— Вас махен зи хир?

Немцы молчали, но за них, безошибочно поняв смысл вопроса, ответил один из поймавших их бойцов:

— Я так располагаю, товарищ генерал, что это из фейеркоманды поджигатели, заблукали в последнюю минуту и сховались.

— Цайген зи ирэ хенде! — строго сказал Серпилин.

Один из немцев отшатнулся, не понимая, чего от него требуют. Другой остался неподвижным.

— Покажите мне руки,— еще раз повторил по-немецки Серпилин, делая шаг вперед.

Немец испуганно протянул ему руки. Стоявший рядом боец хотел даже оттолкнуть немца: чего он сует руки в нос генералу? Но Серпилин остановил его.

— Ун ду? — И Серпилин, нагнувшись с высоты своего роста к рукам второго немца, понюхал их.

У обоих руки пахли керосином. Оба молчали. Один мелко трясся, другой окаменел от отчаяния и неотвратимости смерти.

— Расстреляйте их к чертовой матери! — сказал Серпилин и, отвернувшись, пошел к саням.

На дороге показались фигуры людей, шедших против ветра, закрываясь руками. Один, прибавив шагу, побежал к Серпилину, и сразу же его догнал другой. Это были начальник связи дивизии и командир комендантской роты.

— Наконец-то прибыли! — недовольно сказал Серпилин начальнику связи. — Лучше поздно, чем никогда! Тяните сюда связь! Завтра, глядя по обстановке, по крайней мере с полдня, КП тут будет! И как только свяжетесь, сообщите Ртищеву, что я буду находиться под Воскресенским, пока не возьмем. Как Ртищев, уже в дороге?

— Никак нет, товарищ генерал,— с запинкой ответил начальник связи. — Штаб в дороге, а полковник Ртищев на мине подорвался.

— Ранен? — быстро спросил Серпилин. — Вывезли его?

— На месте убит, товарищ генерал.

— Ох ты, пропасть! — с досадой хлопнул себя руками по задубевшему полушубку Серпилин.

Как он ни гнал от себя эту мысль, но с первой же встречи ему все казалось, что этот Ртищев с его печальными глазами не жилец на белом свете, что убьют его; в глазах читал — и вот накликал! Так-таки убили! Всего на неделю и пережил своего командира дивизии...

Ему было жалко Ртищева и было не по себе от верности собственного предчувствия. Но спросил он только одно:

— Кто заступил? Шишкин?

— Да.

— Передайте ему все, что я вам сказал. А вы, Рыбаков,— повернулся Серпилин к командиру комендантской роты,— давайте к Воскресенскому! Люди замерзли сильно?

— Сильно, товарищ генерал!

Подходившие бойцы сгрудились за спиной командира роты. Это был резерв Серпилина, еще ни вчера, ни сегодня не участвовавший в бою.

— Пятнадцать минут на обогрев — и двигайтесь к Воскресенскому!

— А куда идти? — спросил командир комендантской роты; он думал, что они уже дошли до места, а теперь снова надо было идти вперед.

— Куда идти? Туда, где зарево, где бой идет!

— А по какой дороге? — все еще не совладав с собой, по-прежнему расстроенно спросил командир роты.

— А ни по какой дороге. Вон там зарево — ориентир! На него идите! И не задерживайтесь. Я вас там ждать буду,— сказал Серпилин и, подходя к саням, услышал, как близко, за домом, ударила винтовка раз и другой... Это расстреливали немцев из фейеркоманды.

«Надо будет написать... Теперь уже не только жене Орлова, а и жене Ртищева... Вот как быстро все это делается... — горько

подумал Серпилин. Уже сидя в санях, он еще раз посмотрел вперед, на зарево, и с тревогой вспомнил о Баглюке. — Поскорей бы вышел им в тыл. Пока не выйдет, не взять Воскресенского».

Станцию Воскресенское и на самом деле все никак не могли взять. Немцы всякий раз минометным и пулеметным огнем клали в снег нашу поднимавшуюся в атаку пехоту и тем временем жгли дом за домом.

Серпилин вернулся, как раз когда очередная атака захлебнулась и люди снова легли в снег перед самой станцией. Будь под руками хоть несколько пушек, может, и с этими редкими цепочками людей удалось бы ворваться на станцию, подавив огнем пулеметные точки. Но артиллерии не было, она застряла сзади, в метели, и пока не давала о себе знать. Комиссар дивизии, остававшийся здесь, пока Серпилин уезжал с Баглюком, не выдержал и сказал, что поедет сам и хоть за шиворот, а приволочет сюда одну батарею! Он больше не мог видеть, как атака за атакой съедают людей, а станция как ни в чем не бывало горит и горит.

Серпилин не спорил: только бы в самом деле притащил пушки! Батарея была нужна здесь, как жизнь.

Комиссар сел на лошадь и скрылся в метели. А Серпилин приказал остановить атаки. Неизвестно, что будет раньше: подтащат артиллерию или обойдет станцию Баглюк. Но без этого ее не возьмешь.

Мороз все усиливался, но Серпилин не замечал его. Его временный командный пункт был сейчас прямо на путях, в полуверсте от станции, в железнодорожной каменной будке. Но он не заходил туда и все время оставался снаружи, только прикрывшись стеной от мин, которые немцы с недолетами побрасывали в эту сторону. Злой и напряженный, не в силах оторваться от зрелища горящего Воскресенского, он все время продолжал думать о Баглюке. Еще через час, даже по такой погоде, Баглюк должен выйти на шоссе позади немцев, если только его ничто не остановит. А что его может остановить? Два-три прикрывающих шоссе пулемета откроют огонь и остановят! Да еще как остановят! И придется и час и два возиться, пока обойдешь их и уничтожишь! Но даже если Баглюк выйдет вовремя, все равно надо ждать еще час и бессильно смотреть на это пожарище!

Комендантская рота почему-то задерживалась. А именно ее Серпилин хотел бросить в атаку, когда в тылу у немцев вдруг объявится Баглюк! Он дал Рыбакову на отдых пятнадцать минут. По часам выходило, что роте пора быть. От нетерпения он послал человека навстречу, поторопить Рыбакова.

В таком взбудораженном и злом настроении и застал Серпилина здесь, за стеной железнодорожной будки, приехавший из

армии Максимов. Он бросил машину за пять километров отсюда, пришел пешком и был так облеплен снегом, что Серпилин не сразу разобрал, кто это. Сзади Максимова виднелась еще какая-то фигура.

— Ну, как воюешь, Федор Федорович? — весело спросил Максимов, отирая лицо и сгребая снег с шапки. — Как, скоро Воскресенское возьмешь? Командующий приказал подогнать тебя. Говорит, что календарный срок уже прошел!

— Все врут календари! — огрызнулся Серпилин.

Настроения их не совпадали. Уехавший три часа назад с командного пункта армии Максимов знал, что к ночи сопротивление немцев почти повсюду стали ломать и соседи рванулись вперед, даже обгоняя Серпилина. Хотя командующий, напутствуя его перед отъездом, сказал, что от Серпилина давно нет донесений («Погляди, боюсь, застрял у Воскресенского!»), Максимов, захваченный состоянием общей приподнятости, верил, что, пока он добирается, станцию уже взяли.

И даже сейчас, когда выяснилось, что он обманулся и Воскресенское не взято и горит, ему еще казалось, что дальше все выйдет очень просто: еще одна атака, станция будет наша, и останется доложить, что 31-я дивизия, так хорошо начавшая наступление, по-прежнему на высоте.

Серпилин, наоборот, еще не знал того, что происходит у соседей, а если б даже и знал, то это пока все равно не облегчало его положения. Он знал другое: что до сих пор не выполнил приказа, уперся в это чертово Воскресенское, попробовал обойти его и слева и справа, не сумел, опять уперся, положил в лобовых атаках людей и поздно, не сразу бросил батальон в тот глубокий обход, который нужен по обстановке. Но теперь уже надо было выдержать характер и дождаться или Баглюка, или пушек, а еще лучше — и того и другого.

Хотя сам Серпилин весь день занимался тем, что толкал вперед Баглюка и других командиров полков, но сейчас, когда приехали толкать его самого, это было ему не по душе. И он не скрыл этого, злясь и на самого себя и на Максимова с его глупым вопросом: «Ну как, скоро?»

— Населенные пункты брать — не яйца варить, товарищ начальник политотдела армии,— сказал он Максимову. — Три минуты — всмятку, пять минут — вкрутую! Если б одни мы стреляли, тогда все можно до минуты рассчитать... а тут еще немцы, черт их дери, тоже стреляют!

И, как бы в подтверждение его слов, немецкая ротная мина хлопнулась впереди, за сто метров от будки.

— А что не атакуете, чего ждете? — напористо спросил Максимов. Его не задел ответ Серпилина, но он горел желанием, чтобы это Воскресенское было взято с его приездом сюда, и готов был сделать что угодно — хоть сейчас же самому поднять людей и пойти с ними в атаку!

— Одним батальоном обхожу,— сказал Серпилин. — Но люди усталые, метель, идут, сколько хватает сил. Жду, пока выйдут на дорогу в тылу у немцев.

— А где Пермяков? — спросил Максимов о комиссаре дивизии. — В других полках?

— Нет, здесь, все мы здесь... Нам бы это Воскресенское взять, мать его так... — выругался Серпилин. — В нем весь фокус. Как возьмем, сразу и перед другими полками все посыплется! За артиллерией комиссар поехал, артиллерию у нас метель съела. В ноги поклонюсь, только бы пушки мне приволок!

— Значит, хорошо сработались? — спросил Максимов.

— Делаем каждый что может,— ответил Серпилин и сердито ткнул рукой в сторону горевшей станции: — Сволочь только может не сработаться в такой обстановке, а мы с ним, слава богу, не сволочи! Когда начальники не срабатываются, на этом солдаты гибнут!

— Железнодорожная школа горит! — вдруг печально крикнул человек, пришедший вместе с Максимовым и сперва державшийся поодаль, а сейчас вышедший вперед и смотревший из-под руки на пожарище.

— Вы там поосторожней из-за будки-то высовывайтесь... не ровен час, резанет миной! — крикнул ему Серпилин.

Сначала он подумал, что Максимов взял с собой кого-нибудь из инструкторов политотдела, но сейчас узнал в этом неосторожном человеке секретаря райкома. Утром они мельком виделись в только что взятом городе; станция тоже относилась к его району, и секретарь спрашивал у него, когда он рассчитывает взять Воскресенское. Было это утром сегодня. «Да неужели всего-навсего сегодня?»

— Не узнал вас сначала,— сказал Серпилин. — Богатым быть!

— Не похоже... — глядя на пожар, невесело отозвался секретарь райкома и, не утерпев, опять вылез на открытое место, чтоб лучше разглядеть новый, только что вспыхнувший столб пламени. — На товарной пакгаузы зажгли... второй и четвертый! — снова горестно выкрикнул он.

— Напросился со мной,— сказал Максимов. — Думал, что уже... — Он не договорил и спросил Серпилина тихо, шепотом: — Федор Федорович, когда станцию думаешь взять?

Серпилин посмотрел на часы.

— Жду Баглюка. Через полчаса должен выйти на шоссе... Должен,— повторил он.

— Ну, этот все, что сможет, сделает! — сказал Максимов.

— А кто его знает, сколько и кто может? — сказал Серпилин. — Может, он и сделает все, что он может, а другой на его месте смог бы и больше и быстрей! Я вот тоже делал сегодня все, что мог,— так считал. А может, другой на моем месте уже взял бы это Воскресенское!

— Ничего, Федор Федорович, возьмешь,— сказал Максимов. — Вот у Давыдова утром как не клеилось! А три часа назад донес, что Екатериновку взял.

— Ну? — сказал Серпилин. — Молодец!

— И Сто двадцать третья и Девяносто вторая тоже продвинулись... — Максимов назвал рубежи, до которых продвинулись дивизии.

— Да... — сказал Серпилин. — Это хорошо... очень хорошо,— повторил он, не в силах, однако, ни на секунду отвязаться от мысли о собственной, все еще не взятой им станции.

— Остальные пакгаузы зажгли,— по-прежнему не отрывая руки от глаз, сказал секретарь райкома. — Сейчас элеватор зажгут, огонь рядом.

— Ну что вы каркаете,— сорвался Серпилин,— что вы мне жилы тянете?.. Разве я вам вашу станцию целой не мечтал бы отдать! — Вся сила досады наконец прорвалась в его голосе.

— Да ведь на глазах горит! — вздохнул секретарь.

— На глазах горит... — горько повторил Серпилин. — У меня тоже глаза...

В эту минуту из метели появился командир комендантской роты Рыбаков. Сзади него виднелись фигуры растянувшихся в цепочку людей.

— Товарищ генерал, разрешите доложить...

— Полчаса назад надо было докладывать! — резко сказал Серпилин. — Мне атаку начинать, а вы где?

— Больно уж люди устали, товарищ генерал.

— Знаю.

Рыбаков стоял перед ним, зная, что виноват, что нарушил приказ, что вместо пятнадцати минут дал людям передышку в сорок пять, решив, что если они отдохнут, то нагонят время в пути, но люди так устали, что и передышка не помогла, и в пути ничего не нагнали. Рыбаков знал, что виноват, но знал и то, что иначе сделать не мог и хотел сделать как лучше, а не как хуже. Кроме того, он знал, что, как бы ни ругал его сейчас командир

дивизии, все равно через двадцать или тридцать минут именно он, Рыбаков, пойдет со своей комендантской ротой в атаку, потому что, как бы его ни ругали, от атаки его не отставят. И перед лицом этого Рыбаков не мог чувствовать себя таким виноватым, каким, наверное бы, чувствовал при других обстоятельствах. Серпилин тоже понимал это и, погасив в себе вспышку гнева, спокойно сказал, чтобы Рыбаков скорее подтягивал людей и сосредоточивался для атаки вон там. Он показал вперед на торчавшую из глубокого снега крышу сарая, возле которого был командный пункт батальона.

И Рыбаков, посмотрев на командира дивизии бесстрашным и отчасти равнодушным взглядом человека, с которого вряд ли можно по приказу потребовать больше, чем он сам собирается дать по своей воле и совести, сказал: «Есть!» — и пошел к своим людям, все гуще и гуще подходившим из метели.

— Слушай, Федор Федорович! А может, возглавим ее? — кивнул Максимов на проходившую мимо, в метели, роту. — Да пойдем с ней...

— Подожди, Максимов, не торопись... Я весь день торопился, а сейчас вот... не спешу, хоть вы и стоите тут у меня над душой,— кивнул он на секретаря райкома. — У нас с тобой в руках не дрова, а люди... зря в огонь бросать неохота... Потерпим. Тяжело терпеть, но потерпим. Должен сейчас Баглюк выйти, чувствую... Он тоже понимает, что для нас значит время. Рад, что ты приехал, но не торопи меня, сделай одолжение.

— Ну, так, может, пока до атаки хотя бы в батальон, вперед, пойдем? — сказал Максимов.

— А тут что? Тыл армии, что ли? Отсюда до немцев пятьсот метров... Хочешь еще на двести поближе быть?

— Хочу.

— Ну, иди... а я тут останусь. У меня тут два батальона, две руки, обеими управлять надо...

Максимов думал, что Серпилин или пойдет вместе с ним, или не пустит его одного. Но Серпилин не терпел, когда удерживали его, и не любил удерживать других. Хочет идти в батальон — пусть идет. Если бы Серпилин сам мог разодраться на несколько частей, он остался бы тут и одновременно пошел в оба своих батальона.

— Иди,— сказал Серпилин. — Только не зарывайся там, впереди,— добавил он, не потому, что эта фраза имела какой-нибудь смысл, а потому, что вспомнил об убитом сегодня Ртищеве, хотя Ртищев погиб как раз не впереди, а сзади, в тылу.

— А ты здесь останешься? — спросил Максимов секретаря райкома.

— С тобой пойду,— ответил тот и поправил на плече винтовку. Оказывается, он был с винтовкой. Серпилин только сейчас заметил это.

— Как идти-то? Вон на этот сарай? — спросил Максимов.

— Сейчас вас проводят,— сказал Серпилин и крикнул, чтобы прислали связного.

Максимов ушел. А через минуту перед Серпилиным уже стоял задохшийся, потный комиссар дивизии. Он одновременно стирал с лица и пот и снег и спрашивал что-то таким осипшим голосом, что Серпилин сперва не расслышал.

— Как у вас тут дела? — спрашивал комиссар.

— Пока по-прежнему... Только Рыбаков подошел. А у тебя как? — спросил Серпилин.

Но по счастливому лицу комиссара уже было видно, как у него дела. Он притащил-таки пушки, и, судя по его виду, притащил в буквальном смысле слова; наверное, сам вместе с другими вытаскивал их из снега.

— Правда, не четыре, а три,— сказал он. — Уже их там, левее,— он показал рукой,— на позиции ставят. Артиллеристы обещают через десять минут огонь дать... Одну в овраг завалили, никак не могли... Измучились...

— Черт с ней, потом вытащим, спасибо и за три,— сказал Серпилин и, ткнувшись лицом в лицо, благодарно поцеловал этого немолодого, усталого человека.

Вдруг навстречу издалека, из-за станции, из-за стоявшего над ней зарева, оттуда, куда должны были выйти Баглюк и Рябченко, донеслось то, чего ждал Серпилин,— отзвуки боя, далекие, слабые, но все-таки слышные.

— Баглюк! — только и сказал Серпилин и вздохнул так, словно с плеч у него свалилась невыносимо тяжелая гора.

Малинин лежал в бараке на земляном полу на охапке мерзлой, начинавшей оттаивать соломы. Рядом лежало и сидело еще несколько раненых. В печи, дымя и шипя, горело бревно. Ни у кого не случилось с собой топора, и пришлось прямо вот так и засунуть это бревно концом в печь, от времени до времени подавая его вперед.

Малинин лежал и прислушивался к тому, что было внутри него,— к острым, как ножи, болям в простреленном животе,— и к бою за стеной барака. Бой этот то снова вспыхивал, то догорал, постепенно перемещаясь правее, в тыл к немцам. Судя по всему, станцию уже взяли, и немцы отходили все дальше и дальше. То, что немцы отходили, была заслуга их батальона — Рябченко и

Малинина, потому что батальон все же вышел к шоссе, у этого самого, занесенного снегом брошенного барака, и ударил по вытягивавшимся со станции немецким тылам. С этого начали, а потом оседлали шоссе и больше уже не пропускали по нему немцев.

Но в этом Малинин уже не участвовал: его ранили в самом начале боя, когда они напали на немецкую колонну. Немцы отстреливались, и пуля попала Малинину в живот. Он всегда боялся именно такой раны. Ему казалось, что рана в живот — это смерть. Он так и подумал сначала, и когда к нему подскочил Караулов с криком: «Давайте перевяжу, товарищ политрук!» — Малинин сгоряча хрипло сказал о себе: «Не надо, я убитый!» И только потом, когда его перевязала та самая старая санитарка Куликова, которая когда-то обещалась вытащить его из боя, перевязала и потянула его по снегу, он сказал ей: «Подожди, встану»,— и в самом деле приподнялся, встал и подумал: «Раз встал, значит, живу!» Правда, он прошел всего три шага, а потом его опять подхватили санитарка и случившийся рядом боец, но с той минуты, чудом сделав свои три шага, он уже не верил, что умрет.

Переносить боли и не кричать ему помогало и то, что он не верил в свою смерть, и то, что он был комиссаром батальона, а кругом лежали его раненые бойцы. А еще ему помогало не кричать то, что он после своего ранения не сделался сразу равнодушным ко всему происходившему кругом, как это бывает с более слабыми душами. Он продолжал жить тем, что происходило за стеной, продолжал слушать бой и по своему разумению пояснял другим раненым, что делается там, снаружи.

Расчет Серпилина оказался верным. Как только батальон Рябченко вышел на дорогу в тылу у немцев, они стали поспешно отходить от станции. Но батальон сделал больше того, что ему было приказано. Он оседлал дорогу и отбивал атаки отступавших немцев до тех пор, пока им не пришлось, бросая машины, свернуть на целину. Тогда, оставив Рябченко с половиной людей на шоссе, Баглюк, чувствуя обстановку, сам тоже пошел целиной вправо и, захватив там, в снежном поле, безыменные выселки из трех домов, засел в них и несколькими пулеметами вел оттуда огонь, заставляя немцев обходить себя, загибая еще глубже в поле, в снега. На большее у него не было сил.

Фельдшер и Куликова перевязали раненых, и все они, в том числе и ходячие, скопились здесь, в бараке, потому что Рябченко боялся отправлять их в тыл сейчас, ночью. Кто мог идти — мог заблудиться в метели, а тех, кого надо было везти, как Малинина, везти было не на чем. Каких-нибудь повозочных можно было ждать только к утру, а до рассвета оставалось уже немного. Да и кто его знает, куда, отступая, тыкались теперь немцы? Ра-

ненные, идя в тыл, могли ночью в поле нарваться на них; даже кровь холодела от одной этой мысли.

Уже полчаса, как бой у шоссе стих. Только справа — там, где Баглюк занял выселки,— были слышны от времени до времени пулеметы, да впереди хлопали редкие выстрелы, наверно, по одиночным немцам, а то и просто по метели, в которой мало ли что почудится.

Хотя в бараке топилась печь, но было холодно, двери сорвало с петель, ветер, отшвыривая повешенную в проеме плащ-палатку, уже намел целую гору снега.

Санитарка Куликова, засунув ведро в печь, растапливала в нем снег и в котелке обносила водой раненых. Вода была теплая и грязная, с плавающей в ней соломой.

Малинину хотелось пить, но пить было нельзя.

— Слышь-ка, Куликова,— позвал он. — Выбери время, сходи погляди: Синцов, младший сержант, если поблизости и может уйти с позиции, пусть зайдет ко мне, пока тихо.

— Ладно,— недовольно сказала Куликова. — Да ты бы спал. Не наговорился, что ли?.. В госпитале еще наговоришься, когда выздоравливающий будешь... а пока молчать лучше.

— Чтобы со словами душа вон не вышла, так, что ли?

В дверном проеме гудела метель; женщина ушла, а Малинин, посмотрев ей вслед, закрыл глаза и подумал, что, если и дальше будут такие потери, как сегодня, надо скорей пополняться, а то много не навоюешь. «Что же это? Сколько же людей не доживут, не увидят... Что же это за жизнь проклятая, когда люди каждый день, счету нет, умирают!» Он мысленно назвал проклятой жизнью войну. И конечно, так оно и было, потому что война и была проклятой жизнью, хотя именно на эту проклятую жизнь он сам себя добровольно обрек и считал, что иначе оно и не могло быть.

Он задумался о сыне, лежавшем в госпитале без правой руки, и, не открывая глаз, услышал, как кто-то тихо зовет его: «Алексей Денисович...» — зовет тихо, словно проверяя, не спит ли он. Услышал и открыл глаза, подумав, что это Синцов. Но перед ним стоял не Синцов, а непохожий на себя комбат Рябченко. Молодое лицо его заросло рыжей щетиной и от смертельной усталости казалось старым. Он стоял над Малининым в своей кавалерийской шинели, разорванной и дочерна закопченной еще днем, когда он растаскивал вместе с бойцами пожарище. Левая рука его, раненная перед наступлением, была замотана черным бинтом, а правой он тяжело опирался на обломанную ручку лопаты; пальцы на правой ноге были так поморожены, что он мог ступать только на пятку.

Так стоял перед Малининым его комбат, старший лейтенант Рябченко, двадцатидвухлетний, все перевидевший, отступавший, доотступавшийся до Москвы, а теперь наконец вторые сутки наступавший под ней; три раза раненный, из них два раза не выходя из строя, обмороженный, годящийся в сыновья ему, Малинину, комбат Рябченко.

— Ну, чего пришел, комбат? — сказал он, не понимая, что от слабости и боли говорит слишком тихо и что поэтому, а не почему-нибудь еще, Рябченко так низко нагибается, чтобы расслышать его. — Чего пришел? — повторил он.

— Раненых проведать.

— Как бой идет?

— Нормально. — Рябченко посмотрел на Малинина, обвел глазами других раненых и сквозь усталость улыбнулся юной улыбкой. — До утра бы только дотерпеть. Больно уж посмотреть хочется, чего мы наковыряли! Ребята вперед ходили, говорят, немецкие машины по всему полю в снегу стоят, застряли.

— Рассветет — посчитаешь.

И оттого, что Малинин сказал «посчитаешь», а не «посчитаем», как сказал бы в другое время, Рябченко с тоской подумал, что вот к рассвету придут сани, которые он сам послал разыскать хоть из-под земли, и Малинин уедет от него и от батальона, и они больше никогда не увидятся, потому что если Малинин даже и выживет, то при таком его возрасте вряд ли после тяжелого ранения его пошлют обратно на фронт, тем более — в батальон, на передовую. «Куда уж там пошлют!» — подумал Рябченко. А вслух сказал только:

— Ну, как ты? — потому что не нашел других слов, чтобы выразить свою тревогу за Малинина.

— Ничего,— сказал Малинин. — Мы тут не пропадем. Лежим у печки да греемся. Иди к своим обязанностям, не отрывайся из-за нас. — И, снова вспомнив о том, о чем уже говорил санитарке, попросил Рябченко, если есть возможность, прислать Синцова. Есть дело...

Рябченко кивнул. Он знал, какое это дело.

— А ты иди,— сказал Малинин. — Молодой, а как апостол, с посохом ходишь,— улыбнулся он. Но от приступа боли улыбка эта неожиданно оказалась такой изуродованной, что у Рябченко чуть не полились слезы.

— Иди, иди... — прямо и строго глядя в его повлажневшие глаза, повторил Малинин, не словами, а всей силой своих чувств как бы добавляя при этом: «Иди и живи, будь жив, очень тебя прошу! Ты еще молодой, ты еще только полменя, тебе жи-

вым надо быть! Уж если кому и надо, так как раз тебе... Живи, пожалуйста, слышишь, комбат Рябченко!»

И Рябченко повернулся и, опираясь на палку, поспешно вышел, потому что из всех зрелищ, которые было трудно видеть на войне, зрелище раненых для комбата всегда было самым тяжелым. Рябченко вышел, а Малинин продолжал смотреть на метавшуюся в проеме плащ-палатку, из-под которой все несло и несло снег. Рядом однообразно и жалобно стонал раненный в живот боец и все время просил пить, хотя пить ему, так же как и Малинину, было нельзя.

Малинин сказал, чтоб позвали Синцова, потому что понимал: скоро его увезут и другого случая сказать о письме в политотдел уже не будет. Но сейчас, дожидаясь прихода Синцова, он думал уже не об этом, а о себе без своего батальона и о своем батальоне без себя.

Он чувствовал себя как человек, на полном ходу выброшенный из поезда: еще секунду назад он двигался вместе со всеми — и вот уже лежит на земле и смотрит на что-то огромное, несущееся мимо, где он только что был и где его уже не будет! Война каждый час разлучает людей: то навсегда, то на время; то смертью, то увечьем, то раной. И все-таки, как ни наглядишься на все это, но что она такое, разлука, до конца понимаешь, только когда она нагрянет на тебя самого.

Он до такой степени не привык, чтобы что-нибудь в батальоне делалось без него,— и вот уже все делается без него, и уже не он для людей, а людям нужно поскорее грузить его в сани и везти в тыл. А батальон пойдет дальше. И ему уже не дотянуться до батальона, не пойти рядом с людьми, не достать их ни взглядом, ни голосом — ничем. Что он еще может сделать для них? Ничего. И хотя, думая так, он, конечно, думал и о себе,— да и как же иначе? — но в общем-то или в основном, как он сам иногда выражался своим немного канцелярским языком, он все-таки думал не о себе, а о других. Думал даже сейчас, когда был ранен, когда многие другие люди, вовсе не плохие и даже хорошие, в его положении вдруг начинают жадно думать только о себе, как бы возмещая все те дни и ночи войны, когда они думали о себе так мало! И мера того, насколько он даже сейчас больше думал о других людях, чем о себе самом, и была, наверное, самым главным и самым сильным в нем, в Малинине, уже немолодом и тяжело раненном человеке.

Синцов уже два часа знал, что Малинин ранен в живот, и ранен тяжело, но не мог прийти к нему, потому что сначала был занят боем, а потом, когда бой стал затихать, не мог оставить свою позицию без приказа.

И только теперь, когда Рябченко велел ему идти, он пришел сюда и увидел, как плох Малинин, и лицо его помимо воли стало таким, что Малинин понял: Синцов своим несчастным лицом приговаривает его к смерти,— понял и не согласился.

— Чего так смотришь?.. Ты не поп, и я тебя не со святым причастием позвал... Дело есть — вот и позвал.

Синцов положил на пол автомат и сел рядом.

Хотя Малинин был очень слаб, но, когда он рассердился, хриплый шепот стал громче, и Синцов слышал каждое слово.

— Жалко, не могу тебя за себя оставить,— сказал Малинин, глядя в глаза Синцову.

Синцов ничего не ответил. Да и что ответить? Не спасибо же сказать...

— Когда в партии тебя восстановят, в редакцию свою не уходи,— сказал Малинин, продолжая глядеть в глаза Синцову.

«Да не хочу я ни в какую редакцию! Разве я для того хлопочу?» — хотелось крикнуть Синцову, но он снова встретился с глазами Малинина и понял, что Малинин вовсе этого не думает, а просто не хочет, чтобы он, Синцов, уходил куда-нибудь из их батальона ни сейчас, ни потом! Ему спокойнее думать, что Синцов останется здесь, в батальоне.

— Слушай... вот чего я тебя позвал... — помолчав и переждав приступ боли, заговорил Малинин. Заговорил не сразу, а под конец, потому что считал это главным из всего, что надо было сказать Синцову; хотя главным для Синцова было не это, а то, что Малинин сказал ему раньше. — Я позавчера написал...

И в ту же секунду совсем близко от сарая густо захлопали немецкие автоматы и застрочил наш пулемет. И Синцов, не только не имея времени проститься с Малининым, но даже не подумав об этом, схватил с пола автомат и, в три прыжка перебежав сарай, выскочил в дверной проем, за которым все сильнее хлопали выстрелы.

Малинин лежал в бараке, бессильно и напряженно слушая, как стучат за стеною выстрелы, сначала часто и громко, потом реже, потом еще реже и тише, все удаляясь и удаляясь... Он лежал и слушал эти выстрелы, с облегчением думая, что атака отбита и бой кончается, и не зная, что атака еще не отбита и бой не кончается, а просто это он, Малинин, теряет сознание и перестает слышать...

Когда Малинин очнулся, кругом было белым-бело. С белого неба сыпались мелкие, редкие снежинки, а краем глаза и слева и справа он видел тянувшиеся до горизонта высокие белые снега. Он лежал навзничь на санях, сани, переваливаясь, тихо скользили по снегу. Рядом с ним, сбоку, тесня его, лежал кто-то

еще, за его головой возница покрикивал тонким голосом на лошадь, а в ногах Малинина сидел поперек саней Караулов, вытянув прямую, прикрученную бинтом к доске, верно, перебитую выше колена ногу; сидел и курил, отворотясь от ветра. Позади ехало еще двое саней; кто правил дальними, было не разглядеть, а ближними, сидя на передке, правил незнакомый боец с закрывавшим глаз окровенелым бинтом.

Малинин, очнувшись, увидел все это, но несколько минут не подавал голоса, прислушиваясь к глухой, терпимой боли в своем теле, которая после вчерашней казалась почти и не болью.

«Вроде живой»,— подумал он и, прежде чем окликнуть Караулова, тихонько попробовал рукой: кто лежит рядом? Рядом, на боку, поворотясь спиной к Малинину, лежал мертвый. Малинин сразу, как только стал щупать, наткнулся на его неживую руку с торчавшими, как сучья, холодными пальцами.

— Кто богу душу отдал? — спросил Малинин.

И Караулов, услышав его голос, обрадованно обернулся.

— Все думал, хотя бы вы очнулись! — сказал он и, покривясь, двумя руками подвинул свою ногу.

— Кто это? — снова спросил Малинин, не шевелясь и глазами показывая на лежавшего рядом мертвого.

— Гришаев,— сказал Караулов. — Клали — живой был.

Гришаев был тот самый раненный в живот молоденький солдат, что там, в сарае, все стонал и жаловался, что ему не дают пить. Теперь он лежал холодный, мертвый, тяжело упираясь спиной в плечо Малинину. И Малинин вспомнил о себе, как в ноябре, еще при отступлении, он прилег поспать на пол в нетопленой, ледяной риге. Когда он лег, то сперва мерз и сквозь сон от холода сам не мог понять, спит или нет. А потом почувствовал, что ему тепло, и заснул, а когда проснулся, то увидел, что два бойца — один из них этот вот, Гришаев,— тесно облегли его с двух сторон и, заворотив полушубки, накрыли полами, чтобы он мог выспаться перед боем.

— Когда тебя ранили, Караулов?

— Самым утром,— нахмурился Караулов. — Машины, что ночью фашисты в поле побросали, пошел смотреть; притаился один гад — из кабины гранаты кинул.

— А много машин взяли?

— Много, по всему полю раскиданы. Не знаю сколько. При мне еще считали...

— Что же, вас во втором эшелоне оставили?

— Зачем во втором эшелоне? Как раз нас на сани грузили, а Баглюк пришел приказ на наступление давать.

— Значит, живой Баглюк?

— Живой.
— А Рябченко?
— Тоже живой, только совсем помороженный.
— А сколько же раненых вывезли? Только на трех санях? — озабоченно спросил Малинин, прикинув, сколько людей уже лежало в сарае, да потом еще бой был...
— Почему на трех? — сказал Караулов. — Впереди еще двое саней, двадцать людей везем. А легкие сами на обогревательный пункт пошли в ту деревню, куда комдив приезжал.
Малинин от мысли о других раненых снова вспомнил о собственной боли и, прислушиваясь к ней, закрыл глаза.
— Может, закурите? — спросил Караулов. — Я сверну.
— Не хочу,— ответил Малинин, чувствуя во рту тяжелый, металлический вкус подступающей тошноты. — Сколько едем?
— Часа четыре,— сказал Караулов. — Командующий армией по дороге встретился, давно, еще вначале. Подошел, спрашивал, кто такие, из какой части, но вы без сознания были. Веселый! Говорит, дела хорошие! Выздоравливайте, под Смоленском встретимся!
«Хорошо, кабы так!» — подумал про себя Малинин, а вслух спросил, на чем же он ехал, командующий, по такому снегу.
— На полуторке, в кабине. Как раз его полуторка забурилась. Подошел к нам, пока ее вытаскивали.
Караулов замолчал, а Малинин, хотя его и порадовал рассказ Караулова о встрече с командующим, тяжело подумал, что до Смоленска еще ой как далеко. Сказать — не сделать. А за Смоленском еще сотни верст, и все наша земля, и все отданная, и миллионы людей на ней. А поди верни ее!
Может быть, в его чувствах сейчас играли роль собственная тяжелая рана и неуверенность, сумеет ли он снова вернуться на войну, но главным был все же сложившийся за большую и трудную жизнь трезвый взгляд на вещи: за что ни возьмись — все труд, все не просто, а что уж говорить о войне?
— А верно, что скоро Смоленск возьмут? — раздался голос за спиной Малинина.
Ему и раньше казалось, что лошадь понукает не то женщина, не то мальчик; теперь понял, что не ошибся: голос, задавший вопрос, был жиденький, тонкий, совсем детский.
— А ты кто будешь,— спросил Малинин,— сколько тебе лет?
— Пятнадцатый.
— С выселок он,— пояснил Караулов,— сам с лошадью попросился, со своею.
— Правильно,— усмехнувшись, сказал Малинин,— а то наше дело солдатское: еще не вернем, зажилим.

— Я не потому,— обиженно сказал невидимый Малинину возница,— я и у вас в части остаться могу.

— Тогда извиняюсь.

— Лейтенант, дай закурить! — Детский голос прозвучал храбро, но не совсем уверенно.

Лицо у Караулова стало строгим, но он все-таки вынул изо рта недокуренную самокрутку, оборвал конец и передал ее в мелькнувшую над головой Малинина детскую, красную от мороза руку.

— А это место знакомое,— сказал Малинин, скосив глаза.

При дороге стояли два немецких танка, стояли памятно, так что он не мог ошибиться: один — пушкой нацелясь на башню другого. Это были те самые танки, про которые вчера, когда шли мимо, он говорил, что немцы выливали из них бензин. Значит, проехали обратно уже километров двадцать. Все же далеко вперед ушел батальон со вчерашнего утра...

Подумав об этом, он спросил у Караулова, кого Рябченко назначил вместо него на взвод, и, услышав ответ, которого и ждал: «Синцова!» — с досадой вспомнил, что так и не успел сказать Синцову про свое письмо в политотдел. Снова думая сейчас об этом письме, он не знал, что напрасно винил в проволочке дивпарткомиссию: она была тут ни при чем.

Партийное дело Синцова запросил из дивпарткомиссии в политотдел армии инструктор, прочитавший эту фамилию и вдруг вспомнивший об одном документе, прошедшем через его руки. Документ был просто листом из тетрадки, исписанным крупным солдатским почерком: вышедший из окружения на участке армии красноармеец Золотарев писал в политотдел про обстоятельства гибели политрука Синцова И. П. и просил, если возможно, сообщить его семье. Сделать что-нибудь по этому письму было недосуг, но и изорвать его не повернулась рука, и оно лежало теперь рядом с заявлением младшего сержанта Синцова о восстановлении в партии, в папке с надписью «Доложить», хотя докладывать пока было некому: началось наступление, и начальник политотдела армии полковой комиссар Максимов уже третьи сутки был на передовой.

— Значит, Синцов заменил тебя? Ладно! — помолчав, сказал Малинин Караулову. Сказал так, словно еще был в батальоне и на это требовалось его одобрение. — А комбат опять отказался эвакуироваться?

— Ни в какую! — одобрительно сказал Караулов.

— Чьи? — услышав возникшее в небе гудение и почувствовав, как вздрогнул сзади него мальчик, спросил Малинин.

— Наши,— сказал Караулов.

Над ранеными, медленно пересекая белесое зимнее небо, с востока на запад одна за другой прошли четыре девятки наших бомбардировщиков. Сани приостановились, и следующие тоже приостановились, почти наехав на них.

И мальчик, правивший лошадью, и Караулов, и Малинин одинаково облегченно и благодарно смотрели в небо.

— Что, уже ушли, не видать? — спросил Малинин, перестав слышать гудение и не в состоянии подняться на локтях, чтобы проводить глазами самолеты.

— Нет, еще видать... А теперь почти не видать, ушли,— отозвался Караулов, до самого горизонта проводив взглядом маленькие черные точки.

За десять километров от того барака, где ночью потерял сознание Малинин, и за тридцать от того места, где сейчас ехал в тыл санный обоз, нагруженный тяжелоранеными, по глубокому снегу, радуясь тому, что наконец стихла метель, шел на запад батальон Рябченко.

Теперь, после взятия Воскресенского, вперед вырвались уже другие, менее потрепанные во вчерашнем бою полки Серпилина, и батальон с утра шел и шел без выстрела, только порою набредая на брошенные в снегу немецкие машины и трупы убитых и замерзших солдат. То, что они пока шли без выстрела, было, конечно, только до времени, потому что и справа и слева с порывами ветра доносило гул орудий, а прямо на горизонте в последние полчаса опять замаячил дым пожара.

Синцов, Комаров и еще двое автоматчиков — все, что осталось от их взвода,— шли гуськом за ехавшим на лошади Рябченко. Ему давно было пора в медсанбат, но он не сдавался и ехал, выпростав из стремени обмороженную ногу и приторочив сзади к седлу свой вчерашний самодельный посох — на случай, если придется слезать.

— Младший сержант, думаешь, пополнение скоро будет? — Комаров поравнялся с Синцовым и пошел рядом.

— Откуда ж мне знать? — Синцов пожал плечами, но про себя подумал, что, пока они не остановятся, не упрутся где-нибудь в немцев, пополнения не будет: на машинах его по такому снегу не подвезут, а своим ходом, пока они идут, как сегодня, без остановки, тоже никто их не догонит.

Комаров тосковал оттого, что в их взводе такие потери, и искал душевной поддержки у своего командира отделения, ставшего теперь командиром взвода, а Синцов думал о том, что не выручи его Комаров ночью там у барака, срезав в упор наско-

чившего в последнюю минуту немца, то и его песенка была бы уже спета и уже не о чем было бы думать сейчас, даже о том, будет ли сегодня бой и останешься ли ты цел в этом бою.

Но говорить обо всем этом словами было сейчас неохота, и он сказал только взглядом, молча, благодарно посмотрев в глаза Комарову.

— Как, по-твоему, нагоним или не нагоним сегодня немца? — спросил Комаров.

И Синцов, глядя ему в глаза, понял — Комаров испытывает сейчас то же чувство, что и он сам: и хочется снова догнать немцев, и жаль распрощаться с доставшейся после вчерашнего боя передышкой.

— Похоже, догоним,— стремясь преодолеть в себе это чувство и ускоряя шаг, ответил он,— дым-то уже опять видать!

В снегах, там, куда они теперь спешили, все выше поднимался дым горевшей деревни. Ехавший впереди Синцова комбат Рябченко то закрывал собою этот дым, то, когда лошадь, оступаясь, брала в сторону, снова открывал его.

— Комаров, а Комаров!

— Что?

— Дай закурить!

— Чего на ходу-то?

— Да так, вдруг захотелось... — Синцов не стал объяснять, почему захотелось. А захотелось потому, что, глядя сейчас на этот далекий дым впереди, он старался заставить себя свыкнуться с трудной мыслью, что, как бы много всего ни оставалось у них за плечами, впереди была еще целая война...

1955—1959

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Роман в трех книгах

Симонов К. М.

С 37 Собрание сочинений. В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1979. —

Т. IV. Живые и мертвые: Роман в трех книгах; Книга первая: Живые и мертвые. 1981, 431 с.

В настоящем томе публикуется роман «Живые и мертвые», давший название известной трилогии и воссоздающий в судьбах своих героев мужественную борьбу советского народа против фашистских захватчиков в первые месяцы войны.

С $\frac{70302\text{-}029}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 **Р 2**

Константин Михайлович

Симонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том IV

Редакторы
Т. Аверьянова и М. Поляк
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Сидорова и Н. Усольцева

ИБ № 2179

Сдано в набор 14.04.80. Подписано к печати 16.01.81. А06706. Формат 60×84$^{1}/_{16}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 25,191 усл. печ. л. 28,241 уч.-изд. л. Изд. № Ш6-46. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1262. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

2p.